Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ 13

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. К а г а р л и ц к о г о.

Бэллингтон Блэпский

Приключения, позы, сдвиги, столкновения и катастрофа в современном мозгу

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЕГО РОЖДЕНИЕ И РАННИЕ ГОДЫ

1

РАЙМОНД И КЛОРИНДА

Было время, когда он чувствовал, что не должен называть себя Бэлпингтоном Блэпским. Хотя он и называл себя так только мысленно. Он никогда не называл себя Бэлпингтоном Блэпским ни одной живой душе. Но про себя он делал это постоянно. И это незаметно действовало на его психику. Иногда эти слова как-то помогали ему, а иной раз оказывались помехой.

В течение нескольких лет он очень старался не быть больше Бэлпингтоном Блэпским, а быть попросту тем, чем он был на самом деле, что бы это, в сущности, ни было.

Это было в то трудное время, когда он чувствовал, что растет, но растет не совсем так, как следовало бы. Ему пришлось вести жестокую борьбу. Он поддался каким-то чуждым ему влияниям, в особенности влиянию этих Брокстедов, его друзей и соседей. Он тогда твердо решил не отворачиваться от фактов, а смотреть им прямо в лицо. Он уходил бродить один и шептал про себя: «Я просто Теодор Бэлпингтон, самый обыкновенный мальчик». Но и тут он ловил себя на том, что сбивается на громкие фразы, которые изобличали его. «Недостойно Бэлпингтона Блэпского отворачиваться от грубого лица действительности».

С течением времени, как это будет явствовать из нашего повествования, его сопротивление постепенно ослабевало. Привычка воображать себя Бэлпингтоном Блэпским стала менее навязчивой, но не исчезла. Посте-

пенно она возродилась, стала еще сильнее. Она завладела им, победила его. Как это произошло, вы узнаете из этой повести.

Бэлпингтоном он именовался вполне законно. Но существовали и другие Бэлпингтоны, и кое-кто из них был гораздо значительнее, чем он. Так что дополнение Блэпский было неоправданно.

Отец его, поэт и критик, со слабыми легкими, жил в Блэйпорте. Мать его была одной из десяти дочерей Спинка, которые все до единой вкусили ранних недозрелых плодов высшего женского образования. Братьев у них не было. Старый Спинк, не смущаясь этим феминистским уклоном своих хромосом, заявил: «Каждая из моих дочерей будет не хуже мужчины». Клоринда, четвертая из них, если судить по ее браку, оказалась лучше. Ибо Раймонд Бэлпингтон, ее супруг, в конце своего пребывания в Оксфорде забросил учение, сменив его на эстетический образ жизни. Он, признаться, был не пара Клоринде. Она вышла за него, не подумав. Когда вы одна из десяти сестер, брак грозит обратиться для вас в нечто вроде свалки вокруг жениха. Ей хотелось, чтобы муж ее был незаурядной личностью, ей хотелось блеснуть его интеллектуальностью. И она спешила. Он показался вполне подходящим.

Это была смуглая, крепкая, хорошо сложенная девушка с неутомимой энергией и необыкновенно широким умом. Она во всем устанавливала, как говорится, двойной рекорд, пока дело не дошло до потомства. Ей бы следовало родить близнецов и таким образом завершить свой рекорд, но Теодор — возможно, из-за какого-нибудь недостатка Раймонда — был ее единственным ребенком.

Бракосочетание состоялось в славные дни царствования королевы Виктории, когда Уайльд и Уистлер были великими светилами на горизонте артистического мира, а «Псевдонимы» и «Лейтмотивы» стояли рядом в книжных лавках. Запад только что открыл русский роман и скандинавскую драму. Фрэнк Гаррис заполонил «Сатерди рэвью», а Обри Бердслей украшал «Желтую библиотеку». Смутные воспоминания о Ренессансе сквозили в костюмах и нравах эпохи: кринолин был упразднен, а протестантство уже начинало казаться безвкусным

и плоским. Либерализм и Свобода уступали место Вольности и Страсти. Дочери Спинка все до одной катались в шароварах на велосипеде, и некуда было деваться от их папирос. Но они отнюдь не интересовались гольфом, этой игрой для старых, чудаковатых джентльменов, и с необыкновенным азартом играли в теннис.

Отец Теодора покинул Оксфорд с блестящей репутацией блестящего молодого человека, не менее многообещающего, чем насиженное яйцо, но уже в раннем детстве Теодора он перешел на положение инвалида. У него был короткий лучезарный период холостой жизни в Лондоне: студии, кафе «Рояль», эпиграммы перед завтраком и блестящая будущность, самоутверждающаяся в язвительных выпадах по адресу общепризнанных имен. Он сотрудничал в «Сатерди рэвью» и в «Желтой библиотеке», рисовал женские фигуры blanc et noir невиданных, умопомрачительных форм и играл поистине выдающуюся роль в модном движении того времени — «Возрождении». Тут-то Клоринда и заполучила его. Связь их была сумасбродной выходкой; сумасбродство было в ходу в то время; юная чета сбежала в Сетфорд за две недели до бракосочетания, и старик Спинк, не помня себя от позора, грозился застрелить Раймонда и только отчасти умиротворился запоздалой брачной церемонией.

Раймонд и Клоринда заявили, что брак не накладывает на них никаких обязательств, и изо всех сил старались вести себя соответственно. Они жили в двух смежных, а иногда и несмежных мастерских, давая повод к весьма оживленным пересудам до тех пор, пока Раймонд не подорвал себе здоровье.

Он захворал вскоре после появления на свет Теодора. Ему рекомендовали морской воздух и сухую почву, они перебрались в маленький старинный городок Блэйпорт, и Раймонд со всем пылом погрузился в историю варягов — труд, который должен был затмить труды Доути, но который он так и не удосужился написать. Из этого труда в конце концов ровно ничего не получилось, и чтобы пополнить свои доходы во время этой работы, он издавал классиков, затевал переводы, состоял консультантом у какого-то продувного издателя и, расточая похвалы молодым людям, завлекал их в когти этого

мошенника. Клоринда между тем приобрела себе сезонный билет в Черринг-Кросс и делила свой досуг между семейной жизнью в Блэйпорте, визитами в свет и обхаживанием преуспевающих артистов и передовых мыслителей Лондона. Старый Спинк умер и оставил после себя меньше, чем от него ждали, так что Бэлпингтоны вынуждены были по-прежнему жить в тесных рамках строго ограниченного бюджета. Но даже в Блэйпорте они жили отнюдь не в уединении; это был солнечный зимний курорт, и интеллигентная публика охотно съезжалась пожить в этом местечке и не отказывала себе в удовольствии заглянуть к супругам и послушать, как Раймонд разделывает современность. Никто, кроме Раймонда, не мог угостить вас таким фаршем из современности.

Оба, отец и мать, уделяли немало бессвязных размышлений проблеме воспитания Теодора. В Лондоне Клоринда нахваталась всевозможных идей насчет воспитания, знакомые привозили с собой всяческие идеи в Блэйпорт, а Раймонд находил их в книгах. Это было поколение исключительно плодовитое на воспитательные идеи. Оно мирно катилось потоком вооружения к Великой войне, разглагольствуя о благе воспитания детей и обеспеченном будущем человечества. Батлер и Шоу посеяли в широкой публике убеждение, что школы никуда не годятся, и Теодор довольно рано проникся этим убеждением и не очень усердно посещал школу. Это по крайней мере хоть было ему на руку.

Но ему ничего не дали взамен школы. Его просто оставили без образования. Наиболее распространенная воспитательная теория того времени отрицала дисциплину и запугивание. Поэтому родители Теодора не позволяли себе никоим образом ни дисциплинировать, ни запугивать его. Он был отдан на попечение верной няньке, которая впоследствии уступила место некоей полиглотке, благородной русской особе, эмигрировавшей из страха политических преследований. Через некоторое время она исчезла, увязавшись в качестве любовницы за одним из случайных интеллектуальных посетителей, который, выражаясь попросту, прихватил ее вместе со своим багажом, а на смену ей явилась португальская особа. Но ее сотрудничество с Раймондом в переводе

«Лузиады» привело к бурной катастрофе прежде, чем Теодор успел приобрести хотя бы самые поверхностные представления о красочной португальской брани. Ее сменила добросовестная шведка, которая вот уж действительно никогда не нравилась Раймонду. У нее были ужасные икры, но он все же терпел ее ради мальчика. Ей отказали от места, потому что Клоринда не могла вынести упорства, с каким она отдавала предпочтение шведскому методу ведения хозяйства перед британской системой, и вслед за этим наступило междуцарствие.

После междуцарствия Теодор поступил в Сент-Артемас, местную школу, где отсутствовало телесное наказание, но поощрялась живопись, металлопластика и морские купания. При этом режиме у него обнаружились значительная лингвистическая восприимчивость, упорная неспособность к математике и несомненные артистические склонности; кроме того, он жадно поглощал романы, исторические книги и стихи. Он сам начал писать стихи с удивительно раннего возраста и рисовал, не соблюдая правил, небрежно и своеобразно. Он делал успехи в музыке, не презирал только самых великих композиторов и рассуждал преждевременно о всяких вполне взрослых занятиях. И в тайниках своего сердца, для утоления какой-то неудовлетворенной потребности, он был Бэлпингтоном Блэпским.

Что до Блэпа — это, как он говорил себе, было древнее название Блэйпорта. Признаться, у него не было никаких доказательств, что Блэйпорт в древности носил такое название. Учительница истории в школе рассказывала им о древних названиях и о том, как они искажались с годами. Она говорила о Брайтельстоне, превратившемся в Брайтон, Лондиниуме, который потом стал Лондоном, и о Портус Леманус, который сократился до Лина. Как-то в припадке веселости на пляже он, Фрэнколин и Блетс пародировали урок. Они выдумывали более остроумные и более удачные варианты для бесчисленного количества знакомых имен, привнося в это большей частью легкий, приятный душок нескромности. Чем бы мог стать Блэйпорт? Бляппи, Бляппот, Блэйпот или Блэп? Фрэнколину понравился Блэйпот, и он запел: «Блэйпот, ты мой оплот, лети, мой штиблет, через Эдомский хребет».

Блэп поразил воображение Теодора, прямо-таки завладел им. *Блэп* — это напоминало громадный утес, риф, это звучало, как плеск волн, это вызывало в представлении шайку пиратов, отчаянных молодцов, укрывавшихся здесь, и все они звались Бэлпингтоны. И среди них вожак, атаман шайки, несмотря на свой юный возраст, первый из всех — Бэлпингтон Блэпский. Итак, он замечтался и предоставил Фрэнколину расправляться как угодно с Блэйпотом, носиться с ним, выворачивать его, валить в него всякие объедки. Блэп — это было его слово.

2

УКРЕПЛЕНИЕ БЛЭПА

Было что-то неустойчивое и ускользающее в этом Блэпе. Он никогда не был в точности Блэйпортом,— он был гораздо скалистее, а вскоре он совсем обособился и принялся блуждать по свету. Его ландшафт приобрел некоторое сходство с горной Шотландией, хотя это было по-прежнему убежище морских пиратов. Он то становился изрезанной, скалистой бухтой, наподобие норвежского фьорда, то прятался в чудовищные ущелья. Затем он вдруг отступал в глубь страны и превращался в дикую гористую местность, где тянулись непроходимые зеленые леса и белые дороги вились, как змеи. Его видно было очень далеко, в особенности в часы заката. У него были стены и башни из желтовато-белой горной породы, блестевшие, как слюда, а на крепостных валах всегда стояли неподвижные и зоркие часовые. Когда пушечный выстрел оповещал о заходе солнца, громадное вышитое знамя Бэлпингтона опускалось складка за складкой, складка за складкой, золотое шитье и сверкающий шелк, и уступало место маленькому штормовому флажку, который всю ночь развевался по ветру.

А иногда Блэп почти исчезал за пределами видимого горизонта, и тогда Бэлпингтон, таинственный изгнанник, бродил неузнанный, непонятый — хрупкий, темноволосый мальчик, слоняющийся, по-видимому, без всякой цели, школьник, всячески угнетаемый учительницей мате-

матики, презрительный скиталец среди вульгарных шутов, разгуливающих на пляже, ждущий своего времени, чтобы подать знак, который изменит все.

И тут наступал военный период, когда Блэп, объявленный на военном положении, отражал осаду, именовавшуюся впоследствии в тайной истории мира осадой Блэпа.

Касталонцы в их необыкновенном вооружении, в черных панцирях и с саблями наголо, предводительствуемые принцем в маске, за которым шла наглая, разнузданная свита, наступали на Блэп. С моря через горы, тремя окольными путями, они шли на него приступом. Это была нелегкая задача для одного ума — рассчитать и предвидеть все возможности этой битвы, а ведь к Блэпу вели еще и подземные ходы, запутанные, сложные...

— Хотел бы я знать, о чем ты задумался, Теодор? — спросил его как-то раз один из случайных гостей отца.

— Я просто думал,— сказал Теодор.

— Да, но о чем?

Теодор поискал у себя в памяти какой-нибудь достойной для понимания гостя темы и выхватил кусочек обеденного разговора, который происходил в прошлое воскресенье.

— Я думал, почему это Берлиозу так часто недостает истинного величия.

— Боже! — воскликнул гость, точно его кто-то ужалил, и, вернувшись в Лондон, бросился всем рассказывать, что Раймонд и Клоринда произвели на свет такого невообразимого кривляку, какого еще мир не видывал.

— К счастью, кажется, очень хилый мальчик,— добавлял он.

3

ДЕЛЬФИЙСКАЯ СИВИЛЛА

Когда-нибудь, быть может, через несколько лет, психологи смогут дать нам более ясное представление, каким образом такой персонаж, как Бэлпингтон Блэпский, случайный гость, пришелец, осваивается и начинает существовать средь бесконечно тонких спле-

тений клеток и тканей человеческого мозга и как он ухитряется собрать вокруг себя те видимости и следы подлинного переживания, которые необходимы для его призрачной жизни.

Он всегда сознавал себя пришельцем и призраком, и, однако, он упорно цеплялся за себя и вечно обменивался пожеланиями, ощущениями и умозаключениями с тем, другим существом, которое главенствовало рядом с ним и над ним и которому он, однако, внушил подписываться «Тео Бэлпингтон», с таким хилым «о» в слове «Тео» и с таким замысловатым и длинным росчерком в конце, что это, в сущности, получалось не что иное, как словечко «Блэпский», задушенное прежде, чем оно появилось на свет.

Этот пришелец, этот внутренний персонаж подавлял мыслительную жизнеспособность Теодора, силился управлять им; он привил ему эту как бы прислушивающуюся к себе нерешительную манеру держаться, которая так отличала его; возможно, он был причиной его легкого заикания. Сквозь туман его побуждений и стимулов, его несформулированных, но все же влиятельных суждений, властных, хотя и смутных желаний, действительный мир, мир, опирающийся на грубые показания опыта и свидетельства окружающих, отражался преломленным в сознании Теодора. Пришелец не мог разрушить и уничтожить могущество этой реальной действительности, но он оставался живым протестом против нее, и он мог распространять свое магическое очарование на прошлое и будущее, пока они не становились его собственностью.

В мире Теодора Блэйпорт всегда был Блэйпортом, всегда на Ла-Манше и всегда на одном и том же расстоянии от Лондона. Первый дневной поезд с вокзала Виктория приходил в Блэйпорт очень точно, не раньше 5.27 и очень редко позже. В этом людном приморском местечке неизменно, с несокрушимым постоянством находился дом Теодора. Он не помнил другого дома и даже не представлял себе, что может быть какой-нибудь другой. Погода менялась помимо его воли, переходя от влажного юго-западного ветра с серым, волнующимся морем, которое билось и пенилось у эспланады, к буйному юго-западному вихрю со сверкающими в голубом небе белыми об-

лаками, к восточному ветру с привкусом черно-синих чернил, который делал весь мир похожим на рисунок пером, с жестким, невозмутимо синим небом, и снова к влажному юго-западному ветру, разражающемуся ливнем, разбрасывающему со свистом по асфальту комья морской пены.

Часы шли, попирая его желания,— обеденное время и школьные часы вечно были помехой, а ночь приходила незваная. Праздники стремительно летели к концу, а учительница математики могла, подобно Иисусу Навину, останавливать время. Мир Теодора был полон скуки, обязанностей и подавленных желаний.

Отцу и матери, обоим, недоставало какой-то законченности в этом мире. Множество всяких вещей, касающихся отца и матери, были вытеснены из его сознания так, что он даже не подозревал этого. Однако множество всяких вещей оставалось в поле его наблюдений. У отца было красивое, мрачно-брюзгливое лицо, и он вечно был недоволен всем на свете. От постоянно дующего здесь юго-западного ветра его не очень густые, длинные волосы всегда были сильно взлохмачены. Глаза у него были цвета красной меди, а сорочки он носил светло-желтые, с открытым воротом. Мать Теодора вне дома была так непохожа на ту, какой она бывала дома,— костюм мужского покроя и гетры на улице и просторная медлительная мягкость домашнего утреннего капота, незаметно сменявшаяся обеденным туалетом по мере того, как подвигался день,— что казалось, будто это были два совершенно разных человека. В комнате всегда стояли маки, подсолнечники, георгины, астры и еще какие-нибудь такие же большие пламенные цветы в громадных обливных глиняных вазах, и всюду были разбросаны окурки. Белых цветов она не выносила. Служанки появлялись и исчезали. Одна из них, которую выпроводили с громким скандалом, обозвала Клоринду «курчавой старой коровой». Это способствовало тому, что Теодор в течение некоторого времени представлял себе свою мать в несколько своеобразном свете.

Раймонд уходил один в далекие прогулки. Он очень гордился своим неутомимым волчьим шагом. Когда он бывал дома, он обычно читал или писал за длинным дубовым столом, стоявшим у окна и заваленным книга-

ми. Или разговаривал. Или спал. Теодору было известно, что, когда Раймонд пишет или спит, маленьких мальчиков не должно быть слышно, но Раймонд не только не слышал Теодора, но и видел его очень мало. Впрочем, он позволял ему перелистывать страницы любой книги, которая ему нравилась, и иногда говорил: «Ну-с, человечек»,— и весьма благодушно ерошил ему волосы.

Кабинет Раймонда был обставлен строго, с большим вкусом. Выбеленные стены, множество неприбранных книжных полок из некрашеного дуба и несколько прекрасных китайских ваз. Там стояло старинное, еще добродвудское фортепьяно, из тех, что ошибочно называют «спинетами», а позднее появилась пианола. Раймонд разыгрывал на своем Клементи—и даже довольно изящно— Скарлатти, Перселла, а иногда и Моцарта. Он считал, что пианола служит для того, чтобы напоминать ему о музыке, и только из-за этого он держал ее у себя. Он никогда не позволял себе сказать, что пианола играет. Он говорил: «Ну-ка, давайте пропустим через эту колбасную машину кусочек Вебера, или Баха, или Бетховена». В доме много говорили о музыке, и когда Раймонда не было дома, Теодор сам пропускал через машину Бетховена, Баха, Брамса и даже Берлиоза. В глубине души, не признаваясь в этом даже самому себе, он больше всего любил Берлиоза, потому что, когда он играл его, в особенности «Фантастическую симфонию», Бэлпингтон Блэпский, мрачный и великолепный, беспрепятственно водворялся в его воображении и вырастал до грандиозных размеров. А Теодор исчезал. Русская музыка и русский балет в то время еще не привились в Англии; им на долю выпало волновать его юные годы.

Клоринда уезжала в Лондон на целый день, а иногда и на несколько дней по каким-то своим делам. «Прошу тебя, не переходи границ»,— напутствовал ее Раймонд. По возвращении она снова облекалась в свои томные, артистические пеньюары, и ее нежность к Раймонду становилась особенно очевидной и обильной. Как если бы она купила там роскошный подарок — запас новых ласк для него. Он принимал их без всякого энтузиазма.

В ее отсутствие Раймонд и Теодор мало видели друг друга. Теодору иногда хотелось, чтобы служанки и гу-

вернантки, которых выбирала Клоринда, были несколько миловиднее и более склонны к романтике.

Единственным возможным романтическим союзником Теодора была гувернантка португалка, но когда Клоринда уезжала в Лондон, сотрудничество между сей молодой особой и Раймондом становилось столь усердным, что Теодора отсылали на пляж, чтобы он поиграл один. Временами он все же испытывал действие ее непонятного медлительного очарования. Но у нее была привычка называть его разными уменьшительными именами, и она вечно переводила разговор на характер и вкусы его отца. Теодору было вовсе не интересно обсуждать, парадоксальный ли человек его отец, заботится ли он о спокойствии Клоринды и очень ли он страшен, когда рассердится.

Одно время к ним в дом зачастил некий белокурый молодой человек, который поселился в Блэйпортской бухте. Он разговаривал с Клориндой тихо и, так сказать, по секрету; а на людях громко, сдержанно-неприязненным тоном беседовал с Раймондом. Мужчины разговаривали о средневековых мистериях, о немецком кукольном театре, язвительно соглашаясь друг с другом. Молодой человек был очень увлечен придумыванием народных танцев и изящных сельских ремесел, которые англичане должны были бы иметь, даже если в действительности они их не имели, и Клоринда очень воодушевлялась всем этим. Она находила его очень стильным — в стиле позднего средневековья. Однажды в какой-то полупраздничный день Теодор, которого отослали играть на пляж, вернулся за волшебным стеклом, принадлежащим Бэлпингтону Блэпскому. Он вошел тихонько на цыпочках, так как Раймонд в это время обычно ложился подремать.

В гостиной он увидел Клоринду и белокурого молодого человека. Они расположились на софе ампир. Губы их были слиты, и рука молодого человека, так примерно до локтя, была зондирующим образом засунута в обширное декольте пеньюара Клоринды. Присутствие Теодора было обнаружено, только когда он уже уходил.

Именно после этого ему купили башмаки вместо сандалий и Клоринда заявила ему, что он должен вести себя, как мужчина, а не подкрадываться потихоньку

всюду, куда не следует. Она прибавила, что это действует ей на нервы. И тут взаимоотношения Теодора Блэйпортского с Бэлпингтоном Блэпским предстали в совершенно ином свете. Стало совершенно ясно, что их подменили, едва только они появились на свет.

На некоторое время этот чудесным образом подмененный Бэлпингтон Блэпский совершенно вытеснил Теодора, сына Клоринды. Настоящая мать Бэлпингтона Блэпского ничем не напоминала Клоринду. Какова она была, не было установлено точно. Иногда такая, иногда другая. Одно время она напоминала Британию на картинках в «Панче», потом стала похожа на Леонардову «Мадонну в гроте», висевшую в спальне Клоринды. Потом стала темной, большой, мягкой. Лица ее не было видно, но рука ее обнимала вас. Еще она была как «Спящая Психея» Прюдона, такая спокойная и любящая. Очень недолго, какой-то почти неуловимый промежуток времени, она была Дельфийской Сивиллой с большого плафона Микеланджело.

Но это была неправда, это было отвергнуто и вычеркнуто из памяти, как немыслимая ошибка. Дельфийская Сивилла была слишком молода. У нее было слишком юное лицо. Иная судьба звала за собой это прелестное существо с большими, кроткими очами, эту пробуждающуюся юность.

Говорите об этом тихо, шепотом — она стала верной подругой, возлюбленной Бэлпингтона Блэпского. Нерешительная мягкость детства постепенно, день ото дня, уступала место более самостоятельному отрочеству, и он начинал ощущать потребность в женской дружбе, крепкой женской дружбе, и забывать о том, как он нуждался в защите.

В боевых доспехах она скакала рядом с ним по лесной чаще Волшебной Страны, его подруга, его товарищ, любимый товарищ. Никаких глупостей, никакой кислятины, никакой такой ерунды. Она владела шпагой так же искусно, как он; она могла метнуть копье почти так же далеко. Но все-таки не совсем. Она была бесстрашна, даже слишком бесстрашна в этих дебрях, где приверженцы касталонского лагеря могли притаиться в любой заросли.

Бэлпингтон Блэпский проводил все больше и больше времени в ее обществе по мере того как подрастал Теодор; он говорил с ней в своих мечтах, и разговор с ней делал его мечты менее призрачными, менее ускользающими, чем прежде. Он придумывал выражения, фразы, потому что слова и образы роились в его воображении. Он рассказывал ей о днях своего изгнания, о своей таинственной дневной жизни изгнанника в Блэйпорте. Иногда это унижение представлялось им каким-то колдовством, но обычно и он и она считали, что он скрывается нарочно, что эта маскировка — временное самоотречение ради великих целей.

Никогда никому ни слова обо всем этом. Наступит время, и все откроется. А пока мы позволяем считать нас сыном этого народа, мы, мастер Теодор Бэлпингтон, известный среди своих сверстников и приятелей под именем Фыркача или Бекаса.

Но в кровати, когда он уже почти засыпал, как близко она наклонялась к нему! Подушка становилась ее рукой. Она дышала рядом с ним, не говоря ни слова и все же радуя его сердце. И никакой такой пошлятины, знаете, ничего даже похожего на это, а просто так.

4

БОГ, ПУРИТАНЕ И МИСТЕР УИМПЕРДИК

Разговоры в этом изысканном доме в Блэйпорте были обильны, многообразны и возбуждающи. Ничто не считалось запретным для маленького слушателя. «Для чистого все чисто,— говорила Клоринда.— То, что нас не касается, не оставляет в нас следа». Да и потом, стоит ли ломать себе голову из-за этого? Теодор пользовался по своему усмотрению и распоряжался, как умел, тем, что он слышал, и тем, что он извлекал из всевозможных книг, которыми изобиловал дом.

Каждый день эта юная жадная мозговая кора впитывала тысячи новых вещей, слов, фраз, представлений, звуков и сплетала десять тысяч новых связующих нитей между новым и старым. Она инстинктивно делала все, что могла, чтобы получить цельную картину окружающей ее вселенной.

Поверх этой вселенной и сквозь нее текли маленькие события жизни Теодора, случаи и происшествия на улице и на пляже, случайные домашние уроки, вымученные и якобы преследующие какую-то цель,— уроки гувернанток, школьных учителей, книги, картины, теперь уже и журналы и газеты, и потоки и каскады домашних разговоров.

Разговоры велись о музыке, о варягах и падении Западной империи, о новых книгах, о старых книгах, которые Раймонд издавал и к которым он писал предисловия, о красоте и богатстве слов и фраз, о новой и старой поэзии, о манерах и нравах, о недостатках отсутствующих и об отличительных свойствах присутствующих, о нежелательности новых веяний в искусстве, литературе и нравах, веяний, которые возникли уже после тех великих дней, когда Раймонд был гением новаторства в кафе Рояль (но Клоринда считала, что новое все же допустимо). Затрагивали даже и религию. Но законов и текущей политики не касались, так как это считалось чем-то слишком уж злободневным, газетным и поверхностным, чтобы быть достойным внимания. А коммерция — это грязное дело.

В те дни большинству мальчиков и девочек внушалось, что всякое представление о вселенной всецело связано с богом. Они поручались ему непрестанно; их поучали страшиться его любви примерно так же, как и его гнева. Он сотворил их, он сотворил все; он всюду. Или, во всяком случае, он где-то невообразимо, чудовищно близко, прямо над головой. Только по мере того как они становились старше, они начинали постигать его как Великого Отсутствующего. Он сотворил их — он сотворил все. Да, но потом они постепенно уясняли —он, по-видимому, исчез. Он не был повсюду. Он не был нигде. Он давно покинул небеса для бесконечного пространства. Он просто исчез.

Но никогда этот бог не имел какого-либо определенного облика в мозгу Теодора. По сравнению с отчетливым и конкретным Бэлпингтоном Блэпским бог существовал только в виде какой-то темной угрозы на заднем плане. По сравнению с прелестным лицом и живительным присутствием Дельфийской Сивиллы он был чем-то бесконечно далеким. Прислуга и одна из гувернанток делали попытки облечь плотью в сознании Теодора это слово

«бог», эту великую идею, на которой, как принято считать, мир веками зиждет свою веру. При этом они особенно напирали на то, что «он может отправить тебя в ад», и на прочие теологические обстоятельства; но даже бесхитростная вера слуг теряла свою силу убедительности в те дни. Ад в представлении Теодора входил в коллекцию пейзажей в виде знойной песчаной пустыни среди голых скал, с резвыми бесами и весьма приятными для глаз тоненькими ниточками вертикального дыма, выходящего из-под земли. Но это было далеко не так устрашающе, как кратер Везувия или Мальстрем. Те были действительно ужасны.

И никогда мысль о Всевидящем Оке не врывалась угрозой в скрытую жизнь Теодора. Только позднее, когда он уже был молодым человеком, он постиг тайное значение своего собственного имени.

В школе ему приходилось заучивать библию стих за стихом и даже готовить к экзамену книгу Царств и Чисел, но в библии не столько говорилось о боге, сколько о евреях; а Раймонд внушил Теодору не очень лестное представление о евреях.

История Нового завета не трогала неподготовленное сердце Теодора, и на картины распятия, даже репродукции величайших мастеров, он смотрел с ужасом и отвращением. Он поскорей переворачивал их и спешил перейти к Венерам и Сивиллам. Для него с самого начала это была мифологическая история, и притом очень неприятная. Выходило, что сын был пригвожден таким варварским образом к кресту своим собственным отцом. Потому что этот отец был недоволен тем, что мир, созданный им, погряз во грехах. Ужасный рассказ, настолько же омерзительный, насколько бессмысленный. У Теодора при одной мысли о нем начинали ныть ладони. Он вызывал у него неприятные чувства к Раймонду. Однажды, когда Раймонд вешал какую-то картину, Теодора объял ужас, и он, вместо того чтобы подавать ему гвозди, выбежал из комнаты. Он рос почти совершенно безбожным мальчиком, безбожным и чуждающимся мысли о боге, и только уже гораздо позднее у него начал пробуждаться некоторый интерес к божественному.

Однако в этом маленьком центре культуры и интеллектуальной деятельности терлось достаточное количе-

ство религиозной публики, и даже профессионально-религиозной. Были два-три священника, которые, по-видимому, находились в прекрасных отношениях с Раймондом, пухлые, гладкие мужчины с приятными манерами и привычкой рассеянно и небрежно похлопывать маленьких мальчиков, мужчины, любившие плотно поесть и выпить и носившие золотые кресты и медали и прочие забавные штуки на лоснящемся черном брюшке, и был Енох Уимпердик, видный новообращенный церковник, ныне ревнитель католицизма, маленький, круглый, свирепо улыбающийся человечек с вечной одышкой, перемежающейся ехидным хихиканьем. Он весь оброс жиром, который как-то не шел к нему. Казалось, он носил жир гораздо более крупного человека. Жир висел у него на шее, набухал над кистями рук, голос его звучал так, словно и горло у него было забито жиром, сквозь толщу которого с трудом пробивался звук, и, казалось, даже глаза у него заплыли жиром—их точно выпирало из орбит. Волосы у него были черные, жесткие и очень густые там, где им полагалось расти, но они сплошь и рядом торчали там, где им вовсе не полагалось. Брови у него были, как иступленные зубные щетки, пропитанные иссиня-черными чернилами. Казалось сомнительным, брил ли он верхнюю губу; по всей вероятности, он просто подстригал растительность ножницами; а про его синие щеки и подбородок можно было бы сказать, что они еле выбриты в отличие от гладко выбритых. Его неровные шустрые зубы, казалось, что-то подстерегали, а не выполняли свое естественное назначение в его широко улыбающемся рту. Клоринда за его спиной говорила, что ему следует пореже улыбаться или почаще чистить зубы. Но она с ним отлично ладила. «Вы бесподобная атеистка,— пыхтел он.— Я буду молиться за вас. Вы латинянка, и мыслите вы логически, нам с вами не о чем спорить. Вы католик отрицающий, а я католик утверждающий. Переходите на мою сторону».

«Бесподобный» было его отличительное словцо, он привез его с собой в Блэйпорт, и оно привилось в доме Теодора. Раймонд подхватил его, но чуточку переиначил; он произносил его с полуулыбкой, с легким взрывом чего-то похожего на смех и слабым привкусом отрицания — «бээспадобный». Клоринда никогда не прибегала

к этому слову. Но понадобился год, если не больше, после того, как визиты мистера Уимпердика прекратились, чтобы слово «бесподобный» заняло свое нормальное место в языке.

Из разговоров вокруг да около и тех, что возникали после ухода мистера Уимпердика, в сознании Теодора прочно укоренилась мысль, что в мире существует совершенно твердое и четкое подразделение на то, что в нем бесподобно и что нет. Одно из видных мест в категории бесподобных вещей занимало вино, при условии, чтобы оно было красное и в изобилии. Лучше всего было, когда оно появлялось внезапно, по мановению руки, под звуки импровизированной песни. Бесподобен был хороший эль (но не явное пиво), бесподобны были все рестораны. Бесподобна была дубовая мебель, жар горящих поленьев в камине и великое обилие пищи, в особенности дымящейся в котле или зажаренной на вертеле.

Женщины в легкомысленном и бесцеремонном, то есть, собственно говоря, в непристойном смысле, входили в категорию бесподобностей Уимпердика. В особенности пышнотелые и чуточку «распущенные». Вы пылко подмигиваете им насчет чего-то секретного, чего, признаться, вовсе и не было. А потом похлопываете их и говорите, чтобы они убирались вон. Этакие вертихвостки! Но здесь, у взрослых, было, по-видимому, какое-то расхождение в понятиях. Клоринда придерживалась передовых взглядов, а Раймонд—крайне чувственных. «Чувственный» было одно из его любимых словечек. Он всегда цитировал Суинберна и распространялся о «божественном сладострастии». Но Клоринда никогда не говорила о сладострастии и рассуждала преимущественно о свободе. Уимпердик, со своей стороны, обнаруживал нечто близкое к ненависти по отношению к Суинберну. Сдержанной ненависти. Он говорил с видом великодушной терпимости, что Суинберн — бесподобный атеист, и, по-видимому, раздражался, когда с его определением не совсем соглашались. Но Раймонд, находя Суинберна совершенно «бээспадобным», упивался им, возвращался к нему и цитировал его трехфутовыми столбцами.

Уимпердик не любил рассуждать о женщинах. Он размахивал своими короткими руками, давая понять,

что все это он допускает, что он совершенно трезво относится к этому вопросу, что и церковь совершенно трезво и терпимо относится к этому вопросу, никакого дурацкого пуританства, ничего даже похожего на это, но что он предпочитает не вдаваться в частности. Церковь никогда не проявляла суровости к плотским грехам, например, к тому, чтобы купаться безо всего или смотреть на себя *раздетым в зеркало, и другим более очевидным* прегрешениям. Плотские грехи — это простительные грехи. Важные грехи — это грехи гордости, такие, например, как не соглашаться с Уимпердиком и не признавать католическую церковь.

Католическая церковь, по-видимому, была верхом бесподобности. Так же, как и средневековье, великие мастера, войска со знаменами и кони в сверкающей сбруе. Да, все это было бесподобно. И еще гобелены. Но так можно было продолжать до бесконечности. Мальчик собирал все это вот так же, как иногда на прогулках он собирал букеты цветов. Это был смешанный, но яркий и заманчивый букет.

А против этой бесподобной смеси стояли противники. Это были прогресс, протестантство, фабричные трубы и безжалостные машины, к которым с чувством глубочайшего омерзения Теодор относил и ненавистную неприступность математики, а еще евреи и пуритане. В особенности пуритане. И либералы, эти проклятые либералы! И Дарвин с Хаксли.

Теодор смутно представлял себе, что такое пуритане, но ясно было, что это нечто омерзительное. Когда-то они обрушивались на цветные стекла и грозили своими каменными физиономиями всем бесподобным возможностям жизни.

Искусство и красоту они преследовали злобной ненавистью. Теодор, гуляя на эспланаде, думал иногда, что бы он почувствовал, если бы вдруг неожиданно встретил пуританина. В драпировочной мастерской Рутса был один трупоподобный человек, который страдал какой-то желудочной болезнью и всегда ходил в черном, потому что он был похоронных дел мастер. Теодору казалось, что, если этот человек и не был в действительности пуританином, он был очень похож на пуританина. Католики открыли Америку, но пуритане в Северной Америке и

либералы в Южной Латинской сделали из нее то, во что она превратилась теперь.

Так, католицизм вначале представлялся Теодору чем-то вроде похода, бесподобной битвы всего, что есть в мире красочного и живописного, против евреев, пуритан, либералов, прогресса, эволюции и всех этих темных и страшных сил. Битва эта должна быть выиграна в конце концов, потому-то так всегда и хихикал Уимпердик. Как некое подспудное течение в этой доблестной борьбе участвовали плотские грехи, бесподобные, если вы не слишком высоко ставили женщину и готовы были проявить снисходительность к мужчинам, а за всей этой католической процессией, непостижимо связанная с ней и никогда явственно не упоминавшаяся Уимпердиком, никогда даже бегло не упоминавшаяся им, существовала эта странная тайна, этот вызывающий содрогание ужас, это Распятие; Сын, пригвожденный здесь на земле и, по-видимому, навсегда покинутый Великим Отсутствующим. И, пожалуй, лучше о нем совсем не говорить. Вот если бы он только не видел его с этими ранами на картине Кривелли. Это мешало быть всегда заодно с «беспо-одобностями» Уимпердика.

Так доходило все это до Теодора. Искаженное, перепутанное, но так оно доходило до него. Религия, католики и пуритане боролись за владычество над миром. Над ним, чуть виднеясь во мгле, сочилось кровью распятие, а в бесконечной дали скрывалась безучастная спина Великого Отсутствующего...

Но как бы там ни было, на переднем плане было искусство, литература и изысканные еженедельники.

Теодор никогда не мог охватить все это сразу. Может быть, это так не вязалось одно с другим, что никто не мог охватить все это целиком. Но он ломал себе голову то над одной, то над другой загадкой этого великого ребуса. Он изо всех сил старался свести воедино все, что изрекали Раймонд, Клоринда, Уимпердик и другие, потому что у него было несомненное тяготение к связности. Выходило, что кто-то ошибался...

— Папа,— однажды сказал он,— ты католик?

— Я? Ну, конечно, католик, я полагаю, да.

— Но ведь католик — это крест, пресвятая дева и все такое?

— Ну, не такой уж я образцовый католик, в этом смысле — нет.

— А ты пуританин?

— Боже упаси, нет!

— А ты христианин?

Раймонд повернулся к нему и пристально посмотрел на него задумчивым улыбающимся взглядом.

— Ты не слушал ли кого-нибудь из этих проповедников на пляже, а, Теодор? Похоже, что да.

— Я просто думал,— сказал Теодор.

— Брось,— сказал Раймонд.— Подожди еще год или два, так же вот, как курить.

И потом Теодор слышал, как Раймонд спрашивал Клоринду, кто это, уж не прислуга ли, пичкает мальчика религией.

— Я не желаю, чтобы ему забивали голову такими вещами,— сказал он.— Мальчик с его складом ума может принять это слишком всерьез.

Как это надо было понимать?

Трудная задача, и отнюдь не привлекательная.

И в то же время это имело, по-видимому, какое-то значение, и довольно-таки угрожающее. В смысле ада, например... Это сбивало с толку, и в этом было что-то неприятное.

А ну его! Стоит ли беспокоиться об этом? Еще будет время. Подождем с этим, как сказал Раймонд. Мысли скользили прочь с величайшей готовностью, и все это проваливалось куда-то в глубину.

Леса Блэпа поднимались, высокие, зеленые, отрадные, и так приятно было вернуться к ним и скакать от опушки к опушке рядом с милой сердцу подругой с высоким челом и спокойными ясными очами.

5

У МАЛЬЧИКА ЕСТЬ ВКУС

Но если религия представляла собой не что иное, как несуразность, недоумение, скуку и какую-то смутную, отдаленную угрозу, искусство — в этом маленьком домике в Блэйпорте — было могущественной реальностью, и еще больше — разговоры об искусстве.

Вы восхищались, защищали, нападали и изобличали. Вы подстерегали и разбивали насмешками. Глаза блестели, щеки пылали. Сюда входила литература — поскольку это было искусство. Социализм — это было движение во имя реабилитации искусства, движение, несколько обремененное и осложненное суровой педантичной четой Уэббов, пуритан, конечно. Такой-то или такой-то критик был «отъявленным негодяем», а шарлатаны были словно сосновый лес: так тесно и высоко они росли. Здесь были «неучи», и «спекулянты», и «торгаши» и «болтуны», и «фокусники», и целая обширная, разнообразная фауна в этом мире искусства. Здесь были субъекты, которые пытались сбыть анекдоты за новеллы и выдавали сантименты за чувства. Здесь был Джордж Мур, этот, разумеется, был хорош, и Харди, который, пожалуй, был не очень хорош. Джордж Мур утверждал, что он не хорош. И Холл Кэйн и миссис Гэмфри Уорд. Ну, это были просто чудовища. Теодор к четырнадцати годам уже совсем запутался в своих привязанностях. Он был социалистом, приверженцем средневековья[1]. Он считал машины и станки дьявольщиной, а Манчестер и Бирмингем — собственной резиденцией дьявола. Он мечтал когда-нибудь увидать Флоренцию и Сиенну.

Вкус у него был развит не по годам. Он изрекал суждения в стиле, весьма напоминавшем стиль Раймонда. Как-то он сказал, что, когда читает «Королеву фей» Спенсера, он чувствует себя, как муха, которая ползает по узору красивых обоев, по узору, который никогда целиком не повторяется, но, кажется, вот-вот повторится. Это было оригинальное сравнение, и им очень восхищались. Он действительно очень старался одолеть «Королеву фей», и это сравнение пришло к нему как-то раз, когда он, лежа утром в кровати, отвлекся от этого шедевра, наблюдая за мухой, ползающей по стене. Но следующую свою остроту насчет Уильяма Морриса, что это старый дуб, которого разве только резчик по дереву и может по-настоящему оценить, он, стремясь повторить свой триумф, выкопал из какого-то старого номера «Сатерди рэвью».

[1] То есть придерживался системы взглядов Уильяма Морриса.

Глядя на картину Уотта «Время, Смерть и Страшный суд», он спрашивал усталым голосом: «Ну, о чем это все?» Он скрывал свое тайное пристрастие к Берлиозу, Оффенбаху (ах, эта баркаролла!) и изучал девятую симфонию Бетховена на пианоле, пока Клоринда не вышла из себя и не приказала ему прекратить это. Он благодушно критиковал архитектуру в Блэйпорте и моды в блэйпортских магазинах. Он выпросил две японские гравюры, чтобы повесить их у себя в спальне вместо «Мадонны» Рафаэля, которую он находил «скучной». Из эстетических соображений он не носил воротничков и ходил в школу в оранжевом шарфе. Он рисовал декоративные виньетки в стиле Уолтера Крэна на тетрадях, которые выдавали в школе для математики. Ко дню своего рождения, когда ему должно было исполниться четырнадцать лет, он попросил, чтобы ему подарили хорошую книгу о трубадурах.

Даже Раймонд признал:

— У мальчика есть вкус.

ГЛАВА ВТОРАЯ

РЫЖЕВОЛОСЫЙ МАЛЬЧИК И ЕГО СЕСТРА

1

НЕЧТО В СКЛЯНКАХ

В один прекрасный день, вскоре после четырнадцатилетней годовщины своего рождения, Теодор завязал знакомство с совсем иного рода мальчиком и заглянул в совсем иной мир, нисколько не похожий на тот, в котором он рос. И, однако, этот мир был почти рядом, не больше мили от его дома. Он обретался недалеко от пристани Блэйпорта, там, где скалы скромно возвышаются на тридцать, а то и на сорок футов над каймой глинистого песка, где причалено большинство блэйпортских лодок.

Портовая жизнь давно замерла в Блэйпорте. Он сохранил только флотилию весельных лодок и маленьких рыбачьих шлюпок, которые время от времени выезжают на ловлю макрели или возят туристов на рыбную ловлю «патерностером». Приезжих здесь привлекают мол, эспланада, хороший песчаный пляж и какая-то особенная мягкость воздуха. Река Блэй впадает в каменистый заросший морской рукав, который наполовину опоясывает город и делает его почти полуостровом. Рукав извилистый, живописный, а за ним пески, сосновая поросль, сосновые леса и дощечки с надписями «Ходить воспрещается». Чуть-чуть подальше лежит остров Блэй, куда попадают через мост, с западной стороны. Остров Блэй кишит москитами. Там есть устричные отмели, а за ними маленькие деревушки. Там процветает ловля омаров. Маленькие двуколки, запряженные пони, возят устриц и омары через мост на станцию Пэппорт.

Морской рукав и пески — хорошие места для одиноких странствований. Едва только город остается позади, Теодор сбрасывает с себя маску, и Бэлпингтон Блэпский начинает жить своей таинственной, непостижимой жизнью. Жизнь эта отличается разнообразием. Иногда Бэлпингтон Блэпский бывает нормального человеческого роста — одинокий юноша, скитающийся в поисках неведомого или идущий на свидание. Иногда он, если можно так выразиться, покидает себя, и тогда он способен уменьшаться до любых размеров. Камни превращаются в большие острова или в гряды гор, вздымающихся над песчаной пустыней, по которой движутся армии лилипутов. Раковины на камнях — это хижины колдунов или палатки воинов. Здесь попадаются места, сплошь усеянные белыми, плоскими и очень хрупкими костями — во всяком случае, это что-то очень похожее на тонкие, высохшие кости,—и всюду разбросаны маленькие, легкие коробочки. Такие чудные коробочки — трудно было даже представить себе, что бы это такое могло быть. Может быть, эти разбойники прятали в них свои сокровища?

Всякие чудеса могли происходить под водой, в расщелинах камней среди колеблющихся водорослей. Ибо Бэлпингтон Блэпский обладал чудесным свойством жить под водой, когда ему вздумается, и отважно проникал в эти убежища, откуда стремительно разбегались креветки, и там он сражался с чудовищами-крабами и одолевал их своими сильными руками. Он захватывал пальцами их клешни так, что они не могли пошевельнуть ими, и выворачивал их решительно и беспощадно, пока они не отламывались. Тогда крабы смирялись и становились его рабами. Или Бэлпингтон снова принимал свой естественный облик и прислушивался к необычайным вестям из Блэпа, которые приносили ему стремительные морские чайки. Их крики и круги, которые они чертили в воздухе,— это, видите ли, был особый код. И почти всегда Бэлпингтон, поглощенный своими мечтами, тихонько напевал про себя какие-нибудь обрывки арий — Баха, Бетховена, Оффенбаха, Цезаря Франка.

Человеческие существа были помехой. Они привлекали, отталкивали и заставляли его держаться настороже. Они всегда возвращали ему его обычный вид, и он становился Теодором Фыркачом — Бэлпингтоном в изг-

нании, пока не обгонял их и не оставлял далеко позади. В этот знаменательный день среди обычного окружения на пляже ему попался молодой, одетый в черное пастор, который, держа в руках башмаки и носки, бродил вдалеке по песку, у самого края подернутой рябью воды; потом двое влюбленных, укрывшихся среди камней, разгоряченные и смущенные, она в муслиновой шляпе, съехавшей совсем набок; попозже появились две пожилые дамы с большими бледными зонтиками, с альбомами для рисования, с акварельными красками, кисточками и складными стульчиками, подыскивавшие, по-видимому, «красивый пейзажик» для этюда. Они блуждали врозь, несколько растерянно, склоняли голову набок и время от времени сбрасывали свою артистическую снасть куда-нибудь на сухое место и примеривались к пейзажу, чертя по воздуху руками. Это было похоже на танец. Теодора смутно потянуло присоединиться к их танцу, подойти к ним под предлогом, что он хочет дать им совет и оказать помощь, но он поборол это желание. Вдали, в поле зрения, появился рыжеволосый мальчик.

Его голова высовывалась из-за гряды скал, двигаясь вверх и вниз и поворачиваясь из стороны в сторону. Он, по-видимому, был всецело поглощен тем, что делал. Что бы он такое мог делать?

Теодор изменил свой маршрут, чтобы подойти к нему за гряду скал. Мелодия, которую он напевал про себя, замерла, потом снова вернулась и снова замерла в то время, как он предавался своим наблюдениям.

Рыжеволосый мальчик был выше и худее Теодора; вправду сказать, это был довольно нескладный мальчик; одет он был в синюю блузу, очень грязные серые фланелевые штаны, а на ногах у него были полотняные туфли, надетые прямо без носков. Он производил впечатление тринадцатилетнего подростка, вытянувшегося не по летам, а если судить по росту, его можно было принять и за шестнадцатилетнего. Волосы у него были всклокочены, высокий лоб переходил в крутое надбровье с густыми светлыми бровями, которые нависали у него над глазами, а светлые ресницы, казалось, задерживали его взгляд, делая его еще более сосредоточенным. Он все время хмурился; таков был склад его лица. В руках у него был садовый совок, и он то и дело загребал им

песок, подносил его к глазам и внимательно разглядывал.

Иногда он высыпал все это. Иногда он бежал с какой-то находкой к стеклянной банке с грязной морской водой и пополнял ее содержимое, и, по-видимому, эта банка была центром всех его операций. Затем он шел обратно копать песок в каком-нибудь другом месте.

На плоском камне ближе к обрыву сверкали на солнце еще шесть или семь банок, выстроенные в ряд, некоторые с водой, некоторые пустые.

Теодору все эти процедуры казались соблазнительно загадочными. Что это — игра? У него была инстинктивная привычка уважать фантазии других и не глазеть на людей со слишком назойливым любопытством. Он продолжал свой путь по камням с сосредоточенным видом, не подходя слишком близко. Он поймал себя на том, что напевает эту «Баркароллу».

Но вот рыжеволосый мальчик оторвался от своих раскопок и поглядел на Теодора приветливо-лукавым взглядом. Теодор весь углубился в созерцание моста, видневшегося вдалеке у острова Блэй. По мосту ехали три повозки сразу!

— Эй! — окликнул рыжеволосый мальчик.

Какое-то смутное побуждение заставило Теодора прикинуться, что он не слышит.

— Эй! — повторил рыжеволосый мальчик несколько громче.

Теодор разрешил себе заметить его присутствие.

— Хэлло,— сказал он и подошел поближе с дружеским видом.— Вы что-то ловите?

— Собираю коллекцию видов,— поправил рыжеволосый мальчик.

— Каких видов?

— А вот исследую их,— сказал рыжеволосый мальчик.— Рассматриваю их в лупу. У меня есть сложный микроскоп.

Это была неведомая страна. Теодор позволил себе обнаружить проникновенное неведение.

— Почему сложный? — спросил он.

— Масса линз и прочих штук. Вы никогда не видели такого микроскопа? Вещи, которые еле видно простым глазом, видишь вот такими большими.— Он изобразил

увеличение размера, раздвинув руки по крайней мере на фут.

— Любопытная наука! — сказал Теодор таким тоном, каким мог бы сказать Раймонд.

У рыжеволосого мальчика было широкое веснушчатое лицо, в котором было что-то знакомое, только Теодор не мог определить, что именно. Глаза со светлыми ресницами под нависшими бровями оказались синие, и они смотрели теперь на Теодора с настойчивой дружелюбностью. Руки и ноги у рыжеволосого мальчика были красивой формы, но большие и тоже усеянные веснушками. «Голос у него, точно кошачий мех»,— подумал Теодор.

— Биология! — подхватил мальчик.— Только этим я хотел бы заниматься и ничем другим.

— Просто собирать коллекции видов?

— Ну, изучать их. Узнать о них все.

— А есть книги о такого рода вещах?

— Надо самому доискаться. Кому нужны книги?.. Вот разве что... публикации...— сказал рыжеволосый мальчик.

Это была не просто неведомая страна; это был другой мир. Публикации? И все же в этом рыжеволосом мальчике Теодор угадывал что-то очень родственное себе. Он, правда, собирает коллекции видов, но это тоже игра в собирание коллекций и в открытия.

— Хотите посмотреть в микроскоп? — спросил рыжеволосый мальчик.

Теодор отвечал, что он ничего не имеет против.

Действительно ли существует такая штука, как микроскоп?

Предложение рыжеволосого мальчика было сделано, пожалуй, не без задней мысли. Его поведение выдавало, что это был заранее обдуманный план. Но в то же время он разговаривал с какой-то естественной непринужденностью. Он живет, сказал он, вон там, над обрывом, в конце города такой новый дом, с длинным белым флигелем. Там *помещается лаборатория*. Его отец, профессор Брокстед, из колледжа Кингсуэй, работает здесь во время каникул и когда приезжает на уикэнд. И он, когда вырастет, тоже будет профессором. Когда он уже сделает множество всяких открытий. Вот для этого он

и собирает коллекцию видов. Он принес с собой восемь банок на пляж, но что стоит принести с собой восемь пустых банок в мешке, а вот каково тащить их обратно полные! Так вот, если Теодор хочет посмотреть по-настоящему в микроскоп и поможет ему нести банки, «мамочка» — юный Брокстед спохватился и сказал «моя мама» — напоит их обоих чаем.

Теодор задумался. Клоринда может хватиться его и подымет страшный шум, что он опять опоздал к завтраку и так ужасно напугал ее и измучил своим невозможным поведением, но может статься, что она и вовсе не заметит его отсутствия. Он решил рискнуть и отправиться с юным Брокстедом.

2

ОБИТЕЛЬ МИКРОСКОПА

Это была необычная атмосфера для Теодора. Так же, как Тедди Брокстед был для него совершенно необычайным существом.

Мир Теодора был довольно ограничен: Блэйпорт, редкие поездки в Лондон, а большей частью родительский дом в Блэйпорте. Все, с чем он сталкивался в школьной среде, было бесцветно, уныло, затаскано и банально. Он иногда ходил в гости к школьным товарищам, и у всех у них семейная обстановка производила впечатление филистерской, пышно или уныло филистерской,— безвкусное нагромождение викторианской мебели и безделушек, лишенных изящества и значения. Но тут обстановка не была филистерской. В ней было какое-то достоинство. И, однако, здесь не чувствовалось Искусство. Это было какое-то особое достоинство. Здесь были любопытные вещи, но они не были ни красивы, ни гармоничны. Они были страшно любопытны. Они говорили. Они пререкались друг с другом.

Некоторые сочетания цветов показались ему просто плохими. Стены в передней были отвратительного кремового цвета, такой цвет можно выбрать только второпях. Кроме того, на нем проступал какой-то бледный бессмысленный узор, так называемый «орнамент», это уже совсем никуда не годилось. Голые зеленовато-серые

стены столовой, в которой они пили чай, были холодны, как математика. Бархатные зеленовато-серые шторы не согревали ее. Теодор во всем этом ощущал какую-то слепоту к искусству, если не полное равнодушие. А многочисленные картинки и рисунки, развешанные повсюду, были отнюдь не декоративны. Ему вспомнилась отцовская фраза: «Этот дом не обставлен. Вся мебель в нем просто распихана как попало». Правда, здесь было много старинных цветных ботанических эстампов, висящих в рамках под стеклом,—они были очень эффектны своими отчетливыми глубокими тонами, но большой снимок луны в углу выглядывал зловеще, как череп, а картина неизвестного художника — зыбучие пески в Сахаре, освещенные солнцем,— хоть и бросалась в глаза и даже была не лишена некоторого очарования, несомненно, принадлежала к числу тех, про которые Раймонд, не задумываясь, говорил: «Набросок». Миниатюрные бронзовые фигурки каких-то исчезнувших рептилий, казалось, попали сюда из какого-нибудь музея, а большая серебряная каракатица, «преподнесенная профессору Брокстеду ко дню свадьбы от его класса»,— из какого-нибудь нечестивого капища. От лаборатории никакой декоративности не требовалось, и она больше понравилась Теодору. В ней было много света, как в хорошей студии, масса склянок с какими-то штуками, длинный стол, белый умывальник, стеклянный шкаф, множество маленьких выдвижных ящичков из светлого дерева и два внушительных, с опущенными лебедиными шеями микроскопа, которые как будто задумались; в них была строгость, которая невольно привлекала. За окном стояло нечто вроде аквариума, в котором все время струилась вода, и в нем плавали какие-то живые существа. На стенах были пришпилены квадратные листочки бумаги с нанесенными на них черными чертами, а в углу на столе лежала целая кипа бумаг.

— Нам здесь ничего нельзя трогать,— сказал Тедди с нескрываемым благоговением.— Это папины материалы. Мой уголок в этой комнате в том конце.

Они сразу прошли через все комнаты прямо в лабораторию, и Тедди стал показывать Теодору чудеса микроскопа, обнаружив при этом полное знание дела. Теодор научился смотреть, не закрывая другой глаз и не

прикрывая его рукой сверху, и по-настоящему почувствовал всю сказочность этих странных, просвечивающих, бессмысленно суетящихся существ. Он удостоился чести исследовать каплю Теддиной крови и поглядел на такие чудеса, как почечные клубочки и потовые железы, раскрашенные и препарированные. Они были извлечены из подкожной клетчатки и внутренностей какого-то ныне искромсанного на куски человеческого существа. Еще ему показали печень, которая когда-то была ответственна за дурные настроения какого-то человека. Все это было страшно ново для Теодора, и ему было очень трудно сделать какое-нибудь уместное замечание. Но, во всяком случае, он обнаруживал понятливый интерес, а говорил большею частью Тедди. Если Теодор поглощал бесконечные разговоры об искусстве,— Тедди слушал обсуждения профессорских докладов, и это, разумеется, давало ему перевес в лаборатории. Но Теодора осенило видение.

— Но ведь это же не только в микроскопе, правда? Это везде, на каждом шагу, на протяжении бесчисленных миль — в слякоти и канавах, во всем мире,— сказал Теодор, стараясь не упустить свою мысль и удержать это мгновенное видение увеличенного микромира, кишащего необыкновенными маленькими существами.— Их, должно быть, миллионы и миллиарды.

Тедди наклонил свою рыжую голову набок, словно этот взгляд на вещи был чем-то совершенно новым для него.

— Конечно,— согласился он, подумав минутку.— Да, они везде.

Не только под объективом микроскопа, но везде. Но вот почему Теодору пришла в голову эта мысль, а не ему самому? Почему ему никогда не приходило это в голову?

Он посмотрел на пол, в окно, на стволы и ветви деревьев и потом снова в лицо Теодору.

Секунду или больше сознание обоих было подавлено тем, что мир, окружающий их,— это просто конспект материальной множественности вселенной, в которой каждый видимый предмет словно корешок переплета необъятной энциклопедии. Снять переплет, и миллионы вещей становятся явными. Привычный мир исчезает, и на его месте выступает кишащая бесконечность клеточек и атомов, волокон и кровяных шариков. Но это было

слишком для четырнадцати лет — как, пожалуй, и для большинства из нас,— и прежде, чем они успели пройти расстояние, отделявшее лабораторию от жилых комнат, бездна, скрывающаяся под этой видимой вселенной, снова закрылась, и лужи, сырость и грязь снова стали просто лужами, сыростью и грязью, а вещи, которые видно под микроскопом, просто занятными, но совершенно незначительными штуками, которые видишь только под микроскопом и нигде больше...

Но хотя ни один из мальчиков не заглянул больше чем на мгновение в эту бездну, которая таится за нашей действительностью и куда врезается пытливый объектив микроскопа, Теодор, во всяком случае, почувствовал угрозу своему вымышленному и обособленному миру.

Он сначала уступал инициативе этого Тедди. Ему было так интересно и любопытно, что он как-то удивительно забыл о себе, о своем собственном столь значительном мире. Теперь его мир снова возвращался к нему — протестующий, восстающий против этой чуждой, враждебной материи, вторгшейся в него. Что он представляет собой, этот оголенный, светлый, с выбеленными стенами, уверенный мир вещей, который величает себя Наукой? Который дает власть этому рыжему мальчишке показывать Теодору букашек с пляжа, точно они его собственные и не могут быть ничем иным, как только тем, что он говорит о них? Какой отпор нужно дать, чтобы восстановить собственное достоинство?

«Вот Уимпердик, тот знал бы»,— подумал Теодор и в первый раз в жизни пожалел, что не прислушивался более внимательно к тому, что говорил Уимпердик.

— Было время, когда единственные живые существа на Земле были вот такие, как эти,— сказал рыжеволосый мальчик.— Только покрупнее. От них-то и пошла эволюция.

Эволюция? Может быть, та эволюция, о которой говорил Уимпердик? И дарвинизм?

— Вы верите в Дарвина? — сказал Теодор с оттенком нарочитого удивления в голосе.

— Я верю в эволюцию,— сказал Тедди.

— Я думал, что с Дарвином уже разделались.

— Эволюция существовала до Дарвина.

— И вы верите, что мы когда-то были обезьянами?

— Я знаю это. И пресмыкающимися до того, как сделаться обезьянами, а еще раньше — рыбами. А до того — вот такими существами, как эти. Я думал, что это всем известно.

— Вот уж не знал, чтобы это уж так было известно!

— Вам надо бы послушать папины лекции. Мы проходили через эти ступени все, прежде чем явиться на свет, каждый из нас. Мы все были покрыты волосами, у нас были хвосты, сохранились зачатки жабр. От этого никуда не уйдешь.

— Я этого не знал,— должен был сознаться Теодор.

— Большинство не знает,— сказал Тедди.— Нам не преподают этого в школах. А следовало бы. Но они обходят это. Во всяком случае, стараются обойти молчанием. Как будто можно обойти молчанием вещи, которые происходят всюду каждый день. Но как бы там ни было, они вас здорово сбили с толку. Но все равно, вы не должны думать, что с Дарвином разделались. Нет. Разумеется, на первых порах он немножко ошибался. Но у кого же первые шаги бывают безошибочны?

Речь Тедди слово в слово повторяла объяснения ассистента профессора Брокстеда, пытающегося изложить понятным языком какое-нибудь научное явление смышленому, но неосведомленному студенту. Но разве Теодор мог это знать? Они вошли в светлые, но непривлекательные комнаты, и там их встретила мать Тедди, стройная, тонкая темноволосая женщина, с высоким лбом, белой кожей и синими, приветливо улыбающимися глазами. В ней не было ничего филистерского. Одета она была в очень хорошенькое, очень простое синее платье с кустарной вышивкой местного производства; она ласково упрекнула их, что они так долго возились в лаборатории, а не пришли раньше напиться чаю.

Голос у нее был такой же мягкий и приятный, как у сына. Она задала Теодору несколько вопросов. Тедди никогда не пришло бы в голову задавать такие вопросы.

Возродившееся сознание собственного «я» Теодора сразу оживилось от этих расспросов. Кто он такой, в самом деле? Он отвечал, не торопясь, подумав, сопровождая свои ответы безмолвным поясняющим комментарием. Да, он живет в Блэйпорте (Блэппорт? Блэп?). С отцом (он не упомянул о Клоринде). Его отец — это тот

самый Бэлпингтон, писатель-критик? Да. (Но не тот, настоящий Бэлпингтон.) Да, он пишет в «Санди ревью». Да, но основная его работа—это обширный труд по истории варягов. Миссис Брокстед поинтересовалась: кто такие эти варяги? Тедди знает? У Тедди все лицо вспыхнуло яркой краской, свойственной рыжеволосым с белой кожей. Этот Тедди, который столько знал всякой всячины о ракообразных, о простейших и сложных видах животных и тому подобном, по-видимому, никогда не слышал о варягах. Он явно считал бестактным со стороны матери, что она задала такой вопрос. А для Теодора это был удобный случай.

Он принялся рассказывать о варягах. Он мог рассуждать о варягах так же свободно, как Тедди рассуждал об инфузориях и микроскопических животных. Он к этому и приступил. Он бегло описал великий Северный поход норвежцев, русских, датчан и норманнов. Сорвавшись, так сказать, со своих окованных морозом земель, эти готы распространились на восток, на запад и на юг. Готы — это были мы.

По мере того, как он описывал шествие этих разрозненных отрядов, войск и флотилий завоевателей, их победы, приключения и рыцарские подвиги, он чувствовал, как Теддин микроскопический мирок отступает и делается все более и более незаметным, как ему и положено. Он скромно умолчал о той роли, которую играл Бэлпингтон Блэпский,— или, может быть, это был его отдаленный предок, теперь снова возродившийся?— возглавлявший этот поход варягов на Волгу и дальше к Черному морю и Константинополю. Набег за набегом совершали они на Константинополь, где многие из них сделались потом телохранителями византийского императора.

Когда они встретились там с английскими и фламандскими крестоносцами, оказалось, что они понимают их язык.

В передней послышались шаги. Миссис Брокстед покосилась на дверь.

Дверь отворилась. Вошла девочка лет тринадцати, самая что ни на есть натуральная тринадцатилетняя девочка — длинноногая, в купальном халатике. Она нерешительно остановилась в дверях, чуть-чуть улыбнулась и с любопытством посмотрела на гостя.

— Ты тоже опоздала! — сказала миссис Брокстед.— Маргарет, это Теодор Бэлпингтон.

Девочка кивнула и села на свободное место против Теодора. Тедди подвинул ей хлеб и масло, и ей налили чашку чая.

— Сливовое варенье! — сказала она, восхищенно повысив голос.

Но ведь Теодор видел ее тысячи раз.

У нее тот же высокий лоб, те же ласковые глаза. И в то же время это девчонка — школьница с косичками. Дельфийская Сивилла тринадцати лет! Обожает сливовое варенье. Удивительно, непостижимо!

Или она тоже носит маску?

Чепуха! Не будь ослом, Теодор. Это просто случайное сходство.

Он смотрел на нее с искренним изумлением, но она после первого взгляда ни разу не посмотрела на него и занялась хлебом и вареньем.

— Итак, значит, англичане, норвежцы и русские на севере — это все один и тот же народ — варяги,— сказала миссис Брокстед, приходя ему на помощь.— Как это интересно!

Теодор только сейчас заметил, что он прервал свой рассказ и молчит, с тех пор как появилась эта девочка.

— Да, мэм,— пробормотал он и, очнувшись, откусил кусок хлеба с вареньем. Бэлпингтон Блэпский превратился в очень неуклюжего, застенчивого мальчика, который набил себе полный рот хлебом. Это инкогнито мучило его. Он по-детски уставился на свою Сивиллу, которая прикидывалась Маргарет Брокстед, и тщетно пытался придумать какой-нибудь великолепный жест, по которому она могла бы узнать его.

— Я про вас слышала,— сказала Сивилла, кивнув ему.— Вы учитесь в Сент-Артемасской школе.

Теодор поспешил проглотить кусок, чтобы ответить. Как трудно иногда бывает управляться с этим!

— Я учусь там уже больше двух лет.

— Вы тот мальчик, который так разрисовывает свои арифметические тетради, что потом нельзя разобрать цифр.

— Я ненавижу цифры,— сказал Теодор.

3

НАУКА И ИСТОРИЯ. ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ

Это было удивительно, непостижимо, страшно увлекательно и вместе с тем как-то обидно — сидеть здесь за чайным столом. Конечно, она не Дельфийская Сивилла, а просто блэйпортская школьница, которая случайно оказалась похожей на эту богиню, и Теодор не знал, рад он или огорчен, что кто-то из смертных может отличаться таким изумительным сходством с королевой его грез. Он должен непременно посмотреть еще раз на картину, когда вернется домой (чай был превосходный, чтобы не сказать больше). Он старался показать себя блестящим юношей, каким он был на самом деле, но это оказалось очень трудно. Только судорожными усилиями он не позволял себе сорваться в бездну непреодолимого молчания, которая подстерегает всех мальчиков, когда они попадают в гости.

— И что же, это был такой обособленный народ, варяги? — спросила миссис Брокстед, выручая его, когда он уже вот-вот готов был сорваться и умолкнуть.—У них что, была где-нибудь собственная страна?

Теодор помолчал секунду, припоминая что-то, но затем снова сделался живой копией Раймонда.

— Это не выяснено,— сказал он.— По-видимому, это название относилось к скандинавам, и в частности к тем скандинавам, которые впоследствии стали русскими. Но датчане и англичане еще задолго до крестовых походов были на службе у византийских императоров.

— А ваш отец дает историю всех этих народов или только тех, что были на службе у византийских императоров?

— Это своего рода эпопея,— сказал Теодор.— У него еще только начаты отдельные куски. Он говорит, что это все разрастается. Он начал с тех варягов, что были телохранителями византийских императоров, но теперь он собирается писать обо всех варягах. И в особенности о Кануте. Канут — это его герой, поскольку в истории вообще может быть герой.

(У него мелькнула мысль, что Бэлпингтон Блэпский был знаком с Канутом. Что они были большие друзья.)

— Канут,— продолжал он, стараясь отыскать в памяти фразу Раймонда.— Ка... У Канута была империя, которая простиралась от Массачусетса до Москвы.

— В наших учебниках истории ничего нет об этом,— заметил Тедди, пользуясь случаем добавить к этому докладу единственное, что он знал о Кануте.— Канут умер в Шэфтсбери. Мы проезжали это место в автомобиле, когда ездили в Корнуэлл.

— Но он жил и там и тут в своих владениях,— сказал Теодор.— Это была необычайно громадная империя, а Шэфтсбери была ее столица. Народ стекался в Шэфтсбери из Винланда в Америке и из Нижнего Новгорода. У Лонгфелло есть поэма об этом.

— Но я никогда не слыхала, что Канут называл себя варягом,— удивилась миссис Брокстед.

— Так его называли финны и константинополи («польцы» надо было сказать, вот проклятие!).

— Это очень интересно,— сказала миссис Брокстед.

— Ему было всего сорок лет, когда он умер,— продолжал Теодор, и горечь утраты прозвучала в его голосе.— Может быть, он был не менее велик, чем Александр. Да вот не было человека, который мог бы написать о нем. Он только основал эту великую империю и умер, а потом пришли норманны, и начались крестовые походы, и некому было продолжать то, что он начал. Народы перекочевали в другие страны, начали другую жизнь. А какая это могла бы быть империя, мэм! Вы только подумайте! От Америки до России — все северное полушарие. Но мы не могли создать ее.

Маргарет через стол встретилась с ним взглядом, и, как ему показалось, сочувствующим взглядом. Поняла ли она, как Бэлпингтон Блэпский скорбел об этой исчезнувшей империи? Какую борьбу он вел, чтобы восстановить ее?

Тедди надоело слушать про этих варягов. Ему казалось, что это самый никчемный народ из всех, о которых он когда-либо слышал. И, во всяком случае, этот Теодор достаточно наговорился.

— Я показал мой микроскоп Бэлпингтону,— сказал он внезапно.— Он никогда не видал микроскопа,— добавил он.

— Я этим не интересовался,— пояснил Теодор матери и дочке.

— А это тоже очень интересно,— сказала миссис Брокстед.— Но вам, если вы интересуетесь историей и книгами, я думаю, не приходится иметь дела с микроскопом?

— Нет, мэм. Мы имеем дело с нормальной величиной, рассматриваем человеческое существо во весь его рост. Историку не нужен микроскоп. Какая польза моему отцу от микроскопа!

Тедди начал спорить с ним:

— Но как вы можете понять человека, если вы не понимаете жизни, а как можно понять жизнь без микроскопа?

— Но человек — это и есть жизнь,— возразил Теодор.— И чтобы видеть его, вовсе не нужен микроскоп.

Тедди вспыхнул от этого аргумента; уши у него стали красные.

— Я не говорил, что нельзя видеть человека, я сказал: понимать его. Как можно знать, что представляет собой человек, если не знаешь, как он устроен?

— Можно наблюдать его, смотреть, что он делает.

— Это не объясняет, как он это делает.

— Нет, объясняет. Если вы...

— Нет, не объясняет.

— История объясняет.

— История рассказывает сказки. История — это сплошь сказки. Вы не можете ее проверить. Это не наука. Это не достоверно.

— Вполне достоверно.

— Да нет же. Ваша устаревшая история...

Спор становился тягостным. Миссис Брокстед вмешалась:

— Вы давно живете в Блэйпорте, Теодор?

4

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Он возвращался домой в полном смятении чувств. Он не мог никуда поместить этих Брокстедов в том мире, который он знал, и не мог нигде поместить себя ря-

дом с этими Брокстедами. Еще труднее было представить себе, что они о нем думают. Что они говорят о нем сейчас? У него было такое чувство, как если бы кто-то сунул палку в его вселенную и все основательно перемешал. Его Дельфийская Сивилла и весь тот мир, который он создал вокруг нее, все это изменилось. Он еще не отдавал себе отчета, как велика была и в чем заключалась эта перемена.

В этот охваченный смятением мир его грез врезался неприятно обернувшийся спор, который возник между ним и Тедди. Тедди, вооруженный Наукой, Эволюцией и Микроскопом, высказал явное презрение к Истории. Самая уничтожающая вещь, которую позволил себе сказать Тедди,— это что «история не имеет никакого начала». Неприятное утверждение, когда оно подносится тебе неожиданно! По дороге домой Теодор все еще пытался придумать на это достойный ответ.

Раймонд, разумеется, начинал всегда с готов. Но в конце концов у готов есть своя история позади. Каменный век или что-то в этом роде. А до этого, верно, было еще что-то — гориллы и еще какие-то недостающие звенья, эволюция и вот эта штука. Наука сторожила в засаде Историю, а История, возвращаясь назад, попадала в эту западню на съедение Науке. Где же, в сущности, кончалась Наука и начиналась История? Обычно История, возвращаясь назад, упиралась прямехонько в цветущий эдем и сидела там себе спокойно, пока Наука не сокрушила все преграды и не обратила этот прелестный сад начала всех начал в пучину времени. Зачем уступать дорогу Науке? Зачем соглашаться, что эта пучина времени простирается без конца, без конца? Предположим, он сказал бы, что библия для него достаточно хорошее начало?

Черт возьми этого Тедди с его микроскопом! А тут еще эта Сивилла — Маргарет, которая слушала все его сбивчивые рассуждения насчет Эволюции, его неудачные ответы. И как раз, когда она только что прониклась сочувствием к этой варяжской империи, волшебному Северному королевству Раймонда... Северное королевство... окованные льдами страны, утраченные Англией... Скрытая Твердыня Севера...

Серый туман плыл над высокими башнями Блэпа, этой могущественной громады примитивной готики, «почти столь же древней, как время». Иногда казалось, что она не существует, но потом она опять начинала существовать несомненно.

Настанет, может быть, день, когда он возьмет ее туда. Она будет скакать рядом с ним по извилистому ущелью.

Он напевал про себя эту «Баркароллу».

5

НАСЛЕДНИКИ

— Почему ты не пришел к чаю? — спросила Клоринда.

— Добрый вечер, мистер Уимпердик. Я познакомился с одним мальчиком, и мы пили чай у него дома. Он мне показывал микроскоп. Страшно интересно.

Мистер Уимпердик угощался джином и виски перед обедом.

У Теодора мелькнула мысль, что он может вытянуть кое-какие полезные возражения из Уимпердика. Присутствие этого джентльмена внезапно сделало его сторонником науки в сегодняшнем споре.

— Замечательный микроскоп! И мы разговаривали о Науке, об Эволюции и тому подобном. Этот мальчик — сын профессора Брокстеда.

— Знаменитый маленький профессор Брокстед из Ассоциации рационалистической прессы,— сказал Уимпердик.— Профессор Брокстед из колледжа Кингсуэй.

Клоринда задумчиво посмотрела на сына. Ей пришла в голову совершенно неожиданная мысль. Через какой-нибудь год-два — как быстро летит время! — Теодор будет взрослым молодым человеком. Чтобы отогнать от себя это неприятное открытие, она заговорила с ним, как с мальчишкой, каким он и был.

— Постарайся привести свой костюм в порядок, а то можно подумать, что ты в нем катался по земле. Пригладь волосы. Поправь галстук. И тогда можешь прийти обедать и рассказать нам все.

Теодор ужаснулся, взглянув на свое отражение в зеркале. Растрепанные темные вихры свисали на лоб,

а сзади в волосах торчал какой-то пух. Нос у него был ужасно красный. Рот красный, расплывшийся. Что за рот у него! Его оранжевый галстук съехал набок.

Боги! И она смотрела на это?

Когда он сошел к обеду, Клоринда поразилась, какой у него приглаженный вид. У него даже было что-то вроде пробора на голове. И — ей пришлось посмотреть дважды, чтобы убедиться,— руки у него были чисто вымыты! Он почувствовал, что она заметила все это, и сердце у него сжалось. Но она не сказала ни слова. У нее у самой сжалось сердце. Точно она нашла у себя седой волос.

— Итак, вы посетили знаменитого, прославленного профессора Брокстеда? — спросил Уимпердик.

— Я видел его лабораторию,— сказал Теодор.

— Что же она собой представляет?

— Чистое белое помещение. Окна как в оранжерее. И микроскоп.

Они пожелали узнать все подробно.

Он продлил их ожидание как можно дольше и затем постарался выставить себя сторонником этого, по-видимому, малораспространенного, но увлекательного учения об эволюции. Начнут ли они спорить с ним, попытаются ли обратить его снова в какое-то свое учение, которому они следуют? Но они пренебрегли этим его личным отношением к делу. Их, по-видимому, мало интересовало, верит он в эволюцию или нет. Они ухватились за подробности, которые он сообщил им, и занялись ими. Сначала они еще слушали его, потом стали говорить ему в назидание, а затем, по мере того как их интерес к собственным расхождениям разгорался, позабыли вовсе о нем. Скоро их разговор перешел, как им казалось, за пределы его разумения, и на все его попытки вмешаться не обращалось ни малейшего внимания.

Больше всего в назидание Теодору говорил Уимпердик. Он явно старался изобразить эту Науку, представителем коей был профессор Брокстед, грубой, самонадеянной, глубоко вульгарной пропагандой в корне невежественных, дурно мыслящих, дурно воспитанных людей.

— Брокстед,—сказал он,—это младший братец Хаксли и Геккеля, а Хаксли — это как будто их глашатай Биологии. Это очень характерно для таких вот, как Хаксли, взять естественную историю, переименовать ее в Биологию и сделать вид, будто они что-то открыли. Биология—у них теперь просто помешательство, настоящее помешательство. Тут уж ничего не скажешь. Она кажется чем-то новеньким, но это только так кажется. Церковь всегда знала все, чему учит эта популярная наука— эта наука для широких масс, не истинная наука,— церковь всегда знала и знает лучше ее. Они предлагают нам смотреть фактам в лицо, а когда мы спрашиваем как, они отвечают: в микроскоп. Но факты исчезают под микроскопом.— В голосе Уимпердика послышалась брезгливость, и он завертел пальцами.— Они превращаются в маленькие разрозненные кучки бесконечного множества перепутавшихся подробностей.

Теодор нашел, что это хорошо сказано. Он и раньше это почувствовал, только не сумел найти нужные слова. Как это: «маленькие разрозненные кучки бесконечного множества подробностей»? Но Уимпердик уже говорил дальше:

— Эволюция. Церковь всегда ее признавала, потому что это правильно. Но этот их естественный отбор — просто уловка, чтобы отделаться от бога.

— Им нет надобности отделываться от бога,— вставила Клоринда.— Если вселенная проходит через нескончаемую эволюцию, бог даже и не возникает.

Уимпердик возмутился и сказал, что толковать о том, возникает бог или не возникает,— просто нелепость. Он с нами, вечно был, есть и будет. Вот всякие лжеучения— те возникают беспрестанно и неизменно исчезают. Так и современная наука исчезнет.

Раймонд заявил, что он хотел бы, но не может согласиться с Уимпердиком.

— Современная наука,— сказал он,— это что-то совершенно новое и гораздо более страшное, чем всякие там лжеучения и ереси. Это не ересь; это — безверие, а не уклонение от истинной веры. Она разрушает всякую веру и начинает что-то новое. Она ведет мысль такими путями, которые ломают все до основания. Какими-то совсем другими путями. Она разлагает наш мир и вза-

мен не оставляет нам ровно ничего — ни божественного, ни человеческого.

Уимпердик возразил, что наш старый мир — более добротная штука, чем думает Раймонд. Наши старые понятия, старое добро и зло в конце концов восторжествуют над этой современной научной чепухой.

Раймонду прислали на рецензию книгу «двух многообещающих молодых авторов», Конрада и Хьюффера. Книга называется «Наследники». Она произвела на него потрясающее впечатление. Там проводятся совершенно удивительные идеи. О новой породе людей, якобы появившейся на свете,—эти люди не знают ни жалости, ни сомнений, они истребляют освященную веками человеческую жизнь. Для них не существует никаких преград. В этом романе предполагается, что они загадочным образом появились из четвертого измерения, но в действительности это вот та самая порода людей, которых порождает наука. И они совершенно другие — другие. Они смотрят на жизнь с какой-то холодной, нечеловеческой ясностью.

— Обманчивая ясность,— вставил Уимпердик.

Красота исчезает с их появлением, моральные ценности, вера, благородство, чистота, честность, любовь — все сметается. Традиция становится ненужным наследством старых заблуждений, с которыми лучше разделаться. Все прекрасные, веками проверенные истины, которыми мы живем, во имя которых мы живем, под угрозой, и им приходит конец.

— Пускание пыли в глаза,— сказал Уимпердик.

— Рассвет,— сказала Клоринда, и ее эрудиция, ее диплом первой степени по двум дисциплинам и постоянное соприкосновение с новейшими лондонскими веяниями явно чувствовались в ее уверенном голосе. Ей, повидимому, давно не терпелось осадить Уимпердика. И теперь она вдруг увидела, как за это взяться. Она решительно повернулась к нему.

— Наука, Уимпердик,— это не больше и не меньше, как переход от слов и фраз к фактам — к подлежащим проверке фактам. В этом нет ничего странного и ничего нового, Раймонд, это просто выздоровление после долгой болезни. Дневной свет, пробивающийся сквозь мглу словоблудия, в которой человеческая мысль коснела ве-

ками. Для меня это все совершенно ясно. И я разгадала вас, Уимпердик. Я понимаю теперь, на чем вы стоите. Я наконец разгадала, что вы такое. Вы схоластический реалист[1]. Вы пережиток четырнадцатого столетия. Как я не видела этого раньше!

Она погрозила ему пальцем.

— Схоластический реалист, вот вы что такое, голубчик. Таков склад вашего ума. Я долго думала о вас, приглядывалась к вам, стараясь разгадать, что вы собой представляете, долго, а теперь я вас поняла. Вы согласны с этим? Тем лучше! Естественно, что вы смотрите на науку, как на дьявола. Это ваш дьявол. Когда неономиналисты сцепились с реалистами, тогда стала неизбежной экспериментальная наука[2]. До тех пор она была просто немыслима. Все это для меня теперь совершенно ясно. Конец дедуктивного мышления — долой пустословие! Наука вырывается на свободу. И вы только посмотрите, что сделала и что делает наука! Она дает механическую силу без затраты усилий. Она уничтожает тяжелый труд. Она насаждает здоровье и изобилие там, где раньше были невежество и нищета. Она дает свободу уму. Каждое умозаключение, каждая догма теперь берется под вопрос и подвергается проверке. Ко всему подходят открыто, и наука оправдывается результатами, какие она дает.

— Сначала самонадеянное п о ч е м у,— сказал Уимпердик, склонив голову набок и оскаливая на Клоринду все свои желтые зубы с таким видом, словно он пытался мягко дать ей понять, что видит ее насквозь,— сначала п о ч е м у, а следом, по пятам, проталкивая его вперед, тихохонькое п о ч е м у н е т? Вы загромождаете мир отвратительными, шумными, вонючими машинами. Вы производите миллионы дешевых безобразных вещей взамен немногих прекрасных. Вы развиваете сумасшедшую скорость. Скорее, скорее! Вы — вы потворствуете

---

[1] Реализм (средневековый) — философское учение, идущее от Платона. Согласно реалистам, общие понятия предшествуют единичным вещам. Их противники номиналисты утверждали, напротив, что общие понятия — лишь имена единичных вещей.

[2] Речь идет о борьбе английских философов-материалистов XVII века Т. Гоббса, Дж. Локка и Фр Бэкона за опытное знание.

всяким вольностям. И среди вашей погони за этими чудесами прогресса вы забываете о главном в жизни. От нормальной здоровой жизни человека не остается ничего. И от нравственности не остается ничего. Во всем этом недостает души.

— Не остается ничего от вашей кристальной небесной сферы или от вашего цветущего эдема и Страшного суда. Клетку религии сломали. Но это только открывает нам более широкий, чистый и светлый мир. Ничего ценного не утрачено. Только брешь пробили. Я завидую новому поколению,— сказала Клоринда,—оно растет при дневном свете.

И взгляд ее упал на Теодора.

— Мне жаль новое поколение,— сказал, не замечая Теодора, Раймонд,— оно растет в расчищенной ветром пустыне.

— Я молюсь за него,— промолвил Уимпердик, явно имея в виду Теодора.— Ибо не в дневном свете ему придется расти, а в заблуждении и тщеславии взамен вечного и доступного нашему духу откровения истины. Ибо какое же откровение давала нам когда-нибудь наука, которое можно было бы сравнить с убедительнейшей непостижимостью святой троицы?

(— Попытки найти в черном подвале невидимый треножник с острова Мэн, которого там никогда не было,— пробормотал Раймонд.)

— Это поколение будет гораздо более тесно соприкасаться с реальностью, чем все предыдущие,— громко заключила Клоринда.

Уимпердик накинулся на нее, обдавая своим интеллектуальным презрением.

— Нет! Нет! Нет!—вскричал он.— Вы не знаете, что было началом всего. Вы не знаете, что такое реальность. Единственная реальность,— голос его понизился до благоговейного шепота,— бог. А он непостижим. Вот почему мы кутаемся в историю и в учение — в учение церкви, которая стоит между нами и слепящим светом единственной реальности.

— Висит, как старая разодранная занавеска, между нами и ясным дневным светом,— сказала Клоринда.

— Но почему бы нам не вешать занавесок? — спросил Раймонд, становясь на другую точку зрения.— Да-

же если мы знаем, что это занавески. Ты, может быть, и права в том, что касается фактов, Клоринда, ты и все эти ваши атеисты и материалисты! Я с этим не стану спорить; для меня это не имеет ни малейшего значения. Но кому же хочется жить в голом, ободранном мире? Кому хочется жить среди голых фактов? Раз уж вы обнажили мир, вы не должны оставлять его дрожащим и голым. Вам придется снова закутать его во что-нибудь...

Так они спорили — может быть, несколько более многоречиво и непоследовательно, чем мы передаем здесь. Но смысл был такой.

Спустя некоторое время внимание Теодора начало отвлекаться. Ему было интересно, но он устал. Он наслушался достаточно, больше у него уже не умещалось в голове, но он все еще держался. Он знал, что стоит ему только зевнуть, он выдаст себя, и он как можно дольше подавлял зевоту. Потом он попробовал зевнуть, когда Клоринда отвернулась. Но она точно почувствовала и, не оборачиваясь, сказала через плечо, что ему пора идти спать.

У себя в комнате не успел он еще раздеться, как привычная игра фантазии подхватила и увлекла его.

На большом, но все же доступном расстоянии от Блэпа появилась теперь приземистая белая крепость, которая каким-то образом была также Наукой; там обосновались Брокстеды. Непостижимо, враги они были или друзья. Они были вот как эти самые, как их? Наследники. Упрямые они были, и все вокруг них было окрашено в серый и тусклый цвет. Смутно чудились какие-то переговоры и союзы с белыми стенами этого замка, а потом видение спокойно улыбающейся дочери Брокстеда с серьезным взглядом... Профессор или граф он был? Биолог или чародей? Друг или враг? И она скакала на коне по лесной чаще. Она скакала прочь от этого замка Брокстедов. Она спешила к своему другу, лорду Бэлпингтону Блэпскому.

Друг ли? Это было что-то непохоже на прежний союз. Она была теперь не такой высокой, и между ними не было той близости. Что-то в ней появилось новое, чуждое. Действительно ли она была чужая или это разговоры внизу сделали ее чужой? Правда ли, что она Нас-

ледница? Наследница мира? Есть ли у этих Наследников души? Или она как Ундина?

А что это такое — душа?

Видение растаяло. Теодор очнулся и увидел, что он сидит перед зеркалом. Он смотрел на свой рот, и ему казалось, что у него большой, полураскрытый красный рот. Он пробовал закрывать его и так и сяк, чтобы он казался строгим и печальным.

Сон долго не приходил в этот вечер. Теодор мысленно встречался с Маргарет, придумывая для этого тысячи способов, тысячи мест. (Утром, когда Клоринда зашла к нему сказать, что уже пора подыматься, она заметила, что его одежда больше, чем всегда, разбросана по полу.)

Старая, привычная дружба с подушкой долго не ладилась на этот раз. Казалось, этому мешала какая-то стыдливость.

Они долго блуждали, и он никак не мог нигде приютиться с ней, пока они не попали в непроглядную убаюкивающую метель. Потому что они блуждали теперь в окованных льдами варяжских владениях, утраченных Англией. Никогда владения Блэпа не заходили так далеко на север. Порхающие хлопья сыпались сверху и снизу; слепящее белое мелькание сливающихся в вихре точек. У них на двоих было только одно одеяло, и они сбились с дороги, и им не оставалось ничего другого, как укрыться этим одеялом вдвоем и улечься на землю. Это оказалось необыкновенно удобным приютом, снежным и в то же время теплым, как будто это был не снег, а снежный пух.

И тут их головы сблизились совсем тесно, и можно было шептать друг другу на ухо. Их головы сблизились так тесно, что они касались друг друга щеками, как прежде. Она была Сивилла Наследница...

Все равно.

Эти новые несовместимости потихоньку исчезали, и Теодор незаметно, словно из одной фазы в другую, переходил от расслабляющего оцепенения к дремоте, пока не погрузился в полный покой абсолютного безучастия — в сон без сновидений.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЮНОСТЬ

1

СМЯТЕНИЕ ГРЕЗ

Четыре года юности Теодора после его первой встречи с Маргарет Брокстед были годами бесконечных открытий и осложнений для того плодотворного серого вещества, которое представляло собой материальную субстанцию обоих, как Теодора, так и его второго «я» — Бэлпингтона Блэпского. Множество непонятных вещей, затрагивающих обоих, передавалось неутомимому мозгу подчинявшимся ему телом — новые стимулы, новые возбудители проникали со смятенным шепотом в его волнующиеся клеточки. Этот шепот спрашивал: «Что ты делаешь? Что собираешься делать? Какие у тебя планы в жизни? Что ты такое? Надо браться за какое-то неведомое дело. Принимайся за него. Время не терпит».

Этот шепот был так невнятен, что сознание Теодора едва улавливало уклончивые, неохотные, сбивчивые ответы, неясные отклики, пробуждаемые им. Теодор не замечал, что он меняется; он сознавал только, что он становится старше и каждый день открывает что-то новое, множество всяких вещей о мире и о себе; кое-какие из этих открытий были очень мучительны и неприятны.

Пол давал себя чувствовать более властно и тягостно. Это уже не было, как раньше, мило и романтично. Это переплеталось теперь с грязными и омерзительными подробностями жизни. Человеческие тела и повадки животных, казавшиеся прежде загадочно пленительны-

ми и прекрасными, теперь осквернялись намеками и жестами, вскрывающими их естественное назначение. Что-то глубоко непристойное совершалось во вселенной за этой привлекательной видимостью с ее манящими формами. Все чаще и чаще охватывало его тревожное ощущение этой настойчивой созидательной силы. Линии и контуры жизни скрещивались непонятным образом.

В пятнадцать лет у Теодора был большой запас книжных и романтических представлений и неведение и наивность не по летам. Фрэнколин и Блеттс, встречаясь с ним, рассказывали, с пылающими щеками и словно втайне презирая его, о своих удивительных открытиях. Но Теодор никому не рассказывал о тех открытиях, к которым вынуждала его собственная плоть. Его представления о любви облекались в возвышенную форму, в поэтические образы трубадуров. И потом наступал экстаз, физический экстаз. Нечто родственное этому он открыл сам, когда, засыпая, погружался в свои мечты, прежде чем перенестись в волшебный мир снов. Но в своей сознательной, бодрствующей жизни он избегал вызывать слишком тщательно в своей памяти это волнующее, тесное объятие. Секреты окружающих его взрослых были чем-то грубым и гадким, а Фрэнколин не скупился на грязные подробности.

Возбужденное настроение Фрэнколина разряжалось шутовством. Заря его юности словно перевернула для него мир вверх дном, и над этим трюком Фрэнколин надрывался от хохота. Он все видел точно с какого-то позволяющего глядеть снизу вверх пьедестала — сплошные животы, ляжки и задницы. В его стремлении украсить все вокруг чудовищными напоминаниями великого секрета у него обнаружились несомненные способности к рисованию. Его словарь обогатился зрелой половой терминологией. Он не желал, даже если бы он и мог, ничего скрывать.

В Блеттсе не чувствовалось такого непристойного бесчинства, он прямо и непосредственно шел к цели. Скрытая алчность появилась в его глазах. Дома у него были какие-то делишки со служанкой, и он охотно приставал к девчонкам и уединялся с ними в укромные местечки. Большая часть его досуга посвящалась такой охоте. Он искал общества Теодора, потому что охотник

и дичь в дебрях ухаживаний и сближений чувствуют себя смелее, когда они ходят парами. Пары уединяются для своих изысканий, самец молча, самка хихикая и отбиваясь. Блеттс рассказывал про служанок, и фабричных работниц, и девушек, которые приходили на пляж, всякие пакости, от которых Теодору было ужасно неловко. Теодор чувствовал, что таких вещей не следует говорить ни про одну девушку, что они грязнят и вносят какую-то мерзость во все, что есть женственного в мире, но после они преследовали его воображение, и у него никогда не хватало решимости остановить поток притягательных излияний Блеттса.

Среди таких вот влияний в атмосфере, созданной христианской культурой, которая на радость или на горе заменила суровыми запретами, тайнами и стыдом нелепые ритуалы посвящения и внушающие ужас табу языческих народов, Теодор вступал в пору возмужалости. Он упорно сопротивлялся, отталкиваясь от этого приобщения к половой жизни. В силу этого в течение некоторого времени значительная часть серого вещества, которым они владели вдвоем, все больше и больше отвлекалась от материального существования Теодора к запросам его партнера Бэлпингтона Блэпского и его воображаемой жизни. Бэлпингтон Блэпский не интересовался грязными похождениями Блеттса, а Фрэнколин не позволял себе с ним никаких фамильярностей, как попавший в опалу королевский шут. Бэлпингтон Блэпский был существом возвышенным. Он свободно парил в воздухе, когда Теодор спотыкался в грязи. Он исчезал всякий раз, когда Теодор падал.

Блэп по-прежнему был высокой неприступной крепостью, но теперь он вступил в более трезвые взаимоотношения с установленным и господствующим порядком вещей. Он переместился из далекого прошлого и всяческой фантастики, вроде варяжских стран, поближе, хотя бы к современной северо-восточной границе Индии; он применялся к возможностям сегодняшнего дня; иногда он был чем-то вроде независимого государства, наподобие Сераузка на самом-самом дальнем востоке; иногда обособленным владением в Южной Америке, вроде Боготы; иногда располагался на равнине Европы. Прячась от Раймонда и Клоринды, Теодор читал совре-

менные приключенческие романы, в частности захватывающие произведения Редиарда Киплинга, А. Э. У. Мэсона и Энтони Хоупа. Там он находил героев той самой закваски, что и Бэлпингтон Блэпский. Он знал, что с точки зрения высокого критического вкуса такие романы читать не следует, так же как не следует напевать так часто эту «Баркароллу». Но он это делал.

Дельфийская Сивилла, которая иногда бывала сама собой, а иногда более или менее Маргарет Брокстед, оставалась неизменной героиней его юношеских грез. Он и она блуждали рядом, у них было множество приключений, она погибала, он спасал ее, они обнимались и целовались, но всегда все было совершенно безупречно и прекрасно. Только раз или два, когда он уже почти засыпал, его охватывал физический экстаз, но это было смутно и неопределенно, потому что внезапно Сивилла оказалась кем-то другим и исчезла. А странные, назойливые сны, которые теперь преследовали его, или вовсе не были связаны с миром его грез, или имели к нему очень отдаленное отношение.

Грезы и сны — это две разные категории переживаний. Теодор никогда не видел во сне ни Бэлпингтона Блэпского, ни Сивиллу, ни Маргарет. Ему снились какие-то диковинные карикатуры, в которых можно было узнать знакомые, привычные лица и места. И очень редко сновидения открывали ему какой-нибудь приятный мир, никогда там нельзя было чувствовать себя в безопасности от всяких досадных неожиданностей. Странные, неистовые приступы страха и ощущение угрозы, возникавшие в созревающих железах Теодора, охватывали все его существо, бередили его; какие-то бесконечные погони, бегство от привычных вещей внезапно повергали его в ужас. Он падал в пропасти, не помня себя от страха, прыгал с каких-то зданий или стремительно летел вниз по бесконечным лестницам. Он спасался, но всегда как-то случайно. Иногда даже казалось сомнительным, был ли Теодор в своих снах Теодором, или это был какой-то примитив Теодора, первобытное животное, вылезавшее из самых недр его существа, животное, которому лестница казалась чем-то страшным и за которым непрестанно гнались по пятам кровожадные хищники.

Этот мир сновидений теперь все больше и больше окутывался какой-то своей фантастической половой жизнью. Чудовищные старые ведьмы, молодые женщины с невообразимо пышными формами, уродливо преувеличивающими естественные женские черты, ласкали чудовищных животных; сфинксы, сирены, какие-то невообразимые существа, совсем непохожие на людей, но почему-то отождествлявшиеся с кем-нибудь из его знакомых,—все они преследовали и завлекали этого примитивного Теодора в какой-то свой жаркий, заросший плевелами, низший мир, теснили его своими мягкими округлостями, соблазняли в обманчивое соитие и заставляли его беспомощно откликаться на эти неслыханные ласки.

Охваченный смятением, подросток вскакивал, протирая глаза, и, тихонько выскользнув из постели, спешил смыть холодной водой липкое ощущение грязи.

Так неряшливо старая мать-природа, управляющая кое-как, нерадиво своей приготовительной Школой, которая есть не что иное, как наш мир, исписывала вдоль и поперек неподатливое сознание Теодора грязными каракулями своих напоминаний о том, что она неизменно считает главным занятием своих детей.

2

РАСХОЖДЕНИЯ С ПРОФЕССОРОМ БРОКСТЕДОМ

Теодору не приходило в голову, что его сверстникам тоже случается блуждать иногда в этом бурном, чудовищном и знойном мире снов. Он не отдавал себе отчета в том, что эти грубые воспитательные методы матери-природы распространялись на всех. Его собственные переживания быстро улетучивались из его памяти: он не любил о них вспоминать и еще того меньше рассказывать о них. Он вычеркивал их из своего сознания, как что-то непонятное и постыдное. Он приучался все больше и больше вычеркивать неприятные вещи из своего сознания. Он не замечал того, что их насильственное вторжение приводит к некоторому сдвигу и искривлению в его мыслях. Чем больше он бывал Бэлпингто-

ном Блэнским, тем эти вещи становились менее реальными.

Фрэнколин и Блеттс тоже помалкивали о тех бурных переживаниях, в которые повергали их сновидения. Фрэнколину не доставляло удовольствия шутить на эту тему, а Блеттс не получал от них никакого удовлетворения; их надо было скорей заглушать шутками или преодолевать подлинными наслаждениями; что же касается Тедди и Маргарет, они так откровенно и прямо рассуждали обо всем на свете, что Теодор и мысли не допускал, что они могут умалчивать о чем-то.

Случайное знакомство на пляже перешло в знакомство домами. Клоринду давно уже привлекал высокий интеллектуальный престиж профессора Брокстеда. Она много слышала о нем в Лондоне и с радостью ухватилась за возможность встретиться с ним в Блэйпорте. Сначала в одном доме, потом в другом состоялись званые обеды. Долгие разговоры с профессором Брокстедом и жаркие споры о нем на следующий день.

Прославленный биолог оказался совсем не таким, каким ожидал его увидеть Теодор. Он был маленького роста, коренастый: у него не было и следа того изящества, которым отличались черты его жены и детей, но он был такой же рыжий, как Тедди, и еще более веснушчатый. Глаза у него были красновато-карие. Маргарет унаследовала свои синие глаза и открытый взгляд от матери. У Тедди были выпуклые, как у отца, надбровья и такое же задумчиво сосредоточенное выражение лица. Живые маленькие карие глазки быстро двигались под нависшими профессорскими бровями, а его голос, не имевший ничего общего с мягкими, плавными интонациями, которыми отличались голоса его семейства, звучал отрывисто и резко и по временам даже напоминал лай. Он разговаривал с Бэлпингтонами уверенным, невозмутимым тоном, а жена его говорила очень мало. Но слушала сочувственно, со скрытым одобрением.

Дома он казался всецело поглощенным своей работой: когда он бывал в Блэйпорте, лаборатория была закрыта для чужих мальчиков; он отвечал на вопросы, которые задавал ему Тедди, с лаконической точностью, но как будто вовсе не нуждался в Тедди. У него была привычка рассеянно похлопывать Маргарет или жену, когда

он проходил по комнате, словно он хотел дать им понять, что замечает их присутствие и займется ими попозже.

Вечер, в который состоялся званый обед, выдался жаркий, а после обеда они сидели на окруженной тамарисками лужайке сада, в то время как закатное сияние летних сумерек, бледнея, переходило в лунный свет. Они сидели на скрипучих плетеных стульях за маленьким столиком, куда им подали кофе, зеленый шартрез и папиросы, а Теодор незаметно пристроился сзади, на корточках, на подушке, намереваясь оттянуть на час-другой время, когда ему полагалось идти спать, и изо всех сил стараясь не упустить ничего из их разговора.

Уимпердик пришел после обеда. Он встречался и не раз спорил с Брокстедом и раньше, а сейчас профессор был уже раззадорен Раймондом, который кротко, но с мягкой настойчивостью выражал сомнение в пользе современной науки.

— Какой смысл во всем этом, я вас спрашиваю? Разве человек станет хоть сколько-нибудь счастливее оттого, что жизнь будет идти быстрее или он будет жить дольше, чем раньше?

Брокстед пропагандировал экспериментальную науку и как преподаватель и как общественный деятель. Для него современная наука была светом, побеждающим тьму, это была заря Истины, всходившая над миром, который до сих пор копошился в живописной, но опасной полумгле. Все остальное, он считал, должно будет в конечном итоге приспособиться к научной истине. Все остальное второстепенно — законы морали, социальное устройство; прежде всего надо узнать, что представляют собой мир, мы сами, жизнь, материя и т. п., а затем уже приступать к обсуждению, как подойти к этому и что с этим делать.

— Это не входит в интересы человека науки,— отвечал Брокстед,— он не задается вопросом, приведут ли его открытия к морально хорошим или плохим, или, лучше сказать, к благодетельным или дурным результатам. Такого рода оценки приходят позже. Для него не существует ничего, кроме точного определения фактов. Он должен следовать за этими фактами, к каким бы выводам они ни приводили, пусть даже самым невероятным и неаппетитным.

Профессор внушительно повысил голос, и стул его заскрипел громко и убедительно.

— Я не буду вдаваться в обсуждение, хороши или дурны выводы современной науки с этической точки зрения,— возразил Уимпердик,— хотя по этому поводу можно сказать очень много. Все, что я хочу знать, это — состоятельны ли они? Исследовали ли вы их до конца, до их, так сказать, философских основ?

Он пустился в рассуждения, за которыми Теодору было трудно следить. Брокстед, по-видимому, считал Уимпердика надоедливым и утомительным пустословом, и Теодор был склонен присоединиться к Брокстеду. Уимпердик доказывал, что наука всегда сама разрушает собственные основы, начинает она с классификации, а кончает тем, что уничтожает созданные ею классы, утверждая, что они в процессе эволюции поглощаются один другим или претерпевают новые подразделения. Более того, наука начала с самых обыденных вещей и, казалось бы, даже с таким «просветленным» здравомыслием. А теперь она, видите ли, уже превращает все тела в какое-то месиво теоретических атомов и путает время и пространство самым непостижимым образом. А эти новые психологи, эти психоаналитики, которые пытаются прощупать и разложить на части наши разумные побуждения,— у них теперь на все одно слово — как это? ах, да — комплексы,— пока самая индивидуальность, на которой основана идея всякого единства, не распадается и не исчезает.

— И, однако, эта самая наука, которая уводит всех нас из точного мира в какую-то туманную страну, становится все более и более дерзкой и тщится убедить всех в величайшей важности своих открытий. В лучшем случае научная точка зрения, если только можно так назвать... такую — я бы сказал — разлагающую точку зрения (смешок),— это одна из многих возможных точек зрения. Разум человеческий создал единую совокупность Истины еще до появления экспериментальной науки, а наука как была, так не чем иным и быть не может, как последующей систематизацией знания внутри этой основы.

Брокстед, признаться, не стал вникать в эти доводы, ни возражать на них; он их не принял, он просто от-

махнулся от них — весьма нелогично, как потом утверждал Уимпердик,—и отмахнулся с явным раздражением. Он не только не стал обсуждать эти философские основы. Он как будто пришел в негодование от одного предположения, что ему требуются какие-то философские основы. Оба они, как казалось юному слушателю, были правы, каждый со своей исходной точки, но, однако, ни один из них не опроверг другого. И это было весьма загадочно.

Теодор отправился спать, унося с собой представление, что Наука — это какой-то чудовищный спор, который ведет к Истине сквозь все непроходимые дебри неразрешимостей Уимпердика. Но при этом с ужасными препятствиями. И что спор этот длится и длится, но что когда-нибудь он, может быть, все-таки приведет к Настоящей Истине.

А что такое Настоящая Истина? До нее, кажется, очень трудно добраться, если смотреть на все сразу. Но зачем на что-то смотреть? Что, если закрыть глаза и лежать очень тихо и углубиться в себя?

А когда кто-то наконец дойдет до Настоящей Истины, к которой с таким усилием пробивается Наука, тогда что, все изменится? Все эти веры и учения Уимпердика окажутся неверными и исчезнут в новом свете? Или все станет совсем по-другому, потому что ведь все будет видно насквозь и откроется Настоящая Истина? А что же это будет — бог или, может быть, эти Наследники? Эта фантазия о Наследниках, об этой новой угрожающей породе людей, которые не признавали ничего милого, привычного в жизни, сильно захватила воображение Теодора.

Потом он увидел себя перед Дельфийской Сивиллой, но только теперь она была очень большая, и она уже была не Маргарет, а по-настоящему сама собой, непостижимо загадочная, и ему казалось, что свиток, который она держала в руке, заключает в себе Великую Тайну, Настоящую Истину.

Но он не должен думать о Сивиллах и ни о каких пергаментных свитках. Это все фантазии. От этого только все спутывается. Он должен освободить свое сознание от всяких видимых, отвлекающих его вещей и сосредоточиться. Он должен очень-очень сосредоточиться.

И для начала произносить: «Я есмь».

Это-то уж, разумеется, бесспорно.

Итак, он произнес: «Я есмь»— и сосредоточился и тут же крепко заснул.

На следующий день за обедом между Раймондом, Уимпердиком и Клориндой завязался горячий спор о профессоре, и Теодору опять повезло,— он сидел и слушал. Клоринда была в необыкновенно приподнятом настроении в этот вечер, и, может быть, ей хотелось, чтобы он послушал.

В те дни слава Фрейда и Юнга только что начала распространяться в Лондоне, и Клоринда фактически вступила в весьма тесную связь с некиим доктором Фердинандо, одним из первых представителей новых откровений и методов психоанализа в Англии. Она очень ратовала за разрешение комплексов и за освобождение психики от всего, что на нее давит. Кроме того, ее захватила широкая, настойчивая пропаганда учения леди Уэлби о Значимостях, недавно пустившего ростки. Один довольно-таки хилый росток этого учения, посвященный вопросу «Что такое смысл», воскрешал у Клоринды интеллектуальные восторги минувших лет, когда она блистала в Кембридже. Человечество, вспоминала она, пришло к мышлению замысловатым, сложным путем, оно мыслило сначала — как помогли ей вспомнить фрейдисты — символами, мифологическими образами и только потом уже перешло от своих метафор к абстрактному языку и к логике и так до сих пор и не освободилось от этого пережитка, не вышло из рабства придуманных им словесных и цифровых знаков. Ее открытие насчет Уимпердика, что он схоластический реалист, было одним из первых умозаключений, взошедших на этой психоаналитической закваске.

Теперь она сидела, положив локти на стол, лицо ее сияло интеллектуальным оживлением, и она поучала Уимпердика и Раймонда:

— Вы с профессором Брокстедом никогда не договоритесь о том, что, собственно, является предметом вашего спора, потому что вы говорите с ним на разных языках. Неужели вам это самим не ясно? Вы с ним в двух разных измерениях мысли. Вы мыслите неодинаковым способом... Это все равно, как если бы рыба в

аквариуме пыталась следовать за движениями человека по ту сторону стекла.

—Кто же из нас рыба? — спросил Уимпердик.

— Это уж предоставляется решать вам,— сказала Клоринда.— Но вы понимаете теперь, что вам совершенно невозможно подойти друг к другу, пока сознание того или другого из вас не переродится заново? Вы, например, думаете, что бог — это неоспоримая реальность. А какой-нибудь атеист старого склада, вашего схоластически-реалистического типа, также безапелляционно будет утверждать, что он не существует. Но для профессора таких «да» и «нет» даже не возникает. Он считает, что бог — это просто возможная гипотеза, и он склонен думать — бесполезная гипотеза. Существует или не существует бог — такой вопрос представляется ему нелепым. Имя, название для него — это только фишки. Это имя в особенности. Он может употребить слово условно, а вы — нет. Он считает всякое логическое определение грубой схемой, включающей вероятную ошибку. Вы же считаете, что это какие-то категории явлений, которые все стремятся к идеальному образцу, остающемуся вечно неизменным. Всякие научные обобщения преходящи, вы же всегда говорите и думаете так, как будто научные теории должны оставаться незыблемыми, вот так же, как религиозные истины должны оставаться незыблемыми. Поэтому вы всегда так презрительно фыркаете, когда какая-нибудь новая научная теория вытесняет старую. Ваши убеждения похожи на те неугасимые лампады, в которых огонь поддерживают веками, и он горит все так же ровно, не ярче и не бледней, и от него всегда падает такая же ровная тень; но для него, как для всякого истинного ученого, убеждения— это все новые и новые потоки света, всегда уступающие место все более и более яркому свету.

— Совершенно иначе устроенный ум,— повторяла она.— Ничем не связанный ум.

— Свихнувшийся, беспорядочный, разбросанный ум,— сказал Уимпердик.— Лозунги, кувыркающиеся в хаосе.

Теодору было довольно трудно уловить суть этого длинного и бессвязного спора. Для них было столько не подлежащего обсуждению; они так много не догова-

ривали, причем, по-видимому, имелось в виду нечто само собой разумеющееся.

И все же этот разговор увлекал и волновал его. Он не относил ни к кому то, что они говорили. Как ни ясно выражалась Клоринда, до него не доходило, что смысл того, о чем они спорили, сводился к противопоставлению двух различных способов, которыми наше сознание, взяв за основу наши врожденные склонности, внешние влияния и опыт, делает нас тем, что мы есть. Во всех метафизических тонкостях Теодору предоставлялось разбираться самому. Он рассматривал этот антагонизм реалистической религии и номиналистической науки как спор о существовании бога и обо всех этих правилах поведения, толкованиях и обрядах, которые связываются с представлением о владычестве божьем. Если бога нет, тогда, разумеется, не имет значения, что вы не соблюли воскресный день, обозвали своего ближнего дураком или впали в грех прелюбодеяния. Но если есть бог...

У Теодора было чувство, что бога нет или, во всяком случае, никакого такого бога, который походил бы на бога современной веры, грозящей проклятием, но когда он пытался отделаться от этого чувства и как следует подумать обо всем, появлялся Бэлпингтон Блэпский. Теодор, казалось, всегда стремился к чему-то такому, чего нельзя было выразить словами, а Бэлпингтон Блэпский всегда одергивал его и, требуя от него отклика и понимания, не давал ему выходить из рамок задушевной беседы.

Теодор, когда он молился, как его приучали, думал о посторонних вещах и оставался Теодором, но когда он затевал свою игру во время молитвы и воображал себя молящимся, он становился выше, значительнее, благороднее, короче говоря, становился своим вторым «я», Бэлпингтоном Блэпским, и это его второе «я», эта сублимация основного Теодора, верила в бога, и бог, в отплату за это, верил в Бэлпингтона Блэпского. Они взаимно зависели друг от друга. Если один был сублимацией несовершенной личности, другой был сублимацией труднопостижимого мира. Так бог признавал все, что должно было существовать в представлении Бэлпингтона и играл в пьесе свою надлежащую роль. Пе-

ред сражением Бэлпингтон Блэпский обнажал свой меч и молился. Победа оказывалась на его стороне. Это он в молчании ночи говорил: «Ты ведаешь». Теодору трудно было представить себе какого бы то ни было бога, но Бэлпингтон Блэпский, просыпаясь ночью, «шествовал с богом» самым непринужденным образом, а потом Теодор, весьма освеженный этой прогулкой, засыпал снова.

3

ОЩУЩЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ

Если Бэлпингтон Блэпский нуждался в боге несколько старинного стиля, Теодор интересовался богом вне всяких стилей. В детстве, как мы уже говорили, слово «бог» не связывалось для него с каким-либо живым образом, но теперь, под влиянием этих наполовину доступных ему домашних споров, фраз и обрывков из них, блуждающих в его мозгу в поисках надлежащего места и смешивающихся с намеками из прочитанных книг и собственными внезапно рождающимися вопросами, он ловил себя на том, что стремится проникнуть воображением в эту Настоящую Истину, которая скрывается за всем видимым, в это Высшее Чудо, которое вызвало к жизни и его и вселенную. В этом переходном возрасте это было для него чем-то вроде манящей и неуловимой чаши святого Грааля, которую неустанно искали рыцари Круглого Стола. Что такое в самом деле, спрашивал он себя, эта чаша святого Грааля и как возникла эта легенда? Этот Грааль, эта Высшая Истина представлялась ему некиим откровением, которое может, например, внезапно снизойти на профессора Брокстеда в то время, как он делает опыты у себя в лаборатории, тайной, которую не ищешь, а жаждешь постигнуть, которая может открыться каждому путнику в жизни без всякого предупреждения.

— Эврика! — воскликнет он.

— Чудо откровения! — изрекал Бэлпингтон Блэпский и тотчас же завладевал проблемой.— Арканы — какое чудесное слово! Арканы непостижимого.— Бэлпингтон Блэпский сразу становился Посвященным и ше-

ствовал в великолепной задумчивости. Он понимал. Он был Провидцем. Ибо «был вскормлен медвяной росою и дивным напитком богов».

Теодор в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет — в этот период любознательности и умственного роста — пускался на всяческие ухищрения, чтобы застигнуть Настоящую Истину врасплох, освободиться каким-то магическим образом от свойственного всем обмана чувств, заглянуть в тайну, скрывающуюся за ними, стать Избранным, одним из тех, кто знает. Он кое-что читал о духовных изысканиях и упражнениях, к которым прибегают на Востоке; каким-то особенным способом дыхания и неподвижной сосредоточенностью посвященные ухитрялись покидать скорлупу настоящего, и Теодор сделал несколько любительских попыток в этом же роде. Может статься, он случайно нападет на след. Тогда, быть может, он сумеет выйти из этого кажущегося мира и обрести Настоящую Истину. В подражание некоторым мистикам, о которых он читал, он однажды провел час или два в созерцании своего пупка, а другой раз — в созерцании маленького круглого зеркала, которое он держал в руке. Но его внимание отвлекалось от пупка к его особе вообще и устремлялось к отнюдь не духовным размышлениям. То он вдруг становился сиром Теодором Бэлпингтоном, Рыцарем и Провидцем, Великим Тамплиером, то еще каким-нибудь вымышленным персонажем, и потом ему трудно было снова сосредоточиться.

Теодор никогда не доходил до состояния мистического транса, он слишком деятельно наблюдал драматическое зрелище собственного созерцательного «я».

И вот как-то раз летом, на исходе дня, вскоре после того, как Теодору минуло шестнадцать, с ним произошло нечто необъяснимое, нечто такое, что заключало в себе не только головокружительную игру фантазии. Что-то подобное случалось со многими людьми, и до сих пор никто из тех, кому довелось это испытать, не сумел ни объяснить этого, ни хотя бы как-то связать с другими своими переживаниями. Кто просто отмахнулся от этого, кто забыл, кое-кто сохранил в памяти и пронес через всю жизнь. Это было событием громадной значимости для Вордсворта. Отсюда родился

Вордсвортов экстаз. Описать это почти невозможно, но мы все же попытаемся рассказать об этом, как умеем.

Теодор в ту минуту не ждал никаких откровений. И уж, во всяком случае, он не ожидал ничего из ряда вон выходящего и даже не был занят никакими философскими, метафизическими или мистическими упражнениями. У него не было никаких предчувствий. И вдруг это произошло, совершилось внезапно — это проникновение странного и в то же время непостижимо близкого Присутствия, мгновенное ощущение глубокого и полного слияния.

Это было на закате. Летние каникулы только что начались, и он отправился в далекую прогулку к острову Блэй. Возвращаясь, он шел узкой полоской песчаного пляжа, чуть повыше последней черты прилива, а когда песок сменился галькой и камнями, он поднялся на маленькую тропинку, вьющуюся среди жесткой травы и кустарника вдоль низкой гряды скал. И тут он обратил внимание на великолепный закат. Он повернулся лицом к западу, чтобы посмотреть на него. Постоял так несколько секунд, а затем сел, чтобы полюбоваться закатом.

Детали, из которых складывалось это зрелище, были обычны и просты. Остров Блэй лежал, низкий и черный, на ясном бледном закатном небе; он вырисовывался так явственно, с такими мельчайшими подробностями, что можно было с какой-то волшебной отчетливостью различить ветви длинной купы деревьев за шесть миль, покатые крыши домов и маленький шпиль церковной башни в Дентоне на Блэе. Над этим длинным, низким, отчетливым силуэтом острова, под очень ясным, очень высоким и спокойным куполом неба простерлась на горизонте тяжелая гряда пушистых серо-голубых облаков, сквозь которые солнце, пылая, прокладывало себе путь к горизонту. Вдруг веер лучей, прорвавшихся сквозь облака, затопил бледное небо сиянием, и все очертания острова затрепетали. Над этим пожаром, разгорающимся на горизонте, клочки и обрывки сверкающего перистого пуха, словно флотилия маленьких уплывающих корабликов, послушных какому-то световому сигналу, плыли друг за другом, постепенно умень-

шаясь, и исчезали в пустом зените. Теплый синий купол неба казался необъятным. Он становился все глубже и синей и, спускаясь над самой головой Теодора, уходил к низким холмам за его спиной.

Теодор видел много солнечных закатов, но этот был необыкновенно хорош. Он любил смотреть на закаты. Но в сегодняшнем была какая-то особенная, необозримая простота. Медленно солнце прожигало себе путь сквозь гряду облаков, разрывало ее, превращало ее в кровь и пурпур, заливало разорванные края слепящим золотом и пронизывало синеву веером расходящихся полос света и тени.

И в то время, как он следил за этими превращениями, случилось чудо.

По-прежнему был закат. Но внезапно он преобразился.

Скалы внизу, поросшие редкой травой, пылающие лужицы и ручейки, широкий сверкающий морской рукав, в котором отражалось небо,— все преобразилось. Вся вселенная преобразилась — словно она улыбалась, словно она раскрывалась навстречу ему, словно она допускала его к полному общению с собой. Ландшафт перестал быть ландшафтом, он стал Бытием. Он словно ожил: он оставался недвижным, но полным жизни, громадным живым существом, приявшим его в свое лоно. Теодор был в самом центре сферы этого Бытия. Он слился с ним воедино.

Время исчезло. Он ощущал тишину, в которой исчезают все звуки; он постигал красоту за пределами познания.

Вселенная представала перед ним ясная, как кристалл, и вместе с тем преисполненная значительности и великолепия. Все было совершенно прозрачно, и все было чудом. Чудо было в самой сокровенной глубине его существа и всюду вокруг него. Солнечный закат, и небо, и весь видимый мир, и Теодор, и сознание — все слилось воедино.

Если время как-то и двигалось, оно двигалось незаметно до тех пор, пока Теодор не заметил, что мысль его бежит, как тоненький ручеек на неуловимой грани небес. Он сознавал совершенно отчетливо,— это мир, с которого сдернута завеса причин и зависимостей, безвремен-

ный мир, в котором все по-другому, все прекрасно и справедливо. Это было Настоящее.

Солнце садилось, врезаясь в контуры острова, смягчалось в своей округлости, словно расплавленное,— сплющилось внизу, превратилось в огненную кромку и исчезло. Небо пылало багрянцем, потом стало бледнеть.

Что-то удалялось от Теодора, отступало от него быстро-быстро; будь он в силах, он удержал бы это «что-то» навеки. Чудесное мгновение уходило, оно уже ушло, и он снова очутился в обычном, будничном мире. Его вывел из оцепенения резкий крик морской чайки и протяжный шорох легкого ветра в сухой траве. Он очнулся, увидел, что сидит в послезакатных сумерках, и очень медленно поднялся на ноги. Он глубоко вздохнул. Он был точно в каком-то оцепенении, словно на него нашел столбняк. Он начал припоминать, кто он и где он.

Там вдали виднелся Блэйпорт, и его огни пронизывали сгущающуюся синеву. Там он жил.

Он повернулся лицом к дому.

Он чувствовал, что сделал какое-то очень важное открытие. Он был посвящен в тайну. Он знал это.

Но знал ли он? И что он, в сущности, знал?

У него для этого не было слов.

Вечером, за ужином, он показался Клоринде необыкновенно рассеянным, и она обратила внимание на восторженное выражение его лица. Он даже забыл спрятать свои переживания от Клоринды.

Когда он ложился спать, это чудо было еще с ним, совсем близко, рядом.

Но наутро оно было уже не так близко.

Сияние его оставалось живым пламенем в его душе в течение нескольких дней, но все убывающим пламенем, затем обратилось в воспоминание. Оно обратилось в воспоминание, яркость которого тоже потускнела. Он знал, что это было глубокое и чудесное откровение, но ему все труднее и труднее было вспомнить, что̀, собственно, ему открылось.

Его охватила непреодолимая жажда воскресить это воспоминание во всей яркости того подлинного мгновения. Три раза на заходе солнца он приходил на то же самое место, чтобы еще раз, если можно, обрести это чудо, это откровение, еще раз заглянуть в лоно небес. В

этих своих поисках он стремился снова слиться с богом. Но чем больше он пытался воскресить, восстановить для себя это ощущение, тем оно становилось неуловимее. Каждый раз был великолепный закат. Три раза он видел, как пламенел, разгораясь, сверкающий морской рукав и вспыхивали облака в небе. Но это было все. Это были просто облака, и солнце, и знакомая бухта. То неповторимое чудо не возвращалось.

Было ли что-нибудь на самом деле?

И если да, так что же это было? Заглянул ли он в самый корень Бытия, стало ли земное небесным на этот короткий миг, или, может быть, это была просто галлюцинация, а не озарение? В конце концов в памяти его осталось только то, что однажды на закате вселенная в течение нескольких коротких мгновений была непостижимо чудесной и близкой и что душа его вышла и соединилась с ней.

4

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Об этом единственном, неповторимом переживании, которое казалось таким чудесным, таким ярким и реальным, гораздо более реальным в тот момент, чем любая действительность, и которое потом стало таким неуловимым, Теодор не мог рассказать никому. Если бы он и хотел кому-нибудь рассказать, он не знал бы, как к этому приступить. У него для этого не было слов. Всякое ощущение этого проваливалось в его сознании еще глубже, чем грубые плотские воспоминания его снов, воспоминания, которые он сам подавлял. Даже если бы это переживание как-то изменило его, он не заметил бы, чем вызвана в нем перемена. Вначале Теодору казалось, словно бог открылся ему и позвал его к себе. Потом ему вспоминалось, как если бы он застал вселенную врасплох и на несколько кратких мгновений заглянул по ту сторону ее и в самую сокровенную ее глубину.

Но самое удивительное в этом мгновенном озарении было то, что оно не имело ни малейшего отношения к Бэлпингтону Блэпскому, и Бэлпингтону Блэпскому не было до этого ни малейшего дела. Так оно сохранялось в со-

знании Теодора большей частью незаметно для него, но никогда не исчезая из его памяти. Это было подобно скрытой искре, которая может снова разгореться и вспыхнуть очень ярко, прежде чем совсем погаснуть.

Он теперь часто вступал в длинные витиеватые споры с Тедди и Маргарет о религии, жизни и эволюции, и можно не без основания предположить, что в этих спорах была какая-то доля влияния того неописуемого мгновения. Но каково бы ни было это влияние, оно было подсознательно и неуловимо.

Они теперь очень часто встречались во время каникул. Маргарет в учебное время посещала дневную школу Сент-Поль, а потом продолжала свои занятия в Бедфордском колледже; она сделалась большой любительницей водного спорта, участвовала в гонках на байдарках в Риджент-парке. Тедди поступил в Королевский колледж, потому что его отец решил, что они будут чересчур одинаково мыслить, если он возьмет сына в свою лабораторию. Теодор приставал, чтобы его тоже пустили в Лондон, но Клоринде, по-видимому, казалось очень трудным решить, чем собственно он должен быть и что делать, и пока что он совершал далекие прогулки, жадно глотал книги, учился играть на скрипке, так как одно время возникло подозрение, что у него музыкальный талант, и брал спорадические уроки французского и латинского языков. Раймонд стоял за «квалифицированного репетитора», который подготовил бы его в Оксфорд, но это так и не осуществилось. Наконец, когда ему исполнилось семнадцать лет, его так неудержимо потянуло в Лондон, что он поднял дома скандал, поселился в меблированных комнатах в Падингтоне и поступил в художественную школу Роулэндса. Впоследствии он перебрался на квартиру в Хемпстед, поближе к своей овдовевшей тетушке, которая жила на Черч-роуд вдвоем с сестрой, мисс Люциндой Спинк, членом Совета Лондонского графства, единственной не вступившей в замужество дочкой Спинка. Но Лондон—большой и разбросанный город, и за исключением нескольких веселых встреч на митингах социалистов в Клиффорд-Инне, откуда они все вместе перекочевывали в кафе, он очень редко встречался с Брокстедами в Лондоне.

А вот в Блэйпорте они встречались постоянно; они играли в теннис, вместе плавали, вместе лежали на пляже летом и пускались в разные походы на пасхе и рождестве. У них были совершенно разные взгляды, но одно у них было общее: они читали и разговаривали, между тем как большинство их сверстников в Блэйпорте не утруждали себя ни тем, ни другим, если не считать тех случаев, когда их вынуждала к этому крайняя необходимость. Фрэнколина присутствие Маргарет погружало в неуклюжее молчание, а Блеттс уклонялся от человеческого обмена мыслями, прячась за набор штампов, годных для любого случая. Иногда к Брокстедам приезжали гости, к которым Теодор обычно склонен был ревновать своих друзей, а иногда гостей сзывала большая безалаберная семья Паркинсонов, проживавшая в полутора милях от Блэйпорта в сторону Хендина, и в таких случаях у них собиралась масса народу.

Мистер Паркинсон — агент по сбору рекламы — был очень деятельный и разносторонний человек. Миссис Паркинсон, белокурая худощавая женщина, чем-то так напоминала Клоринду, что большего сходства Теодор не мог себе и представить; и там было столько сыновей, дочерей, сводных братьев, сестер, кузин, кузенов и прочих гостей, что разобраться в этом не было никакой возможности.

Таковы были условия и обстоятельства, среди которых эти три юных характера формировались и складывались, заимствуя один от другого, воздействуя друг на друга.

— Какие у нас у всех планы? — спросил как-то однажды Тедди.— Что мы будем делать в этом нескладном мире? В чем смысл всего существующего?

Блеттс, сидевший на корточках рядом на песке, казалось, собирался что-то ответить, но промолчал.

— Я думаю заняться спортом и всякой такой штукой, — сказал Фрэнколин.

— А я за науку, за то, чтобы исследовать, раскрыть все, что только можно,— сказал Тедди.— И за социализм.

Фрэнколин хрипло пробормотал, что он не одобряет социализм.

— А я хочу получить право голоса,— сказала Маргарет, украдкой испытующе поглядывая на Теодора.

Теодор был настроен против всяческого феминизма того времени, но он скрывал свои предубеждения и от Маргарет и от Клоринды. Он подумал, что́ бы ему сказать о своих планах. И прибегнул к Раймонду.

— Мир существует для искусства,— сказал он.— Это выше всего, что есть в жизни.

— Боже! — воскликнул Блеттс и вскочил на ноги.— Выше всего в жизни! Ну, знаете... Идем? — сказал он Фрэнколину, и они удалились.

Они, слава богу, не какие-нибудь надутые фанфароны. Выше всего в жизни! Скажите! Да им в голову не придет засорять себе мозги этакими дурацкими вещами. Провались оно, это искусство, и всякие эти «для чего мы существуем»! И, пожалуйста, оставьте бога в покое. А то он, чего доброго, так проучит! Они предпочитали не затрагивать этого. Они были рассудительные ребята.

— Уж это ваше искусство! — сказал Тедди.

— Воспроизвести, отобразить,— разливался Теодор, цитируя Генри Джемса,— найти форму — вот единственное, ради чего стоит жить.

— Так вот,— сказал Тедди, возвращаясь к поднятому им вопросу,— мы трое, выброшенные из ниоткуда вот в это. И мы не знаем как и не знаем почему.

— И не знаем зачем,— прибавила Маргарет, уткнувшись подбородком в руки и глядя на море.

— Если только существует какое-то зачем,— сказал Тедди.

— Я думал, что ваша излюбленная эволюция объясняет все это,— вставил Теодор лицемерным уимпердиковским тоном.

— Она показывает, а не объясняет. Кто сказал, что наука или эволюция что-то объясняют? Наука устанавливает связь явлений или пытается это сделать. Это все, на что притязает наука. Ничто в мире, в сущности, не объяснено. А может быть, и не подлежит объяснению.

— Но когда к этому подходит художник, вещи озаряются.

Тедди, нахмурившись, задумался на секунду; губы его беззвучно повторяли слова Теодора; затем он повер-

нулся к своему приятелю и пристально посмотрел ему в лицо.

— Бэлпи,— сказал он,— эта ваша последняя фраза ровно ничего не говорит.

— Она говорит не меньше и не больше, чем ваша вселенная,— сказал Теодор и почувствовал, что он опять отыгрался.

На это, по-видимому, нечего было ответить, и на минуту наступило молчание. В нем чувствовалась скрытая солидарность с Блеттсом и Фрэнколином. Может быть, насмешливое «Ну, знаете...» Блеттса пробудило какой-то отклик в их сознании.

— Кажется, сегодня так тепло, что можно бы поплавать,— сказала Маргарет.— Интересно, вода очень холодная? Что, если нам попробовать?

— Придется притащить старую палатку из дома.

Они притащили из дома палатку, и тепло весеннего дня, казалось, приветствовало и поощряло их затею.

Но когда Теодор, присев на корточки и чертя пальцем на песке, увидал Маргарет, которая, нагнувшись, вышла из маленькой палатки в тесно облегающем ее купальном костюме и остановилась, вся сверкающая в солнечном свете, что-то вдруг сжалось в нем и заставило его замереть неподвижно, не сводя с нее глаз. Природа, формируя ее, незаметно смягчала линии, и теперь благодаря этим неуловимым переменам ее стройное юное тело стало необыкновенно прелестным и загадочно волнующим.

Раньше ему всегда казалось, что тело Маргарет — это одна сплошная, гибкая, танцующая стремительность. Он всегда думал о Маргарет, что она прекрасна, но сейчас он словно впервые увидел ее прекрасной.

Он поднялся, а она остановилась против него и засмеялась, обхватив коленки руками, и очарование рассеялось.

— Ах, идемте! — сказал он и схватил ее за руку, и они побежали вместе до самой черты прибоя и потом с шумным плеском вдоль края воды, заходя все глубже, сначала по щиколотку, потом по колено, прежде чем смело поплыть в открытое море.

— Не так плохо, Бэлпи! — крикнула она, ныряя.

— Не так плохо.

5

ПОПЫТКИ БЫТЬ РАССУДИТЕЛЬНЫМ

Что я делаю в этом нескладном мире?

Этот вопрос, возникший в сознании Теодора с помощью Тедди, возвращался теперь, всячески видоизменяясь и принося с собой множество ответов.

Тедди, по-видимому, пробивался к своей цели в жизни весьма настойчиво. Для него было ясно, что он будет студентом, будет вести научно-исследовательскую работу, станет профессором. Он уже заранее наметил для себя план действий. Он совершенно точно знал, что ему предстоит делать, чем придется пожертвовать, какие правила он для себя установит. Казалось, на его пути не может быть никаких препятствий между ним и этой определенной, избранной им будущностью.

У его сестры не было такого четкого плана. Но она переняла его решительный тон. Она собиралась учиться на доктора и добиться права голоса, это была тайная символическая мечта всех наиболее ретивых представительниц ее пола того поколения. Это было своего рода учтивое и сдержанное требование — чтобы женщине наконец открыли доступ к познанию самой себя, к той свободе располагать собой, к которой она стремилась в течение бесчисленных столетий рабства. Теодора эта определенность обоих его друзей приводила в замешательство. У него не было никаких планов. Когда они делились с ним своими предположениями, он только и мог сказать, что его интересует искусство или, возможно, критика. Он собирается писать.

— Но ведь ты же не готовишься к этому,— сказал Тедди.

— Готовиться? Что я собираюсь писать — клише, что ли?

— Я не понимаю, как можно рисовать или заниматься каким бы то ни было искусством, пока не овладеешь этим, не проникнешь во все тайны мастерства, я не представляю, как человек может писать, если он не знает, как можно повернуть и перевернуть каждое слово, каждое выражение, каждую фразу. А это нельзя знать без подготовки и без практики.

— Нет, это не так,— отвечал Теодор.— Это не так. Это приходит само. — И затем, словно спохватившись, прибавил: — Я учусь рисовать.

— Ты должен упражняться в этом, как пианист,— сказал Тедди.

Теодор и сам чувствовал, что его художественные притязания несколько расплывчаты. Но надо же было что-то сказать! Он и говорил, но в глубине души это его не удовлетворяло. И сколько он ни думал об этом, ничего для него не прояснялось. Как только мысль его освобождалась от сдерживающей узды контакта с Брокстедами, им тотчас же завладевали мечты. И тогда уж он недолго оставался художником. Кем-кем он только не был! Сначала он был живописцем, таким тонким и прославленным, что самые знатные красавицы приходили к нему просить, чтобы он увековечил их красоту. Они ни перед чем не останавливались. Но для него — ему вспоминались Леонардо и Ромней,— для него существовал только один образ, смутная тень улыбки, которая властвовала над всем, что он творил. Тень улыбки— это был плагиат у Микеланджело, но ему представлялось, что это его собственное открытие. Но художник не может жить только своей мастерской. Мир нуждается в вождях. И вот наступает момент, и гениальный дилетант, отложив свое изящное ремесло, обращается к народу, и народ признает его своим вождем.

Теодор считал Фердинанда Лассаля[1] (в «Трагических комедиантах») весьма увлекательным примером; он прочел о нем все, что можно было найти, и перенес его историю в современные английские условия; он представлял себе Бэлпингтона (избранного в парламент депутатом от горняков Блэпа после нашумевшей на весь мир, захватывающей победной борьбы), изысканного, остроумного, находчивого, убедительного Бэлпингтона, во главе честных, грубоватых представителей простого народа. И вот сначала не во всем согласная с ним, несколько враждебная ему, появлялась фигура очарова-

[1] Ф. Лассаль (1825—1864) — немецкий мелкобуржуазный социалист, оппортунист. Здесь речь идет и о политической деятельности Лассаля, и о его любви к Елене фон Дённигес, дочери баварского дипломата. Лассаль был смертельно ранен на дуэли ее женихом Раковицем.

тельной политической деятельницы, которая в конце концов переходила на его сторону,— это была доктор Маргарет Брокстед. (Здесь он отступал от примера Лассаля.) Не одно женское сердце воспламенялось этой романтической фигурой. Новый Мирабо, соблазняемый прекрасной королевой, но на этот раз неуязвимый...

— То, к чему человек чувствует настоящую склонность, обычно и выходит у него лучше всего,— сказал профессор Брокстед.— Надо только наверняка знать, что ты именно этого хочешь, и вот тогда уж отдашься своему делу весь целиком. Это и есть самое достойное употребление жизни.

— Но не всем это удается,— заметила миссис Брокстед.

— Опыт, дающий отрицательный результат,—сказал профессор Брокстед — он разглагольствовал за чайным столом,— не менее ценен, чем тот, который удается. Может быть, даже и более.

— Но, сэр,— заикаясь, спросил Теодор,— разве неудавшийся опыт ммо-жет, ммowжет быть так уж ценен?

— Да, сэр,— отвечал профессор.— Если он или она обладают в достаточной мере здравым смыслом и мужеством, чтобы это понять. Смотрите действительности в лицо. Следуйте примеру стоиков.

И вот вскоре после этой беседы — как-то во время одной из долгих одиноких прогулок Теодора — Бэлпингтон Блэпский, теснимый со всех сторон, но твердо следуя примеру стоиков, погиб, глядя в лицо жестокой действительности, и лежал, запрокинув белое мраморное лицо, озаренное лунным светом, или шутливо беседовал на своем балконе, подобно сэру Томасу Мору, в то время как час его смерти приближался. Беседовал шутливо даже с леди Маргарет, пока не наступила минута, когда он протянул к ней руки для последнего крепкого объятия.

Затем в течение некоторого времени его критическое чувство, возродившееся в юности с новой силой и подстегиваемое бодрящими профессорскими замечаниями, честно пыталось перенести эти воображаемые драмы в область осуществимого. Еще раньше оно незаметно установило известные пределы места и времени.

И вот тут-то с Бэлпингтоном Блэпским и произошло то превращение, о котором мы уже упоминали выше, он наконец твердо решил познать самого себя, освободиться от всяких фантазий и даже пытался внушить себе, что он «просто Теодор Бэлпингтон, обыкновенный юноша», который смотрит действительности в лицо. «Суровый реалист», так говорил он, и в ту самую минуту, когда он говорил это, перед ним возникал образ настойчивого, решительного и даже не очень красивого и отнюдь не могущественного человека, живущего очень скромно и сурово, разговаривающего всегда очень сжато, действующего с неуклонной прямотой, без всяких этих вывертов воображения, что давало ему удивительную, чудесную власть над его более опрометчивыми и более своекорыстными ближними. Это было своего рода новое духовное пуританство, блэптизм, в сущности говоря, соединение всего честного, прямого. Эти Блэпсы, во главе которых стоял великий, чуждый всякого самообольщения и уничтожающий все иллюзии вождь, стали теми сильными, крепкими людьми, которые спасли разрушающийся мир. Это были истинные Наследники. Они строили мир заново. И первыми среди его помощников были великий исследователь, профессор Тедди Брокстед, и его мужественная прелестная сестра, доктор Маргарет Брокстед.

Теодор был так поглощен придумыванием всех этих увлекательных положений и обстоятельств, что ему не приходило в голову, не происходит ли нечто подобное этому, хотя, может быть, несколько отличающееся размерами и размахом, в воображении обоих его друзей — да и всех его знакомых. Он не сознавал того, что весь мир кругом, ослепленный такими же фантазиями, движется ощупью среди смутно различаемой действительности. Как бы ни фантазировал Теодор, ему никогда не приходило в голову, что и Тедди тоже иной раз получает в мечтах Нобелевскую премию за свою научную работу и, не задумываясь, употребляет ее всю целиком на новое оборудование для своей маленькой, но замечательной лаборатории, в которой он сделал все свои самые важные открытия, и что Маргарет становится видной политической деятельницей вроде юной Этель Сноуден или Маргарет Андерсон, бес-

страшной, неподкупной, невозмутимой, звонкоголосой, и потрясает аудиторию (в которой на самом видном месте сидит Теодор), — возвещая ей, что в этот созданный мужчинами мир снобов и мошенников пришло наконец светлое, облагораживающее влияние женщины.

6

ВЕЧЕР У ПАРКИНСОНОВ

Паркинсоны устроили большой, шумный, веселый вечер, встречу Нового года. Спальни, чуланчики, мезонины, площадки на лестницах — все это превратилось в уголки гостиных, а кровати, замаскированные пестрыми пледами и ковриками, преобразились в диваны; на них можно было сидеть по-турецки, поджав ноги. Сыновья, дочери, пасынки, сводные сестры и братья, их друзья и друзья их друзей, молодые и старые — все были в сборе. В просторной гостиной стоял большой рояль, и двери в столовую были распахнуты настежь. Обычного традиционно-торжественного стола не было, но в самых неожиданных местах можно было обнаружить столики и буфеты, с тарелками, вилками и стаканами и всякими вкусными вещами. Две краснощекие, с красными руками девушки-служанки беспрестанно уносили, мыли и снова приносили тарелки и стаканы. В кабинете мистера Паркинсона для солидных гостей были расставлены столы для бриджа, а более легкомысленная публика упивалась собственным оживлением среди омелы, плюща и затейливых гирлянд остролиста. Каждому полагалось быть костюмированным, иначе говоря, сверх того, что вы надевали на себя обычно, вам полагалось нацепить на себя что-то еще; молодежь развлекалась танцами и играми. На тех, кто являлся в своем обычном виде, надевали бумажные колпаки. Клоринда была в резной короне, взятой напрокат у театрального костюмера, и очень эффектно изображала Бодикку, а Раймонд, как всегда, изображал Веласкеса с маленькой непрочно приклеенной остроконечной бородкой, которую он всякий раз судорожно подхватывал и водружал на место, когда она съезжала, что случалось довольно часто. Клоринда придумала очень удач-

ный костюм для Теодора — он был теперь почти с нее ростом,— она взяла длинную шерстяную фуфайку и бумажное трико и выкрасила их серебряной краской, подпоясала Теодора узорчатым серебряным поясом, накинула ему на плечи свою белую, подбитую мехом пелерину, в которой она ездила в театр, и надела ему на голову маленький посеребренный шлем, крылатый шлем викинга, взятый напрокат вместе с тиарой. Она чуть-чуть загримировала его, и Теодор на этот вечер превратился в удивительно хорошенького, может быть, несколько хрупкого и не совсем типичного, юного варяга.

Она оглядела его с головы до ног с нескрываемой гордостью, поцеловала его вдруг сначала в одну, потом в другую щеку и сказала:

— Иди, сын мой, побеждай.

— Уж ты сама скорей похожа на победительницу,— ответил Теодор с необычной нежностью,— стоит только посмотреть на этот твой громадный меч.

Они вошли с улицы, озаренной звездным светом, в переполненный народом, ярко освещенный холл, где те же две служанки с красными руками отбирали у приходящих шляпы, шали и галоши и складывали их в передней в две большие, напоминающие винегрет кучи, одну мужского, другую женского облачения; после этого гости во всеоружии своих костюмов, но еще несколько чопорные и церемонные, проходили в большую гостиную, где уже собирался народ, и сдержанно вступали в еще не наладившийся разговор.

В дальнем конце гостиной наискосок от двери стояла Маргарет, тоже совершенно преобразившаяся, но бесподобная в тесно облегающем ее блестящем зеленом платье и в высоком конусообразном головном уборе, вызывавшем в памяти турниры и трубадуров. Она не сразу заметила Теодора, а потом, когда она повернула голову в его сторону и улыбнулась, узнав его, что-то зажглось в ее глазах, точно ей впервые открылся Бэлпингтон Блэпский.

Но она была прелестна. Теодор забыл о своем перевоплощении. Он чувствовал себя просто обыкновенным Теодором. Ему захотелось тут же пойти к ней через всю комнату по этому сверкающему полу и сказать ей, как она прелестна. Глаза его говорили это достаточно

ясно, но он не знал этого и слов у него не было, а натертое воском пространство казалось огромным и как-то враждебно гипнотизировало его.

Затем спина мистера Паркинсона заслонила Маргарет; он был из породы обольстителей и тоже заметил ее очарование; а старшая мисс Паркинсон подхватила Теодора и повела его знакомить с какими-то совершенно неинтересными людьми.

Прошло довольно много времени, прежде чем Теодору удалось пробраться к Маргарет, и он, дрожа, дотронулся до ее руки. Сначала один за другим были два контрданса, потом вальс, потом игра в загадки, потом все устремились ужинать. И так все шло своим чередом, и множество было всяких впечатлений, но Теодор все время думал о Маргарет, и ему беспрестанно казалось, что она смотрит на него с каким-то новым выражением, вызывавшим в нем сладостную дрожь. Когда они наконец очутились друг перед другом, он слишком смутился, чтобы пригласить ее танцевать, но она сказала:

— Бэлпи, вам придется без конца танцевать со мной сегодня. Я хочу танцевать с вами.

И с той самой минуты, как они очутились вместе, им казалось уже невозможным разлучиться. Но об этом можно было особенно не беспокоиться, потому что большинство молодых людей стремилось точно так же разделиться на парочки. Только взрослые замечали это деление, и большинство из них относилось к этому благосклонно.

Клоринде посчастливилось завладеть юным Блеттсом; она расспрашивала его о его планах и желаниях и вообще пыталась заставить его разговориться. Но разговор его состоял преимущественно из «Да, я думаю так» и «Да, я вот именно так и чувствую»; Клоринде же казалось, что он раскрывает ей свою душу.

— Есть что-то удивительно милое и трогательное,— рассказывала она потом,— в этих застенчивых признаниях невинной юношеской души. Жаль, что они потом неизменно впадают в цинизм зрелости.

Чары мистера Паркинсона были подобны лучам прожектора во время воздушных маневров в пасмурную ночь. Они устремлялись всюду, но им очень редко что-

нибудь попадалось, а если что и попадалось, то тут же ускользало. Ему казалось, что жена его могла бы пригласить побольше молоденьких девушек, и он склонен был усомниться в ее великодушии. Он очень увивался вокруг Маргарет, но всякий раз Теодор увлекал ее от него, или, вернее сказать, она ускользала от него с Теодором.

Они несколько раз отправлялись вместе ужинать, ибо Паркинсоны проявили большую изобретательность по части сандвичей, и ужинать было очень интересно. Они принимали участие в играх и контрдансах, лазили наверх.

— Давайте осмотрим весь этот старый дом,— с неожиданной предприимчивостью предложил Теодор. Они пустились в исследования, и в разговоре их невольно стала чувствоваться некоторая натянутость.

В одной из маленьких комнаток они наткнулись на целующуюся парочку, которая предавалась этому занятию с великим увлечением. Молодые люди были так поглощены друг другом, что не заметили, как открылась дверь. Теодор и Маргарет отпрянули и очутились в темном коридорчике, и Теодор чувствовал, что все его существо, каждая жилка в нем трепещет.

Они стояли молча. Он приблизил свое лицо совсем вплотную к ее лицу, так что дыхание их смешивалось. Этот миг длился бесконечно. Время точно остановилось. Маргарет сама схватила его за плечи и приблизила его губы к своим. Никогда в жизни не случалось с ним ничего столь прекрасного.

Он обнял ее, он прижал ее к себе, и сердца их стучали вместе. И еще. И еще.

Шаги на лестнице нарушили очарование.

После этого осмотр паркинсоновского дома превратился в откровенные поиски укромных уголков и убежищ, где можно было бы повторить этот восхитительный опыт. И даже, быть может, несколько его усовершенствовать. Многие из этих убежищ оказывались уже занятыми. Разговор и даже всякая видимость разговора между ними исчезла. Маргарет не произносила ни слова. А если бы ангел, приставленный к Теодору, записывал то, что он говорил, он не записал бы ничего, кроме: «Маргарет, Маргарет, скажи...»

В полночь гостей согнали в большую комнату, там все стали в круг, взявшись за руки, и запели «В давние годы». Теодору, щурившемуся в ярком свете рядом с Маргарет, это казалось чем-то вроде обета или обручения...

Наконец хор прощальных «Спокойной ночи» и еще и еще «Спокойной ночи, счастливого Нового года всем»,— и Маргарет, повиснув на руке Тедди, но беспрестанно оглядываясь и махая рукой, исчезла за оградой из тамариска.

— Кто была та смуглая девушка в елизаветинском костюме?—спросил Раймонд.—Она показалась мне неглупой.

— Я не заметила, дорогой,— сказала Клоринда.— А ты? — спросила она у Теодора.

Вопрос пришлось повторить дважды.

— Смуглая? В елизаветинском костюме? Ах да, ты хочешь сказать, с такими буфами на рукавах.— Теодор все еще никак не мог опомниться.— Кажется, это новая гувернантка у Паркинсонов.

А впрочем, он не знает. И не все ли ему равно?

Его предоставили его собственным чувствам и воспоминаниям.

На следующее утро мир снова стал обыкновенным, будничным миром и очень холодным, когда пришлось вылезти из-под одеяла. Продолговатые четырехугольники окон неуклюже залепило точно клочками ваты. Шел снег, и вода, которую принесли в кувшине Теодору, замерзла. Похоже было на то, что можно было кататься на коньках.

Около одиннадцати часов он отправился к Брокстедам по белому, запорошенному, застывшему городу. Он застал Маргарет и Тедди дома, они ссорились из-за коньков. Он принял участие в их споре. Маргарет как будто вовсе не замечала его, но и он тоже избегал смотреть на Маргарет. Никто ни словом не упомянул о вчерашнем вечере. Словно это был сон.

Они привели коньки в порядок, отправились на каток и катались до темноты. Тедди и Маргарет хорошо катались, а Теодор успешно овладевал этим искусством с их помощью.

Никто из них не поминал о новогоднем вечере и

о впервые блеснувшей им радуге пылких сближений — ни слова. Это кануло куда-то глубоко, скрылось под другими, незримо зарождающимися ростками жизни.

Только один раз, когда они рука об руку стремительно скользили вдвоем через весь пруд, Теодору показалось, будто Маргарет шепнула — скорее себе, чем ему: «Бэлпи, милый».

Но он не был в этом уверен. Мгновение скользнуло в вечность.

Он притворился, что не слышал.

7

СЕТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Лондон необозримо расширил мир Теодора.

Подлинный мир, в котором жил Теодор, представлялся ему, как и всякому подростку, абсолютно устойчивым и неизменным. Для каждого ребенка его отец и мать, дом и окружение — это нечто непреходящее; в детстве человечества небо и земля неподвижны, горы вечны, а всякие социальные и религиозные законы установлены раз и навсегда. Биологи уверяют, хотя каким образом они это узнали, я не могу себе представить, будто муха не может обнаружить движение, которое обладает скоростью меньше одного дюйма в секунду, и потребовались длительные систематические наблюдения, прежде чем люди могли установить движение ледников, сползающих в долины Альп.

Итак, Теодор оторвался от прочно обосновавшегося и неизменного мира Блэйпорта, острова Блэй и станции Пэппорт только для того, чтобы на первых порах открыть более обширную неизменность Лондона. Он очутился в безграничном, неизменном в своем постоянстве волшебном мире, в котором людские потоки приливали и отливали. Он был бесконечно разнообразен, этот мир; суетливые улицы, нескончаемые вереницы домов, неуловимо отличающиеся в каждом квартале, так что Блумсбери, Кенсингтон, Хемпстед, Пимлико, Хайбэри, Клэпхем нельзя было спутать даже в самых их незаметных уголках; просторные парки с густолиственными деревьями, голубые просветы и сверкающие декоративные

воды; угрюмые, величественные серые здания; Уайтхолл и Вестминстер и стремительно вспыхивающие огни Стрэнда и Пикадилли. Кэбы и омнибусы уже становились реже, такси только что начали появляться в те дни, но лошадь все еще преобладала в уличном движении; рабочие по сноске домов и строители орудовали между Холберном и новой судебной палатой. Все менялось и все стремилось к решительной перемене, но самое это положение вещей казалось Теодору вечным. Оно только предоставляло ему на первых порах новый, более обширный, более реалистический фон для игры его фантазии.

Он, правда, разглядывал Лондон гораздо больше, чем он разглядывал Блэйпорт. Но Лондон был слишком оглушительно непостижим для него, и он не пытался освоить его сразу. Его услужливое воображение временно заполняло пробелы плохо усвоенным месивом из героики и истории. Бэлпингтон Блэпский после блестяще завершившейся избирательной кампании торжественно едет на коне по Уайтхоллу в парламент или усмиряет бунтующую толпу, яростно осаждающую Бэкингемский дворец. Или он появляется, когда все главнокомандующие армии и флота признают свое поражение, и наносит сокрушительный удар уже почти победившей Германии, Франции, а может быть, даже и всей объединившейся Европе, и с торжеством едет по Пэлл-Мэлл. Или он отправляется на вокзал Виктория и, подобно Нельсону, Муру и Вульфу, преисполнен трагических и безошибочных предчувствий своей последней великой жертвы. Или — это уж было совсем в другом стиле — у него чудесный таинственный дом в Парк-Лейн (который в то время все еще представлял собою нерушимый ряд частных владений). Там он живет, он, Бэлпингтон Блэпский, великий художник, отпрыск старинного рода, и при этом влиятельная особа, ну вот как лорд Лэйтон, этот изысканный президент Королевской академии, но вместе с тем окутанный тайной, вроде героев Уильяма Ле Кю, и с такими же безграничными возможностями, как дизраэлевы Ротшильды.

Если Лондон, овладевая воображением Теодора, сначала казался инертным, тысячи разнообразных знаков все же помогали ему замечать и узнавать действи-

тельность, которая шевелилась под несметным множеством самых разнообразных личин. Постепенно они внушали ему, что этот Лондон может измениться, что он, в сущности, уже меняется. В Гайд-парке под Мраморной аркой вечно слышались выкрики ораторов, призывавших толпу прохожих страшиться бога или остерегаться попов, взглянуть в лицо «германской угрозе» или «желтой опасности», искать спасения в вегетарианстве, дабы не погибнуть от рака, этой неотвратимо надвигающейся кары, восстать против капиталистических тиранов и готовиться к диктатуре пролетариата. Все эти противоречивые надрывающиеся голоса сбивали с толку и вызывали смутное чувство тревоги. Они подрывали веру в незыблемость и неизменность вещей. Брокстеды тоже, казалось, стремились к чему-то положительному в этом беспорядочном, хаотическом, неустойчивом мире. А тетушка Люцинда Спинк считала, что Теодору необходимо открыть глаза на более серьезные стороны действительности.

Тетушка Люцинда Спинк была старшая, самая худая и самая энергичная из многочисленных сестер Спинк. Она была точь-в-точь как Клоринда, только худая и костлявая, и тетя Аманда тоже была точь-в-точь как Клоринда, только немножко выдохшаяся. Тетя Аманда была моложе Клоринды, она была замужем, но пережила своего мужа; это был присяжный поверенный, по имени Кэтерсон, личность ничем не замечательная; он оставил ее бездетной, с очень недурным состоянием, но она каким-то образом утратила всю ту предприимчивость, которой отличались ее сестры. Она теперь относилась ко всему с трезво-благодушной шутливостью и находила столько забавного в жизни, что даже кое-что записывала, но от печатания воздерживалась из-за родных. Просто она иногда говорила разные смешные вещи. Тетушка Люцинда, напротив, гордилась своим неумением шутить; это была всеми уважаемая, общественно полезная старая дева, суфражистка, но не из воинствующих, видная фигура в Фабианском обществе, член Совета Лондонского графства и весьма предприимчивая особа. Это она заставила Клоринду переселить Теодора из Падингтона. Узнав, как неосмотрительно поступила Клоринда, она тут же обрушилась на

нее. Она пересмотрела все самые знаменитые справочники и картограммы общественной и моральной жизни Лондона и выяснила, что Теодора поселили поблизости от конечной станции Западной окружной железной дороги, на улице, изобилующей дешевыми меблированными комнатами и частными заведениями весьма нежелательного свойства.

— Мужчины приходят на поезд в самую последнюю минуту, — говорила она. — А если они опаздывают и не попадают на поезд, они остаются ночевать в Паддингтоне.

Это было все, что она сказала, но этого было достаточно, чтобы создать яркую, красочную картину страшной распущенности нравов.

Итак, хотя это было значительно дальше от художественной школы Роулэндса, Теодора переместили поближе к Черч-роуду, в гораздо более комфортабельную комнату с примыкавшей к ней крошечной неотапливаемой мастерской; сдавала это помещение солидная женщина, которую Люцинда хорошо знала; Аманда переставила все по-своему и очень уютно убрала обе комнатки. Теодора обязали приходить на Черч-роуд по воскресеньям к чаю, когда у тети Люцинды собирались гости, на которых она оказывала моральное воздействие, обсуждая с ними различные движения; ему разрешили приводить с собой кого угодно из друзей, а кроме того, приходить когда угодно к завтраку или обеду, предупредив об этом заранее, и вообще считать их дом посильной усладой его одиночества в Лондоне. Время от времени тетя Люцинда или тетя Аманда наведывались к нему посмотреть, как он живет, предостеречь его от дурной компании, и тетя Люцинда отчитывала его за неряшливость, а тетя Аманда приносила ему цветы. Но между Клориндой и ее сестрами давно существовал ледок взаимного неодобрения, и она редко заглядывала в Хемпстед и держала себя как чопорная гостья..

Скрытое беспокойство Теодора по поводу цели в жизни весьма усиливалось от серьезных разговоров, которые вела с ним тетушка Люцинда. Она любила, когда он приходил пить чай в будни, в отсутствие Аманды, потому что у Аманды была манера улыбаться тихонько, не

говоря ни слова, что, с точки зрения тети Люцинды, отравляло разговор.

— Тебе пора серьезно заняться делом, Теодор,— сказала она ему однажды.

— Я очень серьезно занимаюсь живописью, знаете. Я хожу в вечерние классы, пишу обнаженную натуру.

— Обнаженная натура — это еще не все,— заметила тетя Люцинда.

— Я изучаю драпировку,— сказал Теодор.— Если хотите, могу вам показать кое-какие этюды.

— Ну, разумеется, ты занимаешься живописью. Но ведь есть и другие вещи. Разве политические вопросы, общественная жизнь для тебя ничего не значат?

— Политика... — протянул Теодор. — Мне это представляется каким-то наростом.

— Нет,— отрезала тетя Люцинда, не приводя никаких аргументов.— Искусство — вот это нарост... По существу, все художники — паразиты и продажные души. Ну, конечно, они могут делать кое-какие полезные вещи, декорировать общественные здания, отображать дух эпохи. Но разве художник может делать это, если он только художник, без всяких убеждений? Ты в долгу перед обществом,— продолжала тетя Люцинда.— Оно не заставляет тебя добывать средства к существованию. Оно предоставляет тебе свободу в выборе профессии. У тебя есть время думать, время учиться. Это большие привилегии, Теодор.

— Но если я буду заниматься живописью...

— Осмысленно. В соответствии с политическими и социальными условиями.

— Но при чем тут политические и социальные условия? — спросил Теодор.

— Вот именно! — с неожиданным азартом подхватила тетя Люцинда.— Ты должен найти на это ответ. Во всяком случае, ты должен стремиться получить на это ответ. Эти условия, эта система определяют твою жизнь. Они создают спокойствие вокруг тебя. Они обеспечивают твою независимость. Все, что ты видишь кругом, опирается на них — и эти твои художники и прочее.

— Но разве я не могу предоставить все это людям, которые интересуются подобного рода вещами?

— Каждый гражданин ответствен за это. Если ты будешь уклоняться от своих обязанностей и все другие будут поступать так же, то кто будет тогда поддерживать порядок, следить за чистотой улиц, кто оградит нас от того, чтобы нас не зарезали ночью в кроватях? Даже теперь разве ты не замечаешь, как много несправедливости в мире? Сколько существует устарелых законов, негодных положений. Угнетение бедняков. Угнетение женщин. Угнетение Индии. Ведь этот строй, в котором мы сейчас живем,— это только приблизительная и очень несовершенная наметка социальной справедливости.

— И я должен думать обо всем этом?

— Ты должен знать это. Как-никак ты скоро получишь право голоса. Это налагает на тебя известную ответственность. Ты по мере сил должен добиваться того, чтобы установить справедливость в мире и поддерживать ее.

Тут, если бы при разговоре присутствовала тетя Аманда, Теодор обменялся бы с ней сочувственным многозначительным взглядом и заручился бы духовной поддержкой против тети Люцинды, но так как Аманды не было, ему оставалось только глубокомысленно слушать.

Тетя Люцинда перешла к бесконечным надоедливым расспросам и нравоучениям. Она пожелала узнать, что он читает и как проводит свободное время. Она сказала, что он, по-видимому, не получил никакого гражданского воспитания. Она видит, что он много читал, но тогда как же это могло случиться, что он ничего не читал по социологии? Ничего по политической экономии и истории?

— Да это почему-то было неинтересно, — сказал Теодор.

— Вернее, ты почему-то этим не интересовался,— сказала тетя Люцинда, улыбаясь и вспыхивая тайной надеждой.

Ибо в этой самой комнате она слышала блестящее выступление Баркера, поэта-социалиста, и теперь ей представлялся случай воспроизвести его.

Лицо ее приняло внушительное и вызывающее выражение. Она знала, что ей надлежит произвести впечат-

ление. Она подошла к окну, выходившему на Черч-роуд. Что-то смутно напоминавшее Баркера появилось в ее голосе.

— Подойди и взгляни на эту улицу,— сказала она, и он подошел и встал около нее.— Посмотри на эти тротуары, на газовые фонари. Улица содержится в порядке, фонари зажжены. Это местное самоуправление города. Посмотри на эти дома — все они определенной формы, определенного типа. Чем это объясняется? Социальными и экономическими факторами. Люди, которые живут в этих домах, принадлежат к имущим классам. Они живут в них потому, что им прививались определенные представления о том, как следует жить. Это есть воспитание; это есть социология. Даже вот эти подоконники суть капиталистические подоконники. Вот в этих мезонинах и в этих полуподвальных помещениях живут слуги. Почему? Родные и родственники этих слуг живут в маленьких переулочках позади Хай-стрит. Опять-таки почему? Они считают, что им полагается так жить. Старый джентльмен, который живет вон в том доме, получает почти все деньги, на какие он живет, из Аргентины; другой, вон там, рядом, получает пенсию от правительства Индии. Чем объясняется это регулярное поступление доходов на Черч-роуд? Что заставляет людей посылать деньги этим старым джентльменам? А ведь это как раз те люди, которые заказывают вам декоративные работы и покупают ваши картины. Безусловно, экономические и политические науки очень интересны, если рассматривать их под таким углом зрения. Весь Лондон, весь мир — это живая социология в действии. Живая социология в действии. Ты столько знаешь о викингах, трубадурах и крестовых походах; но разве это не так же увлекательно? И ведь это же сама жизнь! Вот тебе живая социология.

Она улыбнулась своей загадочной скупой улыбкой и бросила на Теодора взгляд, желая узнать, какое впечатление произвели ее слова.

Теодор без всякого энтузиазма смотрел на дом, стоящий напротив. Это был бесцветный, выглаженный, самодовольный дом.

— Я не знаю... не знаю почему,— медленно вымолвил он,— но это не то.

— Но, Теодор!

— Не то.

— Но почему?

— Не знаю. Может быть, это чересчур близко к нам, чересчур реально. Слишком много в этом однообразия. Как-то слишком сложно для понимания. Не знаю. Мне это ничего не говорит.

— Но это вовсе не так сложно, совсем не так сложно, как кажется. Это можно понять. По этим вопросам есть книги — только ты пообещай мне, что ты не будешь отлынивать и прочтешь их. И, кроме того, существуют места, где в известные дни люди собираются и обсуждают эти вопросы. Дискуссии иногда оживляют идею — выявляют в ней жизнь. На будущей неделе я иду на собрание в Фабианское общество, где можно услышать много интересного обо всем этом,— хочешь, идем со мной. Боюсь только, что мне придется сидеть на трибуне.

Она сидела на трибуне рядом с Сиднеем Уэббом и мистером Голтоном; по-видимому, она была знакома со всеми, кто сидел на трибуне, а Теодор нашел себе место в аудитории. Это была очень многочисленная и очень приличная аудитория в зале Клиффорд-Инна, напоминавшем церковь.

И вот в то время как секретарь читал повестку дня и делал всякие сообщения, Теодор почувствовал, как его задел по уху маленький бумажный шарик, и, обернувшись, увидел Маргарет и Тедди, которые сидели за три ряда от него и оба, по-видимому, были очень удивлены и обрадованы, встретив его здесь. Все трое начали оживленно жестикулировать, изъявляя желание сесть вместе, но зал был слишком плотно набит, чтобы можно было думать о перемещении, так что им пришлось подождать, пока все кончится. Теодор сидел с таким чувством, какое у него бывало в церкви, и временами очень внимательно слушал докладчика, а иногда следил за игрой света на оживленном лице тети Люцинды или переносился в Блэп. Иногда тетя Люцинда внезапно становилась вылитой Клориндой, а потом вдруг сходство исчезало и больше не возвращалось. Это было очень интересно. Невозможно было представить себе тетю Люцинду в слишком интимной позе с юным белокурым джентльме-

ном, изучающим народные танцы и кустарную промышленность.

Доклад назывался «Марксизм, его достоинства и заблуждения», местами он был чрезвычайно интересен, местами непонятен, а иногда просто нельзя было ничего разобрать. (Тогда нетерпеливые голоса из последних рядов кричали: «Громче, громче!») Прения были очень забавны, потому что они отличались ужасной бессвязностью; началось с бурного выступления одного немецкого товарища, затем разыгралась сцена между председателем собрания и почтенной глухой леди, которой хотелось задать несколько вопросов, потом было совершенно не относящееся к делу, весьма отвлеченное выступление одного ирландского католика; но время от времени то одна, то другая фраза врезалась в сознание Теодора. Он впервые увидел Бернарда Шоу, и он показался ему необыкновенно интересным, хотя выступал всего несколько минут и по какому-то второстепенному вопросу; и как только он сумел сделать это интересным и личным? А когда все кончилось и все вскочили, с шумом отодвигая стулья, и, толпясь, устремились в проходы, Теодор пошел извиниться перед своей тетушкой, а потом с Брокстедами и их друзьями отправился в кафе Аппенрод; там они пили пиво, ели сандвичи с копченой лососиной и без конца разговаривали.

Друзья Брокстедов были евреи, брат и сестра, фамилия их была Бернштейн. Он был студент, однокурсник Тедди, хотя и казался намного старше и зрелее его, невысокий, круглоголовый, быстроглазый, похожий на монгола; сестра, на год старше его, была хрупкая, стройная, черноволосая, очень подвижная девушка более обыкновенного еврейского типа. Она разговаривала, стремительно закидывая вас целым ворохом фраз, но у нее это получалось очень ловко. Она держала себя с непринужденной фамильярностью, так, например, она положила руку Теодору на плечо, когда ей понадобилось прервать его, и один раз назвала Тедди «дорогой мой». Брат от времени до времени поглядывал на Маргарет не вызывающе, но выжидательно, как если бы он считал ее очень интересной и ему хотелось узнать, какое впечатление производят на нее его слова. Затем он переводил взгляд на Теодора. Теодор оценил живость

ума обоих этих Бернштейнов, но ему казалось, что они слишком прямолинейны в своих суждениях и не придают значения тонкостям и оттенкам. Разговор вертелся вокруг доклада и прений, и Рэчел Бернштейн осложнила спор, задав вопрос, искренен ли был автор доклада. Она, по-видимому, была хорошо осведомлена на его счет. Но, впрочем, у нее был такой вид, как если бы она обо всех была хорошо осведомлена.

— Хинксон — коммунист, — сказала она. — Настоящий красный коммунист. Он знает старого Гайндмана и всю эту группу из социал-демократической федерации. Он выступил как критик марксизма и говорил о его заблуждениях, потому что иначе эта старая фабианская компания не стала бы его слушать. Тонко с его стороны! О, он такой умница! Ведь он повернул так, что им пришлось защищать Маркса, а он делал вид, что нападает. Понятно?

Когда Теодор ближе ознакомился с социалистическим движением, он открыл, что такого рода тонкость и хитрость, приписываемые охотно всем и каждому, пронизывали это движение сверху донизу. Каждый был умнее другого и ловко умел превратить нечто, не вызывающее подозрений, в нечто, превосходящее все ожидания.

Но как же претворялось это движение в мозгу Теодора, по мере того как оно раскрывалось в его сознании? Была ли это фантазия, отличавшаяся чем-то от его собственных привычных фантазий? Вот он сидит здесь, среди шума и света оживленного ресторана, блестят металлические стойки, снуют официантки в белых передниках, кругом столики и полным-полно народу, а снаружи, за стеклами витрин, — толпы прохожих на тротуаре, вереницы кэбов и омнибусов и громадные серо-коричневые здания, вырисовывающиеся в ночи, такие неоспоримые, несомненные и, казалось бы, такие неуязвимые. И вот они пятеро сидят здесь вокруг белого столика и рассуждают так, словно этот маленький митинг в платном зале на четыреста — пятьсот человек, на котором они присутствовали, берется управлять и этим безостановочным круговоротом движения и этими крепкими отвесными громадами и готовится совершить с ними что-то необыкновенное — социальную революцию, которая должна изменить... а что она может изменить?

Изменить неизменное? Отвратить неотвратимое?

— После вашей социальной революции,— заявил Теодор, бросая вызов в лучшем раймондовском стиле,— все останется примерно таким же, как сейчас.

— Все будет по-другому,— сказал Бернштейн.

— Если ваша социальная революция сделает попытку изменить слишком многое,— она не произойдет. Если же она произойдет, то в таком разжиженном виде, что разница будет почти незаметна. Эта фабианская публика — самые обыкновенные люди. Мы мало чем отличаемся от самых обыкновенных людей. Большинство людей на свете — это очень обыкновенные люди, и это так естественно. Они такие, какие они есть. Что же мы можем сделать? Действительность сильнее всяких теорий. Никакого коммунистического государства никогда не будет. Маркс был мечтатель, оторванный от жизни.

— Вы сами себе противоречите, дорогой мой,— сказала Рэчел Бернштейн, схватив его за руку и устремив на него оживленный взгляд.— Правда, противоречите. Вы говорите, что действительность сильнее теорий. А действительность,— она на мгновение отпустила его руку, чтобы ткнуть в него пальцем,— это экономические силы. А это, дорогой мой, и есть материалистическое толкование истории — вся сущность марксизма. Это как раз то, чему учил Маркс, чему учит коммунизм. Вы с нами — только вы этого не сознаете. Но вы это скоро поймете. Да, вы, вы в особенности.— И она приподняла его руку и хлопнула ею об стол.

— Марксизм не теория, —подтвердил Бернштейн.— Это анализ и предвидение.

Теодор покраснел, потому что он чувствовал себя абсолютно невежественным во всех этих «измах». Но он вывернулся с помощью весьма убедительного аргумента.

— Но зачем же тогда проповедовать социальную революцию и бороться за нее, если она все равно неизбежно произойдет?

На этот счет стоило серьезно подумать.

Они спорили некоторое время о точном понимании «революции» и «эволюции». Теодор твердо придерживался убеждения, что революция — это то, что совершается людьми, а эволюция — это то, что случается с ними без их вмешательства; называвать какое-то движение не-

избежной революцией — с этим он никак не мог согласиться.

Тедди с глубокомысленным видом, скрестив на столе руки, очень похожий на кота, который сидит, подобрав лапки, взялся разрешить спор.

— Все это сводится вот к чему,— сказал он, оставляя в стороне вопрос об эволюции-революции.— Коммунисты утверждают, что у нашей капиталистической системы сильно перевешивает верхушка и она становится все более и более неустойчивой. Идет накопление средств, и капитал снова пускают в оборот, вместо того чтобы распределять все то, что у нас производят. При накоплении нового капитала стремятся выгонять больше прибылей, и вот экономят на рабочих, держат их в нищете, экспроприируют, порабощают. Верхушка перевешивает все больше и больше. Из этого следует, что у капитализма есть начало и будет конец. Он все больше и больше будет в долгу у рабочих, и так будет до тех пор, пока не произойдет крах, а это и есть то, что они называют «социальной революцией».

— И что же тогда будет? — спросил Теодор.

— Да,— сказала Маргарет,— что же тогда? Вот что я хотела бы знать.— Казалось, она некоторое время была поглощена какими-то своими собственными мыслями, а теперь снова пыталась сосредоточить внимание на их споре.— Какая же у нас будет тогда жизнь?

— Я тоже хотел бы это знать,— сказал Тедди.

Теодор вспомнил свой недавний разговор с тетей Люциндой. Он повторил из третьих рук вещание поэта Баркера.

— Каждый дом в Лондоне,— сказал он,— такой, каким мы его видим, выстроен капитализмом.— Он слегка заикался, чтобы подчеркнуть свои слова.— В-в-вот хотя бы эти подоконники — это капиталистические подоконники. Социалистические подоконники будут совсем другими. Весь Лондон создан капитализмом и есть не что иное, как вы-кри-кристаллизовавшийся капитализм. Разве не так? Так вот, когда капитализм рухнет, рухнет ли также и Лондон? Вот вся эта внешняя жизнь: дома, уличное движение, уличная толпа,— останется ли это существовать по-прежнему или все уничтожится? Что, собственно, произойдет?

— Всем этим займется революция,— заявил Бернштейн.

— И все изменит?

— Как можно скорее.

— Во что же они это превратят?

— В пролетарское государство,— сказал Бернштейн.

— Но что же будут представлять собой эти улицы, дома? Здания? Какие это будут фабрики? Они должны быть совершенно иные. Так же, как коммунизм есть нечто совершенно иное, чем капитализм.

— А деревня? — подхватил Тедди.— Что будет представлять собой коммунистическая деревня?

— А женщины? — сказала Маргарет.

— Все должно стать совершенно иным. Но на что это будет похоже? — продолжал Теодор, искренне заинтересовавшись и настойчиво добиваясь ответа.

— Будут ли у нас по-прежнему в обращении деньги? — спросил Тедди.— Вы, коммунисты, никогда не даете на это ответа. А мне это кажется очень важным.

— Если вы будете задавать такие вопросы,— сказал Бернштейн,— вы впадете в утопизм, прибежище эстетствующей, сентиментальной буржуазии. Нет. Пусть у нас сначала совершится социальная революция. Это прежде всего, пусть она совершится. Мы не можем рисовать себе заранее заманчивые картины. Хинксон очень ясно говорил об этом сегодня. Все наладится само собой, придет в полную гармонию с новым строем. Нам следует избегать утопизма и строить все на научной базе.

— Если только это действительно научная база,— ввернул Тедди.

— Но как вы можете сомневаться в этом? — вскричала Рэчел Бернштейн тоном истинно верующей.— Как можете *вы*, человек науки, дорогой мой, сомневаться в этом? Утопизм — это просто мечтания. Это ребячество. Игра воображения. Хэмберт говорит, что это все равно что биология вымышленных животных. Вам бы, наверно, показалась смешной анатомия такого рода? Особое строение единорога, до сих пор не описанное. Оперение крыльев грифа. Но,— голос ее зазвучал благоговейно, и в первый раз она заговорила медленно,— марксизм имеет дело исключительно с действительностью. В этом

его особая сила. Вот почему мы неизбежно все к нему придем.

— Выходит, в сущности, что мы должны предоставить carte blanche[1] этой вашей социальной революции,— заключил Тедди.— Без малейшей возможности заглянуть хотя бы даже в программу. Гарантии, я бы сказал, сомнительные, не очень-то мне все это нравится. Маргарет, нам пора идти.

8

СБРОСИЛ ПУТЫ

Мысль о том, что Лондон есть нечто меняющееся, некая бурлящая масса человеческих существ со всеми результатами их деятельности — так представлял себе Теодор внешнюю, видимую форму капиталистического строя,— эта новая мысль очень оживленно бродила в его сознании и доставляла обильную пищу его фантазии. Но она любила плутать разными окольными путями, которые ассоциировались с тем сложным лабиринтом, откуда появлялся и где исчезал Бэлпингтон Блэпский. Эта безликая, бесформенная сила, социальная революция, с которой носились Бернштейны и о которой они без конца говорили, была для него в том же плане бытия, что и эта, живущая в его воображении личность. Она неохотно принимала участие в повседневной жизни настоящего Теодора, она не появлялась ни за его запоздалым и наспех съедаемым завтраком, ни когда он сломя голову летел на поезд, ни во время его уроков рисования и живописи, но она пышно расцветала в его фантазиях. Бэлпингтон Блэпский иногда возглавлял революцию, иногда был великим контрреволюционером, который защищал старый строй во всем мире.

По наущению тетушки Люцинды Теодор наблюдал жизнь бедных людей. До сих пор он обычно старался не замечать их. Но теперь, войдя в роль наблюдателя социальных контрастов, он отправлялся бродить в рабочие кварталы, в трущобы к северо-востоку от Риджент-стрит и Оксфорд-стрит, от Хемпстеда и Хемпстед-роуд,

[1] Неограниченные полномочия *(франц.)*.

от Бэкингемского дворца и Пимлико. Он увидел, что Лондон до сих пор многое скрывал от него. Он скрывал от него свои ютившиеся на задах улички. Теодор пробирался сквозь многолюдную, разгулявшуюся под праздник субботнюю толпу на Эдгвер-роуд и уносил с собой смрадные воспоминания о мусорных кучах и парафиновых фонарях, заглядывал мельком во внезапно отворяющиеся двери, слушал праздничный гомон переполненных кабаков. Их было, по-видимому, несметное множество, этих вонючих и грязных людей. А какая грязь, свалка, разруха и нищета, мерзость и преступление скрывались за всеми этими фасадами Лондона, за всеми фасадами его цивилизации! И тетушка Люцинда считала, по-видимому, что Теодор должен что-то сделать с этим. Но что ему с этим делать?

Вообще говоря, он недолюбливал бедняков. Он предпочитал держаться от них подальше и думать о них как можно меньше. Богачи, когда он думал о них, вызывали у него чувство зависти, а бедняки — отвращение. Да почему, собственно, он должен беспокоиться о тех или других?

Тетя Люцинда сказала, что хорошо бы ему вступить в филиал Фабианского общества, именуемый Фабианским питомником; там он сможет познакомиться с современными социальными проблемами; когда он узнал, что Маргарет и Тедди состоят в этой группе юной интеллигенции, он с удовольствием вошел в нее. Но питомник этот показался ему малоубедительным. Там, по-видимому, считали богатых ответственными за бедных. Но, с другой стороны, бедные отнюдь не были ответственны за богатых. «Почему же нет?—эффектно вопрошал Теодор.— Ведь кто-то должен же быть ответственным?»

Бернштейны не состояли в Фабианском питомнике, они презирали его. Не имеет смысла, утверждали они, ублажать совесть или потворствовать прихотям богачей — залечивать несправедливости социальной системы. Сама система, капиталистическая система, ответственна за все это непоправимое и все увеличивающееся неравенство. Все меньше и меньше народу пользуется простором, свободой, изобилием, солнечным светом лицевой стороны жизни, все больше и больше людей загоняется в смрадные трущобы. Когда в этих



«БЭЛПИНГТОН БЛЭПСКИЙ»



«БЭЛПИНГТОН БЛЭПСКИЙ»

трущобах лопнет терпение, произойдет взрыв, который и будет социальной революцией.

Но, правду сказать, в трущобах не замечалось никаких признаков взрыва, да и вообще никакого революционного брожения.

Теодор видел там толпы озабоченных, суетящихся людей, но не замечал в них ничего такого, что угрожало бы взрывом. Они были заняты своим делом, шли на работу, возвращались домой, покупали в своих жалких дешевых лавчонках уродливые, безвкусные вещи, напивались; самые убогие из них продавали спички, пели гнусавым голосом, стоя под окнами, или, не стесняясь, просили милостыню, менее убогие затевали драки. В них не было ничего, ровно ничего, что напоминало бы Гиганта Пролетария, могучего, справедливого, чистого сердцем простака марксистских плакатов Бернштейнов. Теодор был глубоко убежден, что эти жалкие бедняки, так же как и блистательные богачи, существуют с незапамятных времен, что и через сотни лет, как бы ни изменились обычаи и взаимоотношения, какие бы новые здания ни выросли на смену старым, контрасты большого города по-прежнему будут существовать: другие, но не так уж сильно отличающиеся богачи на переднем плане, и все та же убогая, серая, мятущаяся, придавленная масса — рабы обстоятельств, оттиснутые назад и копошащиеся внизу. Разум его не в силах был допустить в этом сколько-нибудь существенных изменений. В глубине души он верил, что существующий порядок вещей несокрушим.

Это был настоящий Теодор, Теодор, вынужденный видеть мир таким, каков он есть, Теодор, которого некогда в долговязую пору его детства Фрэнколин, Блеттс и другие одноклассники прозвали Фыркачом и Бекасом. Разум его в ужасе отворачивался от титанических замыслов, которые он угадывал за усердными изысканиями, проектами и независимыми попытками тетушки Люцинды и ее фабианских друзей. Он смутно сознавал, что они ставят себе целью изменить весь этот мир, а лицом этого мира, обращенным к Теодору, был Лондон. У них были проекты изменить право собственности, создать коммуну, во что бы то ни стало реквизировать предприятия, фабрики, банки. Тогда все, как они полагали, станет на место; богачей принудят к про-

стому, здоровому образу жизни, а бедняки станут совсем другими, ибо они будут жить в благоденствии и довольстве. Но как же коммуна осуществит все это? Как она сможет реквизировать? А когда она реквизирует, кто будет распоряжаться всем этим? В их дискуссиях этот вопрос подымался снова и снова, прямо и косвенно, и всегда оставался без ответа. Как будет коммуна править? Она сначала должна научиться этому. Но кто же будет ее учить? По-видимому, чиновники гражданского ведомства, архангелы-блюстители займутся этим делом. Не было, казалось, ни одного ответа, который не влек бы за собой нового вопроса.

Сколько бы вы ни размышляли над этим, вы всегда наталкивались на новые трудности. Теодор мог донимать Тедди вопросами до тех пор, пока тот, нахмурив свои палеолитические надбровья и вспыхнув ярким румянцем, проступавшим сквозь его золотистые веснушки, не вынужден был сознаться:

— Разумеется, мы еще пока всего не знаем. Естественно. Но разве это — основание для того, чтобы не делать попыток, не стараться изменить существующий порядок вещей, поскольку мы видим, до какой степени он гнусен?

Теодор вовсе не желал видеть, до какой степени гнусен этот порядок. Он не ощущал в себе этой упрямой решимости, которая заставляла бы его проникать все глубже и глубже в суть явлений и с каждой новой ступенью знания все больше и больше подчинять их воле человека. Он не углублялся в изучение этого вопроса, и ему это было не по душе. Вместо того чтобы признать, что такое положение вещей гнусно, он предпочитал повернуться к нему спиной и утверждать, что оно, в сущности, не так уж гнусно. Убожество переставало быть убогим; оно становилось забавным, трогательным. В обманутых надеждах было что-то смешное; голодный человек не страдал от голода, а пребывал в состоянии психической экзальтации,— иначе зачем бы праведники стали поститься? А у калеки оказывались свои преимущества, он создавал эффектное впечатление гротеска, что нормальному человеку недоступно. Великие художники предпочитают писать калек и старух, потому что если установить правильную шкалу ценно-

стей, то в нормальном физическом здоровье и грации есть что-то чрезвычайно пресное. А когда разум его отказывался помочь ему увернуться от всего этого безобразия и мерзости трущоб, он спокойно переносился в страну грез, в преображенный мир.

Настойчивая пытливость Тедди, который с жестким упрямством придерживался фактов и реальных возможностей, раздражала его; мелочная дотошность «муниципализации и эффективности» фабианских идеалов тетушки Люцинды вселяла в него отвращение; но весьма неожиданно «кредо» Бернштейнов, когда он уловил его истинную сущность, оказалось для него желанным и приятным убежищем. Зачем ломать себе голову над какими-то муниципальными делами, когда чудо социальной революции маячит впереди? Когда весь этот убогий люд преобразится мгновенно в победно восставший пролетариат! И его возглавят рабочие,— не будем вдаваться в подробности,— это будут люди, обладающие даром предвидения.

Теодор в своих фантазиях не сомневался относительно личности вождя, стойкого, неотразимого, вдохновенного, великого Бэлпингтона, избранника горного округа Блэп, человека, который своими прекрасными пламенными речами сплотил суровых горняков этого первобытного края для классовой борьбы.

Теодор втягивал Тедди в жестокие споры и после каждой риторической победы все больше и больше чувствовал себя зорким орлом, заклевавшим тупого быка. Его уверенность в своем умственном превосходстве над Тедди, в своей необычайной интуиции и живости восприятия росла с каждой встречей. Маргарет говорила мало, и по ее глазам нельзя было понять, что она думает. Он жаждал, чтобы она подала ему какой-нибудь знак, что она сочувствует ему, а не Тедди, но она никогда не подавала никакого знака. Она смотрела на него, когда он говорил, и он чувствовал — хотя иногда был не совсем уверен,— что она на его стороне.

Она была на его стороне, но с какой-то тайной оговоркой, которую он не мог разгадать.

У него было странное чувство, что Маргарет была когда-то вручена ему некими неведомыми силами, которые управляют нашим миром, но это чувство возни-

кало и пропадало в водовороте впечатлений и ощущений. Она все меньше и меньше напоминала ему теперь Дельфийскую Сивиллу, и сама Дельфийская Сивилла отступила куда-то в самую глубину его подсознания. Эта богиня его отрочества теперь большей частью была покинутой красой; впрочем, бывали мгновения, когда она завладевала им снова с непостижимой силой.

Однажды в студии Вандерлинка, куда Теодор привел Брокстедов, она посетила его и Маргарет одновременно. Это было мгновенное видение, которое перевернуло все его незыблемые ценности на много дней. Они пили кофе. Маргарет уселась на тумбочку, на которую Вандерлинк ставил свои модели. Она сидела наискось от Теодора, держа чашку в руке, и глаза ее были устремлены на Теодора со свойственным им слегка загадочным выражением. На нее падал свет, а вся остальная часть студии была более или менее погружена в полумрак, и вдруг он увидел — сама Дельфийская Сивилла, она сама, в присущей ей позе, сидит и слушает молча, с каким-то неуловимым неодобрением чепуху, которую он несет.

Он вдруг почувствовал, что это чепуха, начал заикаться, заметил, что противоречит сам себе, и так и не договорил того, что хотел сказать.

После этого он в течение нескольких дней ходил растерянный, потому что не мог себе объяснить, как это она могла привести его в такое замешательство. Но не прошло и недели, как он уже вполне овладел собой и держал себя еще самоувереннней, чем прежде.

В школе Роулэндса со своими сверстниками-студентами он разговаривал всегда с большим жаром. Его легкое заикание не только не мешало ему, а скорей даже выручало его в разговоре. Оно производило впечатление мгновенной мысленной паузы, а не изъяна речи. Оно очень редко застигало его врасплох. Но от времени до времени он прибегал к нему как к своего рода подчеркиванию или затем, чтобы выиграть время и подыскать аргумент. В школьной среде он, не задумываясь, выносил приговор современному миру. Он выступал в качестве мистического адепта грядущей социальной революции. Он был не коммунистом, как он говорил, а «ультракоммунистом», и это получалось очень здорово. Берн-

штейны оставались позади. Никто не вступал с ним в спор по этому поводу, не заставлял его пояснять, что, собственно, он хотел этим сказать.

Школа Роулэндса представляла собой разношерстную толпу, над которой живописно — порывами вдохновения, язвительными комментариями, загадочными изречениями, сопровождаемыми обычно самодовольным смешком и откровенным пренебрежением,— властвовал великий Роулэндс. Иногда он исчезал на несколько дней и предавался своему изумительному творчеству. Два постоянно изобличаемых, но не сдающихся ассистента изо всех сил тщились проводить принципы обучения, обратные тем, которые проповедовал мэтр. Он настаивал на том, чтобы рисовать кистью, это был его способ, но он никогда не излагал его членораздельно, его откровения по этому поводу скорее ослепляли своей яркостью, чем проливали свет, а потому его подчиненные стояли за то, чтобы рисовать попросту карандашом и мелом.

Новички появлялись, вносили плату, приходили постепенно все в большее и большее недоумение и смятение и исчезали; но существовало постоянное ядро—ученики, которые называли друг друга уменьшительными именами, поддерживали традицию школьных сплетен и готовы были напыщенно, но невнятно объяснять каждому, кто пожелал бы их слушать, что такое искусство. Среди этих учеников выделялся Вандерлинк, независимый сирота, достаточно богатый, чтобы содержать в переулке за Тоттенхем Корт-роуд свою собственную мастерскую, где он жил, наслаждался любовью и задавал вечеринки. Он приходил в школу ради компании, поглядеть на то, что делает Роулэндс, чтобы потом отпускать на его счет уничтожающие замечания, но случалось иногда, что он и сам делал с натуры бесспорно эффектные наброски углем.

От этого-то постоянного школьного ядра Теодор перенял и усвоил одно словечко, ставшее самым грозным орудием в его арсенале против сурового материализма Брокстедов,— *«ценности»*, этот чудесный «Сезам, откройся» для овладения лабиринтами факта. Чем больше он свыкался с этим неизъяснимым словцом, чем чаще прибегал к нему сам, тем больше оно ему нравилось. Ему

ничего не было известно о его происхождении, да он и не интересовался им. Оно предоставляло ему такую свободу, о какой он даже не мог и мечтать.

Уже несколько лет он втайне боролся со все усиливающимся страхом и уважением к Брокстедам — отцу и сыну. Они угрожали разрушить нечто, разрушения чего он не мог перенести! Они были подобны неутомимым охотникам, которые терпеливо и неуклонно загоняли его в тесную ограду своих суровых достоверностей. Они были подобны паукам, неустанно плетущим новые нити в великой паутине науки, с тем чтобы захватить, удержать, обуздать и высушить его воображение. Они поставили себе целью медленно, но точно начертать обязательный для всех план вселенной. На этом плане будет безошибочно показано, что, как и к чему, что может быть сделано, что не может быть сделано и, наконец, что неизбежно должно быть и будет сделано. Ибо истина есть самая непреклонная и жесткая из всех диктатур. Они не намечали ни для кого никакой определенной роли в своем планировании, но личное участие каждого становилось обязательным само собой, в них было что-то, чего ему недоставало; они делали что-то, чего он не умел делать. Ночью, лежа в постели, он воображал себя загнанной свободой, а их—безжалостными охотниками, врывающимися в джунгли его сознания. Но теперь на этот их чудовищный, беспощадный план Теодор мог наложить прекрасную, свободную, многообразную шкалу ценностей, и тотчас же такой-то факт становился значительным и такой-то ничтожным, неприятные вещи утрачивали свою власть, а хрупкие, туманно-расплывчатые представления снова оживали со всей своей прежней силой и очарованием. Он мог, наконец, ускользнуть от этого плана, а взамен у него в руках оказывался калейдоскоп, которым он мог пользоваться по своему усмотрению.

Растерянное выражение появлялось в глазах Тедди.

— *Да ну тебя к черту с твоими дурацкими ценностями!* — восклицал он в бешенстве, припертый к стене.

(Но разве спокойный, непреклонный человек науки способен выходить из себя и ругаться?)

И Теодор обрел свободу открыто и вдохновенно распространяться о своем «ультракоммунизме», о своем пре-

клонении перед «чистотой линии», о глубоком мистическом понимании Пикассо во всех его фантазиях, о своей непостижимой осведомленности в русском балете, которым тогда увлекался Лондон и насчет которого Теодор безапелляционно утверждал, что «это вот пустяки, простое дрыгание ногами, а это исполнено глубокого, невыразимого значения», не боясь при этом услышать от Тедди: «Бэлпи, то, что ты сейчас сказал, ровно ничего не значит».

Это перестало быть порицанием. Это обратилось в признание собственной ограниченности. Теперь Теодору достаточно было только ответить: «Для тебя».

С еще большим сознанием собственной правоты он уклонялся от социологических посягательств тетушки Люцинды. «Но, тетя, дорогая!» — говорил он с возмущением, и это было все, точно она шокировала его; этого было достаточно; и он спокойно мог бродить по трущобам в субботу вечером и восхищаться неверными вспышками парафиновых фонарей, пронзительными женскими выкриками, вырывающимися из общего гула, шумом толпы, галдящей у лавок, лоснящимися багровыми физиономиями пьяниц, спертой коричневой пустынной мглой грязных переулков и не испытывать при этом никакого неприятного чувства ответственности за нищету и убожество этих парий, не думая даже об их нищете и убожестве.

«Ценности» были не единственным раскрепощающим открытием Теодора, по мере того как росло и усложнялось его мышление. Он одним из первых ввел коммунистическую фразеологию в богатый, красочный словарь художественной мастерской. Он предварял «пролетарское искусство» своим «искусством социальной революции». Когда он рисовал, он вносил революционное настроение (что бы это там ни было) в свой рисунок. Он искал новых и бунтарских цветовых эффектов. Это вызвало разговоры в студии и заставило Роулэндса выступить по этому поводу приблизительно с такой же позиции. Он перекрыл всю эту тупую, приземленную фабианскую болтовню, эту коллекцию сомнительных статистических данных, этот мелочный, непроцеженный подбор фактов, дотошное, но неуместное подражание методам естественных наук словечком «буржуа» — и тотчас же

множество обязательств, связанных со всем этим, рухнуло. Профессор Брокстед тоже стал буржуа, вся наука, в сущности, стала теперь буржуазной, и флорентийское искусство, и Королевская академия, и искусство портрета (за исключением того, которое считалось «плутократическим» или даже еще хуже), и комфорт, и ванные, и пунктуальность, и долг — все смешалось и лопнуло, как мыльный пузырь, сдунутый этим словом. Путы, нажимавшие на совесть Теодора, ослабли и распались, словно от разъедающего действия кислоты. Нудная необходимость трудиться, быть правдивым перестала висеть над ним тяжкой угрозой.

Он научился пользоваться словом «буржуа» с непререкаемостью Бернштейна; оно стало его козырем, его джокером в спорах; оно побивало все, а в комбинации с ним он помавал «ценностями» со всей непринужденностью Вандерлинка или самого Роулэндса. Сознание его, скользя и блистательно маневрируя, совершало переход от принятия статического к усвоению подвижного мира; он становился взрослым, но по-прежнему давал волю своей фантазии. То временное торжество голой действительности, когда он занимался самопроверкой и осознанием Теодора Бэлпингтона, Фыркача и Бекаса, все то, чему послужило толчком знакомство с Брокстедами, теперь потеряло свою силу, и постепенно Бэлпингтон Блэпский, изменчивый, не поддающийся проверке и уверенный в себе, отвоевал обратно все, и даже более того, что он утратил из-за вторжения Брокстедов.

9

РЭЧЕЛ БЕРНШТЕЙН

Экономические проблемы не были единственной заботой юной интеллигенции в кругу Теодора. Она была чрезвычайно взволнована слухами о предстоящей отмене этого древнего института — семьи — и о передаче всех прав свободной любви.

Скрывая большей частью свои мечты и порывы, свои душевные переживания, свои эгоистические и инстинк-

тивные побуждения под маской бескорыстного научного интереса, юное поколение в Фабианском питомнике устремлялось к этим вопросам, подчиняясь безотчетному тяготению юности.

Будет ли при социализме моногамия или полигамия? Будут ли евгенические соображения играть главную роль при соединении человеческих особей? Можно ли считать разумным проект коллективного брака, как было заведено в коммуне Онеида? В какой мере законна ревность в сексуальных взаимоотношениях, и законна ли она вообще? Могут ли «бездетные отношения», о которых сейчас все говорят, отразиться на моральной стороне жизни? Они говорили о «бездетных отношениях», ибо выражение «противозачаточные средства» тогда еще не было изобретено. Они разговаривали свободно по существу, но в атмосфере личной сдержанности и пользовались биологической и социологической фразеологией. Грубых слов не разрешалось употреблять. Называть вещи прямо своими именами также не допускалось. Ни одно поколение со времени зарождения цивилизации не разговаривало с такой решительной, с такой откровенной свободой, но этот разговор показался бы нелепо ходульным, натянутым и вычурным более развязному поколению наших дней. По сравнению с Фрэнколином и тем, как было принято выражаться в старину, они разговаривали напыщенно, но с их стороны было огромным достижением, что они подошли как к чему-то не только дозволенному, но вполне естественному и достойному к тому, что Фрэнколином считалось постыдным, смешным, неприличным и непонятно заманчивым.

Однако на пути к личному освоению этих нарождающихся свобод было множество препятствий; тучи всяческих угроз мешали их практическому осуществлению. Теодор после разговоров об «ультракоммунистическом обществе», которое будет представлять собой единую, состоящую в коллективном браке семью, возвращался в свою маленькую квартирку в Хемпстеде под бдительную опеку сурово-исполнительной квартирной хозяйки, которая, вероятно, была бы шокирована самым невинным пустячком,— нельзя было даже и пытаться прощупать ее предполагаемую терпимость; и кроме того, всегда была угроза инспекторского вторжения вышеупомяну-

тых тетушек. Свободомыслящая Люцинда была ой-ой как сурова, а добрая, насмешливая Аманда придерживалась таких допотопных взглядов! Все, казалось, жили, как и прежде, за такой же тесной оградой, с той только разницей, что теперь они могли беспрепятственно смотреть поверх нее. Тедди говорил: «Идем, Маргарет»,— и уводил ее домой, а Бернштейны отправлялись восвояси, по всей вероятности, в какое-нибудь многолюдное бернштейновское обиталище.

Продажная любовь шлялась по улицам цивилизации, грубая, накрашенная, все тот же «древний отвод» для стока людских вожделений, и случалось, когда Теодор проходил мимо, эти жрицы встречали его зазывающими возгласами, напоминавшими ему его самые непристойные сновидения. Продажная любовь была отдушиной, предохранительным клапаном, мерой общественной безопасности. Случалось, что эти бродячие жрицы Венеры, из тех, что поскромней, привлекали Теодора помимо его воли, но денег у него было мало. Кроме того, он очень боялся подцепить дурную болезнь, и это смутное инстинктивное влечение к ним всегда сопровождалось у него чувством омерзения и страха. Независимо от всех этих страхов он испытывал просто инстинктивное отвращение. При мысли об этих продажных женщинах ему становилось стыдно.

Однако он и сам уподоблялся охотнику. По вечерам он отправлялся в далекие прогулки, и теперь это были уже не просто мечтательные прогулки, а поиски, полные неясных романтических предчувствий. Но случай никогда не посылал ему никакого приключения, а если и посылал, он никогда не узнавал его вовремя, когда оно попадалось ему навстречу.

Теодор по-прежнему был твердо убежден, что влюблен в Маргарет. Когда она появлялась, сердце его билось сильней, ощущение своего «я» становилось более ярким. Но в Лондоне ему никогда не представлялось случая остаться с ней наедине, а в Блэйпорте с ними всегда увязывался Тедди. Его воображение по-прежнему утешалось ею, но не так часто и не так многообразно, как раньше. Оно не рисовало ему никаких великих перспектив для него с ней. Горячий шепот, прикосновение руки, нежность — это было все, что оно дарило

ему. Она относилась к нему с неизменным спокойным дружелюбием, но очень мало или даже вовсе не поощряла его к интимности. Каких бы правил поведения она ни придерживалась, они не позволяли ей ухаживать за ним, пока он не ухаживал за ней. Он иногда беседовал с ней в присутствии других, говорил с ней о любви, о свободе, о здоровой потребности страсти, это были в смягченном виде те разговоры, которые он вел с ней в воображении, но в ней чувствовалось какое-то глубокое, невозмутимое спокойствие, или, может быть, недостаток чего-то, что мешало ей откликнуться на это.

Она была неразговорчива, но отнюдь не производила впечатления глупой. Казалось, она прислушивается и делает свои выводы. То, что она говорила, заслуживало внимания. Она теперь как будто меньше интересовалась правом голосования, чем прежде. Воинствующие представительницы этого движения, которые в доказательство особой способности женщин к управлению поджигали почтовые ящики и разбивали стекла витрин, оттолкнули ее.

— Как бы там ни было, это неподходящий способ действия,— говорила она своим мягким, похожим на кошачий мех голосом.

— Это способ добиться права голоса,— возражала Рэчел Бернштейн.

— Я бы не хотела получить право голоса таким способом,— отвечала Маргарет.— Я хочу получить его открыто и честно.

Теодор считал это вполне разумным; он одобрял ее здравомыслие, и эту мягкую решимость, и благородную сдержанность. Но мысль о ней все больше и больше отчуждалась от этой жажды приключений, которая гнала его из дому, заставляя его бесконечно блуждать среди ночных огней по темным улицам.

Иногда, но теперь все реже и реже, он мечтал встретиться с ней неожиданно в каком-нибудь незнакомом месте, где всякое чувство неловкости исчезло бы между ними.

А затем случай подстроил для Теодора встречу среди бела дня, которая сильно изменила весь его мир и направила его сознание на другой путь, который ему суждено было пройти.

Однажды в субботу днем он шел по Тоттенхем Корт-роуд по направлению к Хемпстеду и вдруг увидел Рэчел Бернштейн, приближавшуюся к нему. Она шла медленно, задумчиво, освещенная весенним солнцем, и ее подвижное лицо просияло при виде его.

— Хэлло, Теодор, куда вы торопитесь?

— Я иду домой. Не могу рисовать сегодня.

— Ведь сегодня суббота.

— Терпеть не могу оставаться на воскресенье в Лондоне.

— Скучно?

— Скучно.

Они в нерешительности стояли несколько мгновений, глядя друг на друга и не говоря ни слова. Она смотрела на него каким-то странным взглядом, в котором светилась сдерживаемая радость.

Но нельзя же стоять так целую вечность, не говоря ни слова. Теодор приподнял шляпу и пошел; прошел несколько шагов.

— О Теодор! — крикнула она. И очутилась рядом с ним. — Идемте со мной пить чай, Теодор, — сказала она. — Я предлагаю: пойдемте куда-нибудь и выпьем чаю. Поговорим. Я давно хочу поговорить с вами. Здесь недалеко есть кондитерская. Зайдем выпьем чаю. Это будет забавно.

Она нервно посмеивалась, говоря это. Они пошли в кондитерскую, дорогой она неумолчно болтала, перескакивая с одного на другое. Ей никогда не удается поговорить с ним. А ей так всегда хотелось этого.

— Я знаю, вы интересный человек и вы говорите такие дельные вещи. Но когда мы встречаемся в компании, мне никогда не удается добраться до вас. А теперь вы будете мой.

Это был приятный тон разговора.

Они уселись за маленький мраморный столик и заказали чай. Оба почему-то были нервно настроены и возбуждены. Хотя, в сущности, для этого не было никаких оснований. Его заражало какое-то исходившее от нее возбуждение. Она заговорила о его убеждениях.

— Я думаю, вы знаете, что я тоже ультракоммунистка. Мне кажется, это открывает дорогу к настоящей жизни, к настоящей свободной социальной жизни.

Я думала вступить в социал-демократическую федерацию, но там такая косность, такое доктринерство. Там нет вашего освобождающего артистического духа. Вы ведете к чему-то более прекрасному. Ведь правда же?

Теодор чувствовал, что ему следовало бы что-нибудь сказать, поскольку он оказывался носителем идеи, ведущей к чему-то более прекрасному. Но он не нашелся что сказать, к тому же она продолжала говорить, и она сидела к нему так близко, насколько это было допустимо в кондитерской, ее рука касалась его руки, она не сводила глаз с его лица.

— Что вы думаете о моем брате Мелхиоре? — неожиданно спросила она.

Она не дала ему времени ответить.

— Он упрямый и сильный человек, вы не находите? У него блестящий ум, но в нем есть что-то жестокое. Он влюбился. Вы знаете, влюбился внезапно. И уехал с ней.

— С кем? — спросил Теодор.

— Не знаю. Уехал с ней. Исчез до понедельника, и я не знаю, куда. Оставил меня одну в квартире.— Она помолчала минутку.

— Я думал, вы живете с родными,— заметил Теодор.

— У нас нет родных в Лондоне. Мать умерла два года тому назад. Мы сироты. Мелхиор моложе меня на два года. Когда мы были маленькие, я могла заставить его реветь в любое время,— такой он был нюня, а теперь по вашим мужским законам к нему перешло три четверти состояния, а мне досталась одна четвертая часть. Подумайте только! И даже эта четвертая часть находится под его опекой, пока мне не исполнится тридцать лет. Я должна обращаться за деньгами к нему. Вот это — равенство полов, как его понимали наши отец и мать. Но не будем говорить об этом. Я веду для него хозяйство. С нашей старой служанкой. Старой няней. И даже она ушла сегодня из дому на весь день, до позднего вечера.

Снова наступило молчание. Теодор старался отогнать от себя разные странные мысли.

— Вы должны посмотреть нашу квартиру,— сказала Рэчел.— Вы, наверно, ужасно считаетесь со всяческими условностями,— прибавила она,— правда?

— Я ненавижу буржуазные условности,— сказал Теодор.

Ее темные глаза заглянули в его глаза с какой-то особенной, мягкой настойчивостью. Они говорили непостижимые, волнующие вещи. Они сделались темнее и глубже. Какая-то неожиданная красота была в этом разгоряченном, пылающем лице, которое он видел так близко. Она чуть-чуть улыбалась. Ее большой полуоткрытый рот с пухлыми губами сделался удивительно притягивающим.

— Как это глупо, не правда ли,— сказала она низким вкрадчивым голосом,— что мы пьем чай здесь, когда я могла бы приготовить вам чай собственными руками у меня дома.

Слова были простые, но, казалось, в них скрывался какой-то неуловимый смысл.

— Почему нам не пришло это в голову? — сказал Теодор так же вкрадчиво.

— Вам должна понравиться наша квартира. Такая забавная маленькая квартирка,— у нас есть несколько японских гравюр и масса плакатов. Знаменитый плакат Бердслея.

— Я никогда их не видел,— сказал Теодор.— Я только слышал о них.— И по какой-то непонятной причине его охватила нервная дрожь.— Я бы с удовольствием посмотрел...

— Хотите? — сказала она, и глаза ее засияли.— Вы правда хотите?

— С удовольствием посмотрел бы,— решительно сказал он и принял ее вызов.

Квартира была совсем близко, она помещалась в отстроенном заново нижнем этаже дома георгианского стиля. Вестибюль был общий для всего дома, и вид у него был весьма непритязательный. У Рэчел было два ключа: один от подъезда и другой от ее квартиры. Первая комната представляла собой нечто вроде мастерской, в ней стоял диван, который мог служить кроватью; кроме этой комнаты, была еще большая ванная комната и две комнаты в глубине; двустворчатая дверь из первой комнаты вела в одну из них.

— Глупо, что мы пошли пить чай в эту дурацкую кондитерскую,— сказала Рэчел. Несколько секунд она стоя-

ла не двигаясь, и Теодор тоже стоял молча, не двигаясь. Затем она как будто что-то решила.— Подождите меня минутку, Теодор, пока я пойду сниму шляпу.

Она замялась, потом подошла к окну и задернула шторы. Остановилась, посмотрела на него и затем скрылась за двустворчатой дверью.

Теодор смотрел на груду бумаг на столе, на книги, стоящие на полке вдоль стены, но в этом участвовали только его глаза, а сам он был весь сплошная буря невероятных предчувствий. Через некоторое время появилась Рэчел, переодетая с головы до ног. Его предчувствия перешли в уверенность. Она распустила свои пушистые волосы, и они лежали буйной черной копной. На ней был легкий свободный халатик, и ее шея и стройные ноги в красных домашних туфлях были голые. Она остановилась в дверях.

Теодор не мог выговорить ни слова. Он кашлянул.

— Вы нравитесь мне такая,— наконец вымолвил он.

— Я нравлюсь вам? — сказала она, осмелев, и подбежала к нему.— Я нравлюсь вам такая? Дорогой мой,— прошептала она, положив руки ему на плечи и приблизив вплотную к его лицу свое пылающее лицо.— Как вы относитесь к коллективному браку? К тому, чтобы все красивые люди могли жить друг с другом? Вы думаете...— Сердце его неистово билось.— Поцелуйте меня, милый.

Он поцеловал ее и нерешительно обнял. Под мягким халатиком не было ничего, кроме стройного трепещущего тела. Он сжал ее в своих объятиях.

— Сними этот свой буржуазный воротничок,— сказала она, обхватив его руками.— Мой дорогой! Кто тебя научил целоваться?

— Это приходит само,— сказал он и снова поцеловал ее.

— Иди сюда! Сними совсем свою куртку. Сними воротничок. И зачем только мужчины носят воротнички! Скорей. Вот так! О! Милое атласное плечо, такое гладкое, такое твердое. Какая чудесная вещь тело! А мы прячем его. Отвернись на минутку. Ну, вот теперь смотри! Видишь, какие маленькие грудки, чуть-чуть побольше твоих...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ТЕОДОР В РОЛИ ЛЮБОВНИКА

1

Я МУЖЧИНА

В воскресенье вечером Теодор, сидя полураздетый на кровати у себя в спальне в Хемпстеде, приводил в порядок свои мысли. Он провел два изумительных дня. Он пробыл у Рэчел до позднего вечера, а в воскресенье днем, после обеда у тетушек, он незаметно скрылся до чая и провел с ней часть дня в этом маленьком храме Венеры, который она создала для него. Ему стало ясно теперь, как чудовищно грубы и невнятны были откровения пола, скрывавшиеся в указаниях Природы. Все ценности искусства и романтики в его мире переместились. Тысячи вещей, которые раньше пленяли только своей изысканностью, теперь наполнились физической жизнью. И каким-то чудесным образом пол утратил всякий налет непристойности. Как если бы и сам Теодор и все его представления об этого рода вещах подверглись очистительному омовению. Рэчел в эти волнующие часы так наполняла собой и своим всепроникающим жизненным азартом его сознание, что только теперь, в состоянии удовлетворенной, блаженной усталости, он мог хоть несколько осознать, какой порог он переступил в жизни, какая с ним произошла перемена. Но выразить это он мог только словами, которые она подсказала ему.

— Наконец-то я мужчина,— говорил он.— Мужчина.

Это было все, что он мог сказать себе в этот вечер, а затем он юркнул в постель, и заснул глубоко и слад-

ко, и спал до тех пор, пока его не разбудила утром, усердно тряся за плечо, его хозяйка.

Весь этот день гордое сознание своего нового статуса не покидало его. Он шел в школу Роулэндса просветленный, полный глубокого понимания. Прохожие, встречавшиеся ему на улице, в особенности девушки и молодые женщины, казались ему теперь исполненными значительности, которой он прежде не подозревал. Они таили в себе неистощимые возможности наслаждения. Общественная жизнь, заключил он, это в самой своей сущности захватывающая радость сексуальных отношений — приодетая, замаскированная, скрытая, но не настолько скрытая, чтобы остаться невидимой для глаза посвященного.

Только через несколько дней этот туман самоудовлетворения, обволакивающий его, стал понемножку рассеиваться, беспокойство снова вернулось, и обширные участки его сознания, которые временно пребывали в бездействии, снова вступили в свои права.

Некоторое время он не мог ни видеться, ни сообщаться с Рэчел. Она просила его не писать ей и быть как можно осторожней, чтобы не выдать их связи. Ее брат, сказала она, следит за ее поведением, «как семнадцать бдительных теток».

— Я тебе сама напишу. Удивительно, как сказывается наше восточное происхождение. Он признает свободную любовь для себя и для всех, для кого угодно, кроме своей сестры. А когда он перебесится и натешится вдоволь, он, вероятно, сделается католиком и реакционером и найдет себе чистую-чистую, обожающую его девушку, и она будет рожать ему достойных дочерей и увешивать себя драгоценностями, которые он с удовольствием будет ей покупать. Такая уж раса. И все они такие. Либеральных евреев не бывает, дорогой мой, есть только либеральные еврейки. У наших мужчин врожденное уважение к собственности и респектабельности. Мелхиор, несмотря на весь свой коммунизм, жаден, осторожен и труслив, как крыса. Не могу представить себе, что бы он стал делать, если бы действительно произошла социальная революция.

Она написала Теодору коротенькую записочку.

«Когда, о, когда же мы снова сойдемся с тобой на Пустынном Острове, мой милый, стройный, крепкий, мой маленький дикий братец? Всегда твоя Р.».

Он носил с собой эту записку в кармане несколько дней, но потом она истерлась, и он сжег ее.

Они встретились примерно недели через две, но это было на собрании в Фабианском питомнике, и им не удалось поговорить с глазу на глаз. Это была совсем не такая встреча, о какой он мечтал. Хладнокровие Рэчел было просто удивительно. И она была другая. Она была чужая. Она пробудила в нем какое-то смутное чувство неприязни. Казалось невероятным, что эта дурно одетая, суетливая девица была той пышноволосой, гибкой, смуглой нагой девушкой, которая так завладела его чувствами. Она кивнула ему, улыбнулась, помахала рукой, но тут же отвернулась и продолжала оживленно разговаривать со своими знакомыми. И больше ни разу не взглянула на него.

Теодор в своем воображении приукрасил до неузнаваемости свои воспоминания о Рэчел.

Ее самообладание сбило его с толку и вызвало в нем чувство неуверенности. Ему казалось, что и эта встреча могла бы быть гораздо более значительной. Последнее время его неудержимо влекло к ней, и сейчас он надеялся уговориться о новом свидании. Но ему было бы очень неприятно, если бы кто-нибудь узнал о его отношениях с Рэчел.

Восторженное чувство гордости, которое она внушала ему, исчезло, как только он увидел ее такой, какой она была на самом деле. Он смотрел на ее согнутую спину, на ее беспрестанно поворачивающуюся из стороны в сторону голову, и его все сильнее охватывало раздражение на эту сегодняшнюю Рэчел. Ему не верилось, что это та пылкая возлюбленная, которую он любил и ласкал. Он чувствовал, что эта Рэчел — чужая, что она стоит между ним и его возлюбленной и старается подавить его желания.

Неожиданно он поймал на себе пристальный взгляд Мелхиора Бернштейна и тотчас же отвернулся в испуге. Потом, разозлившись, он сам устремил на него свирепый взгляд, но внимание Бернштейна уже было отвлечено чем-то другим. Что бы такое придумать, ска-

зать ей так, чтобы она поняла, но при этом не вызвать подозрений у других? Ужасно трудно.

Почему она не придет ему на помощь?

Собрание закончилось, и все начали расходиться, а он все еще старался поймать ее взгляд. Рэчел направилась к выходу, а Теодор стоял, не двигаясь с места, вне себя от досады и разочарования.

Она избегает его! Избегает и прячется от него!

И вдруг он увидел рядом с собой Маргарет.

— Бэлпи! — вскричала Маргарет.— Вы не видели Тедди? — И легкое прикосновение ее руки сразу разрушило преграду, выросшую за последние полторы недели между двумя потоками его сознания. По одну сторону этой преграды находился весь сложный, длительно пластовавшийся комплекс воспоминаний, фантазий, восторгов и желаний, сосредоточенных на Маргарет; по другую — еще совсем не изведанный бурный водоворот сладостных тайных ощущений, которые открыла ему Рэчел. Первый, более обширный поток бился в сдерживающую его преграду, громко взывая и требуя, чтобы ему дали доступ к новому. Новый защищал свое русло, глухо и неукротимо продолжал свой бег. И вот сейчас, когда он увидал рядом с собой милое лицо Маргарет, он понял: только ее одну он любит и желает; он поступил непростительно, изменив ей, она не должна знать о том, что случилось; Рэчел в сравнении с ней дурная женщина. У Рэчел и до него были любовники. Рэчел позабавилась с ним просто от нечего делать. А он что думал? Почему он не сообразил этого раньше?

Он отвечал рассеянно, поглощенный хаосом собственных мыслей.

— Тедди? Разве он здесь?

— Он собирался выступить. Говорил, что непременно выступит. У него уже была приготовлена речь — и вот его нет.— И она прибавила укоризненно: — Я сидела через два ряда от вас, а вы даже ни разу не обернулись.

Преобразившееся сознание Теодора прояснилось. Он почувствовал возможность высокодраматического момента.

— Давайте поищем его,— сказал он и, взяв ее под руку, привлек к себе с такой решительностью, на ка-

кую он отнюдь не был способен две недели тому назад. Он пройдет с ней мимо задержавшейся в проходе компании Бернштейнов — и даже не заметит Рэчел.

— Мне нужно поговорить с вами, Маргарет. Мне нужно сказать вам очень, очень многое. Пойдемте в кафе Аппенрод.

— Но нам надо разыскать Тедди.

— Если Тедди не пришел, я провожу вас.

— Но если Тедди не пришел... я... я очень беспокоюсь о нем.

— Он просто забыл. Засиделся у себя в лаборатории.

— Никогда он ничего не забывает. Когда он говорит, что придет куда-нибудь, он всегда приходит. Он говорил, что должен выступить сегодня. Ему надоело быть просто пешкой. Ему хочется быть настоящим, живым проводником мыслей. Он уже давно говорил об этом.

— Но ведь вот же он не пришел.

Теодор вытянул шею и огляделся по сторонам, как будто разыскивая Тедди, но вместе с тем явно стараясь показать Рэчел, что он не замечает ее. И тут, возможно, ему почему-то представился Бэлпингтон Блэпский, такой красивый и стройный, рядом со своей прелестной подругой.

Теодор надеялся, что Тедди не появится. Ему хотелось поскорей уйти с Маргарет. Он не совсем ясно представлял себе, что ему надо сказать Маргарет, но он был совершенно уверен, что это будет нечто чрезвычайно важное. Это будет нечто вроде исповеди и признания в любви. Мольба о помощи. Он поскользнулся, он дал себя увлечь... Ах, что бы там ни было!.. Она может спасти его. Она всегда была его идеалом, единственной чистой и светлой надеждой его жизни. Он полюбил ее с того самого дня, как увидал впервые...

Этот слепящий стремительный ураган мелькающих мыслей вихрем крутился в его мозгу, между тем как, повинуясь рассудку, он сознательно увлекал Маргарет к выходу и мягко, но настойчиво преодолевал ее желание подождать. И вдруг — о проклятие! — Тедди!

— Тут на углу перевернулся кэб! — сказал Тедди, едва переводя дух от быстрой ходьбы.— Вы прямо не поверите. Лошадь рванула, и экипаж так весь и перевернулся на бок. Седок только успел высунуть руку в боко-

вое окошечко. Я помог ему вылезти, перевязал его. Порез артерии, вся рука изрезана осколками стекла. Кровь прямо так и хлестала. И ни души кругом. Пришлось взять кэб и везти его в больницу. Сколько споров было с кучером из-за крови! Я кое-как подложил его пальто, чтобы не испачкать сиденье. Потом ему во что бы то ни стало надо было передать записку женщине, которая ждала его в гостинице. Ясно, что это было не совсем удобно поручать рассыльному. Пришлось пойти. Понимаете? Ну вот так и проканителился целый вечер. А уж я эту свою речь чуть ли не наизусть выучил...

Так грозовые тучи, скопившиеся в сознании Теодора, остались неразряженными. Эта проклятая катастрофа сделала Тедди таким говорливым, что от него никак нельзя было отвязаться. Маргарет — Теодор видел это — понимала, что ему нужно ей что-то сказать, но Тедди не давал им возможности поговорить. Они расстались у Темпл Стэйшен, и Теодор весь обратный путь до Хэмпстеда шел пешком, чтобы привести в порядок свои мысли и успокоиться. Написать ли ему Маргарет длинное письмо? Или поговорить с ней решительно?

Он попробовал придумать и отбросил несколько вариантов вступительной фразы письма к Маргарет, в котором он подробно объяснит ей все. Затем он попробовал прорепетировать этот решительный разговор. «Маргарет,— скажет он ей,— жизнь смяла меня очень рано. Я человек сильных страстей. Я весь в отца, такая же чувственная натура». Или, может быть, более прямо: «Маргарет, представляли ли вы себе когда-нибудь, каких страшных усилий мне стоило обуздывать себя?» Или в повествовательном стиле: «О Маргарет, со мной произошло нечто очень странное, и при этом мне открылись такие глубины моего «я», о существовании которых я даже не подозревал». И так далее, один за другим, целая серия гамбитов. И все это великолепно завершалось мучительным воплем: «Я не могу жить без любви! Я сильный человек, дорогая, но я дошел до предела! Я не могу жить без любви!» (А потом как же они устроятся?)

Тем временем еще один возможный слушатель требовал внимания. Как ему держать себя с Рэчел, когда он встретится с ней? Отплатить ей холодным презрением

за ее равнодушие? Или послать ей очень-очень краткое, но выразительное письмо? «Мое сердце никогда не принадлежало Вам. Вы волновали мою чувственность, но не чувства». Так ей и надо, этой Рэчел, которая весь вечер поворачивалась к нему спиной и цеплялась за рукав какого-то незнакомого субъекта. Ну что ж, с этим покончено — покончено навсегда.

Дома в передней он увидал серо-голубой конверт, надписанный неразборчивым почерком Рэчел.

Он распечатал его не сразу, сильно взволнованный.

«Милый мой маленький Дикарь,— начиналось оно.— Это можно повторить. Он оставляет меня одну в ближайшую субботу до понедельника — свою робкую покорную рабыню-сестру. В полном одиночестве — на растерзание любому отважному юному Дикарю, которому вздумается на нее напасть. Миссис Гибсон тоже не будет после четырех — я об этом позабочусь. Если — не дай бог! — вы не сможете прийти, телеграфируйте мне (номер 17Б) после половины четвертого, никак не раньше (дважды подчеркнуто). Я собственноручно напою Вас чаем и всячески буду угождать Вам, как подобает прекрасно вышколенной рабыне-сестре. Я укушу тебя.

N. B. Сожгите это».

Он пошел. Он был у нее ровно в четыре.

2

А КАК ЖЕ МАРГАРЕТ?

И вот тут-то и наступает решающий момент в этой борьбе, происходящей в сознании Теодора. Он уже давно отказался следовать путем голой правды, да, признаться, он никогда особенно рьяно и не шел этим путем. Теперь он старался подавить конфликт между двумя совершенно несовместимыми комплексами своих ощущений. Он мог бы хорошенько подумать, будь у него более тренированный, более доброкачественный мозг, и сохранить ясность сознания и способность управлять собой. Возможно, когда-нибудь человеческий мозг и научится мыслить и управлять со всей доступной ему силой и ясностью. Теодор, во всяком случае, не сделал ни-

чего в этом направлении. Вместо того чтобы хорошенько подумать, он пошел по проторенному пути и стал безудержно фантазировать. Ему ничего не стоило наводнить свое сознание целым потоком оправдывающих и смягчающих фраз, чтобы безболезненно сняться с острых камней мели, на которой он очутился.

Этот спасительный поток исходил из двух главных источников его сознания. Одним из них — неисчерпаемым кладезем всяческих оправданий — был артистический темперамент; другой представлял собою идеал «светского человека», талантливого, много пережившего, мудрого, несколько циничного, сдержанного, но, в сущности, прекрасного малого. Бэлпингтон Блэпский давно уже охотно присваивал себе эти черты. Но эти приступы страсти, этот неукротимый пыл он присвоил недавно. Бурные чувства завладевали им теперь внезапно с бешеной, неудержимой силой — яркая, отличительная черта гения. Этим объяснялась частая смена его настроений, переход от экзальтации и разнузданности к раскаянию и самобичеванию. Поистине это была загадочная и мятежная натура, требующая глубокого понимания и сочувствия. Это возведение непоследовательности и непостоянства в стройный ряд прекрасных и сильных эмоций влекло за собой значительное изменение в оценке Рэчел и Маргарет, но ум Теодора становился все более и более искусным в такого рода переоценках.

Так, например, его воспоминание о первом свидании с Рэчел подверглось значительным исправлениям. Инициатива всего случившегося незаметно перешла целиком к Бэлпингтону Блэпскому. Этот великий человек, умеющий ценить и любить жизнь, пленился игривым очарованием, скрытым в грубоватом задоре маленькой, распущенной, пылкой еврейки. Этот благородный юноша, так напоминающий юного Гете, просто поиграл с нею. (Он всегда был не прочь поиграть с нею, когда ему представлялся случай.) Она, конечно, не устояла перед ним. Он покорил ее почти без всякого усилия. Этот каприз был и продолжал быть эстетическим признанием жизни, любовным отношением к жизни; это было все равно, что ласкать хорошенького котенка. Но сердце его неизменно было обращено к другому идеалу. Год за годом под его неустанной опекой, под его муд-

рым воздействием развивалась Маргарет. Ее неотразимая красота была только обещанием и предвестием красоты ее души. Медленно созревала она для того, чтобы постичь всю сложность и глубину его натуры.

Так вот оно и шло, примерно так, хотя временами было очень трудно сохранить незыблемым подобное положение вещей.

Бывали минуты, когда его тянуло открыться Маргарет, рассказать ей все о Рэчел, рассказать, объяснить, убедить, осветив при этом со всех сторон свой характер, но ревнивое желание сохранить все, как есть, удерживало его. В общем, было, пожалуй, лучше, по крайней мере хоть на время, чтобы Маргарет совсем ничего не знала об этой истории с Рэчел.

Однако Рэчел каким-то непонятным образом угадала, какую роль он отводит Маргарет в своей жизни. Она относилась к этому с несколько насмешливой и не слишком бурной ревностью. Она называла Брокстедов не иначе, как «эти два фабианских сухаря» или «буржуазная парочка». Она говорила про Тедди, что он принадлежит к породе молодых людей, которые постоянно твердят про себя все, что они знают, из страха забыть что-нибудь. Она говорила, что Маргарет трижды обдумает, прежде чем решится сказать что-нибудь, а когда она наконец соберется, это оказывается слишком поздно, так она ничего и не говорит. «Она готовит себя в ничтожества,— злословила Рэчел.— Это просто какой-то немой попугай, молчит, и всем кажется, что она думает».

А однажды она сказала злобно:

— Она только пялит на всех свои глазища — и все почему-то приходят в восторг. Ах, мужчины такие дураки! — заключила Рэчел.— Ведь она же просто еще не проснувшийся младенец. И не может быть, чтобы она была намного моложе меня. Во всяком случае, я была не старше ее, когда я начала. А вы поглядите на нее!

— Скажи мне, милый,— внезапно спросила она его однажды,— ты влюблен в Маргарет?

Кто это — Бэлпингтон Блэпский или Теодор — отвечал «нет»?

Это «нет» было нетрудно оправдать, когда он вносил поправки в свои воспоминания. Мужчина должен оберегать честь женщины от ревности другой женщины. Светский человек понимает это. Кроме того, влюблен ли он в Маргарет? Если вот это называется любовью,— нет. Так, как понимает это Рэчел,— безусловно нет. И если бы он не сказал «нет», Рэчел продолжала бы злословить, злословить, злословить о Маргарет, а это невыносимо. Она и так слишком много говорит о ней.

Но когда Рэчел и Теодор бывали вместе, признаться, вряд ли это можно было назвать игрой с его стороны и покорностью с ее. Она мигом переворачивала все, и сначала это было приятно, но потом ужасно раздражало. В сокровенной легенде Теодора ей отводилась роль почитательницы, но в ее отношении к нему не чувствовалось ни малейшего почитания. Вернее было бы назвать это смакованием. Как ни унизительно это было для Теодора, но фактически Рэчел была намного опытнее его по части всяких ухищрений и уверток запретной любви. Когда отлучки ее брата сделались нестерпимо редкими, она точно осведомила Теодора, где можно найти подходящую комнату в Сохо, сколько заплатить за нее, кому дать на чай и что сказать, когда он ее снимет. Иногда она просто командовала им в этой «игре», как раздражительная молодая тетушка, которая взяла к себе для развлечения племянника на один день,— и так она вела себя до тех пор, пока они не оставались друг с другом наедине.

Случалось, впрочем, что она говорила ему очень приятные и лестные вещи.

Так, например, она говорила, что у него удивительно интересное лицо, и это было очень отрадно слышать. Она считала, что в физиономии любого «гоя» гораздо больше интересных черт, чем в какой бы то ни было еврейской физиономии. Однажды она пустилась в длинные достопримечательные рассуждения о евреях.

— Мы о них все знаем. Все они на один лад — результат массового производства. Моисей — это первый Генри Форд. Все евреи братья. Для еврея любить еврейку — это кровосмешение. Его следует привлекать за это к суду. Поколение за поколением двоюродные братья

женятся на двоюродных сестрах, все на одно лицо, вечно одни и те же типы. А вы, гои, перемешались со всеми на свете. Взять хотя бы вас, что вы такое? Иберийский кельт, загадочная порода с примесью англосаксонской крови и, кто знает, чего еще? Одно за другим, все переплелось, перемешалось, одно вытесняется другим, а это, в свою очередь, вытесняется еще чем-то. Никогда нельзя с уверенностью сказать, что вы думаете, как вы поступите. Вы способны удивить самих себя. Ни один еврей на это не способен. У него все предопределено. Он все всегда знает.

Она задумалась, сидя на постели, подняв свое несколько крупное, очень умное лицо, обрамленное пушистой массой волос, и обхватив колени длинными, большими руками,— смуглая, гибкая, стройная.

— Он всегда знает,— повторила она,— знает все. Мы все знаем,— поправилась она.

И затем вдруг снова принялась поносить Маргарет.

Нравилось это Теодору или нет, но ему оставалось только лежать рядом со своей любовницей и слушать. Она забыла о нем. Он выполнил свое назначение. Казалось, его здесь и не было вовсе, этого загадочного циничного светского человека, Бэлпингтона Блэпского. И, правда, его здесь не было. Он знал, что ему надо одеться, уйти, уйти подальше от Рэчел и довольно долго побродить одному, прежде чем он обретет, воссоздаст себя и вернет свое прежнее спокойствие и достоинство.

Рэчел продолжала размышлять вслух.

— Эти тихони! — говорила она.— Да разве они когда-нибудь способны ожить? Маргарет, во всяком случае, еще не ожила. Она не проснулась к жизни. Проснется ли она когда-нибудь?

— Ты когда-нибудь целовал Маргарет? — внезапно спросила она.

— Ах, отвяжись ты! — вскричал, защищаясь, Теодор.

— Вот заговорил гой, благородный гой. Конечно, ты целовал ее. Дорогой мой, неужели эта девчонка может целоваться?

— Что тебе далась Маргарет?

— Потому что сейчас, в данный момент, она интересует меня больше всего на свете.

Она скрестила руки на коленях и оперлась подбородком на руки.

— Может быть, это только разница во времени. Они созревают позднее. Они старятся позднее. Они могут позволить себе ждать. А мы торопимся. Мы жадная, нетерпеливая, стремительная порода. У нас нет гордости. Боже! Как мне все это опротивело! Сейчас же встаю и одеваюсь.

Она не условилась насчет следующей встречи.

— Если меня не тянет к этому, зачем я буду уславливаться?

— Рэчел, скажи мне. У тебя есть еще кто-то?

— Это, мой мальчик, касается только меня.

Они стали молча одеваться.

— Глупый маленький гой,— сказала она и провела своими длинными пальцами по его волосам, которые он только что причесал и пригладил.— Я выйду отсюда первая. Прощай.

3

НЕОБЪЯСНИМАЯ БОЛЬ СЕРДЦА

Эта история с Рэчел должна кончиться. Он должен кончить ее как можно мягче для Рэчел. Рэчел — это ошибка, заблуждение, мимолетная прихоть. Он не должен был унижаться до нее. Это его артистический темперамент, его удивительная способность откликаться на чувство увлекли его. А между тем в глубине души, где копошилось все, что он заглушал в себе, какой-то голос говорил ему: Рэчел сама способна оборвать эту связь так же внезапно, как она завязала ее, у нее уже что-то другое на уме. Наверно, она уже решила бросить его. Он должен положить конец этой связи мягко, но решительно — хотя бы потому, что это отвлекает его от истинной роли возлюбленного Маргарет.

Маргарет — его единственная настоящая любовь. И связь с Рэчел только еще сильнее заставила его почувствовать это.

Возвращаясь домой через Сохо и мало-помалу восстанавливая свое «я», стертое начисто Рэчел, Теодор снова и снова строил разные проекты и придумывал

всяческие возможности, следуя привычным кругом за своим воображением. Рассказать Маргарет об этой истории — признаться ей в своих чувствах? Почему бы им теперь не стать любовниками? Теперь, когда он так хорошо изучил жизнь и возможности Сохо? Но как же заговорить с ней об этом? А что, если Рэчел с ее длинным языком сама возьмет да и разболтает? Позволит себе какие-нибудь намеки? Как можно, чтобы Бэлпингтона Блэпского позорно уличили в обмане!..

Однажды вечером, когда он сидел за ужином, поглощенный, как всегда, всеми этими бесконечными размышлениями, внезапно нечто гораздо более глубокое или, может быть, чуждое стремительно ворвалось в запутанный круг всех его неразрешимостей. Он почувствовал невыразимую боль, щемящую боль души и чувство непоправимой утраты. Нечто непостижимо прекрасное, наполнявшее его жизнь, озарявшее ее, ушло от него, ушло из его жизни, отнято у него, потеряно, утрачено навсегда. Он знал, знал наверное, что оно ушло навсегда. Это чувство опустошения было так реально и вызывало такую мучительную боль, что он не мог высидеть дома. Он вышел на улицу, хотя было уже больше десяти часов, и пошел через Хемпстед Хис к Хайгету и дальше, почти не замечая, где он и куда идет, пока не очутился на тускло освещенном загородном шоссе, неподалеку от неуклюжей громады Александер Палас на Мюзуэлхилл.

Тогда, страшно усталый, сознавая, что, должно быть, уже очень поздно, он с несколько облегченным сердцем повернул обратно. Никогда еще он не испытывал такой душевной боли. Да, это поистине душевная боль, думал Теодор. И он все больше и больше проникался этой необычностью своего состояния, и ему казалось, что и луна, пробиваясь из-за разорванной гряды облаков, словно откликается на его великую душевную боль.

И как только в призрачном свете этого космического сострадания он подумал, как безгранична его боль, он сразу перестал страдать. Он осознал величие своих усилий. Его болезненные душевные противоречия претворились в возвышенную, пусть даже неизъяснимую скорбь.

Каждый зародыш, утверждают биологи, повторяет историю вида. Сознание развитого юноши, несомненно,

проходит через все фазы интеллектуальной эволюции. У Теодора был его Вордсвортовский момент. Он был потенциальным Вертером. Теперь он становится байронической личностью.

4

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МАРГАРЕТ

Теперь, когда Теодор знал наверное, что он просто, без всяких околичностей, любит одну только Маргарет, уклад его жизни на время летних каникул стал разумно ясен. Он будет ходить к ней, развивать ее и стараться «разбудить» ее. Итак, с первых же дней, как только Маргарет приехала в Блэйпорт, он посвятил себя этой задаче. Когда у него оставалось свободное время, он развлекался игрой в теннис, писал, делал наброски с натуры, рисовал воображаемые сцены и лица, читал биографии художников, писателей и великих людей вообще и сравнивал, насколько он похож на них. Еще он сделал открытие — нашел романы Мередита, Конрада и Харди и с некоторым опозданием, отстав примерно лет на десять, сочинения Ришара Ле Гальена, которые были затиснуты на полке среди выпусков «Желтой библиотеки» Раймонда. Но Маргарет была центром всех его устремлений и замыслов. Если он фантазировал с помощью Мередита, Маргарет была его прекрасной волшебницей; если он скитался по свету с Конрадом, Маргарет была его путеводной звездой.

Общаться с ней стало гораздо легче с тех пор, как из Бельгии приехала после трехлетнего обучения в монастыре одна из паркинсоновских кузин. Это была бледная, незаметная, ехидная девчонка с прекрасными темными глазами, и ее отвращение к монастырским правилам и режиму помогло ей выработать несколько грубоватую прямоту взглядов; она, не стесняясь, подкрепляла их французскими словечками, которым ее не могла научить ни одна монахиня, и все это вместе явно импонировало реалистической натуре Тедди. Тедди, который до сих пор презирал девчонок вне своего семейного круга и требовал, чтобы сестра была его неизменным товарищем, теперь ходил вечно улыбающийся и явно стре-

мился уединиться в каком-нибудь укромном местечке с этой Этель Паркинсон; Теодор был для него удобен в том смысле, что помогал ему отделываться от Маргарет.

Но, несмотря на прекрасную школу, которую Теодор прошел с Рэчел, а может быть, как раз наоборот, потому именно, что он прошел школу с Рэчел, дела его с Маргарет очень мало подвигались вперед. Возможно, Киплинг и прав, и Джуди О'Греди и знатная леди действительно сестры по духу? Но опыт Теодора не подтверждал этого.

Маргарет была не склонна ласкаться и нежничать. Раз или два она целовала его и робко прижималась щекой к его щеке. Но дальше этого ее физическое пробуждение, по-видимому, не шло. Она была для него фигурой в платье. И так и оставалась фигурой в платье. Даже в купальном костюме она казалась одетой и целомудренной. В ней было какое-то неуловимое качество, которое удерживало Теодора от каких бы то ни было фамильярностей. «Но почему,— спрашивал он себя.— Почему?»

Они вместе бродили, купались, играли в теннис и болтали, но долгое время между ними не было бо̀льшего сближения. Иногда Теодор позволял себе в разговоре маленькие вольности; называл себя ее возлюбленным, оказывал ей мелкие услуги, угождал ей, но за этим ничего не следовало,— просто были такие приятные, волнующие минуты, цветы по краям дороги. В конце концов Маргарет сама вызвала его на разговор.

Они лежали на солнышке на низкой скале возле лаборатории и курили.

— Бэлпи,— сказала она,— почему мы с вами так мало разговариваем?

— Но мы только и делаем, что разговариваем!

— О пустяках.

— Друг о друге. О чем же нам еще говорить?

— Обо всем мире.

Он перевернулся на живот и посмотрел на нее.

— Вы очаровательны,— промолвил он.

— Нет, — сказала Маргарет, упрямо продолжая свое.— Я хочу говорить о мире. Для чего он существует? И для чего мы существуем в нем? Вам как будто все равно, точно вас это вовсе не касается. В Лондоне вы говорите о разных вещах. А почему вы никогда не гово-

рите об этом здесь? Может быть, вам просто неинтересно со мной разговаривать?

— Мы с вами понимаем друг друга без всяких диспутов.

— Нет,— упрямо продолжала она,— мы не понимаем друг друга. Я не хочу никаких диспутов, я только хочу разобраться в своих мыслях. Тедди раньше разговаривал и спорил со мною, но теперь он как-то охладел к этому. Слишком мы с ним похожи, мне кажется. А вы — вы совсем другой. Вы подходите ко всему с какой-то своей точки зрения и как-то иначе. Иногда мне это нравится, иногда просто сбивает с толку. Вы как-то легко перескакиваете с одного на другое. И мне начинает казаться, что мы с Тедди — тугодумы. Но Тедди говорит, что вы от всего отмахиваетесь. А это правда, что вы от всего отмахиваетесь?

— Мне кажется, что вы иногда принимаете слишком всерьез то, что говорится,— заметил Теодор.— Ведь в конце концов в разговор всегда вносишь какой-то оттенок шутки.

— Чувство юмора,— сказала она.— По-видимому, мы оба лишены его. Мы педанты.

— Но Маргарет!

— Да, да, мы знаем. Мы уже говорили об этом с Тедди. Мы хотим во всем разобраться. Оба — и он и я. Чтобы для нас все было ясно. Мы и себя принимаем всерьез. Вот это у вас и называется «быть педантом». Нет, нет! Я вас серьезно спрашиваю, Теодор, вы правда считаете нас педантами?

— Это вы-то педант, Маргарет!

— Да, я педант, и Тедди тоже. Я готова согласиться с этим, даже если вы не хотите сказать. У нас не хватает ума на шутки. Хватает только на то, чтоб думать. И если это у нас получается тяжеловесно, все-таки это лучше, чем совсем не думать, как Фредди Фрэнколин.

— Ну, он же дурак,— сказал Теодор.

— Совсем не такой дурак,— возразила Маргарет,— просто он никогда рта не раскрывает. Потому что очень боится прослыть педантом.

Теодор почувствовал легкий укол ревности, оттого что она проявила хотя бы даже такое ничтожное внимание к Фрэнколину.

— Так вот слушайте, Бэлпи,— сказала Маргарет,— давайте поговорим серьезно. Во-первых, что сейчас происходит в мире и как мы должны ко всему этому относиться?

— Поговорим,— покорно сказал Теодор.

— Так вот насчет того, что делается в мире...

Она минутку помолчала, собираясь с мыслями.

— Вот, например, мой отец. Сравните его представления и ваши. Конечно, отец очень много знает. И он говорит, что весь мир, все человечество — все живут в каком-то самообмане. Он говорит, что мы идем к тому, что мир будет страшно перенаселен и всюду будут массы голодных людей. Мы будем не в состоянии прокормить их, потому что фосфор исчезнет. И что неизбежна война. Крупная война. Потому что все вооружаются. А если в Европе опять начнется война, то это крах цивилизации. Так вот, если это так,— значит, нам придется жить в самую разруху. Нашему поколению, во всяком случае. Но что же это будет, когда погибнет цивилизация? И разве мы не должны что-то сделать, чтобы предотвратить это?

— Вот тут-то, Маргарет, и наступит социальная революция и все такое,— шутливо сказал Теодор, улыбаясь и помахивая стеблем морской травы.

— Тедди не думает, что это может помочь.

— Тедди не хватает воображения,— сказал Теодор.

— Но вот у вас есть воображение, и вы называете себя ультракоммунистом. Так вот вы и представьте себе это и расскажите мне об этой социальной революции.

— Ну, для всех нас жизнь станет гораздо свободнее,— сказал Теодор, обрадовавшись возможности както повернуть разговор.— Для нас не будет существовать всяких «я не должен», «я не смею», которыми мы живем теперь. Мы будем свободны, откровенны и счастливы.

Но Маргарет продолжала свое и даже не заметила, как захлопнула перед ним дверь. Она искала ответа на очень важный вопрос, который не давал ей покоя.

— Бэлпи, может ли быть, чтобы весь мир, все люди жили до сих пор в заблуждении? Как можно этому по-



«БЭЛПИНГТОН БЛЭПСКИЙ»



«БЭЛПИНГТОН БЛЭПСКИЙ»

верить? Все святые, и мудрецы, и философы? И короли и государственные деятели? Я думала об этом както ночью и не могла заснуть, это не давало мне покоя. Ведь вот есть такое выражение: «мудрость веков». А может быть, никогда и не было никакой «мудрости веков» и это просто нелепая выдумка?

— Нет, как же! — воскликнул Теодор.— Пророки и философы. Наследие прошлого. Но толпа, толпа всегда была глупа.

— Но почему же тогда они не учили толпу, не разъясняли ей, не пытались сами управлять ею, чтобы предотвратить то, к чему мы сейчас пришли?

— Попытки были. В Иудее и в других местах.

— Так, значит, вы считаете, что эти мудрецы были недостаточно мудры?

— Мир очень сложен,— сказал Теодор.

— И они были недостаточно мудры и недостаточно сильны для него. Потому что, если бы это было не так, тогда у нас в мире все шло бы отлично. Вы понимаете, Бэлпи? Я так на это смотрю. Выходит, что все эти великие и прекрасные люди прошлого были просто жалкими, неразумными и недостаточно сильными людьми, которых история подняла на пьедестал только для того, чтобы произвести на нас впечатление? Нет, я хочу получить ответ на этот вопрос. И вы должны мне ответить, если вы считаете, что мы с вами близкие друзья. Неужели весь этот прогресс, вы понимаете, цивилизация и история — все это было простой случайностью, счастливым стечением обстоятельств? Я хочу знать, что вы об этом скажете. Неужели те люди, которые создавали искусство и науку, прекрасную музыку, прекрасные картины, все эти замечательные вещи, были не чем иным, как только более крупным, более сложным, более развитым видом животного, то есть по существу своему чемто столь же незначительным, как, например, мухи или пчелы? Разве над этим не стоит подумать?

Она замолчала, и Теодор улыбнулся на ее очаровательную серьезность.

— Да, так вот, что вы об этом думаете, Бэлпи? Вы верите, что этот мир, который иногда бывает таким чудесным, возник случайно? И продолжает существовать случайно? Мы должны получить ответ на это. Ведь мы

же не кролики. Мы должны знать. Где мы? А когда я вам задаю эти вопросы, эти страшно важные вопросы, вы смотрите на меня с неприязнью и называете меня педантом за то, что я так мучаюсь этим.

— Маргарет! — сказал Теодор и сел рядом с ней.

Его не интересовали ее вопросы. И уж если на то пошло, эти вопросы казались ему ужасно скучными.

— Взгляните, какой чудесный день. Посмотрите, как море сверкает на солнце. Эти голубовато-зеленые и зеленовато-голубые, сапфировые, изумрудные, ультрамариновые пятна на поверхности. Оттенок за оттенком. Они ничего не значат для вас?

Она посмотрела. Несколько секунд она смотрела на море, обдумывая его слова.

— И это ваш ответ на все мои вопросы?

— Очень хороший ответ,— сказал Теодор.— Вот вы сидите и мучаете сами себя,— продолжал он,— а ведь вы самое прелестное существо в мире. Мне кажется, никогда в мире не существовало ничего более прелестного. Вы с головы до ног созданы для любви. Но для вас все ценности жизни как-то переместились. Вы хотите вести споры о том, откуда произошел мир и для чего. Маргарет, мир существует для вас... Я люблю вас. И вы можете любить меня. Я знаю, что вы можете меня любить.

Она повернулась к нему с легкой улыбкой.

— Разве это причина, чтобы нам с вами нельзя было ни о чем разговаривать?

Он ласково прикрыл ее руку своей.

— Маргарет, вы н и ч е г о не знаете о любви?

Она отдернула руку и обхватила колени, сплетя пальцы.

— Вы что, объясняетесь мне в любви, Бэлпи?

— А что же другое я могу делать?

— Ну, так я не хочу, чтобы вы это делали.

— Я не могу иначе.

— В любви должны участвовать двое.

— Несомненно.

— Так вот. Давайте поговорим откровенно обо всех этих любовных делах. Ведь мы же можем это сделать? Я очень люблю вас, но я пока еще не хочу никаких любовных отношений. Я хочу сначала немного подумать.

Я хочу знать больше. Разве мы не можем оставаться друзьями?

— Вы боитесь любви?

— Не знаю, боюсь ли; может быть, и боюсь.

— Но чего же здесь можно бояться? Вы же не думаете... Вы что, боитесь последствий?

Он глядел на ее задумчивый профиль. Она ответила не сразу, и он с досадой почувствовал, что краснеет. Что это за необъяснимая сила в ней, которая заставляет его чувствовать себя пристыженным?

— Бэлпи,— начала она и остановилась.

— Да? — сказал он несколько хриплым голосом.

Она слегка наклонила к нему голову. Нежный, чистый голос с едва уловимой дрожью звучал медленно, вдумчиво, словно подыскивая слова:

— Я думаю, вы, наверно, считаете меня невежественной или очень наивной. В вопросах любви... Вы, может быть, думаете, что я прочла несколько пьес и романов... Вы не представляете себе, что дочь биолога, биолога с очень либеральными взглядами, не может не знать обо всех этих вещах, ведь это же так естественно... Я думаю...— Она старалась, насколько могла, быть откровенной и рассудительной. — Может быть... я знаю обо всем этом... столько же, сколько и вы.

Да, но ведь у него была Рэчел. Но он не мог объяснить ей всего этого сразу. Что он мог сказать? Он чувствовал, как нить разговора ускользает от него.

— Я говорю не о знании,— сказал он, тряхнув головой и отводя явно выдающие его смущение глаза от ее испытующего взгляда.— Я говорю о любви.

— Вы говорите о любви,— сказала она, и снова повернулась лицом к морю, и, казалось, погрузилась в свои мысли. Ее переплетенные пальцы сжались сильнее.

Он решился на отчаянную попытку:

— Мы могли бы пожениться.

— Ну, это уж совсем нелепо — жениться в таком возрасте.

— Любовь — это не нелепость. Нет. Любовь не нелепость. Любить в нашем возрасте так же естественно, как жить. Это и значит — жить. Без этого мы не живем.

— Я еще не хочу начинать жить такой жизнью,— сказала она.— Если это жизнь. Я вас люблю, Бэлпи,—

правда, — но, может быть, я люблю вас не так. Во всяком случае — еще не так. И я боюсь.

— Но если я сумею вас убедить...

— Бэлпи, я все знаю об этом. Уверяю вас, я понимаю, о чем вы говорите. Я прекрасно понимаю, что у вас на уме и о чем вы просите. Я современная девушка. Ничуть не отсталая, и все такое... И я совсем не об этом говорю. Но вот... у меня такое чувство, что раз это начнется,— это меня захватит, поглотит, уничтожит.

— Но, дорогая моя, в этом-то и есть освобождение.

Она покачала головой.

— Или у вас нет воображения, нет желаний?

Она не ответила. Он повторил вопрос. На этот раз у нее вспыхнули щеки. Она сидела, упорно повернувшись в профиль. Голос ее слегка прерывался.

— Бэлпи, вы помните, как вы поцеловали тогда меня на вечере под Новый год? Так вот... уже потом что-то во мне самой как будто предостерегало меня: это так прекрасно или так важно и значительно, что не надо с этим спешить.

— Значит, я должен ждать...

Некоторое время она задумчиво смотрела на горизонт, словно прислушивалась к чему-то. И Теодор почувствовал невольную дрожь оттого, что она так медлила.

— А разве вы ждали? — спросила она тихо и посмотрела на него.

Он взглянул в ее чистые глаза и на миг чуть было не поддался искушению солгать. Но они смотрели с такой зоркой проницательностью.

— Черт! — сказал он и отвернулся от нее.— Что же мне было делать? Ведь у меня в жилах кровь, а не вода.

Он закрыл лицо руками.

На этот раз молчание было очень долгим. Потом она тихонько погладила его по плечу:

— Бедный, милый Бэлпи. Я мучаю вас. Но... разве это моя вина?

— Бедный, милый Бэлпи!—злобно повторил он и отдернул плечо от ее руки.— Вы не понимаете. Вы не понимаете, что такое страсть. Вы бесчувственная... непроснувшаяся ледышка. О Маргарет! — Он повернулся к ней.

Его охватило необычайно сильное волнение. Он чувствовал, что его лицо искажается. К глазам подступают настоящие слезы. Ее лицо отражало его страдание.

Ему было приятно, и он был потрясен тем, что может плакать от страсти. До сих пор он никогда не плакал от страсти. Устоит ли она перед этим? Он умолял ее исступленным голосом, переходившим почти в рычание:

— Отдайтесь мне, Маргарет. Будьте моей, сейчас. Отдайтесь, спасите меня от меня самого.

В течение бесконечно долгой минуты она не отвечала, отвернувшись от него. Она смотрела на море.

Уже без слез он жадно смотрел на нее, с надеждой, с сомнением и надеждой в глазах.

— Нет,— сказала она и повторила:— Нет.

— Еще не время, вы хотите сказать?

— Нет, — живо ответила она. — Нет.

— Почему?

— Не знаю почему, но — нет. Я не могу. Я не могла бы. Это невозможно. Теперь, когда вы просите меня, я вижу, как это невозможно.

Больше она ничего не сказала. Наступило долгое молчание.

Итак, все кончено. Он чувствовал, как в нем поднимается бессмысленная ненависть, но подавил ее.

— Как хотите, Маргарет,— сказал он.

— Как хотите, Маргарет,— повторила она, передразнивая его.— Но почему вдруг такой тон? С одним человеком я говорю или с двумя? Разве мы не друзья с вами? Разве мы не любим друг друга как-то по-другому? И очень сильно? Я люблю вас, я знаю, что очень люблю вас. И только потому, что я не падаю в ваши объятия, не отвечаю на ваше желание, не загораюсь, когда вам этого хочется,— вы вдруг начинаете меня ненавидеть.

Да, да, я знаю, — вы сразу меня возненавидели. Вы исчезли, на вашем месте появился кто-то другой. Где же вы, Бэлпи? Где вы? О чем вы думаете? Что вы думаете? И буду ли я второй по счету или, может быть, третьей?

— Дурак я был, что признался вам.

— Разве нужно быть дураком, чтобы говорить правду? Это тяжело иногда, но я так привыкла к этому. Да вы и не могли не сказать. Я угадала. Я как-то умею угадывать все, что вас касается. Иногда я думаю, говорите ли вы правду даже самому себе, Бэлпи?

— Бэлпи! — воскликнул он.— Ради бога, перестаньте называть меня Бэлпи.

Она подумала, что действительно это звучит несколько глупо в таком серьезном разговоре.

— Ну, хорошо — Теодор. Послушайте, Теодор. Я люблю вас. Правда, люблю. Люблю ваши милые волосы, ваши рассеянные жесты и ваш рассеянный ум. Вы милый, милый, Теодор. И все же теперь больше, чем когда-либо, сейчас, во всяком случае, я не хочу. И как я могу хотеть? Разве я создала такое положение? Почему вы не хотите смотреть фактам в лицо, Теодор?

На этом она оборвала разговор и замолчала. Она была совсем рядом с ним, казалось, только протяни руку, но вместе с тем так далеко от него, как если бы она находилась в каком-то другом измерении.

Он сел, стараясь придумать какой-нибудь подходящий ответ, но ответить было нечего. Что можно было на это ответить? Самый естественный для нас выход из всех наших затруднений — это злоба. Его охватила бешеная злоба на ее бесчувственность.

— Ах! — вырвалось у него с чувством безграничного отвращения. И он вдруг вскочил и, не сказав ни слова, пошел прочь.

— Вот оно как,— произнес он, обращаясь к миру.

Она изумленно смотрела на его удаляющуюся спину. Никогда еще с ней не случалось такой неожиданности.

Маргарет чувствовала, что, если она встанет и пойдет за ним, она пропала, но каким-то непостижимым образом сердце ее последовало за ним. Было что-то удивительно трогательное в его огорчении.

Но Теодор не находил ничего трогательного в поведении Маргарет.

«Смотреть в лицо фактам, скажите пожалуйста! — думал Теодор.— Самое время смотреть в лицо фактам... Мой идеализм... Из-за него-то я и остался в дураках».

5

ЛЮБОВЬ НЕБЕСНАЯ И ЗЕМНАЯ

Теодор снова вернулся к Рэчел. Если бы даже ничто и не толкнуло его обратно, он все равно вернулся бы к ней, повинуясь самым примитивным инстинктам.

После того решительного разговора он всячески избегал Маргарет, а в Лондоне после каникул не видал ее по целым неделям. Он был в большой обиде на нее за то, что она отказалась играть предназначенную ей роль в его драме. Она боится, убеждал он себя, она сухарь, ледышка, она безжизненная. Редактор его подсознательного «я» выправил до неузнаваемости его разговор с нею; в конце концов от него не осталось ничего, кроме унизительного чувства от ее отказа. И глубоко в душе снова поднималась бередящая, мучительная боль. Но в повседневной жизни он изгонял ее из своего сознания встречами с Рэчел.

Вокруг Рэчел он сплел такую прочную и затейливую паутину вымысла, что в ней увязали даже все те откровенности, в которые охотно пускалась Рэчел. Он узнал, что она была на два года старше брата, а Мелхиор был старше Теодора года на три, но он старался игнорировать эту разницу в возрасте. У нее и до него были любовники. Она и не скрывала этого. Он был убежден, хотя и не желал признаваться, что даже теперь он не был ее главным увлечением. Ее ласки утратили прежнюю горячность, они стали привычными; она расточала их, уступая какому-то раздражению своих взбудораженных нервов, и даже не старалась казаться влюбленной. Она обращалась с ним, как с мальчишкой, говорила с ним пренебрежительно, шутливо подсмеиваясь. Даже ревнивые нападки на Брокстедов свелись теперь к редким, случайным упоминаниям. Она не давала о себе знать по две, по три недели. Чем она была занята в это время, он не знал. Он закрывал на это глаза, старался не видеть и забывал. Во всяком случае, она давала ему то, в чем ему отказала Маргарет.

Романтический толкователь в его сознании объяснял, что Рэчел скрывает свою любовь к нему, прячет

ее под грубоватой фамильярностью, что она не смеет дать воли своей страсти, сдерживает ее, боясь, как бы она не вспыхнула всепожирающим пламенем. Таким образом, действительность становилась приемлемой, и первые зимние месяцы в Лондоне он прожил в состоянии относительного довольства. Но время от времени его самоутешение и самоуспокоение подвергались мучительному испытанию. Его ложе из роз превращалось в весьма прозаическую и помятую постель в убогой комнатушке, а его стройная, пышноволосая, смуглокожая грешная подруга оказывалась отталкивающей распутницей, которую что-то постоянно гложет и побуждает разрушать все иллюзии.

У нее были превратные понятия о жизненных ценностях. Это, во всяком случае, он должен был признать. Совершенно превратные.

В его мысленных репетициях свиданий с Рэчел Бэлпингтон Блэпский мог быть очаровательным и искусным любовником, точь-в-точь в духе Ле Гальена. В изящных беседах, никогда не достигавших ушей Рэчел, он пленял ее своим дерзким блестящим остроумием и богатой выдумкой. Но когда они встречались, все разговоры обычно вела она.

Казалось, она вечно мучилась загадкой собственного существования. И все никак не могла найти для себя выхода, запутавшись в своих противоречивых исканиях. Юность и юноши застали ее врасплох, и вот теперь это привело ее к удивительным умозаключениям.

— Тебе кажется, что ты любишь меня, милый, но ты вовсе не любишь. И знаешь, что не любишь.— Она лежала на спине, закинув ногу на ногу, пробуя, как далеко она может раздвинуть пальцы.

— Разве я был бы здесь...

— Ну, конечно,— сказала Рэчел.— Но к чему обманывать себя? Всякий раз, —продолжала она,— как женщина берет нового любовника, любовь все больше утрачивает цену... Для нее...

В этих рассуждениях было что-то неприятное, и Теодор ничего не нашелся ответить.

— Никогда не надо есть ничего сырого,— сказала Рэчел.— Вот мой совет молодым женщинам.

— Но мы прекрасно позавтракали! — Теодор возмутился. Они завтракали на какой-то улочке в Сохо, он угощал и, как ему казалось, проявил себя очень опытным и сведущим в этом деле.

— «Сырое», дорогой мой, было сказано символически. «Сырые» вещи в жизни — это похоть, голод, страх и так далее. Свари их. Приправь хорошенько.

Ему показалось, как будто он слышал уже нечто подобное раньше. Но его ум привык убираться с дороги, когда говорила Рэчел. Он вел себя точь-в-точь, как резвый от природы щенок, который прячется под стол, когда приходит вон тот человек. Может быть, он боится, что в него чем-нибудь запустят.

Рэчел продолжала пояснять:

— Предположим, что ты голоден. Ты готовишь обед. Аппетит у тебя возбужден, но ты можешь подождать. Если тебе очень хочется есть, ты приготовишь кое-как что попало. А если ты смертельно голоден, ты съешь прямо так, сырое. Понимаешь? Вот и любовь так же! Если бы было время ждать. Но разве у всех есть время? Ведь не всегда так бывает. Ты хватаешь кого попало, а потом видишь, что ошибся. Стоит ли ждать, когда тебя обуревает похоть? Она не позволяет ждать. Но зачем же называть это любовью, милый? Мы, коммунисты, так не делаем. Я думала, ты ультракоммунист.

— Так оно и есть,— сказал Теодор.

— Ну вот, например, это любовь по-твоему?

— Это языческая любовь, —сказал Теодор.— Самая смелая и самая прекрасная. Тут все честно. Любовь плоти. Любовь жизни.

Он вспомнил раскатистый голос отца.

— Бэ-эсподобное вожделение,— сказал он с одобрительным смешком, который он так хорошо помнил.— Бэ-эсподобная страсть.

Спохватившись, он подкрепил свои слова поцелуем и лаской. Но Рэчел рассеянно отвечала на его ласки. Ей хотелось продолжать свои рассуждения.

— Языческая и христианская. Христианская и языческая. Какое идиотское противопоставление! Чисто викторианское. Я уверена, что язычники были такие же респектабельные люди, как и всякие другие. Занимались сплетнями. Возмущались чьим-то неприличным по-

ведением. Вот, например, христиан с их тайными сборищами язычники называли распутной чернью. Неподходящее слово «языческая», уверяю тебя. Совсем сюда не подходит.

— Греческая.

— Греческая? Не уверена.— Но ее неуверенность длилась не больше секунды.

— Такое же дурацкое противопоставление... Греческая и еврейская! Ты никогда не встретишь женщину нееврейку, которая была бы такой «греческой», как я. Милый, ты видел когда-нибудь репродукцию картины «Небесная и земная любовь»? Madame Небесная — очаровательная женщина, принаряженная, закутанная, а madame Земная — без всяких одежд. Вроде меня сейчас. Так вот это то, о чем я сейчас говорю. Я думаю, мужчина может любить одну женщину одетую, а другую раздетую.

— Эта картина неправильно названа,— сказал Теодор.— Никто не знает, какое название ей дал Тициан. Если только он вообще дал ей название. Французы называют ее «Источник любви» или что-то в этом роде.

— Чепуха,— возразила Рэчел.— Там противопоставляются два вида любви — Небесная и Земная. Мне совершенно безразлично, кто первый назвал ее так. Это правильное название. Не будем вечно препираться из-за слов. Ты понимаешь, что я хочу сказать, и достаточно. Небесная, платоническая, христианская, благопристойная — все это одно и то же.

Теодор вспомнил одно замечание Раймонда по поводу фотогравюры с шедевра Тициана. Он преподнес его теперь, прежде чем сообразил, как это может повернуться.

— Знаешь, что удивительно в этой картине,— сказал он.— И не думаю, чтобы кто-нибудь это замечал: ведь обе эти женщины — в сущности одна и та же женщина. У них одно и то же лицо.

Она слегка повернулась, не вынимая рук из-под головы, и посмотрела на него поверх локтя.

— Ну, а для тебя, дорогой мой, ведь это не одна и та же женщина, а?

— Я не люблю никакой другой женщины,— твердо сказал он.

— Мне лучше знать. Маргарет — твоя Небесная любовь. Зачем лгать? Какой прок в этом? Может быть, у меня тоже есть моя Небесная любовь. Вполне одетый джентльмен. Который никогда не приходит неодетым. Почему не быть честным? Не смотреть фактам в лицо?

Она зажала ему рот рукой и не дала возразить.

— Не фыркай. Я тебя знаю. Когда мы бываем здесь, я думаю о тебе не меньше, чем о себе. Меня это забавляет. Ты мне нравишься. Но ты... ты никогда обо мне не думаешь. Ты стараешься забыть меня даже тогда, когда я в твоих объятиях. Ты ласкаешь какую-то воображаемую женщину. Я тебя не виню. Ты честно играешь. Потому что в это время ты не думаешь не только о той живой женщине, которую ты обнимаешь, но даже о себе самом, о том, который ее обнимает. Ты в это время — о! — замечательная личность. Возлюбленный принц со своей возлюбленной принцессой.

— Мне кажется, все влюбленные, которых по-настоящему влечет друг к другу, — это принцы и принцессы, — сказал Теодор.

— Все это очень хорошо. А потом? Когда она надевает платье, она по-прежнему остается Любовью? Небесной, духовной, божественной? Или она исчезает? И он — когда он оденется или когда разденется, — будет ли он все так же олицетворять собою Любовь? Ну, хорошо, оставим его в покое. Как это, по-твоему, выходит? Она надела платье, и она по-прежнему небесная, и все так же принадлежит тебе, и ты днем и ночью принадлежишь ей. Прекрасная, совершенная любовь на всю жизнь. Всегда вместе. Вместе работаете. Ты ему помогаешь и ухаживаешь за ним. Я хотела сказать, за ней. Так это должно быть? Но твоя Небесная любовь не хочет раздеваться, а моя — он теперь на том свете. Так вот мы с тобой и очутились здесь. Что-то не совсем то у обоих. Я не стала ждать. Давным-давно, задолго до тебя, задолго до того, как мне исполнилось столько лет, сколько сейчас Маргарет. Нет, я не стала ждать. И ты не мог ждать. (Тебе так не терпелось!) А может быть, это только иллюзия, эта прекрасная леди о двух обличьях? И все только вот к этому и сводится? Многие кончают этим. Единственная любовь — это любовь

без платья. Остальное вздор. Но ты еще долго не придешь к этой истине, хотя и лежишь здесь со мной.

— Это не совсем так,— сказал Теодор.

— И это все, что ты можешь сказать сейчас? А? Но через день или через несколько дней ты все это разъяснишь себе по-своему. Ты все так чудесно разъясняешь себе самому. Ты опять водворишь меня на место,— я ошибка, каприз. Но все равно, дорогой мой, стоит мне только захотеть, я знаю, что ты придешь на мой зов. Это, милый мой, факт.

Она взглянула на часы-браслет.

— Я все болтаю и болтаю, а уже четверть четвертого. По крайней мере хоть часам-то надо смотреть прямо в лицо! Видишь. Мне нужно быть дома к пяти. Мелхиор в порыве братской любви собирался куда-то повести меня. Еще часок грешной любви, а потом будем вставать и одеваться.

6

ОБЕЗЬЯННИК

Когда Теодор не испытывал физического влечения к Рэчел Бернштейн и не забывался в ее объятиях, он чувствовал к ней все бо̀льшую и бо̀льшую неприязнь. Ее пренебрежение к нему, когда она разговаривала с ним, ее неспособность понять его исключительно возвышенную натуру вызывали и укореняли в нем чувство обиды. Она обращалась с ним так, что он чувствовал себя перед ней мальчишкой. Она охотно брала его с собой в провожатые и спутники во всякие маленькие экскурсии и прогулки. Она не дожидалась, чтобы он сам предложил ей какое-нибудь развлечение или придумал какую-нибудь поездку — словом, доставил ей какое-то удовольствие, за которое она могла бы его поблагодарить.

Она требовала, чтобы он сопровождал ее, куда ей вздумается, и обычно брала на себя бо̀льшую часть расходов, а то и целиком все, когда у него не было денег, не допуская и мысли, что он может отказаться пойти. В таких условиях чувствовать себя Бэлпингтоном Блэпским было чрезвычайно трудно.

Они ездили в Кью-гарденс смотреть на рододендроны, несколько раз были в Ричмонд-парке, один раз в

Хэмптон-Корте и, наконец, отправились в Зоологический сад.

Зоологический сад привел Рэчел в самое оживленное настроение. Она горячо заинтересовалась любовью животных. Ей хотелось знать, как любят змеи и рыбы. Она пришла в ужас, представив себе, как может вести себя влюбленный слон. Носороги дали ей повод к нескромным шуткам. Тюленя она нашла довольно симпатичным возлюбленным. Затем она пустилась в громкие рассуждения о любви крупных хищников.

— Если бы я была Цирцеей, дорогой мой, я думаю, что превратила бы тебя в хорошенького круглоголового золотисто-коричневого ягуара с темными пятнами.

— У меня были бы когти и клыки,— сказал Теодор.

— И у меня тоже. И мы бы страстно рычали. Ведь не думаешь же ты, что я осталась бы бедной, беззащитной кокнейской девушкой, если бы я могла носить свою собственную шкуру. Какая жалость, что мы не можем превращаться в разных животных,— говорила она.—Вот было бы интересно! Увлекательно и интересно.

Она становилась все больше похожа на распущенную, плохо одетую, болтливую, но необыкновенно восприимчивую Венеру в европейском платье, которая сошла в мир животных с целью найти там какие-нибудь новинки для собственного употребления.

Но то, что она увидела в обезьяннике, оказалось слишком даже и для нее. В те дни доктор Чалмерс Митчелл был только на пути к своей славе, и бòльшую часть обезьян все еще держали в одном большом здании. Многие из них сидели дюжинами в больших клетках, где было страшно жарко и бегало множество огромных коричневых жирных тараканов. Любопытные и дружески расположенные посетители наперебой угощали обезьян орехами, финиками, конфетами и фруктами. В этой благоприятной обстановке непосредственная и несвоевременная влюбчивость приматов проявлялась весьма пышным и непристойным образом.

Эти проявления вернули Рэчел к человеческим понятиям неприличия.

— Уйдем отсюда, дорогой. Они слишком похожи на нас. Идем отсюда. Пойдем, выпьем чаю там, наверху,

у попугаев. А что, попугаи тоже предаются любовным наслаждениям? Эти, во всяком случае, не обнаруживают никаких признаков влюбленности. Они совершенно спокойны, если только эти крики не свидетельствуют о половой угнетенности. Дорогой мой, в мире слишком много пола. Таких вещей, как Зоологический сад, не должно существовать.

— Но большинство животных,— сказал Теодор,— любят только в период спаривания.

— Но мы и наши маленькие коричневые родственники не разбираем ни времени, ни периодов. Почему мы такие невоздержанные? Что это: признак более высокой ступени развития? Ты совершенно верно сказал. Леопарды почти всегда приличны и благопристойны. Как и большинство животных. Одиннадцать месяцев в году они все бесполые. Потом у них бывает течка, и все кончается. А человек, что за существо! Ты когда-нибудь читал Фрейда, милый? Ты должен прочесть. Он все сводит к одному. Весь мир — это постель, и все мужчины и женщины —судорожно барахтающиеся в ней любовники. На долю каждого приходится несколько ролей, а действия протекают в семи возрастах. Сначала младенец, который пищит и пускает слюни на руках кормилицы и уже в это время обнаруживает поразительные комплексы, связанные с отцом и матерью; затем школьник с сияющей свеженькой мордочкой и с распаленным воображением, которое рисует ему разные непристойности в то время, как он нехотя тащится в школу. Потом ты. Да, ты. Настоящий любовник. Потом отец семейства, обросший шерстью, как леопард. И так далее.

На все это нечего было ответить, можно было только показать, что это его ужасно забавляет. Он откинулся на спинку стула и засмеялся, показывая, как это его забавляет. Затем уже серьезным тоном сказал:

— Остались кой-какие малости, о которых ты забыла, Рэчел. Существует искусство, литература, наука, государственные дела, религия. А еще есть открытия, изобретения.

— Давай разберем их,— сказала Рэчел, с задумчивой рассеянностью опуская ложку в горячий чай.— Разберем. Пол замешан везде.

— Замешан, да,— сказал Теодор.— Все люди — мужчины или женщины. Но это не все. И это даже не главное, для них существует и многое другое.

— Это ты так думаешь,— возразила Рэчел. Тебе не мешало бы почитать кое-что по психоанализу, мой невинный ягненочек. И открыть глаза. Возьмем, например, коммерческую деятельность, промышленность, торговлю. Зачем люди занимаются всеми этими делами? Чтобы добывать деньги. Зачем им нужны деньги? Чтобы иметь женщин. Чтобы получить власть над женщиной. Чтобы быть хозяином в своем доме. Что такое деньги? Не что иное, как власть над другими. Власть распоряжаться людьми. Заставлять их подчиняться. А кто может так подчиняться, как женщина? А что такое политика? Власть распоряжаться торговлей и промышленностью. А зачем распоряжаться? Пол, пол, пол, говорю тебе.

— Черт! — вскрикнул Теодор и отдернул руку, ибо Рэчел вынула ложечку из горячего чая и ласково, но крепко прижала ее к его руке.

— Ты теперь скажешь, пожалуй, что и в этом твоем жесте, вот то, что ты обожгла мне руку, тоже замешан пол,— сказал Теодор с несколько запоздалой усмешкой.

— Конечно. Почитай Фрейда.

— Ты одержимая,— поддразнил ее Теодор.

— Весь мир одержимый. В этом и заключается его великое открытие.

— А твой коммунизм! — сказал Теодор.— Наш коммунизм. Наше великое движение против социальной несправедливости. Это, пожалуй, нечто более значительное, чем пол.

— Это борьба за то, чтобы вырвать власть из рук капиталистов и дать свободу сексуальной жизни.

— А искусство?

— Какой художник может обойтись без обнаженного тела?

— Пейзаж?

— А разве тебе когда-нибудь случалось жить на лоне природы и при этом не мечтать о любви? Мне никогда. А что такое роман, драма, музыка, как не пол? Пери-

петии пола. Музыка — возбуждение. Все искусство основано на ритме. Произведения Вагнера — это откровенная и бесстыдная оргия. Ты говоришь, Бетховен? Прочти-ка «Крейцерову сонату» старика Толстого. Музыка есть пища любви, говорит Шекспир. Ну что же, продолжай.

И Рэчел, громко прихлебывая, принялась пить чай, и ее темные глаза под черными бровями следили за Теодором поверх чашки.

— Ты, знаешь, большой юморист,— сказал Теодор, и вдруг его осенило:— Постой-ка! А математика?

— Очко в твою пользу, голубчик. Вот уж не знаю. Я подозреваю математиков. Но никаких точных доказательств у меня сейчас нет. Разве что ритм?

— А религия?

— Вот ты и попался! Я так и думала, что ты это скажешь. Во всем мире нет ничего более сексуального, чем религия. Разве ты не видал никогда индусского религиозного искусства? Разве ты не понимаешь значения обряда обрезания над каждым мальчиком семитом?

— Нет,— сказал Теодор с убеждением.— Это неверно. Основой большинства религий является солнечный миф. Гор в Египте был солнце.

— Это ведь связано с жатвой, милый?

— Да, связано с жатвой.

— С весенним временем, с посевом, с оплодотворением полей, с зачатием и размножением. Почему ты не смотришь в лицо фактам? Говорю тебе, что мы живем в обезьяннике, а ты сидишь и споришь. Если откинуть чистую сексуальность и косвенную сексуальность, сублимированную сексуальность и извращенную сексуальность,— это значит откинуть человеческую жизнь. То есть, в сущности, откинуть всяческую жизнь,— прибавила она и махнула рукой с шоколадным эклером, обнимая этим жестом весь Зоологический сад, весь животный мир.

В это время попугай крикнул, словно протестуя, и Теодор расхохотался.

— Попугаю лучше знать. Впрочем, думай как хочешь.

— Не я хочу. А таков мир. Я бы хотела, чтобы этого не было. Я бы хотела освободиться от этого голода плоти. Как он мучает меня иногда! Как унижает!

Она на минуту задумалась. Лицо ее вдруг стало как-то старше и серьезнее.

— Рано или поздно у меня будет ребенок,— задумчиво сказала она.— Но не от тебя, мой милый глупыш. Не пугайся. Мне уже начинает надоедать эта игра с моими органами. Нервная усталость? А может быть, что-нибудь и более серьезное. Если я от этого не отделаюсь, я пойду напролом. Да, я подыщу подходящего родителя и заведу младенца. Вот только мне минет тридцать лет и я вступлю в права владения своим капиталом. Но ты не огорчайся. Мне еще долго, долго не исполнится тридцать лет. И, может быть, я еще очень долго буду любить тебя... Я думаю, что это будет ужасно больно...

ГЛАВА ПЯТАЯ

ТЕОДОР И СМЕРТЬ

1

СМЕРТЬ РАЙМОНДА

Но в то время, как сексуальное брожение и связанные с ним счастливые возможности способствовали возникновению сложных противоречий и тщательной перетасовке тех или иных представлений, сознанию Теодора уже суждено было переключиться на новый строй мыслей. Ему предстояло познакомиться со смертью.

До сих пор он инстинктивно избегал задерживать свое внимание на этой существенной реальности. Ум так же, как и тело, поворачивается, покуда есть возможность, спиной к смерти и опрометью кидается от нее прочь. Memento mori[1] может подкрадываться и ходить за вами целые годы, пока не припрет вас к стене. Но Бэлпингтон Блэпский во всем расцвете своих артистических и литературных дарований, со своей уклончивой, податливой и легко увертывающейся совестью и романтическими устремлениями — даже если он иногда и колебался в своих устремлениях между Небесной и Земной любовью — был поражен внезапно, как стрелой, мыслью, что и он должен умереть.

Однажды в ноябре, когда Клоринда была в Лондоне, Раймонд простудился. Его слегка познабливало, дома было как-то неуютно, и он решил, что хорошая, бодрая прогулка пойдет ему на пользу. Сначала светило солнце, но затем туман с моря надвинулся на берег, словно преследуя его. Когда он стал подниматься на

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

гору, туман двинулся за ним. Он затянул вокруг него все, изгороди и кусты превратились словно в чернильные пятна на промокательной бумаге, а все остальное — земля, небо и море — утонуло и исчезло в молочной белизне. Раймонд уже не мог сообразить, поднимается он или спускается. Туман пронизывал его до костей, не давал ему дышать. Ему было холодно, но он обливался потом. Он продолжал идти вперед, не решаясь повернуть домой, гонимый желанием уйти от своего собственного беспокойного «я». Наконец ему стало так плохо, что он вынужден был присесть в лесу на срубленное дерево; он сидел, кашляя и дрожа. Спустя некоторое время он попросил проезжавшего мимо возчика подвезти его до станции Пэппорт, там он нанял кэб и приехал домой. Он сразу лег в постель, положив в ноги бутылку с горячей водой, вода оказалась не горячая, а чуть теплая, так как служанку собирались уволить, а когда на следующий день Клоринда вернулась домой, она застала его в жару; он с трудом дышал, щеки провалились, глаза блестели. Простуда отразилась на легких. Он мучительно хрипел и кашлял. Доктор велел поставить горчичники и объявил, что у него двусторонняя пневмония. Он бредил, без конца говорил о философии варягов и о том, что он любит высоких белокурых женщин. «Воинственная любовь»,— твердил он беспрестанно и сбрасывал с себя одеяло, несмотря на все усилия сиделки. Потом внезапно угомонился, прошептал, что ему лучше, и на рассвете умер. Смерть наступила так внезапно и неожиданно, что за Теодором послали, когда он уже скончался.

Клоринда позвонила по телефону Люцинде, которая тотчас же поехала и застала Теодора в постели. Она чувствовала, что должна смягчить удар и подготовить его. Она не сказала ему, что Раймонд умер. Она сказала только, что он «очень, очень, очень болен. Действительно очень болен. Ты должен быть готовым к самому худшему».

Теодор, по мнению тети Люцинды, принял это известие совершенно неподобающим образом. Он смотрел на нее сонно, тупо, недовольно, ему вовсе не хотелось вставать и торопиться на вокзал Виктория к утреннему поезду. Она не знала, что он условился с Рэчел пропустить

сегодня школу и встретиться с нею днем и что теперь он был в большом затруднении, как сообщить ей, что их уговор отменяется. Ей пришлось помочь ему одеться и собраться. Позавтракать он мог в поезде.

С вокзала Виктория он послал Рэчел телеграмму: «Не состоится». Даже если Мелхиор и перехватит ее, не много он из нее поймет.

Незадачливый любовник купил билет, нашел вагон-ресторан, заказал яйца и бекон, и тень оскорбленной Рэчел улетучилась из его памяти.

Драматическая значимость сегодняшнего утра начала проникать в его сознание. Болезнь Раймонда приобретала все более глубокий, более значительный смысл. Он был очень-очень болен, можно сказать прямо, он был при смерти. Все прозрачные намеки тети Люцинды сложились вдруг в совершенно твердую уверенность. Теодор был не простой пассажир, который едет по каким-то своим ничтожным делам или повседневным обязанностям. Он единственный сын, который торопится к умирающему отцу. Какова будет их встреча? Что он должен сказать или сделать?

Картины последнего прощания, предстоящего ему, вставали в его воображении. Он драматизировал их по своей привычке. Но это были не только мелодраматические сцены. Он чувствовал, что ему очень больно думать о смертельной болезни Раймонда, и множество трогательных мелочей: проявления отцовской снисходительности, взрывы блестящего остроумия, удивительная, неожиданная доброта, маленькие подарки — все это ожило в его памяти. Он вспомнил, как он раздражал Раймонда, как он капризничал, упрямился и шумел, когда у отца болела голова. Он надеялся найти такие слова, которые выразили бы отцу всю его нежность и раскаяние, вызванное этими воспоминаниями. Но это желание незаметно перешло в импровизацию, он обращался к Раймонду с речью, которая должна была потрясти его и возвратить его к жизни. Он представлял себе, как он говорит эту речь, как он стоит на коленях у постели, неподвижный, потрясенный. Он сжимает руку отца в долгом прощальном рукопожатии. Их соединяет чувство глубокого взаимопонимания. Семейные традиции — то, что не требует слов.

Ответное пожатие медленно слабеет. Кончено, все кончено. Он встает, бледный, но без слез, он последний из Бэлпингтонов.

Клоринда встретила его в дверях.

Казалось, будто со времени их последней встречи она перенесла тяжелую болезнь. Ее глаза, волосы, кожа потеряли свой блеск. Кожа казалась обвисшей. Ей было холодно, и она надела старый, выцветший плащ Раймонда поверх черного с красным платья. Она казалась в нем осиротевшей и жалкой. Мать и сын смотрели друг на друга, не обнимаясь.

— Он умер,— сказала она беззвучным голосом.— Во сне... Он совсем не мучился...

Слова Клоринды уничтожили все его речи.

— Он совсем не мучился,— повторил он за ней, невнятно пробормотал «хорошо» и затем неловко поцеловал ее.

— Ты завтракал, милый? — спросила она.

Сиделка и другая женщина были заняты чем-то таинственным, там, наверху. Теодору пришлось просидеть долгие полчаса внизу, в комнате Раймонда, среди отцовских вещей, прежде чем можно было подняться наверх к покойнику. Он сел в отцовское кресло у длинного дубового стола и в первый раз с тех пор, как он себя помнил, увидел на столе вазу без цветов.

Несколько минут Теодор сидел, ни о чем не думая. Затем начал оглядываться по сторонам. Встал. Выдвинул один за другим ящики письменного стола. Он был уверен, что где-нибудь в доме непременно существует рукопись Раймонда, великий исторический труд, уже почти законченный. Быть может, он сумеет завершить этот труд, и это будет свидетельством сыновней преданности. Поистине достойным свидетельством. Речь, которую он сочинил в поезде, можно дать в предисловии, ярко оттенив лучшие стороны отца и его самого. Но этому предисловию не суждено было быть написанным: ему так и не удалось найти отцовской рукописи.

Он приступил к поискам с большой тщательностью. В комнате, кроме стола, стоял еще высокий секретер, ящики и там и тут были набиты доверху запиханными в беспорядке рукописями, смятыми гранками обзоров и статей, разрозненными заметками, вырезками из газет

и т. п. Он начал вытаскивать эти груды скомканных бумаг, сначала почтительно, а затем, по мере того как обнаруживалось, что́ они собой представляют, все более и более поспешно. Он надеялся найти хотя бы один ящик в порядке, но порядка не было ни в одном. Не было ничего хоть сколько-нибудь похожего на более или менее солидную законченную рукопись. Это был не какой-нибудь подобранный, отложенный материал, это был просто ненужный, сваленный кое-как хлам. Все решительно. Без всякой системы, без всякой последовательности. Ему попались две-три красивые записные книжки с началами глав и грандиозными «планами повествования». Но в каждой из них повествование не шло дальше десяти — двадцати страничек. Было еще пять-шесть тетрадок с банальными заглавиями, с отрывочными набросками романов или рассказов, не имеющих ни малейшего отношения к варягам. Даже сыновняя преданность не помешала Теодору усомниться в их низкопробности. По-видимому, это были попытки «дешевого жанра», рассчитанные на вкусы публики. Раймонд решил побить проклятых спекулянтов их собственным оружием. «Дешевый жанр», во всяком случае, не подлежал сомнению. Попадались кое-какие отрывки стихов; самый длинный из этих отрывков оказался наброском «Песни варяжских женщин». Тут было несколько звучных строк, но они перемежались с обильными «тум-ти-ри-том», которые, по-видимому, должны были замениться каким-то словами в будущем.

Начиналась она так:

День за днем
Серым дождем
Бьются волны о рыжие наши пески.
День за днем
Тум-ти-ри-том,
Ти-ри чуждые земли вдали.
Чайка в небе высоко летит,
Ти-ри-том, пролетая, кричит,
Тум-ти-ри и все так же звучит (или молчит)
. . . . *здесь строчка* . . . . .
Исчезают в тумане челны.

Кроме мешанины таких отрывков, он не находил никаких следов обширного труда. Может быть, подумал

он, рукопись спрятана наверху. А может быть, он ее передал издателям.

Но очень скоро он представил себе достаточно ясно истинное положение вещей. Он уже почти убедился, что этот великий труд, труд всей жизни его отца, был не чем иным, как эффектной позой и легендой, но тут за ним пришли и позвали его в комнату покойника.

2

СМЕРТЬ

Сиделка с некоторой торжественностью, свойственной при таких обстоятельствах людям ее профессии, задержалась на пороге и пропустила Теодора вперед. Она тихо затворила за ним дверь. На кровати лежала неподвижная фигура, длинная и прямая, покрытая простыней. Видно было лицо Раймонда, очень белое, ставшее похожим на восковое, с закрытыми глазами и с твердым спокойным ртом.

Теодор до сих пор никогда не видал покойников. Чувствуя с облегчением, что за ним никто не наблюдает, оторвавшись на время даже от собственных самонаблюдений, он подошел к кровати и замер на месте, глядя на великую отрешенность на лице Раймонда.

Отрешенность. Это было основное впечатление Теодора. Он не чувствовал, что Раймонд здесь или в другом месте, он чувствовал, что Раймонд кончился. В выражении рта было нечто решительное, но в этой решительности не было никакого намерения или цели, это была решительность завершенного срока. Воспоминания о Раймонде, вызвавшие в представлении Теодора, когда он ехал в поезде, образ «папы», исчезли перед лицом этой неподвижности. Сказать этому неподвижному телу: «Я буду продолжать твой труд, я передам миру твое великое произведение» — было бы просто нелепо.

Что бы ни сказать ему, все прозвучало бы бессмыслицей. Он лежал такой обособленный, величественный, недоступный никакому родству, что в эту минуту в оцепеневшем сознании Теодора не возникло даже и тени мысли о том, что когда-нибудь нечто подобное произойдет с ним самим.

Он подумал, что́, собственно, ему полагается делать здесь? Молиться? Он чувствовал, что за Раймонда, во всяком случае, молиться нечего. Да и ни за кого другого. Он чувствовал себя, как актер, совершенно позабывший свою роль. Может быть, они стоят и прислушиваются у дверей? Он решил, что пробудет здесь целых пять минут — десять минут. Почему не десять? Он пробудет здесь ровно десять минут вот по этим часам у него на руке, ни больше и ни меньше, а потом спокойно выйдет к ним. Пусть думают, что хотят.

Раймонд так и не написал своей книги. Теодор уже не сомневался в этом. Да он никогда и не начинал ее по-настоящему. Это была просто тема для разговоров. Убежище, которое он для себя выдумал. Все это стало совершенно ясно его сыну, который угадал это с зоркой проницательностью родственного ума. В памяти Теодора проносились воспоминания о минутах энтузиазма, о длинных красноречивых рассуждениях дома и в обществе насчет эпохи и истории. Великая сага была только поводом для этих бурных разглагольствований. Холодное лицо на подушке не выражало ни раскаяния, ни самооправдания. Оно было невозмутимо-равнодушно ко всему, что когда-то говорил, воображал, требовал или представлял собою Раймонд. Оно ясно давало понять, что ему нет дела до Теодора и что Теодору не должно, да, в сущности, и не может быть до него никакого дела. Но житейские условности требовали, чтобы это событие вызывало высокие переживания, чтобы были проявлены и благоговение, и чувство утраты, и прочие глубокие эмоции.

Он в тринадцатый раз взглянул на часы; десять минут, назначенные им самому себе, истекли. Он тихо направился к двери.

На площадке он встретил Клоринду.

— Он кажется таким спокойным,— сказал он.

— Да. Не правда ли?

Он взял ее под руку, словно желая разделить с ней все эти возвышенные и глубокие, не поддающиеся выражению чувства. Поддерживая Клоринду под локоть, Теодор вместе с ней торжественно спустился с лестницы.

3

ОПУЩЕННЫЕ ШТОРЫ

Целые столетия, казалось, прошли с тех пор, как Теодор сломя голову бежал по вокзалу Виктория, чтобы попасть на поезд. А все еще был только полдень. Этот день незаметно, но верно становился самым длинным днем в жизни Теодора. С каждым часом он становился все длиннее и длиннее. Часы в столовой тикали с похоронной медлительностью и, казалось, с каждой секундой замедляли свой ход. После того, как он еще раз перебрал бумаги и сделал безуспешную попытку привести их в порядок, ему больше нечего было делать.

Ни он, ни Клоринда не считали удобным выходить из дому. Клоринда опустила шторы на всех окнах, облачилась в черное — в черное бархатное домашнее платье,— сделала все, что следует, и поговорила с кем надо относительно кремации. Сиделка внесла большую вазу с белыми цветами в комнату покойника прежде, чем Клоринда успела помешать ей, и теперь их уже невозможно было вынести. Это были первые белые цветы, которые когда-либо появлялись в декоративном окружении Бэлпингтона. Оторвавшись от мыслей о небытии этого мертвого тела, Теодор вернулся в кабинет Раймонда и снова занялся разбором его жалких бумаг и литературных останков. Он все еще не мог до конца поверить, что они не представляют собой никакой ценности. Точно он шел по лестнице и ступил на ступеньку, которой не было.

Он перебрал все бумаги по нескольку раз, но с каждым разом уделял им все меньше внимания. Здесь не было ничего, кроме разного журналистского хлама, жалкой мазни неряшливого писаки, нескольких вялых попыток, вступлений дешевого жанра и кое-каких книг по истории, с пометками и замечаниями на полях. Ему попалась англосаксонская грамматика, «Упадок и разрушение Римской Империи» Гиббона, где все упоминания о варягах были весьма неразборчиво комментированы. В одной из красивых записных книжек он обнаружил, перелистывая, множество набросков каких-то фантастических обнаженных фигур в разнообразных группиров-

ках — по-видимому, это была попытка передать исступленный характер религиозных и мистических плясок варяжских женщин,— а в другой было несколько набросков в профиль стройной голой женщины, которая слегка напоминала молоденькую португалку, гувернантку Теодора.

Клоринда непрерывно курила и ходила взад и вперед; она то исчезала, то снова появлялась в темной, холодной комнате, вертелась около сына и бросала отрывочные фразы. Она так привыкла к постоянным недомоганиям Раймонда, что ей никогда не приходило в голову, что он может умереть.

— Все это так неожиданно,— десятки раз повторяла она. А один раз она села и сказала:— Нам нужно както устраиваться, Теодор. Я думаю, нам, пожалуй, лучше оставить этот дом и поселиться где-нибудь поближе к Лондону. Я, знаешь, очень мало смыслю в практических делах.

Она остановилась и поглядела на него, но без большой надежды. Теодор тоже не очень-то много смыслил в практических делах.

Она встала и вышла.

Столовая помещалась в глубине дома, и поэтому Клоринда решила, что, если они на время завтрака поднимут шторы, это не будет нарушением правил благопристойности. Они позавтракали в половине первого, потому что ждать до часа казалось слишком долго. Им подали холодную баранину, и служанка приготовила что-то вроде омлета. Клоринда ела с аппетитом, и они вдвоем уничтожили почти целую бутылку лучшего бургундского Раймонда.

Оба ели чрезвычайно медленно. Она очень мало могла сказать о Раймонде. Все, что можно было о нем сказать, она уже сказала много-много лет тому назад другим наперсникам.

Но она чувствовала, что существует много других вещей, — если бы только знать, каких,— которые могли бы заинтересовать этого изящного задумчивого молодого человека, ее сына. Но она не могла себе представить, о чем он думает.

Вино и кофе несколько сблизили их. Клоринда нашла в себе силы рассказать сыну, что Раймонд умер, не ос-

тавив, по-видимому, никакого завещания, что половина его состояния, в чем бы оно ни заключалось, перейдет к ней, а половина — к Теодору; эта другая половина, разумеется, останется под ее опекой, пока ему не исполнится двадцать один год.

Но большая часть домашних расходов всегда ложилась на нее, она тратила свои собственные деньги. Очевидно, она чувствовала своим долгом предложить Теодору жить с нею вместе в Лондоне, и Теодор тоже почему-то считал нужным показать, что ему это очень приятно. Но у каждого из них мелькали тайные соображения о личной жизни, для которой постоянное присутствие другого человека будет крайне обременительно. В конце концов с помощью отрывочных замечаний и сбивчивых намеков этот мнимый проект общего дома в Западном Кенсингтоне или около него уступил место практическому и определенному соглашению: Клоринда снимет половину дома в Блумсбери, а Теодор найдет себе маленькую обособленную квартирку около школы Роулэндса, не настолько поместительную, чтобы держать постоянную прислугу,— это он много раз подчеркнул,— но за которой присматривала бы какая-нибудь надежная женщина, она может приходить с утра, готовить для него и после этого уходить. Иначе говоря, чтобы ее можно было выпроводить всякий раз, когда у него свидание с Рэчел. По мере того как их взаимопонимание росло, заботливость Клоринды по отношению к сыну усиливалась и становилась более теплой.

— Но меня огорчает мысль, что ты будешь совсем один,— сказала она.

По-видимому, она была готова проявить большое великодушие при разделе мебели. И чувствовалось, что ей хочется сказать ему что-то еще.

— Тебя бы удивило, если бы я написала книгу или, скажем, если бы я оказалась соавтором книги, Теодор?

— Меня удивляет, что ты до сих пор этого не сделала,— ответил он искренне.

— Мне необходимо будет чем-то заняться теперь... Эта перемена... Чувство ужасного опустошения... И как раз у меня был разговор о таком сотрудничестве. В Кембридже я была на хорошем счету. Я увлекалась фило-

софией. Раймонд не принимал всерьез моих увлечений, что бы я ни делала, но я любила философию.

Она закурила папиросу и, держа зажженную спичку, продолжала говорить. А сама думала, что может ее сын знать о ней.

— Доктор Фердинандо, психоаналитик (пуфф),— это мой давнишний друг. Идея... Ну, как бы тебе сказать, назовем это «психоанализом философии». Это что-нибудь говорит тебе?

— Прекрасная идея,— сказал Теодор.— Это значит обойти философа, подойти к нему, так сказать, сзади и встряхнуть его. Прежде чем он опомнится. Мне нравится это.

Теодор стал гораздо более снисходительным к своей матери, чем в детстве. Он уже не находил ее просто распущенной и неряшливой, он считал, что она гораздо умнее большинства женщин. У нее был смелый ум и настоящие знания. А общая утрата сблизила их. Он чувствовал растущую между ними дружбу и глубокое взаимопонимание.

Но после этого разговора Клоринда пошла прилечь вниз в свою комнату, а Теодору предоставили в четвертый раз разбираться в посмертных произведениях отца. Его быстро все схватывающий ум уже осознал полную бесполезность этих попыток. Эта мазня была пустой шелухой, отбросами, а не литературным наследием. Он намеревался перевезти письменный стол, если не секретер отца, в свою квартиру, и его несколько смущала мысль, как избавиться от этого хлама. Но что ему беспокоиться? Все здесь принадлежит матери. Она должна хранить и беречь это.

Некоторое время он предавался приятным размышлениям о самостоятельной жизни в собственной отдельной квартире. Он решил, что квартиру нужно найти как можно дальше от Черч-роуд, чтобы не чувствовать себя под угрозой несвоевременных визитов теток.

Но, конечно, ничего не стоит вывернуть звонок. Или просто не отвечать на звонки и переждать тихонько. Можно сидеть тихо, пока они не уйдут.

Довольно трудно представить себе квартиру, пока ты не видал ее. Он предполагал, что это будет нечто вроде квартиры Бернштейна, только меньше. Ему захотелось

поскорее поехать в Лондон и сразу приступить к поискам.

Через некоторое время мысли его отвлеклись от квартиры из-за полного отсутствия точных подробностей, которые могли бы служить ему пищей. Груды бумаг, разбросанных по всей комнате, снова вернули Теодора к действительности,— вот он сидит в этом затихшем доме с опущенными шторами, а отец его лежит мертвый наверху. В комнате Клоринды не было слышно ни звука. Из кухни доносился слабый, благоговейно приглушенный шум мывшейся посуды. Но скоро и он затих. Служанка стала незримой и неслышной.

Теодор охотно вышел бы побродить, но Клоринда настаивала на том, чтобы они оба сидели дома, так же как она настаивала на том, чтобы были опущены шторы. Он не считал, что это необходимо — сидеть вот так дома после смерти человека, но она, по-видимому, считала. Словно в движении было что-то оскорбительное для памяти мертвого. Эти спущенные шторы, это полное отсутствие привычной домашней возни вызывали у него гнетущее чувство, словно самый дом так же, как Раймонд, умер.

Покойник и дом все больше и больше отождествлялись. Сидеть вот так среди бела дня, за этими опущенными шторами, которые нельзя поднять, казалось, все равно, что лежать неподвижным телом с закрытыми глазами, которые ты не можешь открыть. Он пожалел, что ему пришло на ум это сравнение. Мысли о смерти одолевали его, он не мог сопротивляться им. Он попытался представить себе, какое это ощущение — лежать вот так неподвижно с застывшими, негнущимися членами и не быть в состоянии поднять веки. Он встал и направился в другие комнаты нижнего этажа. Затем очень тихо он поднялся наверх и после недолгого колебания снова вошел в комнату отца.

Нет, сказал он самому себе, за этими веками ничего нет. Они казались теперь несколько более запавшими, чем раньше, а ноздри как будто еще более сузились. Когда он глядел вот так на лицо Раймонда, тот казался ему еще более мертвым, чем когда он думал о нем, сидя внизу.

Теодор постоял некоторое время, словно ожидая че-

го-то. Но неподвижность, законченность, отрешенность были полные.

Он тихо закрыл дверь, прислушался в надежде услышать хоть какой-нибудь шорох в комнате Клоринды и снова сошел вниз. Все еще не было четырех. Но во всяком случае ждать не долго, скоро там где-то начнутся приготовления к чаю.

Пока что интересно подумать о будущем устройстве. Он попробовал снова сосредоточить свои мысли на той маленькой квартирке; взял лист бумаги и набросал план комнат, обдумывая в то же время, как бы их обставить поудобнее. Можно будет, в случае надобности, отпускать прислугу на целый день. Но какой смысл рисовать план квартиры, располагая определенным образом комнаты, когда, может быть, квартиры в квартале Вест-Кенсингтона устроены совсем иначе?

Эти мысли отвлекали его, но отвлекали не совсем. Непостижимая загадка, как чувствуешь себя, будучи неподвижным телом, которое не может пошевельнуться, не может открыть глаза, завладела его воображением. «Но там же нет ничего, в этом теле,— убеждал его разум,— ровно ничего». Он вышел в переднюю, заглянул в столовую, вернулся в переднюю и прислушался. Что же, эта служанка, верно, никогда не начнет накрывать стол к чаю?

Вдруг он увидел мать, которая двигалась, как призрак, на верхней площадке. Она двигалась бесшумно, но половица поскрипывала. Теодора внезапно осенило. Он не окликнул ее, но подошел к лестнице и остановился внизу, откуда можно было говорить с ней громким шепотом.

— Мне надо послать телеграмму товарищу,— сказал он.— Я был приглашен на обед.

— Иди, иди,— сказала Клоринда, уступая.

Он подумал было послать телеграмму Рэчел, написать ей просто: «Мой отец умер вчера ночью». Ему казалось, что это будет звучать просто и благородно и объяснит его утреннюю телеграмму. Но когда он вышел из дому, ему представился ревнивый и бдительный Мелхиор. Он наверняка вскроет телеграмму, если она придет при нем, и потом будет допрашивать Рэчел, почему Теодор ей одной, а никому другому сообщает о смер-

ти отца. И потом он может сопоставить это с утренней анонимной телеграммой, если он прочел ее.

Это слишком рискованно. Итак, Теодор отстранил Рэчел, как непригодного адресата для своей телеграммы. Тогда он подумал о Маргарет. Конечно, Брокстеды должны знать. Маргарет в особенности. Он представил себе ее лицо, полное сочувственной нежности.

Итак, он послал телеграмму Маргарет.

С некоторых пор между ним и ею чувствовалось какое-то отчуждение. Он, в сущности, ни разу не говорил с ней после того разговора на пляже, кончившегося так неожиданно. Но теперь, когда он представлял себе, как она получит это печальное известие, у него становилось теплей на сердце. Сердце его согревалось ею. Оно жаждало ее присутствия. Он уже придумывал, что сказать ей.

У него стало легче на душе, когда он представил себе маленькие волны теплого участия, которые при этом известии о его утрате побегут от одного сердца к другому.

«Так внезапно. Это большой удар. На его плечи свалится теперь огромная ответственность».

Да, на него ляжет теперь огромная ответственность. Он до сих пор не отдавал себе отчета, что смерть отца — для него новый шаг к зрелости.

Мрак рассеялся. Теодор конкретизировал эту загадку смерти. Он вытолкнул ее из своего сознания. Самым важным теперь являлось то, что он остался сиротой.

Он пошел домой не прямо, а кругом, через эспланаду. День был ветреный, хмурый и рано перешел в сумерки; огни загорались в опустевших гостиницах и в особняках вдоль набережной. Начинался прилив, море бушевало и билось о каменный мол в медленном, заунывном, как траурная пальба, ритме,— глухой удар в стену, долгий отступающий вздох и снова удар. Время от времени какая-нибудь волна разбивалась на гребне, и узкая полоса воды взлетала, похожая на фигуру в клобуке, повисала зловеще и рассыпалась, крутясь, растерзанная ветром в мелкие брызги и тонкую водяную пыль.

Теодор увёртывался от этих брызг, и ему это нравилось. Он все более и более воодушевлялся этой игрой с прибоем.

Неожиданно он налетел на Фрэнколина. Фрэнколин также увертывался от брызг.

— Ты здесь! — воскликнул Теодор.

— Нет, я в Африке. А ты почему здесь?

— У меня отец умер сегодня ночью.

Фрэнколин сразу стал серьезным.

— Мне очень жаль, старина, ужасно жаль! Как это случилось так внезапно? Ведь я видел его еще на прошлой неделе.

— Я сам не знал, что он болен, пока за мной не прислали.

— Ведь у него были слабые легкие? Ужасно, ужасно жалко!

Теодор помолчал, потом произнес глубоким, выразительным голосом, ясно свидетельствующим о его самообладании и о том, как тяжело для него то, что он говорит:

— И я даже не простился с ним. Ни слова не успел сказать на прощание.

— Я так тебе сочувствую...

Теодор пошел своей дорогой, проникнутый скорбным величием своей внезапной и трагической утраты.

4

СТРАХ В НОЧИ

Незадолго до рассвета он проснулся и опять стал размышлять о смерти. И сейчас она уже не представлялась ему чем-то вне его. Она обступила его со всех сторон. Она стала гнетом, наваждением, ужасом. Он чувствовал себя мерцающей искоркой жизни в этом мертвом доме с опущенными шторами и запертыми дверями. За две комнаты от него лежал Раймонд, лежал вытянувшийся, неподвижный, и он, Теодор, лежал так же, только чуть-чуть шевелился. Какое это чувство, когда лежишь вот так, мертвым? Он вытянулся на спине, вытянул по бокам руки и закрыл глаза. Он представлял себе, как люди смотрят на него, говорят о нем, а он лежит неподвижно, потому что не может пошевельнуться.

Он сел в постели.

Что такое смерть?

Он спустил ноги на пол и уставился в холодный мрак, окружавший его. А что, если Раймонд, то, что осталось от Раймонда, некая сущность Раймонда, там, за две комнаты от него, делает то же?

Но о том, что делает мертвый Теодор, было легче думать, чем о мертвом Раймонде. Он выкинул из головы мертвого Раймонда и продолжал думать о мертвом Теодоре. Вот и он будет так же лежать неподвижно на кровати. А потом? Может быть, он вот так же поднимется, сядет рядом со своим уже ненужным телом, вспорхнет и улетит. Куда? Или, может быть, его кто-то позовет и он полетит на зов? А может быть, он только захочет сделать это, но не сможет, его не пустит, будет держать в страшных тисках эта окоченелость? Все что угодно было легче себе представить, чем ничто.

И тут ему на помощь явился духовный мир. Да. Тело его будет неподвижно лежать на кровати, как бы составляя с нею одно целое, но сам он, его неощутимое духовное тело, поднимется и сядет вот так же, как он сидит сейчас, и обретет своих друзей. Но если они придут к нему, значит, они и сейчас возле него. Он переменил в темноте свою неряшливо-непринужденную позу, когда подумал об этих свидетелях. Но когда он стал думать о том, что они наблюдают за ним в жизни, они потускнели и растаяли. А то как бы они не оказались слишком прозорливыми. Он вовсе не хотел, чтобы они проникли в его мысли. Но его собственное бессмертное «я» оставалось все таким же ярким, одушевлялось все больше и больше абсолютной уверенностью. Непреоборимая жажда жизни, которая бурлит в каждом из нас в юности, захлестнула его сознание, затопила рассудок. Конечно, он бессмертен! Конечно, что-то есть еще, кроме этого!

Что ему до других! Это их дело. Он вовсе не желает бессмертия для всех. Он желает его для себя. Он не хочет быть мертвым, как Раймонд.

Лежа неподвижно в темноте, казалось, можно было различить этот смежный мир спасения, такой разреженный, но в то же время такой необходимый. Вот они здесь. Ангелы-хранители его детства тихо сошли к

нему. И, укрывшись под этой спасительной сенью, Теодор освободился от страха и ужаса, от кошмарного видения окоченелой беспомощности и, погрузившись в сон, канул в бесчувствие.

5

КРЕМАЦИЯ

Раймонда положили в гроб, и он не упирался, не протестовал. В гробу он казался меньше и худее. Выражение его лица было не так невозмутимо-сурово, а более покорно. Затем гроб был водружен на жалкие неподвижные носилки и бережно, но решительно вынесен скромными, деликатными служителями крематория; его продержали где-то в течение двух дней, а потом Клоринда и Теодор отправились в Холдерс-Грин, чтобы присутствовать на похоронной службе, должным образом реагировать на нее и увидать, как этот простой безличный ящик тихо покатится на колесиках в отверстие печи.

Торжественные звуки органа пели:

О могила, где твоя победа?
О смерть, где твое жало?

И после этого от Раймонда не осталось ничего, кроме маленькой кучки пепла, которую положили в урну и поставили в колумбарий.

Когда гроб начал двигаться, что-то кольнуло Клоринду в сердце, и она заплакала.

Много народу, друзей и посторонних пришло проститься с Раймондом. Был его издатель с новым молодым компаньоном — он был из той породы издателей, которые всегда заполучают себе новых молодых компаньонов,— и в толпе провожающих выделялись избранные представители литературного и артистического мира. Из девяти оставшихся в живых сестер Спинк присутствовало семь, считая Клоринду, и многие из них привели с собой родных и друзей. Все были в черном, кроме Белинды, артистической натуры, которая была в костюме цвета грозного солнечного заката, Люцинды— высокой и статной — в черном с пурпуровым, и Аманды,

в коричневом платье с малиновыми цветами и отделкой. Клоринда и Теодор сидели одни в первом ряду. Брокстеды — позади, неподалеку от них, и Клоринда подумала, что с их стороны было очень любезно прийти. Доктор Фердинандо, массивная фигура, скромно расположился на задней скамье со своей женой.

Позже, по выходе из часовни, завязалось нечто вроде салонной болтовни. Две тетушки Теодора — те, которые были в черном и которых он до сих пор никогда не видал,— подошли к ним и заговорили очень «мило» с Клориндой, внимательно разглядывая своего племянника и наследника. По-видимому, они остались довольны. Одна из них, леди Бруд, сказала, что он должен навестить ее в Кенте. Тетя Люцинда подошла к Клоринде, показывая всем своим видом, что она временно согласна ее выносить.

— Я полагаю, вы теперь уедете из Блэйпорта,— начала она весьма повелительным голосом.

— Слишком рано еще думать об этом,— отпарировала Клоринда.

— Ты должна теперь переехать в Лондон и жить с Теодором,— настаивала Люцинда.

— Все это случилось так внезапно,— сказала Клоринда, явно давая понять тете Люцинде, что ее никто не просит соваться в чужие дела.

— Мы поможем вам устроиться,— продолжала тетя Люцинда.

— Возможно, мы уедем на некоторое время за границу,— внезапно придумала Клоринда.— Такие дела не решаются в одну минуту.

— Но Теодор должен продолжать учение.

— Конечно,— рассеянно согласилась Клоринда и протянула обе руки своему приятелю-журналисту. От него она перешла к Брокстедам.

Теодор перекинулся несколькими словами с Маргарет.

— Я так огорчилась, когда получила вашу телеграмму,— сказала она.

— Мне хотелось, чтобы вы знали,— промолвил он и на секунду задержал ее руку.— Я думаю, нам теперь придется уехать из Блэйпорта. Тедди здесь?

— Нет, он сдает какую-то работу. Но он просил передать вам привет и говорил, что хорошо было бы со-

браться в Isola Bella до того, как вы уедете в Блэйпорт.

Появился Уимпердик в глубоком трауре и совершенно новенькой шелковой шляпе, которая, казалось, была для него слишком мала. На его тучной неопрятной фигуре она производила впечатление только что приобретенного нимба. Он с видом сочувственного понимания поговорил с Клориндой, потом обратился к Теодору.

— Почему вы никогда не зайдете ко мне? — спросил он.— Я живу на Хав-Мун-стрит. Я был бы очень рад побеседовать с вами. У меня есть книги и картины, которые вам будет интересно посмотреть. Приходите. В любое время. Я всегда рад поболтать.

Они обменялись адресами.

Бернштейнов не было видно. Какое им до всего этого дело? Конечно, глупо было и ожидать их.

Теодор отвез Клоринду на вокзал Виктория, и они прямо отправились в Эрлс-Корт с тем, чтобы приступить к поискам маленькой отдельной квартирки. Он оставил свой адрес нескольким агентам, пошел посмотреть одну-другую из предложенных ему квартир, но потом вдруг как-то сразу почувствовал себя осиротевшим и одиноким и отправился к себе в Хемпстед ужинать. От Рэчел не было никаких известий. Он ничего не слышал о ней с тех пор, как его экстренно вызвали в Блэйпорт. Может быть, она не знает о его утрате и обиделась на его двусмысленную телеграмму? Она иногда обижалась по совершенно необъяснимым причинам. Может быть, она теперь долго не захочет его видеть или порвет с ним совсем. А тогда что хорошего обрекать себя на выжидательное уединение в одной из тех маленьких мрачных квартирок, которые он видел?

Может быть, Клоринда помогла бы ему найти что-нибудь повеселее. Но он предпочел бы отыскать себе что-нибудь без помощи Клоринды. Это трудная задача, но он не должен хвататься за что попало, он должен поискать еще.

У него снова защемило сердце, и события и ощущения последних дней начали размещаться и перемещаться в его сознании, располагаясь таким образом, что безжизненный переход Раймонда из его спальни в Блэйпорте через неведомый постой в зияющее отверстие пе-

чи волей-неволей становился преобладающим мотивом его размышлений. Все в нем властно заявляло, что такого конца не должно быть для живого, тонко чувствующего Теодора.

Это ощущение было так властно, что он не мог усидеть спокойно и вынужден был ходить взад и вперед по комнате. Он охотно пошел бы к кому-нибудь поговорить, но не мог придумать к кому. Послезавтра соберутся Брокстеды и Бернштейны и еще кое-кто, каждый внесет свою долю, предполагается вечеринка в складчину, он немножко рассеется, а потом все гурьбой пробьются на русский балет. Он подумал, не пойти ли ему поговорить с тетей Амандой. Но это грозило ему опасным разговором о его «планах» с тетей Люциндой. Он колебался насчет Уимпердика. Но что, если прогуляться до Вест-Энда,—не предрешая заранее, зайдет он к Уимпердику или нет,— пока он не увидит...

6

УКАЗАНИЕ НА БЕССМЕРТИЕ

Он не пошел к Уимпердику в этот вечер, но несколько дней спустя он зашел к нему днем и просидел до тех пор, пока Уимпердик не увел его с собой обедать в клуб Трайэнгл. Уимпердик был рад поболтать и скоро выведал у Теодора, о чем он пришел поговорить.

— Нельзя себе представить, что это конец,— сказал Теодор,— но что же мы знаем и как можно что-либо знать о загробной жизни?

Уимпердик уселся поудобнее в большое кресло, склонив голову чуть-чуть набок и сложив руки на животе.

— Фактически ничего. Церковь учит,— начал он и, тщательно закругляя заученные сентенции, поехал дальше: —церковь ясно учит нас, что есть нечто за пределами суетной горячки земной жизни, да, и при этом она так же ясно говорит, что это есть нечто, столь отличающееся, столь беспредельно превышающее все наши представления о бытии, что не только невозможно представить себе в земной жизни, какая нам предстоит перемена, но нежелательно даже и мыслить о ней, хотя бы и мета-

формами, почерпнутыми из наших чувств, к коим мы неизбежно должны будем прибегнуть. Скажу вам больше, у нас есть доподлинные писания святых и отмеченных благодатью людей, которым при жизни было дано узреть тайну загробного бытия; их откровения только укрепляют нас в нашей вере, однако мы не можем почерпнуть в них ничего, что можно было бы передать словами. Нам сказано совершенно ясно: «Смертному оку незримо и слуху земному недоступно,— он подчеркнул свою цитату, подняв толстый палец,— и не дано сердцу человеческому уразуметь». Разве это не ясно? Вы спрашиваете, есть ли там что-нибудь. Церковь для того и существует, чтобы ответить вам: да. Для этого и существует церковь—прежде всего. Мужайтесь. Но что такое это нечто? Церковь равным образом убеждена, что вам не нужно, невозможно и не должно знать это, как нечто умопостигаемое. Это не имеет ровно ничего общего с новейшими некромантами и их сеансами, с верчением столов — ровно ничего. Церковь относится к ним с таким же осуждением, как и ваш друг-атеист, профессор Брокстед. Нет, вы должны уразуметь в вере или вовсе не разуметь. Вы должны удовлетворяться тем, что видите, как в некоем смутном зерцале. А затем в единый миг, во мгновение ока все переменится.

Эта беседа была очень приятна для Теодора.

— Я знаю, что Раймонд, ваш отец, жив,— продолжал Уимпердик,—воистину жив жизнью живою. Моя вера говорит мне это. Я молюсь за него еще пламенней, чем во время его земной жизни. Но где он живет, каким образом, этого я не знаю. Я знаю, что и вы и я будем жить вечно. Я знаю это наверно. Это краеугольный камень моей веры. Всякой веры. Может быть, мы пребудем во сне, может быть, во временном забвении; все это скрыто от нас. Самонадеянные люди — а такие, боюсь, есть и в церкви, те, что злоупотребляют именем и влиянием церкви,— рассказывали притчи, легенды, басни, пускались даже в описания. Правда, нам были даны некоторые символические представления об ответственности, о Страшном суде и даже о карах...

— Но разве вы и ваша церковь не верите в рай, ад и чистилище?

— Конечно, верим. Но в нашей религии нет толкования, противопоставляющего сие нашему житейскому опыту,— иначе говоря, во времени и пространстве. Уверяю вас, что это не более чем тайные указания, облеченные по необходимости в доступную форму и открывающие нам сокровенный смысл жизни, которая дается нам для испытания наших моральных качеств. Существует ступень, именуемая чистилищем, о котором мы знаем только то, что туда достигают наши молитвы. Неизмеримая благость и милосердие нашего спасителя проникают даже в ад. И снова возносятся к небесам. Это нам дано знать. Все остальное скрыто от нас.

Теодор чувствовал, как все его предубеждения против христианского учения рассеиваются толкованиями Уимпердика. Это было совсем непохоже на то, что он слышал раньше. Ему хотелось бы позвать сюда какого-нибудь верующего крестьянина-ирландца или испанца, чтобы он подтвердил эти толкования, но за неимением такого свидетеля ему оставалось только поверить Уимпердику на слово, что это и есть именно то, во что верят истинные католики. Уимпердик продолжал говорить, и по мере того, как он говорил, церковь — этот бессмертный свидетель — становилась все крепче и сильнее, а принципы религии, которые она поддерживала,— все неуловимее. Теодор находил нечто родственное в этой неуловимости. Никогда еще его так не располагали к себе интеллектуальная увертливость и спокойное благодушие Уимпердика.

И когда потом Уимпердик начал объяснять второстепенное и символическое значение исторического христианства, ум Теодора был уже хорошо подготовлен. Уимпердик осуждал грубый материализм протестантов с их мелочной приверженностью к букве священного писания, особенно к Новому завету как к первооснове христианского учения. Они рассматривают, говорил он, всю концепцию жизни и искупления как некую систему наказаний, законно вытекающую из неких определенных проступков, совершенных в определенные дни в некоем саду где-то в Месопотамии, и из некоторых искупительных деяний, длившихся столько-то часов, столько-то минут и столько-то секунд на холме близ Иерусалима. Для них вечность — просто бесконечное время, вре-

мя, которое идет, идет и идет. В этом вся сущность протестантства. Они не понимают того, что вечность — это антитеза времени. Церковь, говорил он, всегда стояла между верующими и этим заблуждением. Протестанты упорно держатся нелепой идеи, что эти события совершились однажды раз навсегда в определенном месте, в определенное время.

— Но разве Христос в действительности никогда не рождался в яслях и не был распят на кресте?

Уимпердик в интеллектуальном азарте яростно оскалил зубы.

— Никогда? — возмутился он.— Наоборот, всегда, вечно! Если вы хотите иметь хоть какое-нибудь понятие о вере, вы должны отрешиться от этой оболочки времени и пространства. Я повторяю вам: вечность есть антитеза времени. Усвойте это, и вы усвоите все. Вечно его распинают на кресте. Вечно дух становится плотью. Воплощение, жертвоприношение литургии, искупление — это не события во времени вроде коронации или какого-нибудь юбилейного дня, это истины, существующие вечно. Они не возникают и не проходят. Они постоянно и непрерывно существуют. Вне всякого начала. Вне всякого конца. Вне всякого начала был распятый. Это истина, выходящая за пределы факта. Так же, как и наше бессмертие есть реальность, выходящая за пределы факта. Вы уясняете себе, в чем тут суть?

Теодор сказал, что уясняет. Он и действительно начинал постепенно уяснять.

Он согласился, что протестанты и материалисты — а все протестанты, в сущности, материалисты — просто тупицы, которые не могут усвоить этой основной антитезы между абсолютным и условным качеством; вот уж действительно тупицы. Да. Он сосредоточенно нахмурился и погрузился в размышления.

Разговор после обеда в клубе Трайэнгл приобрел несколько чересчур специальный характер, и Теодор не стремился участвовать в нем. Сознание его все еще было поглощено великой и сложной идеей вечных реальностей, как, например, реальности его бессмертной души, противопоставленной потоку отражающихся в ней явлений. Для него это была совершенно новая мысль, и не только новая, но и необыкновенно заманчивая.

Уимпердик с Теодором выбрали столик в уголке, где сидели двое приятелей Уимпердика. Рьяные противники воздержания, они усердно налегали на вина и громко и оживленно высказывали свое одобрение уставу англиканской церкви; по-видимому, их поощряло к этому присутствие некоего выдающегося англиканского епископа, который писал письмо за соседним столом и, может быть, слышал их одобрительные высказывания. Но, несмотря на то, что для Теодора многое было неясно в этой специфической части разговора, он понял отчетливо, что существовала не только католическая церковь, как ее преподносил Уимпердик, но и большое количество не совсем подлинных католиков в других общинах. Это было очень интересно. Это до некоторой степени освобождало от Уимпердика. Выдающийся англиканский епископ производил впечатление очень интеллигентного человека. Можно признавать все эти понятия о различии между вечными и материальными истинами и об абсолютном отрешении веры от времени и пространства, не связывая себя обязательным подчинением правилам и обрядам римско-католической церкви.

Ночью Теодор тихо лежал в постели и упражнялся, повторяя про себя новый, только что пройденный урок. Ему казалось, что он очень легко может отрешиться от этой оболочки времени и пространства. И тогда он парил, как бессмертная душа, как вечное существо, в лоне абсолюта. Он находил, что это не только легко, но и чрезвычайно приятно. Его существование в пространстве и времени, с земным рождением, цепью событий и смертью, главное — смертью, становилось по сравнению с этим ничтожным, превращалось в какую-то тень, на которую он, чуждый и защищенный, взирал с незыблемой высоты. На него сошло глубокое удовлетворение.

Возможно, Уимпердик вовсе не предполагал, что его внушения окажутся такого рода болеутоляющим средством, но это было то, что сделал для себя Теодор из внушений Уимпердика. Он убедил себя, что теперь он твердо овладел основными истинами. Он ходил с просветленным лицом и, проходя мимо церкви или часовни, не думал, как раньше, что это нечто совершенно

бессмысленное и ненужное, а находил их исполненными значения и мысленно приветствовал, как человек, который понимает. Через эти врата он спасался в абсолютное от смерти.

Он ходил к вечерней службе в собор св. Павла. Он побывал в Вестминстерском аббатстве, в Вестминстерском соборе и во многих других прекрасных зданиях. Больше всего ему понравился собор св. Павла; он ходил туда несколько раз, пока длилось это состояние просветления. Музыка приобрела теперь для него новое значение. Он испытал на себе благодетельную силу Баха, Генделя и в особенности Бетховена, которые своей убедительной мощью духовного откровения, величественными перспективами и постепенно нарастающей и усиливающейся торжественностью помогали этому спасительному отрешению.

На него действовали успокаивающе строгий церемониал службы, внешняя декоративность религии — звучный голос священника, волнующее пение хора, высокие своды, арки, чудесные звуки органа. Он всегда старался незаметно уйти с проповеди, его раздражали эти жалкие наставления и угрозы, врывающиеся в эту призрачную таинственность.

Благородное величие собора св. Павла сыграло большую роль в его выборе между англиканской и римской церковью. Насколько он мог судить по фотографиям, собор св. Петра в Риме значительно уступал в архитектурном отношении лондонскому собору св. Павла. И он находил, что англиканское божество было не так подчеркнуто тройственно, как римское. Кроме того, англиканская церковь не угнетает своих приверженцев, в ней нет никакого пасторского понукания, исповедей и т. д., которые делают латинскую церковь столь обременительной. Римская церковь все еще желает судить верующих и делает это где только может, а англиканский бог всегда был слишком джентльменом, чтобы судить кого-либо и тем более быть судьей всего человечества. Бог, у которого есть такт, — таково было представление Теодора о боге. Он мог теперь читать библию или перелистывать молитвенник и, как человек хорошо осведомленный, спокойно пренебрегать логическими доводами и всяческими возражениями рассудка. То, что каза-

лось невероятным, было символично, а все, что претило, было просто наследием и пережитком далекого, первобытного прошлого.

Когда его усердные посещения церкви сократились, а затем и вовсе стали случайными и он снова вернулся к своему обычному образу жизни, мучительный страх исчезновения, овладевший им после смерти Раймонда, уже больше не преследовал его. Он заглох, потонув в дебрях философической теологии.

Многое из всего этого Теодору приходилось скрывать от Брокстедов и Бернштейнов. Эти молодые люди «были невыносимо привержены к фактам». А вечные истины гораздо легче чувствовать и понимать, чем отстаивать. Но однажды, на той утешительной вечеринке перед русским балетом, и другой раз на новоселье, когда он собрал всех, чтобы отпраздновать свою новую независимую жизнь, и раза два с Рэчел тема бессмертия выплывала на поверхность.

Тедди, упрямый биолог, ни на секунду не хотел отрешиться от своей временно-пространственной оболочки и упорно держался за нее.

— Индивид умирает,—говорил он.—Индивид умирает раз и навсегда. Индивидуальность — это опыт. Мы изживаем наш опыт и воспроизводим, оставляем после себя результаты и умираем. Так уж устроена жизнь. Полная смерть индивида так же необходима для жизни, как и рождение.

— Но мы живем вечно в наших потомках,— сказала Маргарет.

— И вас это удовлетворяет? —с упреком сказал Теодор, повернувшись к ней.

— Это должно удовлетворять нас,— ответила она.

— Вид живет,— сказал Тедди, уточняя,— а если даже и вид вымирает, жизнь продолжается, претерпевая в связи с этим какие-то изменения. Это все, что может знать биолог. Если бы не было смерти, если бы нам приходилось вечно влачить существование, неужели ты не понимаешь, как это было бы ужасно? Мозг наш переполнился бы всякими представлениями и воспоминаниями, устарелыми и бесполезными. Мир был бы битком набит старыми-престарыми людьми и старыми-престарыми восприятиями. Старые индивиды должны уступать

место новым, как старые тетради, в которых исписаны все страницы.

— Да я говорю вовсе не о жизни на этом свете,— сказал Теодор.— Я говорю о переходе в какую-то иную жизнь.

— Да что же, собственно, переходит-то? — спросил Тедди.

— Я хочу сказать, что, может быть,— откуда мы знаем, что этого нет? — существует какая-то более обширная жизнь, а наша жизнь — это, так сказать, только одно из ее проявлений.

— Но какие же признаки позволяют утверждать, что нечто подобное существует?

— Ну, признаки в нас самих. Какое-то чувство, отвращение, отрицание смерти.

— Но это просто инстинкт, присущий всем молодым животным. И только когда они молоды. Старые люди, говорит Мечников, совсем не такие. Почему бы им быть такими? И, во всяком случае, если даже тебе и очень хочется, чтобы так было, это же не доказательство, что так оно действительно и есть.

— Ведь мы никогда не будем знать, что мы умерли,— сказала Рэчел,— так не все ли нам равно?

— Наша смерть наступает для других людей,— сказал Мелхиор.— Для нас она не наступает.

— Нас не будет «дома»,— сказала Рэчел.

— Я не думаю, что меня не будет. Я буду. Все, что вы говорите,— сказал Теодор, выдвигая артиллерию Уимпердика,— может быть, и очень разумно звучит, может быть, и вообще очень разумно с точки зрения событий во времени и пространстве. Но ведь наша вселенная не единственная существующая вселенная. Так вот вне ее я существую вечно.

— Я существую вечно,— повторил Тедди, словно обдумывая это про себя, и на некоторое время воздержался от дальнейших возражений.

— Но я не понимаю...— начала Маргарет и замолчала.

— Да что же может быть бессмертного в человеческом существе? — воскликнула Рэчел.— Похоть, голод, зависть, злоба, жадность, недомыслие и такая вот бол-

товня — все, что есть в нашей современности и в нашем теперешнем мире. А что же еще?

— Никто никогда не верил в бессмертие, кроме как для себя,— сказал Мелхиор своим ровным голосом.— Для себя и для того, что является частью этого «себя». Никогда никто не верил в бессмертие людей каменного века или в бессмертие дикарей. И никто никогда не поверит.

— Это увертка,— сказал Тедди,— то, что ты сказал насчет времени и пространства. Это психологическая увертка. Ты не можешь изъять жизнь из времени и пространства так, чтобы она вращалась вокруг самой себя и видела только тебя. А ты заявляешь, что можешь. В этом весь фокус. Возможно, есть что-то непостижимое и безграничное вне времени и пространства, но это не жизнь и не смерть и не является частью нашей ясной и определенной природы. Это — нечто до такой степени чуждое нашему миру, что, по сути дела, я хочу сказать в нашей действительности, это вовсе не существует.

Он остановился на мгновение, словно почувствовав, что почва ускользает у него из-под ног. Казалось, он подыскивает в уме что-то, чего не может найти. Он резко закончил поучительным тоном опытного эксперта:

— Индивидуальность — это часть механизма земной жизни. Вот моя точка зрения. А смерть и рождение неотделимы от индивидуальности.

Теодор сделал не очень решительную попытку высказать свою точку зрения. Но вся окружающая атмосфера была против него. Все они, за исключением Маргарет, были так навязчивы в своих суждениях, так шумно выражали их, что оказалось просто невозможным изложить им ясно свое новое отношение к смерти. Правда, он попытался, но тут же вышел из себя и едва не наговорил им грубостей и колкостей в ответ на их ехидные замечания. Трудно было сохранять спокойствие и держать себя с ними так, как если бы они тоже были вечными, бессмертными реальностями, покоящимися в лоне абсолюта. Слишком явно выступала их суетная природа. Были моменты, когда его вновь обретенная душа впадала в такую ярость от их выпадов, что она чувствовала

себя совсем не как вечная реальность, покоящаяся в лоне абсолюта, а скорей как сильно избалованная комнатная собачка, которую раздразнили, и она еле удерживается, чтобы не броситься на них из этого лона со злобным, презрительным тявканьем. Он остро почувствовал, что в этой жизни наши глубочайшие и сокровеннейшие убеждения должно хранить про себя.

Но если они не понимали его и не соглашались с ним, собор св. Павла, по-видимому, понимал и соглашался, и он ходил туда, тихо садился в боковом приделе, погружаясь в это безмолвное величавое сочувствие, слушал орган и успокаивался.

Он сделал другую попытку с Маргарет.

Он подкрепил их молчаливое примирение, состоявшееся во время кремации его отца, отправившись с нею однажды в бодрящий морозный день на далекую прогулку от Виндзора до гостиницы в Вирджиниа Уотер, прогулку, которую он однажды совершил с Рэчел. Воспоминания о Рэчел скорее обогащали, чем затрудняли, это повторение. Ему не терпелось наградить Маргарет бессмертной душой, и его раздражало, что она не проявляет ни малейшей готовности принять этот дар.

Удивительно и непонятно, до какой степени им трудно было найти общую почву. Их умы, складывавшиеся под совершенно противоположными влияниями, усвоили настолько различные формы выражения, что их представления абсолютно не совпадали. Когда он говорил о «душе», она говорила о личном «я», и при этой подстановке все его доводы ускользали.

Она могла представить себе, говорила она, что вся вселенная в каком-нибудь одном аспекте может быть не более чем видением, созерцаемым сквозь кристалл некиим вечным созерцателем, или грезой восседающего на лотосе божества.

Можно придумать тысячу таких красивых вещей, шутливо соглашалась она, но она не отвечала ни «да», ни «нет» на его страстный призыв приблизиться вместе с ним некиим чудесным образом к вечному бытию этого созерцателя или сновидца. Она не допускала и мысли об этом новом абсолютном Бэлпингтоне в его новообретенном Блэпе вне времени и пространства. Какое это имело отношение к их обыденной жизни?

— Мы живем и умираем, как говорит Тедди,— упорствовала она.

Она упорно держалась своей формулировки, что от нас не остается ничего, что могло бы жить после смерти, кроме наших потомков.

— Но ведь наши потомки,— возразил Теодор,— не больше мы сами, чем наше окружение.

Она признала, что была нелогична.

— Но это все сводится к тому же,— сказала она.

Их спор разрастался, затрагивал другие вопросы.

— Я не вижу смысла в альтруизме,— внезапно заявил Теодор.— Почему мы должны жить для других больше, чем для себя? С какой стати нам подвергать друг друга моральному очищению, как это делалось некогда на островах Силли? Мне это кажется просто какой-то бестактностью. Зачем нам залезать в жизнь других людей? Пусть живут сами по себе.

Но ей уже приходилось сталкиваться на этой дорожке в ее спорах с Тедди.

— Поскольку человек не эгоцентрик,— возражала она,— ему нет надобности непременно быть альтруистом. Это вовсе не вытекает одно из другого. Люди могут жить для более широких целей, чем личное «я». Их собственное «я» или «я» другого человека — всякое «я» умирает. «Я» должно умереть. Но у природы, говорит Тедди, нет оснований покровительствовать эгоцентрикам. Мы постоянно думаем о себе, но по мере того, как мы становимся разумнее и расширяем свой кругозор, мы также стремимся отрешиться от себя. Мы находим что-то другое, что кажется нам больше и значительнее.

— Что же это такое?

— Вы должны чувствовать, что есть нечто большее.

— Но что может быть больше и значительнее, чем бессмертная душа? — спросил он.

Она засмеялась.

— Но я же вам говорю: я не понимаю, что вы подразумеваете под бессмертной душой. И ведь вы только недавно начали говорить о душах, Теодор. Я не принимаю этого всерьез, но все-таки — что такое душа?

Он терялся, он не находил, что сказать.

Если вы говорите человеку о его бессмертной душе, а он отказывается принимать всерьез ваши слова, что

тут можно сделать? Это все равно, что спорить об оттенках красок со слепым. Кто может определить, что такое душа? Определить — значит отринуть это. А духовная слепота Маргарет приводила к полному расхождению их взглядов и на все остальные жизненные ценности. Различие между ними глубоко огорчало его. Она материалистка, но и Рэчел тоже материалистка. Материализм Рэчел можно было понять, она приходила к логическим выводам из своих убеждений прямо и просто. Но материализм Маргарет и Тедди отдавал фанатизмом, экзальтацией. Они были фанатиками истины, фанатиками какого-то неясного, но повелительного «служения». И этот фанатизм делал Маргарет далекой и недоступной, такой далекой, какой могла сделать какая-нибудь слепая вера. Она была безбожная пуританка; она жила и управляла своими поступками согласно своей вере, хотя, по-видимому, это была вера в ничто. Наука? Прогресс?

Он смотрел на Маргарет, идущую рядом с ним. Время от времени он слегка задевал ее, дотрагивался до ее руки или брал ее под руку. Ее лицо было желанно и дорого ему, ее серьезные глаза и чуть заметная тень улыбки на губах. Казалось, она была довольна, что идет с ним. Ее гибкое тело непринужденно двигалось рядом с его телом, ее плечи на два-три дюйма пониже его плеч. Она молча впитывала радостным взглядом зеленые просторы, богатый узор обнаженных и залитых солнечным светом деревьев, сверкающую воду, ланей, водяных птиц. И она не хотела владеть его душой, а стремилась делать свое дело в этом пространственном мире; она не хотела принадлежать ему и предательски заглушала свои желания, хотя — он чувствовал это инстинктивно — ее влекло к нему. Он знал наверное, что ее влечет к нему,— в этом отношении он был уверен в Маргарет гораздо больше, чем в Рэчел.

В чем заключалось различие между ним и ею? В чем различие между ней и Рэчел? Было ли в ней какое-то качество, которого недоставало Рэчел, и Рэчел знала, что ей его недостает? Было ли это нечто реальное или существовало только в его воображении? И существовало только потому, что он внушил себе, что

влюблен в нее? Или она в самом деле сильнее и лучше Рэчел и его самого?

Ему вспомнилось выражение «безбожные пуритане». Удачное выражение. И она и Тедди твердо решили не шутить с жизненными ценностями. Они изо всех сил старались честно и прямо смотреть в лицо жизни, не позволяя себе уклоняться даже в воображении.

В те дни экономического и социального расцвета, предшествовавшего Великой войне, расцвета настолько неоспоримого, что он казался неизбежным, их вера в прогресс представляла собой нечто совершенно естественное. Но Теодору развитие мира, в котором он жил, казалось таким бесспорным и само собой разумеющимся, что он даже не считал нужным способствовать этому развитию. Одно время он почувствовал, что и его захватывает эта для всех обязательная повинность. С тех пор он был склонен выражать протест, защищать традицию и обычай против этого стремления к прогрессу и новшествам. И теперь, когда он задумывался над этим глубоким расхождением между ним и Маргарет, в памяти его воскресла вдруг вереница фантазий, которые зародились у него год или два тому назад в Блэйпорте. Он вспомнил разговор Раймонда и Уимпердика о фантастическом романе Конрада и Хьюффера, об этих Наследниках, людях другой породы, которые упорно и неуклонно разрушали все жизненные устои — с благими или дурными целями, этого он не мог сказать. Мечты, в которых Маргарет играла роль Наследницы, снова всплывали в его сознании. А какова была его роль? Всегда это было нечто более возвышенное, более благородное, нечто несравненно более достойное, что затмевало все знания Тедди, устраняло всякие подозрения в собственном невежестве, выдвигая взамен исключительную утонченность душевного склада. У него была «душа», у них — нет. И всегда в конце концов он отвоевывал Маргарет, она отрекалась от Наследников и отвечала пылкой любовью на чувства Бэлпингтона Блэпского.

И вот теперь снова она оказалась Наследницей. Она была из породы этих Наследников, которые угрожали миру, а он был в другом стане. Так мечты отошли в прошлое, а это по-прежнему осталось в силе. Теперь еще

чвственнее, чем прежде, он олицетворял собой благородные идеалы и романтику. И свое собственное высокое призвание. Ему припомнилось удачное выражение «безбожные пуритане», и он почувствовал ненависть к своим противникам и незаметно для себя вошел в роль. Он внезапно сделался Рыцарем. С изумительной живостью, в то время как он продолжал что-то говорить, его стремительное воображение подсознательно подхватило и драматизировало этот контраст. Рядом с этой хорошенькой молоденькой женщиной в вязаной кофточке и простой шерстяной юбке он опоясался призрачным мечом и оделся в незримую кольчугу. Она шла рядом, не подозревая о том, что у него вдруг появились локоны, и остроконечная бородка, и широкополая шляпа с пером. Но она обратила внимание, что его голос и манеры внезапно стали мягче и учтивее.

— Мне никогда не удастся заставить вас понять мою точку зрения,— сказал он.— Вы так дороги мне и так чужды.

И тут совершенно неожиданно у него вырвалась удивительная фраза. Здесь не было ничего обдуманного заранее. Ему это пришло в голову только что.

— Вас это удивит, Маргарет, если я скажу вам, что собираюсь креститься?

— Боже! — воскликнула она и расхохоталась.— Милый Теодор! В купели! И потом вас завернут в такую длинную белую штуку? И у вас будет крестный отец и крестная мать? И пастор будет держать вас на руках? А вы будете пищать? Не могу себе представить. Наш Бэлпи — новорожденный! Зачем вам это нужно?

— Мне не придется возвращаться к младенчеству,— сказал Теодор, несколько задетый.

— Значит, вы будете не совсем новорожденный?

— Нет, нет. Но это обряд, символ. Необходимый символ. Несколько странный, если хотите. Но ведь церковь что-то олицетворяет, утверждает что-то.

— Ваше бессмертие?

— Наше бессмертие. И я стою за церковь.

И после этого разговора Теодор решил привести в исполнение свое намерение.

Он пошел посоветоваться с местным викарием, после того как тщательно изучил этого викария и в алта-

ре и на кафедре, неоднократно наблюдая за ним в церкви; он объяснил свое положение и позаботился о том, чтобы его крещение и конфирмация остались в тайне. Крещение состоялось незаметно, а конфирмовался он в толпе других. Ни Клоринде, ни Рэчел и никому из своей школы он не рассказал о перемене, происшедшей в его духовной жизни, и ни он, ни Маргарет никогда больше не заговаривали об этом. Пусть она думает, что это была одна из его фантазий. Ясно, что она не в состоянии отнестись к этому должным образом. С другой стороны, серьезность духовенства, восприемников и всех, кто так или иначе был причастен к этому делу, подействовала на него весьма успокоительно. Все они считали, что с его стороны было совершенно естественно позаботиться должным образом о своей бессмертной душе. Они крестили и конфирмовали его для оздоровления его души совершенно так, как доктор лечил бы его, чтобы оздоровить его желудок или селезенку. Они ставили его душу на одну доску с этими невидимыми, но весьма существенными органами тела. Они принимали его бессмертие как нечто совершенно естественное. Они подтвердили и удостоверили его. Его душа никогда не могла бы стать для него такой реальностью без их помощи.

Итак, весною 1914 года Теодор пребывал в состоянии довольства, проникнутый благородным презрением к социальному неравенству, с которым ему так или иначе приходилось мириться, абсолютным равнодушием к современной политической, общественной и финансовой жизни, Небесной и Земной любовью, которые смягчали и умиротворяли одна другую весьма парадоксальным образом, ибо если одна доставляла наслаждение, другая приносила искупление своим исключительным благородством. И он был членом англиканской церкви. Страх перед физической смертью привел его к богу, и он заручился билетом в вечность и вооружился такой тонкой, неосязаемой броней англиканского вероисповедания, какая вряд ли когда-либо защищала человеческий разум от грубых ударов действительности. У него появилась душа так же, как появились усы, естественным образом отрастающие у юноши. Ему удалось благополучно избежать слишком близкого отождествления себя со своим

подлинным «я», и если его ноги ступали по твердой почве материального удовлетворения и безопасности,— его голова была приятным образом затуманена более возвышенными замыслами этой идеальной личности — Бэлпингтона Блэпского. Он больше не углублялся в исследование самого себя и окружающих его явлений. Его взаимоотношения с жизнью становились все непринужденнее и легче. Он рисовал, но не очень усидчиво; он думал, но не слишком усердно; он блестяще критиковал и пускался иногда и в литературные опыты, тщательно скрывая, каких это ему стоило усилий. Он начал довольно хорошо играть в теннис.

Тот старый приятель Раймонда, который после замечания о Берлиозе решил, что ранняя смерть была бы лучшим уделом для Теодора, встретил его как-то случайно и в порыве запоздалого участия пригласил его позавтракать в свой клуб.

— Сын бедняги Бэлпингтона,— рассказывал он потом,— так изменился к лучшему, что его узнать нельзя. Он мне напомнил отца, тот был очень недурен собой в те дни, когда мы были в Оксфорде. И разговаривает он так непринужденно. Не пристает к вам с искусством и тому подобным. Очень приятный юноша. Одно время казалось, что этот мальчишка станет ужасным педантом. Да, невообразимым педантом.

Этого несчастья по крайней мере Теодор избежал. Педанты даже самого низкого уровня способны допытываться и сомневаться. Радужный пузырь воображения вознес его выше всего этого.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЕРОИКА

1

ВЕЛИКОЕ ЗДАНИЕ ТРЕЩИТ

Мир, в котором подвизался Бэлпингтон Блэпский, созданный воображением Теодора Бэлпингтона, представлялся очень надежным и просторным миром, достаточно надежным и просторным, чтобы свободно передвигаться в нем и делать все, что нравится. В детстве Теодора, как мы уже говорили, мир казался ему неподвижным, и в этом неподвижном мире его воображение могло беспрепятственно играть, как ему угодно. В Лондоне он понял, что вселенная движется, но движется как будто совершенно отдельно от него. Небольшим умственным усилием он мог освободиться от всякой связи с этим широким движением человечества. Если жизнь его протекала не на твердой суше, то, во всяком случае, на громадном корабле, совершающем в полной безопасности какой-то неопределенный рейс, куда — неизвестно. Это было дело судовой команды и каких-то там боцманов, штурманов. Его это не касалось. Все равно, как если бы он стал беспокоиться о вращении земли или движении солнца и планет в звездной системе.

Его занимала любовь, его занимала смерть — исключительно как элементы его собственной, личной драмы, и он совершенно сознательно построил свою систему ценностей таким образом, что общее управление всем ходом вещей, всякой политикой, экономикой, общественной жизнью было предоставлено особым и по большей части малопривлекательным людям, которые, по-види-

мому, находили в этом интерес. И все как будто получалось очень хорошо. Человек славил бога, почитал короля и занимался своими собственными делами. Политическая система — это грандиозное сплетение коммерческих, финансовых, профессиональных и других интересов — казалась просто какой-то декорацией, на фоне которой люди, так же поглощенные собой, как и он, осуществляли свои собственные честолюбивые замыслы, добивались известности, могущества, славы, пускали в ход любые средства, пользовались всеми случайностями, дабы украсить романтическое здание истории. Он не соревновался с ними. Его честолюбие стремилось к подвигам в области искусства и критики. Здесь он рассчитывал сыграть выдающуюся роль. Он считал, что политическая и общественная деятельность отличаются от театральных действий только масштабом, размерами; это были обширные возможности, с их помощью можно было выиграть или проиграть, их можно было использовать для более или менее блестящего разговора, но они не могли изменить общее направление событий.

В начале 1914 года в мире было семнадцать или восемнадцать сотен миллионов людей, которые, рассуждая подобным образом, чувствовали себя отлично и даже не пытались заглянуть в ту планетарную систему государственного устройства — капитала, товарооборота и всего прочего,— что составляло ее основу. Все это возникло само собой, и так и будет идти само собой. Государственные деятели, монархи, священники и проповедники, поставщики вооружения и хозяева прессы и все те, кто принимал решения и распоряжался за своих ближних, двигались в этом круговороте, выполняли свое назначение, производили магические пассы, создавали современный эквивалент истории. Громадные армии муштровались и маршировали очень живописно, в некоем взаимодействии с этими главными действующими лицами; производство оружия и боевых припасов внушительно разрасталось; военные корабли в полной боевой готовности выполняли свою роль в этом великолепном спектакле; без духовых оркестров и развевающихся флагов мир был бы несравненно скучнее. Все это было словно яркая движущаяся декорация на стене великого

здания человеческой безопасности. Этой декорацией просто любовались, а не вглядывались в нее. Нечто в этом духе казалось необходимым.

Теодор и ему подобные просматривали газеты, пропускали политические и деловые статьи и сосредоточивали свое внимание на книжных обзорах, на театральной хронике и частных сплетнях. Они рассуждали о необходимости учиться новым танцам и изыскивали решение чрезвычайно тонкой проблемы, которое позволило бы им посещать возможно чаще танцевальные вечера и тратить на это возможно меньше денег. Эти надежды и стремления занимали большое место в жизни. Thé dansant[1] были особенно притягательны для неимущей молодежи. Новая синкопированная музыка ломала все установившиеся ритмы поведения. Проповедники и видные журналисты могли сколько угодно протестовать против легкомыслия нынешней молодежи,— милых бедных старичков считали просто смешными чудаками. Потрясенные родители после нескольких стычек с этим новым направлением умов отступали, чтобы обдумать его про себя, а затем появлялись омоложенные и сами пускались танцевать. Никогда еще не было такой свободы.

На протяжении трех с лишним столетий благосостояние все большего и большего количества людей непрестанно возрастало. Изобретения и открытия, столкновения философских систем, отход умов от догмы в сторону исследования, эпидемический рост любознательности и исследований, благодетельное ослабление громоздкой устаревшей денежной системы, происходившее неоднократно благодаря открытиям крупных россыпей серебра, а потом золота,— все это широко способствовало плодотворному росту благосостояния и спокойной уверенности на нашей планете. Никто не направлял этого. Все происходило само собой. Голод ослабевал, население росло, жуткие события средних веков — чума, набеги, контрибуции, убийства, казни и разорение — исчезли с лица земли, по крайней мере для народов Запада. Поколение за поколением вступали в эти спокойные цветущие века, и с каждой новой сменой все большее количество умов зарождалось и расцветало в еще более упро-

---

[1] Танцевальные вечера *(франц.)*.

ченном и устойчивом социальном строе. Они принимали как должное всю эту устойчивость и прочность и свыкались с ними. Они несли с собою идею непрерывного и неизбежного прогресса, ставшую для них врожденным понятием. Маленькие клеточки мозговых извилин в каждом отдельном мозгу этого мощно растущего народонаселения складывались привычно в этот уверенный контур.

Теодор вступил в жизнь в самую благоприятную пору, когда безопасность и благоденствие стали настолько привычными, что казалось: иначе не может и быть. Очень немногие задумывались над тем, что счастливая полоса когда-нибудь кончится и потребуется настойчивое, дружное усилие, чтобы продолжать это движение вперед. В то время такая мысль казалась лишней, а мозг человека, как мы теперь начинаем понимать, не терпит лишних мыслей.

И вот внезапно, в июле и августе 1914 года, прочное здание западной цивилизации заскрипело и треснуло, треснуло с таким оглушительным грохотом, какого человечество не слыхивало с незапамятных времен, и впервые в истории лапландцы и готтентоты, перуанцы и корейцы, люди на улицах Канзас-сити и Глазго, люди на улицах Алеппо и Мандалая — все оказались вынужденными подвергнуть свои смятенные умы, свои заблуждения, свои толкования вселенной и себя самих великому испытанию всеобщей мировой катастрофы.

И неизбежно ум Теодора и умы его друзей и знакомых — все должны были пройти через один и тот же суд.

2

ЭТО ВОЙНА!

Сотни книг исторического или повествовательного жанра пытались описать безмерное изумление человечества в августе 1914 года. Сохранилось бесконечное количество описаний этих чреватых последствиями дней: описаний того, как застигло это известие туристов, проводящих летний отдых в путешествии за границей,

дачников, крестьян в русских деревнях, столичных клерков на работе, фермеров, солдат, министров, школьников, женщин; как проникало оно в самую разнообразную обстановку мирной жизни. Но очень немногие из этих описаний дают сколько-нибудь правильное представление о том, с какой удивительной ребячливостью и наивностью мы встретили эти великие события. Если они и вызвали великое изумление,—они почти не вызвали страха. Войны бывали и раньше, и это была война. Огромному большинству людей, даже жителям тех стран, которые участвовали в предыдущих войнах, война всегда представлялась исключительно эффектным и захватывающим зрелищем. Так и теперь большинство людей в Европе, даже в тех странах, где существовала всеобщая воинская повинность, готовились занять свои места, чтобы присутствовать в качестве зрителей на этом необыкновенно волнующем и торжественном представлении. Оно являло для них огромный интерес, они вкладывали в него свои деньги и эмоции, но все же это казалось только зрелищем. Это чувство разделялось даже войсками, которые направлялись на фронт. В особенности это наблюдалось среди английских войск, которые шли в Бельгию с пением и шутками, как если бы они были в отпуску и отправлялись на парадный футбольный матч. Слишком далеки они были от тех испытаний, которым уже подверглись другие обреченные народы, чтобы у них могло зародиться подозрение, что на этот раз драма и ее последствия развернутся в таком масштабе, что всем им в конце концов придется стать участниками хотя бы в качестве статистов или немой толпы жертв в этой всеобщей катастрофе.

Сохранилось много анекдотов об американских туристах, разъезжавших в автомобилях вдоль франко-германской границы и обнаруживавших величайшее нежелание убраться с позиций. Настолько сильно было чувство, что война — это праздничное зрелище. Им хотелось пробраться поближе, вперед и смотреть. Посла Пэджа в отеле Сесиль осаждали толпы его соотечественников с жалобами на то, что их отдых «испорчен» отсутствием должного внимания и забот об их комфорте со стороны великих воюющих держав.

— Некоторые собираются предъявить иск германско-

му правительству — у них, видите ли, пропал отпуск,— рассказывал он.— Они не понимают...

Они являли собой исключительно яркий пример непонимания. Не так явно, но, вероятно, столь же упрямо не понимал этого и весь остальной мир. Мозги всех приятелей и сверстников Теодора оказались в такой же мере неспособными охватить невиданные масштабы новой невиданной войны. И все мозги в мире — мозги солдат и государственных деятелей так же, как и всех других,— оказались в таком же положении. Запальный шнур был подожжен, но никто не мог себе представить, какой это будет взрыв. Люди реагировали так, как привыкли реагировать на прежние, менее значительные войны.

Редко кто, хотя бы отчасти, представлял себе невиданные доселе возможности, но, оглядываясь теперь назад, мы видим, как слабы и неточны были догадки даже самых предусмотрительных из этих мудрецов.

Катастрофа застала Теодора в маленькой гостинице на берегу Темзы между Марлоу и Мейденхэд. Он приехал сюда якобы для того, чтобы писать этюды реки; ему хотелось передать эффект розовой дымки на воде в утренние часы и мягкий, теплый свет летних сумерек. Он и в самом деле усердно работал, если согласиться с тем, что он подразумевал под усердной работой. Бернштейны жили на ферме по ту сторону холмов по дороге к Биконсфилду в компании социалистов и студентов экономического факультета. Они без конца спорили о социальной революции. Он несколько раз ездил туда на велосипеде, скучал, просиживал с ними по нескольку часов, всячески пытаясь уединиться с Рэчел, что никак не получалось. Но однажды им удалось вырваться вдвоем в Лондон, и они провели целый день у него на квартире.

Жилище Теодора было расположено очень удобно. Ниже по реке в заводи около Обезьяньего острова стояла барка, где жили Брокстеды. Тедди готовился к экзаменам и помогал отцу в его исследованиях микроорганизмов, которыми кишмя кишела стоячая вода в верховьях Темзы. Какая-то весьма определенная цикличность в нарастании и убывании разнообразных видов, причин которой нельзя было уловить,— по-видимому, рост достигал максимума и затем шел на убыль каждые

четыре недели,— заставляла их усердно и увлеченно работать. Теодору это казалось скучным времяпрепровождением. Стоит ли беспокоиться о каких-то инфузориях? Миссис Брокстед и Маргарет ночевали на барке, а днем располагались на островке лагерем, очевидно, получая огромное удовольствие от жизни на чистом воздухе в самой неудобной обстановке. А Маргарет, которая готовилась к экзаменам, успевала и плавать и грести. В это лето она казалась ему еще более привлекательной и желанной, чем когда-либо,— в легком платье, босоногая, загорелая, с выступившими на лице маленькими веснушками. Она гребла и управляла рулем лучше Теодора и казалась еще более неприступной в своей приветливости, чем раньше. Он много думал о ней, мечтал, чтобы разразилась какая-нибудь катастрофа, которая нарушила бы ровное течение их дружеской близости. И она разразилась. Война, он чувствовал это, несомненно придаст новый и романтический интерес каждому мужчине. Он нанял лодку на день и отправился вниз по реке, чтобы поговорить с нею.

Шлюз Боултер был запружен праздничной публикой. В то время в Англии еще не было такого молниеносного грозного массового призыва молодых людей, как по ту сторону Ла-Манша. Даже если британская армия уже вела войну, британская молодежь еще не принимала в ней участия. Но повсюду мелькали трепыхавшиеся на ветру развернутые газетные листы, двое охрипших газетчиков продавали последние выпуски молодым людям в белых фланелевых брюках, прямо в подплывавшие к берегу лодки, и все вступали друг с другом в разговор с необычной легкостью. «Началось» — таков был припев ко всякому разговору. Общее мнение сводилось к тому, что кайзер «взбесился» и что германская держава сама себя обрекает на гибель.

— Они сами того добиваются,— повторял всем, кто выражал желание его слушать, краснолицый человек в соломенной шляпе, украшавшей его наподобие нимба.

Теодор чувствовал, как это всеобщее волнение заражает и возбуждает его. Он согласился, что немцы «сами этого добивались». Он горячо подтвердил это, промолвив: «Конечно». Он сказал какой-то приветливой леди, что «они умеют драться только ордой» Выбравшись

из этого салона в шлюзе, он неторопливо поплыл к Мейденхэд, тихонько взмахивая веслами и глядя, как струйки воды медленно скатываются по лопастям.

С самого раннего детства он незаметно впитал в себя глубокую веру в свою страну и в свой народ. Ему приятно было думать, что «мы» ответим на вызов гордо и смело, и он был твердо уверен, что наша маленькая, но прекрасно обученная и дисциплинированная армия одержит блестящую победу в Бельгии над «неповоротливой ордой» кайзера. Наши покажут этим призывным континентальным армиям, как воевать. Мы кое-чему научились во время Бурской войны. Сумеем повести атаку рассыпным строем и разобьем их так, что от них ничего не останется. И, разумеется, какое же может быть сравнение между флотами? Разве у нас сто лет тому назад не было Нельсона? А с тех пор все наши адмиралы непобедимы. Немцы только выступят — мы их тут же расколотим вдребезги. Может, уж и сейчас наши лупят их в Северном море — всего в каких-нибудь двухстах милях отсюда. Он представил себе величественные военные корабли, плывущие к победе, их орудия, изрыгающие пламя и густую завесу дыма. Чудесно!

А вдали, как бы на заднем плане этой картины, перед глазами Теодора открывался изящный пролет Мейденхэдского моста, оживленная зеленая лужайка, усеянная светлыми мелькающими пятнами одетых в белое людей, и сверкающее зеркало мягко зыблющейся реки, отчетливо отражающее залитые солнцем, обточенные ветром и водой каменные стены быков. Надо всем реяло обетование Победы.

«Милая Англия,— шептал он.— Моя Англия».

3

ВОЗМУЩЕНИЕ УМОВ

Но на барке он встретился с совершенно иным отношением к событиям.

Никогда до сих пор он не чувствовал с такой остротой всю глубину расхождения между ним и этими Брокстедами.

Он застал на палубе одного Тедди, который сидел за раскладным столиком и старался сосредоточить свое внимание на учебнике. Теодор подвел лодку к борту и поднялся на барку.

— Итак,— сказал он,— началось.

— Ну что ты об этом думаешь? — спросил Тедди.

— Это должно было случиться. Они же сами добивались этого в течение шести лет.

— Подумать только, эдакое идиотство и гнусность! — сказал Тедди.

— Что?

— Жили люди мирно, занимались каждый своим делом, и вот, пожалуйте, понадобилось нашему дурацкому правительству впутать нас в эту историю! — Он оттолкнул от себя книгу.— Что мы теперь будем делать?

— Дружно сплотимся и победим.

— Сплотимся... Ты что, собираешься пойти в солдаты?

— Да нет, не то, чтобы я собирался... Ведь это не протянется и полгода. Я пойду, если это будет нужно. Но мне кажется, после того как наши войска вышибут их из Бельгии, не так уж много останется от Германии.

Тедди закусил губу и несколько мгновений смотрел на Теодора почти злобно.

— Нас расколотят,— сказал он.

Теодор остолбенел. Чтобы кто-то осмелился сказать нечто подобное в самом начале войны,— это казалось ему кощунством, предательством, подрывавшим все устои.

— Конечно, в том случае,— добавил Тедди,— если их матросы и солдаты не окажутся еще большими дураками, чем наши.

Теодор, располагая очень скудными данными, попытался защитить авторитет английского генерального штаба. Сомнения Тедди подействовали на него чрезвычайно неприятно и угнетающе. Но оказалось, что Тедди год тому назад наблюдал маневры в восточных графствах. Из любопытства он в течение нескольких дней следовал за войсками. Его наблюдения заставили его

глубоко усомниться в знаниях и стратегических способностях британских командиров. Он мигом сбил с Теодора его великолепную уверенность в победе.

— Все эти маневры,— сказал он,— были сплошным скандалом; их пришлось прекратить,— такая у них там получилась каша. Генералы, которые должны были развернуть сражение, не знали даже, как к этому подступиться. Они все просто беспомощно увязли в этом. Для таких людей война на чужой территории в европейском масштабе — дело совершенно немыслимое. Нам не по плечу иметь дело с такими армиями, это слишком сложная задача; пушки будут бить много дальше, чем они способны предусмотреть при своей близорукости, а аэропланы сметут все их стратегические прикрытия и засады. Они собираются давать сражения и одерживать победы, а получится одно только кровавое месиво, сплошное месиво, в самую гущу которого будут палить пушки, вот чем это для нас кончится. Кровопролитие, полный затор со снабжением и всеобщая сдача в плен. Я видел их... Вот куда завели нас Грей и компания. А кому или чему может это принести какую-нибудь пользу?

Эта страстная обличительная речь сильно смутила Теодора. До сих пор ему не приходило в голову, что в этой войне могут быть какие-то неприятные моменты. Однако приходилось смотреть в лицо фактам.

— Как бы там ни было, мы уже вступили в войну,— сказал он.

— А на кой черт нам понадобилось вступать? За каким дьяволом нас впутали в эту историю? — воскликнул Тедди, поднимая давнишний спор, самый нескончаемый из всех, которые когда-либо волновали англосаксонский ум.— На что годны правительства, если они не умеют сохранить мир? Зачем нас втянули в это? — спрашивал он.

— Но ведь не мы нарушили мир,— возразил Теодор, делая второй шаг в этом многолетнем споре.

— Незачем нам было соваться в эту дурацкую историю! — вскричал Тедди, не на шутку раздражаясь.

В тот день такие разговоры текли ручьями; одни быстро иссякали и прекращались, другие соединя-

лись в своем течении и превращались в потоки. Спор между Тедди и Теодором нашел свое отражение в десятках тысяч книг, и число их все растет.

Теодор продолжал спорить. Он говорил, что, если бы Англия не объявила войну тотчас же после вторжения немцев в Бельгию, она потеряла бы душу. Воздержаться от выступления было бесчестно и бессмысленно. Но Тедди упорно отстаивал мысль, глубоко укоренившуюся в его сознании, что война — это пережиток и ребячество. По всем его представлениям о жизни иначе и быть не могло, и он приходил в ярость, когда ему напоминали, что вся организация современного государства по сие время отнюдь не вяжется с этим. Слово «пережиток» было великим и утешительным словом в его философии. Оно примиряло его с существованием многих претивших ему вещей. Он вырос в твердой уверенности, сложившейся из общего молчаливого признания, что пушками можно орудовать только в колониях для усмирения дикарей, что войска на параде и боевые корабли на море — ничуть не меньшая формальность и традиция, чем лейб-гвардейцы в Тауэре. Если бы эти ветераны бросились убивать народ на Лоуэр-Темз-стрит, он был бы удивлен и возмущен не больше, чем объявлением войны. Он считал, что общий мировой порядок поддерживается неофициальным сотрудничеством неприметного, тесного круга просвещенных людей. А тем временем, думал он, наука движется вперед, средства сообщения и связи улучшаются и узы взаимосогласия, обеспечивающие благо всему миру, становятся все прочнее и крепче. Он считал, что короли, императоры, государственные деятели и военные власти — все смиренно и молчаливо признают это неизбежное движение вперед. Он думал, что все они знают свое место в этой его высококультурной схеме. А теперь оказалось, что он был просто дураком. Они никогда и не слыхали о его высококультурной схеме. Он понял всю нелепость нереволюционного либерализма. Он понял, что прогресс, если он не заботится о том, чтобы перекроить заново формы управления людьми так, чтобы они отвечали новым условиям, которые он несет с собой, это не прогресс; в лучшем случае это бесцельный выпад вперед. Он не признавал компро-

миссов, а сам жил мечтой о мнимом компромиссе. И вся его уверенность лопнула, как мыльный пузырь.

И Теодор видел, что Тедди твердит одно: «Нам незачем было в это соваться. Мы не должны были вмешиваться»,— и не способен ответить ни на одно возражение против этой немыслимой идеи. Он просто не желал признавать войны и приходил в ярость, когда ему говорили, что это нелепо. Великая империя со знаменами и барабанами, с войсками и флотом, с договорами и соглашениями не могла же так вдруг сразу решить, что она никогда ни о чем подобном не думала, что это все детские игрушки, и выйти из игры.

И Теодор не думал, что это детские игрушки.

— Эта война возродит душу Англии,— говорил он.— Я чувствую это по всему.

Но это уж было слишком для Тедди.

— Так, значит, у Англии есть душа,— вскричал он,— вроде как у тебя? И мы собираемся убивать сотни тысяч людей из-за этой чепухи!

— Чепуха! — возмутился Теодор.— Чепуха! Лучше чепуха, чем трусливое потаканье великому злу. Немцы давно уже замышляли, подготовляли это и вот, наконец, добились.

Миссис Брокстед и Маргарет показались между ивами на островке как раз вовремя, чтобы помешать дискуссии перейти в ссору.

— Ты не видел отца? — крикнула миссис Брокстед снизу.

— А куда он пошел? — спросил Тедди, пользуясь случаем прекратить спор, в котором он с самого начала был в невыгодном положении.

— Он пошел полчаса тому назад в Брэй поговорить по телефону. Я не хочу разогревать завтрак, пока он не приедет.

Маргарет стояла возле матери, очень тихая и серьезная, и внимательно смотрела на Теодора.

— Вы знаете, что у нас война? — крикнул он возбужденным голосом.

Она тихо кивнула головой и ничего не ответила. Ей казалось, что она уже видит, как он отправляется на фронт.

— Вон отец, на лугу,— сказал Тедди.

Теодор спрыгнул в лодку, чтобы перевезти профессора на барку. Он неожиданно нашел в нем союзника против Тедди. У профессора было красное сердитое лицо; на его обычно нахмуренном лбу залегла грозная складка.

— Никого не мог застать,— сказал он, усаживаясь в лодку.— Двадцати человекам звонил, хоть бы одному дозвонился... Мы вступаем в войну, как дети. Мы толпа, а они подготовлены к войне. Как нам бороться с такой организованной страной, как Германия, если мы сами не организуемся? Ведь у них нет ни одного химика, который не состоял бы на учете, его специальность известна, его задания указаны. А здесь — ничего. Каждый ученый в стране должен быть мобилизован. Каждый знающий человек должен стоять наготове со своим специальным знанием или умением, должен быть известен, взят на учет, подготовлен.

— Значит, вы думаете, что мы должны воевать, сэр? — спросил Теодор.

— А что же остается делать? Что же еще остается делать?.. Раз они вторглись в Бельгию.

— Честь страны,— сказал Теодор.

— Честь! Просто здравый смысл.

Шипящие сосиски и картофель, которые миссис Брокстед и Маргарет поджаривали на костре, еще не были готовы, а тем временем профессор, слишком взволнованный, чтобы сидеть, расхаживал вокруг стола, покрытого пестрой скатертью, на котором были расставлены тарелки с пестрым узором, и, обращаясь ко всем, читал лекцию о беззакониях Гогенцоллернов и неподготовленности Англии к войне.

Он так же, как Тедди, разрушил иллюзии Теодора о быстрой и легкой победе и так же негодовал на вторжение войны в мирно шествующий вперед мир. Но вместо того, чтобы извергать свое негодование на все воюющие державы, он яростно обрушивался на Гогенцоллернов, и только на них одних.

— *Это нападение на цивилизацию,*— говорил *он.*— Это вызов человечеству.

Тедди возражал. Возможно, что основы патриотизма, усвоенные отцом в более ранний период его жизни, не были достаточно глубоко заложены в сыне. И вот

он пытался доказать, что открытие военных действий явилось только неизбежным результатом дошедшей до апогея долгой глупой игры, которую министерства иностранных дел вели во всем мире, не считаясь с благополучием человечества. Германии в этой игре выпал на долю первый выстрел. Вот и все. «Нам нужно было давно разобраться во всем этом». Он не привык спорить с отцом, когда тот был в таком возбужденном состоянии, как сейчас, и его попытка изложить свою точку зрения, не выходя из почтительного тона, отдавала иронией. Да и какая это была точка зрения? Раздражающая критика, неспособная внести ни одного разумного предложения; а профессор между тем рвал и метал, так ему не терпелось что-то делать.

Едва только начали есть сосиски с картофелем, между отцом и сыном разразилась крупная ссора, которую миссис Брокстед не удалось предотвратить.

Ссора была не менее жестокой оттого, что оба они, в сущности, отправлялись от одной и той же исходной идеи — идеи о подразумеваемой мировой цивилизации, на которую так внезапно нагрянул этот острый рецидив воинственности. Но в то время как Тедди критиковал, не предлагая никакого выхода, отец его метал громы и молнии. Тедди пытался поставить диагноз болезни, тогда как его отец искал виновника. Теодор не примыкал ни к тому, ни к другому. «Милая Англия! Моя Англия!» — пело у него в крови. Ему все еще представлялся Мейденхэдский мост и морское сражение. Но он не принимал участия в споре и только от времени до времени издавал невнятные одобрительные возгласы по адресу профессора. Он был на стороне профессора потому, что профессор приводил веские доводы в пользу того, почему Англия должна воевать и одержать великую романтическую победу. А еще потому, что он ставил на место этого Тедди.

Тедди приказывали молчать, его резко одергивали, чтобы он не смел подавать голоса, пока отец не скажет все, что он имеет сказать, и все сидели подавленные и ели в тягостном молчании, в то время как профессор Брокстед разражался гневным монологом, неопровержимо доказывая, что Германия — это источник и носитель милитаризма и что ее крушение, ее неизбежное кру-

шение будет означать конец агрессивной монархии во всем мире и неминуемо повлечет за собой создание мировой конфедерации, Парламента Человечества. Слово «неизбежно» обильно уснащало его речь.

— Эта война — неизбежное крушение старой системы перед наступлением новой. Весь мир вынужден объединиться и заключить союз против нестерпимой агрессии Германии. Ясно. Этот союз неизбежно должен сохраниться. Он вынужден будет изыскать способ совместной работы; иными словами, он вынужден будет выработать Конституцию, Всемирную Конституцию. Это неизбежно. Только самые тупые (Тедди), самые закоснелые мозги (опять Тедди) не в состоянии понять, насколько это неизбежно. Какой же другой исход может быть? Мыслимый исход? (Красноречивое молчание Тедди.) Мы живем в переходную эпоху.

— Вся жизнь — переходная эпоха,— сказал Тедди.

— Каламбур,— огрызнулся профессор.— Что представляет собой девятнадцатый век? В самой своей сущности переходную стадию. Да, сэр, поистине переходную стадию, резко отличающуюся от стабильности позднего семнадцатого столетия. Тогда была система. Почитайте-ка Гиббона, вот вам прекрасная картина устойчивого строя, близящегося к концу. Но девятнадцатый век был сплошной переменой, переменой, переменой; переменой масштаба, переменой методов, переменой, упорно направленной к всеобщему миру. Теперь мы подошли к концу этой эпохи. Наша сущность — это переход.

Голос профессора угас, как будто его утомляла необходимость повторять давно известное.

— Это великий рассвет. Это последняя война, война во имя уничтожения войны. Возможно, борьба продлится дольше, чем предполагают многие, ну и что же? Мир рождает Всемирное Государство. Кто посмеет остаться в стороне в столь важный момент, когда решается судьба человечества?

Лицо Тедди выражало стоическое упорство неразумного человека.

Маргарет помогла подать завтрак, а затем села и в течение всего этого спора сидела, глядя с озабоченным

видом и не говоря ни слова. Когда профессора снова переправили на берег, чтобы он мог возобновить свои попытки дозвониться по телефону, она поехала с Теодором в его лодке.

Первые ее слова были:

— Вы не пойдете, Теодор?

На одну секунду он подумал, что она просит его не приставать к берегу и отложить писание этюдов, но вовремя понял значение ее слов.

— Если Англия позовет?—сказал он и задумался.— Нет, этого я не могу обещать.

— Не ходите,— сказала она.— Я не хочу, чтобы вы шли.

Она никогда еще не была с ним такой мягкой и ласковой.

Инстинкт не обманул его. Конечно, война должна способствовать расцвету мужественности и женственности. Маргарет сидела в лодке, глядя прямо перед собой; ей мерещились всякие ужасы, зверство, жестокость.

— Вон там,— сказала она,— совсем близко от нас, вот в этом же солнечном свете, сейчас — подумать только! — людей выгоняют из их домов, убивают мужчин и женщин, мальчиков и юношей, колют, давят, разрывают на части. Кровопролитие, смерть... А мы сидели за столом... И ведь это только начало...

Он стал приводить какие-то доводы, чтобы успокоить ее.

— В конце концов,— сказал он,— всюду и всегда бывают и борьба и страдания. Это темная и трагическая полоса, но это неизбежная полоса в могучем развитии человечества. А за этим могучим усилием— разве ее отец не сказал этого? — явится возрожденный мир. Замечательно смотреть, как на это откликается старая Англия.

— Но ведь это только начало,— упрямо твердила она.— Миллионы простых людей, еще так недавно они были счастливы! И вот это подкрадывается к ним. Зачем нужно, чтобы была такая полоса? И откуда мы знаем, что потом будет этот новый мир? Я думала, что с войной уже покончено.

Она вся дрожала, и его доводы не утешали ее.

4

ИДТИ ИЛИ НЕ ИДТИ?

А теперь мы должны рассказать о великом конфликте, который благодаря этой войне возник в сознании Теодора, о конфликте между личностью Бэлпингтона Блэпского, с одной стороны, чье постепенное зарождение, развитие и все усиливающееся влияние мы показали читателю,— и множеством внешних запутанных, противоречивых, сталкивающихся факторов, с другой стороны, факторов, которые все еще продолжали действовать, каждый по-своему, и все еще были недостаточно подчинены этому воображаемому авторитету. Бэлпингтон Блэпский с самого начала признал явные достоинства войны и усвоил роль патриота в духе непревзойденной храбрости и мужества. Казалось, это была единственная достойная его роль. Но наряду с этим какой-то скрытый поток сознания увлекал Теодора совсем в другую сторону. Теодор готов был восхищаться войной, проявлять к ней глубочайший интерес, воодушевляться ею и даже мысленно принимать в ней участие. Но в то же время у него было очень сильное желание продолжать свою жизнь в Лондоне, а она после смерти отца начала складываться очень приятным и интересным образом и доставляла ему все больше удовлетворения и радости. Это тайное желание жить просто своей жизнью и не коверкать ее из-за войны парализовало с самого начала Бэлпингтона Блэпского во всей его безрассудной храбрости.

«Работайте, как всегда» — расклеено было во всех лондонских магазинах. «Держитесь» — это словечко стало особенно ходким. Скрытый поток сознания Теодора ухватился за это. Это давало Теодору возможность нащупать какую-то почву для временного примирения обоих течений. Можно быть всей душой за войну, которая положит конец войнам, но тем не менее надо сохранять хладнокровие. Незачем преждевременно соваться вперед и горячиться без толку. Всему свое время. Выдержка все побеждает. Будь англичанином, будь невозмутимым. Пойдешь, когда придет твое время, когда они будут рады тебе. Все это не совсем подходило Бэлпингтону Блэпскому. Весь эффект пропадал. Это не вязалось

с его ролью вождя. Но на некоторое время это удерживало его от каких бы то ни было решительных действий.

Этот внутренний конфликт был усилен случайной встречей с Фрэнколином возле Трафальгар-сквера. Фрэнколин превратился в рослого двадцатилетнего малого; он шел с сумкой через плечо, направляясь в казармы, и казался как нельзя более лакомым кусочком для сержантов, муштрующих новобранцев.

— Хэлло, Бэлпи! — весело крикнул он. — Идешь?

— Да вот покончу кое с какими делами,— сказал Теодор.

— Они всех потянут, если только можно верить тому, что рассказывают об этом отступлении. Слишком уж много для нашей храброй маленькой армии. Нам нужны массы. Это уж будет война так война. Каждому найдется в ней место. Когда ты идешь, Бэлпи? Ты же знаешь, что должен идти.

— Да, я думаю, я не задержусь,— сказал Теодор,— если только эта старая отцовская болезнь не подведет меня,— легкие и сердце, знаешь,— ты меня не намного опередишь. Я только немножко боюсь медицинского осмотра. Мне будет ужасно обидно, если меня не возьмут.

— Ну, они теперь не очень-то обращают на это внимание. Разденут, зададут два-три вопроса, хлопнут по спине, и готово, иди. Блеттс говорил, что это единственный экзамен в его жизни, на котором он не срезался. Там есть доктора, которые пропускают в день четыреста — пятьсот человек. Он завербовался в пятницу, черт его дери! Кто бы подумал, что старина Блеттс, этот кисляй, этот юбочник, перегонит меня?

Они обменялись несколькими замечаниями о Блеттсе.

— Ему понравятся француженки,— заметил Фрэнколин.— Все говорят, что это огонь-бабы.

— Так, значит, до скорого свидания, Бэлпи,— встретимся в Берлине. Когда поставим свою стражу на Рейне.

— Правильно,— отвечал Теодор.— Au revoir! [1]

Он оглянулся, помахал рукой и пошел дальше. Теперь он понял, что означали эти группы молодых лю-

---

[1] *До свидания (франц.).*

дей, встречавшихся ему с узлами и свертками или с сумками через плечо, все идущие в одном направлении. Английская молодежь «вступала в ряды армии». А он — нет.

За церковью св. Мартина они стояли кучками, прислонившись к стене, или сидели на тротуаре, дожидаясь, когда до них дойдет очередь подвергнуться этой неведомой процедуре вступления в армию. Многие из них казались голодными, измученными, по-видимому, они приехали откуда-то издалека. Теодор не испытывал ни малейшего желания присоединиться к ним.

А теперь мы подходим к очень темному периоду в этой истории человеческого сознания. В стремительном вихре рекрутчины, который подхватывал и облекал в хаки тысячи и тысячи новобранцев, немножко трудно проследить путь нашего Теодора. Он затерялся на некоторое время в потоке вербующихся. Похоже, он был забракован. Во всяком случае, многочисленные свидетели подтверждают, что он оставался в Лондоне, ходил в штатском и продолжал заниматься своими штатскими делами в течение целого года после объявления войны. И это было потому, как он говорил совершенно определенно, что его признали негодным.

Но вот тут-то и начинаются наши трудности, ибо мы должны изложить в подробностях, как он был отвергнут. С величайшей радостью рассказали бы мы, не упустив ни одной подробности, как Теодор явился на добровольческий пункт, как его подвергли тщательному медицинскому осмотру, как его таинственные, но чрезвычайно существенные физические изъяны заставили сурово нахмуриться старых, опытных докторов. Мы рассказали бы, как они покачали головой:

— Послать вас на позиции равносильно убийству. Слишком хрупкий организм. Вы не вынесете ни переходов, ни лишений, ни походной жизни.

Потом мы рассказали бы, как он умолял их зачислить его, ведь они же зачислили всех его друзей, пусть они позволят ему пойти в качестве кого угодно, только чтобы он мог внести свою хотя бы маленькую лепту в это великое дело.

— Это равносильно убийству,— повторяли они,— вы никогда бы не дошли до позиций. Следующий.

Его оттолкнули. Он отошел грустный, с достоинством, обернулся и в последний раз сделал умоляющий жест.

— Следующий! — крикнул дежурный...

Это была бы трогательная страница в нашей повести.

Однако, по причинам, которые нам не хотелось бы слишком навязывать читателю, мы не можем нарисовать эту сцену. Теодор рисовал ее себе по-разному и не раз. Настолько-то она во всяком случае была реальна.

Но мы позволим себе, не уклоняясь от истины, коей должен придерживаться рассказчик, поведать о многочисленных репетициях этого осмотра, на которых не присутствовали ни врачи, ни сурово взирающее военное начальство. Этот самоосмотр происходил в большинстве случаев в собственной квартире Теодора. От времени до времени он рассматривал свое обнаженное тело в трюмо, которое подарила ему Рэчел. Он не мог не признаться самому себе, что он был значительно худее, чем следовало бы: под ключицами впадины, плечи торчат, как у скелета; все ребра можно пересчитать. Это было совсем не такое крепкое тело, как могли предположить люди, видевшие его в платье. Оно было очень хрупко. Он иногда простуживался и покашливал, а примерно год назад у него была инфлюэнца.

Он вспоминал о хрупком здоровье Раймонда, о том, как жизнь его угасла, как свеча, от одной неосторожной длинной прогулки в ноябрьский день, в мирное время в Англии. Честно ли это по отношению к здоровым людям — засорять коммуникационные и передовые линии потенциальными калеками? Все его инстинкты восставали против того, чтобы идти за толпой туда, где он не мог с честью нести свое бремя, не мог быть во главе. Это было бы далеко не патриотическим поступком — идти больным в армию, где вовсе не так уж много госпиталей и медицинских сестер, и идти только потому, что его гордость и желание красивого жеста заставили его ринуться на поле брани.

Были еще и другие соображения, удерживавшие его от этого шага. Все это очень хорошо, можно пойти и быть убитым. Нет ничего проще. И, разумеется, он пошел бы на это легко и радостно ради милой старой

Англии, если бы это касалось только его одного. Но разве это касается только его? С непривычной нежностью он думал о Клоринде. Все, что у нее есть на свете, это он. Ее единственный сын. Он до сих пор никогда не представлял, как безгранична ее любовь к нему, и при этом он вспомнил, что уже десять дней не был у нее, и подумал, что надо как-нибудь собраться и зайти. А затем еще была Маргарет, которая так тяжело переживала войну. Все усиливающиеся зверства в Бельгии, которыми агитаторы войны, сильно сгущая краски, потрясали английских обывателей, ранили и ужасали ее. Присущие ей мягкость и доброта не могли примириться с этими зверствами. Но она реагировала далеко не так, как это было желательно людям, которые стремились вызвать и разжечь ненависть. Ее ужасали не столько немцы — она знала несколько милых немецких девушек,— ее приводило в ужас человечество, жизнь. Ей казалось, что-то необходимо сделать, чтобы помешать людям вернуться к звериной жестокости, но что именно, она не знала. В своем смятении она выдавала долго скрываемую нежность к Теодору. Она просила его обещать ей, что он не пойдет добровольцем. Она открыто показывала, что ей хочется быть с ним. Несколько раз она целовала его по собственному почину. Она ясно показывала этим, что она дорожит его телом и не хочет, чтобы оно подвергалось опасности. Он чувствовал, что и по отношению к ней он также связан обязательством.

И, наконец, были еще некоторые мотивы, которые удерживали его. Могло случиться так, что он пройдет всю тяжесть муштровки и обучения впустую. Это было соображение более низменного порядка, но тем не менее это было существенное соображение. Чтобы сделать солдата, требуется несколько недель, это стòит стране значительных расходов, а война может скоро кончиться. На страницах газет войну выигрывали каждый день. Он может завербоваться и никогда не понадобиться. Тогда он будет выбит из колеи; его художественное образование прервется, руки огрубеют. Шесть месяцев — крайний срок, он был убежден в этом. Так говорил Мелхиор. Но он только вторил газетам. И все же Мелхиор решил вступить в армию.

— Не понимаю, как мы можем действовать иначе,— говорил он.— Для меня это символический акт. Наш народ видел только хорошее в Англии. Здесь никогда не было травли евреев. Мы идем против немецких юдофобов. Это моя вторая родина. Англичанином можно не только родиться, но и стать им. Вот я, например, учился в закрытой английской школе... Иногда я чувствую себя более англичанином, чем англичане.

Но у Мелхиора оказался порок сердца. Он знал об этом, но никогда не думал, что это может оказаться препятствием. Однако это оказалось препятствием, и он перенес свое внимание на невоенную работу государственного значения. Он поступил в контору своего двоюродного брата, который с утра до ночи бился над проблемой снабжения армии обмундированием, вначале в качестве компаньона большой фирмы готового платья, а потом в качестве правительственного агента. После этого Мелхиор перестал повторять, что «это кончится через шесть месяцев». Он все более увлекался работой в конторе своего кузена. Перспективы войны менялись, и быстрое окончание ее утратило для него свою первоначальную значимость.

5

ВНЕ ВОЙНЫ

«Война может затянуться на годы».

Вскоре это утверждение незаметно, но совершенно категорически вытеснило разговоры о шестимесячной войне. Постепенно, понемножку, с каждым днем стиралась граница между сценой и зрителями, и все большее и большее количество их становилось участниками драмы.

Рэчел умчалась уже давно. Ей удалось устроиться в добровольный походный госпиталь, кочевавший по территории беззащитной Бельгии, и с тех пор, к своему великому удовольствию, она жила в постоянной опасности, ежеминутно рискуя жизнью, среди людей, у которых все нормы поведения сошли на нет, не выдержав напряжения войны.

Один раз она прислала Теодору коротенькое письмецо, написанное карандашом, которое показалось ему хвастливым и бессердечным, но адреса для ответа не сообщила; затем он получил несколько нескромную открытку к Новому году с «приветом из Остенде», и с тех пор она исчезла из его жизни. Один из помощников Роулэндса отправился на фронт добровольцем через полтора месяца после начала войны. Потом ушли два товарища-студента; еще одна студентка, с которой у Теодора завязались довольно непринужденные дружеские отношения, поступила на курсы сестер милосердия, а Вандерлинк внезапно покончил с искусством и бросил свою мастерскую, которая, наверно, могла бы стать во время войны местом сбора людей с литературными и артистическими наклонностями.

— Я больше не в силах этого выносить,— сказал Вандерлинк — это было его единственное объяснение — и поехал в Италию, чтобы поступить в квакерский походный госпиталь.

С каждым днем все больше и больше людей уходило на войну, а количество и влияние остающихся вне войны все уменьшалось. Разрастающийся и усиливающийся смерч войны кружился по Лондону и захватывал все больше и больше жизней. Все меньше и меньше оставалось людей, способных устоять против его притягивающей силы, не поддаться его зову, и огромная толпа безучастных зрителей, толкавшихся в Лондоне в начале войны, неуклонно таяла, превращаясь в редеющие кучки.

И то, что творилось в окружающем мире, последовательно повторялось в сознании Теодора. Все бо́льшая часть его втягивалась в этот круговорот войны, находила в нем свое место, и все меньшая часть сопротивлялась, протестовала и оставалась вовне.

Течение жизни человеческого существа и окружающего его общества, подобно движению солнца, планет и их спутников, неизбежно подчиняется одному закону. Взрыв войны заставил завертеться все человечество в огромном круговороте, хотя бы и с различной амплитудой и скоростью движения. Мозг Теодора подчинялся тому же вращению, что и смятенная масса мозгов, составлявших его лондонский мир и так называемое «английское сознание», и еще более обширный и сложный

круговорот мозгов, представляющий собой скрытую сущность Британской империи, англо-американской культуры и западной цивилизации. Все это кружилось с неуклонно возрастающей скоростью. И круг за кругом в процессе этого вращения Теодору становилось ясно, что война — это не только что-то происходящее, нет, она становится всем, что бы ни происходило. Это была новая форма жизни. Скоро не будет места, где можно было бы жить вне войны. И как бы то ни было, уступая или сопротивляясь, все равно придется принять в ней участие.

Поток сознания Теодора, подобно потоку сознания каждого из нас, исходил из его представления о себе. Это представление о себе отнюдь не было вполне установившимся и определенным. Оно вертелось вокруг фантазии о Бэлпингтоне Блэпском, как вокруг некоего ядра, оно тяготело к ней. Все остальное в его сознании беспорядочно металось из стороны в сторону, но этот поток стремлений и фантазий становился все более устойчивым и постоянным. Здесь все было просто, все так взывало к его чувствам и все казалось таким привычным по сравнению с мрачными неразрешимыми загадками, терзавшими его. Плыть по течению этого потока было легче, настолько легче! И вот потому именно, что он не требовал от Теодора никаких усилий, он теперь захватил его и всецело подчинил себе.

Мы рассказывали в нашей повести, как возникла, как складывалась и определялась эта ныне уже бесспорно господствующая личность. Теперь она решительно утверждала себя в качестве подлинного Теодора. Ее живописное благородство, врожденная смелость, все ее качества возникли как естественная реакция на окружающий мир, который казался таким прочным и надежным. В годы детства, когда все кругом было неизменно и вечно, в долгие годы юности Бэлпингтон Блэпский взрастил в себе романтическое и безупречное мужество, очарование рыцарства, стремление к высоким подвигам. Какую бы одежду он ни носил — сверкающие ли доспехи, придворное платье или износившийся в походах мундир,— сущность его была всегда одинакова. Он был всегда честен, честен до мозга костей. И теперь стоило ли говорить о том, что он откликался на призывные знамена

и боевой клич, трепеща, со вздымающейся грудью и с бесконечным презрением ко всем, кто колебался и падал.

И так же откликались миллионы его сверстников в британском государстве. Наш первый отклик на вызов великой войны был, вне всякого сомнения, героическим.

И, однако, это не было откликом всего Теодора, потому что Бэлпингтон Блэпский еще не являл собою всего Теодора и ему все еще приходилось идти на какие-то компромиссы. И в самом Теодоре и в окружающей его среде были элементы, которые не спешили на зов барабанного боя, а, наоборот, весьма энергично сопротивлялись этому призыву. Мы уже пытались как можно деликатнее рассказать читателю о «непригодности» Теодора. Словом, факт остается фактом — на протяжении целого года, когда все вокруг него и в нем самом взывало: «Иди!» — он не двигался с места. Искусно обманывая самого себя, он не шел. И неминуемо он оказался в поредевшем и все более редеющем кругу своих единомышленников, которые тоже не хотели идти и среди которых даже были такие, которые, подобно Тедди, с начала войны поклялись, что ничто не заставит их пойти.

Вскоре в Лондоне стали сновать по улицам сильно возбужденные молодые женщины, которые настойчиво и вызывающе оглядывали молодых людей в штатском платье. Это были современные валькирии, выискивающие жертв. В один прекрасный день в Хемпстедском метро Теодор подвергся нападению. Это было обыкновенное маленькое создание с круглым розовым детским лицом. Теодор подумал было, что она старается перехватить его взгляд с некими дружелюбными намерениями.

— Извините,— сказала она, обгоняя его при выходе на Кемдентаун, и быстрым движением своей элегантной, затянутой в коричневую перчатку руки сунула ему маленькое белое перышко.

Он остановился с позорным символом в руке. Но она исчезла прежде, чем он успел объяснить, что его не взяли, что он признан негодным. Он сел, красный, пристыженный, и окинул взглядом своих смущенных спутников.

— Нехорошо,— произнес он громко.— Хоть бы повязку какую-нибудь надевали тем, кого не берут.— Ска-

зав это, он замолчал. Какой-то пожилой человек хмыкнул и сочувственно кивнул.

Теодор обсуждал этот вопрос о повязке с Мелхиором. Пусть будет такая волонтерская повязка, чтобы для всех было ясно, что они выполнили свой долг. Он даже попробовал было два-три дня носить повязку из ленты цвета хаки на левой руке. Это несколько утешало его, пока он не очутился бок о бок с полисменом на лестнице в подземке. Полисмен внимательно смотрел на новый нарукавный значок, и казалось, вот-вот задаст вопрос.

— Прививка,— сказал Теодор, прежде чем его спросили.— Не мог достать красной ленты.— И он поспешил домой, оторвал нашивку и бросил ее прочь.

Он надел ее только для того, чтобы избежать неприятностей, а если это грозило еще большими неприятностями, какой же смысл ее носить? Но всю эту ночь он лежал без сна, и Бэлпингтон Блэпский осыпал его упреками. Ссылки на его непригодность уже не спасали.

— Я должен идти,— говорил он.— Я должен идти. Если меня не возьмут в одном месте, я должен попытаться в другом. Даже если мне придется пуститься на хитрость, я должен идти.

Вы видите, что, даже в темноте и будучи вполне и всецело Бэлпингтоном Блэпским, он не допускал мысли, что никакого осмотра, в сущности, не было. То, что он был освидетельствован и признан негодным настоящим врачебным начальством, принимало все более и более характер подлинного воспоминания. Впоследствии это стало подлинным воспоминанием.

— Я должен идти.— Он сел завтракать, бледный и решительный.

Но он пребывал в бездействии еще в течение трех месяцев.

«Трус», «увиливает» — эти слова были в большом ходу в те роковые дни. Бэлпингтон Блэпский усвоил эти выражения безоговорочно и мысленно готов был применить их даже к своему упрямому другу Тедди. Но вряд ли можно было без большой натяжки заподозрить в трусости Тедди. Он фыркал громко всякий раз, когда слышал разговоры о «непригодности», и частенько его насмешки казались направленными по адресу Теодора. Он ходил по Лондону с белым пером в петличке, гото-

вый, как он говорил, пустить в ход кулаки или аргументы против всякого, кто захотел бы принять его вызов. Но хмурое выражение его красной физиономии, по-видимому, отпугивало ревностных патриотов. У него произошла вторая бурная стычка с отцом, после которой они перестали разговаривать друг с другом. Профессор занялся какой-то работой военного характера, а Тедди в мрачном одиночестве продолжал начатые ими вместе исследования о цикличности развития инфузорий Темзы. Когда Брокстеды встречались за столом, они ели молча, но в поведении Тедди по отношению к отцу трудно было заподозрить какое-нибудь увиливание.

Однако, если говорить начистоту, можно ли было в самом деле считать трусостью и увиливанием обдуманную уклончивость и нерешительность Теодора? Была ли та часть существа Теодора, которая стояла вне войны, действительно обуреваема страхом, движима страхом как основным стимулом или было что-нибудь более сложное в этих не внушающих доверия, загнанных, сопротивляющихся частицах его мозга? Можно с уверенностью сказать, что в течение всего этого года, когда он уклонялся от войны, страх, инстинкт самосохранения почти не беспокоили сознание Теодора.

С другой стороны, воображаемое «я», вокруг которого строил свою личную жизнь Тедди, черпало свою жизненную силу как раз из того круга суждений и оправданий, которые Бэлпингтон Блэпский вытеснил из сознания Теодора. Эти бессильные, подспудные факторы в сознании Теодора находились в полном согласии с тем, что говорил или делал Тедди. А новообретенная задирчивость Тедди была в несомненном родстве с ревностным благородством Бэлпингтона Блэпского и воинственностью Теддиного отца. Тедди пытался подавить свое тайное возмущение гогенцоллернским милитаризмом. Он старался не вторить недоуменному вопросу Теодора: «Но что же нам остается делать при таком положении вещей?» И всегда был готов вступить в драку с патриотами. Из них двоих коренастый и плотный Тедди казался более воинственным, чем стройный, длинноногий Теодор. И каждое из этих потрясенных войной сознаний находило в другом назойливое утверждение именно тех чувств, которые оно усердно старалось подавить.

Неприязнь к Тедди возникла у Теодора еще тогда, когда он впервые почувствовал, что интеллектуальное и моральное влияние Тедди на сестру мешает его отношениям с Маргарет. Теперь, когда Тедди мешал его усилиям сохранить согласие с самим собой, эта вражда чрезвычайно усилилась. Сохранять равновесие в те дни было почти всем одинаково трудно и мучительно. У Тедди были свои слабые стороны. Усилия остаться справедливым и здравомыслящим среди всеобщего смятения толкали его к прогерманизму и анархизму.

Так как все вокруг него кричали и вопили, что Германия гнусна и черна, он чувствовал величайшую потребность находить ее чистой и белой, белой, как только что выпавший снег. Ни одна встреча с Теодором не обходилась без пререканий и ссор.

Но в чем же, собственно, заключался этот протест против участия в войне, который Тедди в своих попытках самоутверждения всячески старался выразить, а Теодор, исходя из тех же соображений, всячески старался подавить? Каков был их общий стимул? Он сводился к тому, что Теодор оставался вне войны, хотя считал, что его долг быть в рядах армии, а Тедди изо всех сил старался остаться непоколебимым в своем решении не ввязываться в войну, не пачкать себя, и оба подчинялись одному и тому же побуждению, исходящему из самой глубокой потребности человеческого сознания — потребности в свободной инициативе. Предшествующая эпоха безопасности и процветания, в особенности на Западе, предоставила этой потребности небывалый простор на пути. Эта молодежь выросла, не ведая почти никаких преград к самоутверждению и саморазвитию. Они появились на свет, когда мир, казалось, вступил в счастливую полосу. Им не приходилось чувствовать на себе гнет дисциплины и, еще того меньше, наказаний. Их спрашивали, предоставляя им неограниченный выбор: «Что вы хотели бы делать?», «Кем вы хотели бы быть?» И вдруг им пришлось столкнуться с непреодолимым всеобщим принуждением. Иллюзия человеческого счастья и мирового изобилия рассеялась, и внезапно открылось истинное положение вещей. «Брось все, что ты делаешь,— приказывало оно,— перестань быть тем, кем ты хочешь быть, и иди на вой-

ну. Иди на войну. Война — это все, а ты ничто, абсолютное ничто, помимо того, что сделает из тебя война».

И вот этот инстинкт сохранения свободы, такой же сильный, а может быть, и гораздо более сильный, чем инстинкт самосохранения, и вызвал то лихорадочное брожение умов, которое наблюдалось в военном поколении Англии, по мере того как развертывалась великая трагедия. Их угнетал не страх, а неразрешимая дилемма. Загадка, на которую они не находили ответа. Пробудились ли они от сладких иллюзий и столкнулись с суровой действительностью или оказались в плену темных пережитков и отворачивались от блестящих возможностей?

В самом понимании этой войны и всего, что она собой представляла, и в значении, которое они придавали ей, Теодор с Тедди расходились. Тедди исходил из второй альтернативы, а Бэлпингтон Блэпский верил в первую. Бэлпингтон Блэпский, выращенный на возвышенно романтическом, историческом и литературном материале, принял войну и необходимость своего личного участия в ней как нечто неизбежное и всячески подавлял безмолвное инстинктивное сопротивление своей оболочки — Теодора. Он не ждал войны, но раз война пришла, ее надо было принять достойно, согласно лучшим традициям. Он готов был признать, что его поколение призвано к этому великому служению. Он готов был бросить свое искусство и писательство, которые в конце концов не так уж удерживали его, и идти.

Разум Тедди не признавал и не принимал ничего этого. С самого начала войны он не делал никаких попыток скрыть от себя, что война в ее современном виде — это чудовищное, неслыханное наваждение, самое невероятное из всех, каким когда-либо поддавалось человеческое сознание. Он не допускал мысли, что она вызвана необходимостью. Он не хотел видеть в ней трагедии, призыва к усилию и благородству, очищающего огня для ослабевшего мира, жертвенного возрождения цивилизации; это была просто чудовищная тупость. «Тупость,— кричал он,— тупость, бессмыслица! Надо иметь дело с голыми фактами, без всех этих фальшивых вывесок! Государственные деятели — болваны, во-

енное командование — сплошь идиоты, ни у кого из них нет настоящей честности и представления о том, что такое цивилизация; короче говоря, все это дикий разгул чудовищной глупости, потому что это влечет за собой страдания и смерть миллионов людей».

Он возмущался ленивыми разглагольствованиями прошлого поколения. Было бы много уместнее, если бы он возмущался ими до того, как разразилась война. Мы должны были, додумался он теперь, давным-давно разделаться с нашими монархиями восемнадцатого века, с их мундирами, национальными гимнами и национальной «политикой». То, что мир терпел бедную старую королеву Викторию, которую он упорно называл «бабушкой войны», было, по-видимому, смертным грехом, за который мы теперь все расплачиваемся. Каким-то непостижимым образом она стала для него символом всего, что он ненавидел, воплощением традиции, сентиментальности и замкнувшегося в себе безразличия. И даже в этом памятнике перед Бэкингемским дворцом он видел ее попирающей его возлюбленный прогресс. В Англии уже сто лет тому назад можно было создать республику! Мы должны были следовать примеру Америки и Франции. А ленивые и трусливые богачи вступили в заговор, чтобы поддержать версию, будто эта праздная старушонка каким-то образом воплощает современное общество. Нелепость! Как можно в наше время управлять страной по образцу маленького частного владения? Наши отцы и деды мирились кое-как с этими обветшалыми политическими формами, считая их в глубине души ложью и условностью. И вот так вся эта нелепость — соперничество между странами, состязание царьков, шаблон, установленный тщеславными монархами, — не отошла просто-напросто в предание, а перешла в наследство. Ей позволили расти, и люди, занятые трудом, промышленностью, производством, не замечали, как она растет, а теперь она забрала власть и, принимая вид неотвратимой законности, готовится раздавить нас всех.

И только когда кто-нибудь задавал вопрос, а как же покончить с этой нелепостью, Тедди обнаруживал свою уязвимость, путался и раздражался. Потому что, говоря откровенно, ему еще надо было подумать над этим.

— Но ведь мы же должны защищаться! — говорил Теодор.

— Это меня не касается. Совершенно не касается. Нужно только стойко сопротивляться. Если бы каждый сопротивлялся...

— Вот именно,— ехидно замечал Теодор.

— Есть вещи в тысячу раз более достойные, ради которых можно пожертвовать жизнью! — кричал Тедди.

— Покончим с германской угрозой, и тогда мы можем заняться ими.

— Если покончить с германской угрозой, значит, перешибить ее, тогда мы скоро дойдем до того, что заведем у себя их дурацкую маршировку и палочную муштру. Мы это и делаем теперь. Война во имя уничтожения войны — эта магическая фраза одурманила отца. Он думает, что, когда мы разнесем их флот, перебьем их пехоту, захватим крупповские пушки и все прочее, Ллойд Джордж, и король Георг, и царь, и французы, и банкиры, и поставщики вооружения — все соберутся на дружественную конференцию, сложат свои короны и знамена, закончат все, что восемнадцатое столетие оставило незаконченным, и устроят рай на земле. Как бы не так! Я вижу их насквозь. Дайте волкам растерзать тигра, и у нас не будет больше хищников. Нельзя уничтожить людоедство, пожрав людоедов! Нельзя покончить с войной посредством войны, потому что выигрывает войну тот, кто лучше всего в ней орудует,— болван, который принимает войну всерьез больше, чем все другие. Покончим с ней, перестреляем всех гнусных фанфаронов, которые щеголяют в мундирах! Это вернее. Направьте пушки на штаб-квартиры! Испортите им игру. Покончите с ней,— и, может быть, мы еще к этому и придем — здоровой мировой революцией. Это будет дело! Война прекратится, когда рядовой человек откажется козырять. Не раньше. Нам достаточно только сказать, нам, миллионам людей: «Послушайте нас, вы, болваны. Мир — или мировая революция!» — и наступит мир.

Итак, Тедди с самого начала был вне войны. Маргарет тоже была вне войны.

С тех пор как разразилась эта катастрофа, она не могла прийти в себя от горького изумления и ужаса.

Жизнь вдруг сбросила улыбающуюся маску и показала уродливую гримасу. У нее не выходила из головы история молодого кузена Паркинсонов — кадрового офицера, который весело отправился в Бельгию, чтобы через месяц вернуться окровавленным живым куском мяса, слепым, обезображенным, без одной руки. Кто-то из сестер Паркинсон видел его и очень живо описал, как он был изуродован. А один бельгийский беженец из Антверпена рассказывал, как на его глазах в кучку людей, столпившихся в узком проходе, попал снаряд, и он видел, как судорожно корчились и вопили растерзанные тела. По ночам Маргарет преследовали во сне изуродованные человеческие трупы, безглазые чудовища с ободранной кожей, которые гнались за ней и обращались к ней с непонятными призывами. И она ничего не могла сделать. Те, кто не участвовал в этом, были бесполезны. Она хотела поступить на курсы сестер милосердия, но Тедди настоял, чтобы она продолжала свои медицинские занятия.

— К тому времени, когда окончится эта война,— говорил он,— одно поколение потеряет жизнь, а другое — образование. Постарайся хоть сохранить как-нибудь свою маленькую искорку знания.

И так как они оба были в стороне, Теодор часто встречался с нею. В те дни Лондон был переполнен молодыми возбужденными женщинами, но мужчинам в военной форме оказывалось столь явное предпочтение, что Теодору недоставало женской дружбы, чтобы заменить Рэчел. А молодым женщинам передовых взглядов, которые были против войны, не нравилось, что он только потому не пошел на войну, что оказался непригодным. Но Маргарет была нежна с ним. Она с удовольствием отправлялась с ним бродить, охотно играла с ним в теннис. Она очень много занималась своей медициной, но в свободное время пыталась хоть как-нибудь развлечься. Люди в это безобразно тяжелое время жаждали смеха. В мюзик-холлах было уютно и светло, в кинематографах часто шли картины с участием Чарли Чаплина, и это было доступно и недорого.

Они вдвоем частенько отправлялись в поход через весь Лондон, если в программе был Чарли, а потом ужинали в первом попавшемся ресторанчике. Они раз-

влекались тем, что ходили по большим магазинам вроде Уайтли и Хэррода, исследовали неизвестные лондонские парки и сады. Они редко говорили о войне. Ни тому, ни другому не хотелось о ней говорить. Однако иногда этого нельзя было избежать. Маргарет всегда держалась с ним так, как если бы он добровольно стоял в стороне, как если бы он тоже был «противником войны». Она пропустила мимо ушей его рассказ о том, как он был признан непригодным, как будто он никогда и не говорил ей этого.

— Но вы не понимаете,— говорил он,— я воспринимаю все это совсем не так, как вы. Во мне все так и клокочет. В глазах темнеет от бешенства. Если бы я только мог, я пошел бы!

Эта смутная необходимость оправдать в глазах Маргарет свое поведение в конце концов перевесила колеблющуюся чашу весов и заставила его, хотя и с некоторой заминкой, отправиться на вербовочный пункт, а затем и на войну.

6

В ОКОПАХ

Подобно значительному большинству его сверстников в те дни перед призывом, Теодор, вступив в армию, почувствовал огромное облегчение. Все было решено. Он опять внутренне собрался. Возмущенное чувство чести было удовлетворено. Кодекс был соблюден; его униженное и поколебленное чувство собственного достоинства возродилось в полном согласии с газетами, с прохожими на улице, воспрянуло и вознеслось. Никогда до сих пор Бэлпингтон Блэпский не владел так властно жизнью Теодора. Темный и беспокойный инстинкт — если только это можно назвать инстинктом — смутной независимости и личной свободы был побежден и подчинен, а, с другой стороны, более глубокий и существенный инстинкт самосохранения еще спал в глубине его сознания и ничем не обнаруживал своей силы.

Теодор, как говорили, был хорошим рекрутом. Как ни свыкся он с мыслью о своей физической непри-

годности в период своих колебаний, она исчезла, как только он надел мундир и начал проходить обучение. Внешность его выиграла, и он окреп физически. Он в значительной мере утратил чувствительность к мелким огорчениям и маленьким неудобствам. Ему не пришлось особенно страдать от муштровки унтер-офицеров, поставленных над ним. У него были средства, и взятки, которые он совал, очень легко могли сойти за великодушную щедрость джентльмена. Но у него было достаточно такта, чтобы не разыгрывать из себя джентльмена перед начальством каким бы то ни было иным способом. А его инстинкт подлаживания отличался исключительной трезвостью.

Темой нашего повествования является сознание Теодора, и мы не собираемся описывать все его переживания, а только те, которые глубоко его захватывали. Итак, мы не станем повторять здесь того, что раз навсегда и весьма замечательно на основании собственных сильных переживаний было описано Олдингтоном, Блэнденом, Гревсом, Гриствудом, Стивеном Грэхемом, Ральфом Скоттом, Монтегью, Сассуном, Томлинсоном, Невинсоном, Ходсоном и их соратниками, и воздержимся от рассказа о том, как наши высокоцивилизованные, но далеко не совершенные бритты оторвались или оказались оторванными от своей легкой, размеренной, удобной, привычной с детства жизни, в которой полагалось кушать три раза в день и спать в постели, и как им пришлось испытать на себе грубую жестокость и лишения казарменного барака, грубую одежду, смрадную и въедливую грязь скученной человеческой массы, жалкую унизительность подчинения, мелочную тиранию, утомительную маршировку и упражнения, штыковое обучение, школу бомбежки, краткую передышку отпуска, прочувствованное прощание с домом и друзьями, тягостный переезд гуртом через Ла-Манш во Францию на затемненных кораблях, стоянки и неизвестность, переходы с постоев, кишащих крысами, на постои, кишащие вшами, первый грохот орудий, неуклонное движение вперед к этим воющим чудовищам, воющим все громче и громче, внезапное содрогание почвы, огонь и пальбу тут же рядом, непролазную грязь, дожди, жизнь под открытым небом, таскание тяжестей

по скользким переходам, усиливающийся гул и вой, грозные вспышки в ночи, первый воздушный налет, первый взрыв снаряда. И как, наконец, оставив далеко позади жалкие привычки благопристойной, цивилизованной жизни, они сживались с вонью и грязью, с убогой защитой сметаемых заграждений, с грохотом, с непрерывной пальбой, с черным томительным ожиданием в окопах, где, оглушенные этим немолчным ревом, смрадом и смертной усталостью, они сталкивались лицом к лицу с альфой и омегой человеческого зла — с возродившейся дикостью хищного зверя, в соединении с такой разрушительной механической силой, какой не знавал еще ни один другой век.

Ученому историку в будущем покажется любопытным контраст между литературой, которая описывает идущих на войну англичан,— эту сложную процедуру с набором уклончивых добровольцев,— и той, которая изображает фаталистическую покорность народов других стран, мобилизованных по закону о воинской повинности; третий вид литературы — это описание лихорадочного приступа воинственности, обуявшей Америку после двух лет возбужденного наблюдения. Хемингуэй и анонимный автор книги «Вино, женщины и война» описывают психологический процесс, абсолютно непохожий на тот, который совершался в сознании англичан. Американцы вступили в уже совершенно готовую войну, о которой они без конца читали; настроенные чрезвычайно критически и с невероятно возбужденными инстинктами, они переплывали океан, чтобы сыграть свою роль в последней решительной схватке, а их Америка оставалась где-то там, позади. Для них это было действительным переходом от домашних запретов к вину, женщинам и войне — в такой именно последовательности. Так это для них и осталось памятной экскурсией. Они пришли в тот момент, когда давно уже застывший западный фронт таял в окончательном изнеможении. Германская армия выдыхалась в последнем приступе решительности.

Но рядовой англичанин врастал в войну из своей глубокоупорядоченной жизни; для него это была только «война», он прошел через четыре года непрерывного напряжения и кровопролития, в котором американцы

почти не принимали участия. Жители южной и восточной Англии слышали грохот орудий прежде, чем они попадали на фронт,— в Эссексе и Кенте этот потрясающий окрестности гул слышали уже в 1914 году,— им надо было только совершить короткий ночной переезд через узкий пролив, погрузиться в поезда, пройти немножко, и вот уже их отряды и роты шагали по изрытым дорогам, по извилистым коммуникационным линиям, где их сразу обступала немыслимая действительность, чудовищное опустошение, и гнет, и медленно разворачивающиеся трудности страшной окопной войны, напряжение и ужас, к которым они совсем не были подготовлены.

Мы уже объясняли, что вовсе не страх удерживал Теодора от немедленного участия в войне. Он не был привычен к страху. Его инстинкт самосохранения, спрятанный глубоко в подсознании, пребывал в полном бездействии. Если не считать страшных снов, когда он был еще совсем маленьким, он никогда по-настоящему не испытывал страха. Но с той минуты, как он действительно отправился в это странное и мучительное путешествие на фронт, он начал испытывать какие-то очень непривычные ощущения. Усталость, физические лишения, голод и жажду — все это он узнал уже во время своего обучения, но теперь к нему подкрадывалось что-то другое. За все время своего мирно-обособленного существования в Англии он видел только одно мертвое тело — тело отца. Они уже приближались к фронту, когда ему пришлось увидеть еще одно мертвое тело. А потом вдруг сразу раны и смерть обступили его со всех сторон.

Это было вечером: они шли по открытой, незащищенной местности, и весь отряд единодушно держался мнения, что давно уже пора расположиться на отдых. Теодор с тяжелым снаряжением за плечами шагал в состоянии усталой покорности. Затем батальон очутился под обстрелом какой-то далеко отстоящей батареи. Трудно сказать, был ли он под прицелом или неприятель просто бил по дороге. Большой германский снаряд разорвался в поле за четверть мили от них. Огромная туча красно-коричневого дыма и пыли взлетела в воздух, повисла на несколько мгновений,— и в свете заходящего солнца, пронизавшего тучу, они увидели, как вну-

три нее все клубится,— а затем медленно, очень медленно и постепенно она почернела, начала оседать, рассыпалась и исчезла. Теодор не усмотрел в этом ничего особенного. Такую штуку можно было увидеть на картине. Он глядел и мысленно прикидывал, какими красками можно передать такой эффект.

Вдруг он заметил своего взводного командира, который бежал навстречу ему и кричал.

— Стой! — кричал он.— Отделение Д., стой! Дать другому отделению уйти с участка.— Он повернулся кругом.— Черт! Что это такое?

Пронзительный вой второго летящего снаряда послышался рядом. Крещендо закончилось оглушительным гулом. Но на этот раз взрыв произошел ярдах в ста впереди, снаряд попал на дорогу во взвод Б. Вспыхнул ослепительный свет. Время словно остановилось, дрогнуло, замелькало, потом снова потекло, как обычно, и Теодор увидал клочки дороги, куски человеческих тел, ноги, руки, туловища, снаряжение, землю, подскакивающие высоко в воздухе.

Он остолбенел. Он превратился на несколько мгновений в послушный автомат. Ему нужно было говорить, что делать. Колонна двинулась, и он двинулся вместе с нею.

— Прибавь шагу,— сказал кто-то.— Скорее!

Они проходили мимо этого места быстрым маршем.

Ему велели держаться правой стороны. Каждый невольно отшатывался вправо, проходя мимо этого окровавленного клочка вывороченной дороги.

Что-то скользкое попало ему под ногу. Фу! — красное пятно и еще что-то. Он остановился как вкопанный. Перед ним было полуголое человеческое тело, разорванное пополам. Неописуемый клубок разодранных красных внутренностей валялся поодаль на земле. Голова лежала в стороне и как будто смотрела на него. Он узнал это искаженное лицо. Он знал этого человека. В нескольких шагах от него, скорчившись, сидел человек. Что с ним такое? Как будто он пытается скрыть что-то гадкое. Господи! Что это в траве? Неужели это рука? Человеческая рука, вырванная и отброшенная в сторону!

— Проходи! Проходи! Этим уж каюк! Им ничем не поможешь!

Но прежде чем Теодор мог двинуться с места, у него поднялась рвота. Он, спотыкаясь, отошел к краю дороги, подальше от всего этого.

— Поторапливайся! — кричал сержант.— Проходи!

Теодор хотел лечь и умереть. Его пихали прикладами в спину, трясли за плечи, толкали вперед. Спотыкаясь, останавливаясь в приступах рвоты, он тащился за своим отрядом. Он всхлипывал. «Боже мой, боже мой!» — повторял он снова и снова. Он никогда не представлял себе, что может быть что-нибудь подобное.

Тогда Ивенс, его взводный командир, дал ему бренди.

— Подтянитесь, юноша,— сказал Ивенс.— Вы что, думали, можно воевать так, чтобы все осталось целехонько?

Третий снаряд прогудел в воздухе и разорвался, не причинив вреда, ярдов за двести от них. Но этот взрыв несколько прояснил сознание Теодора. Он взял себя в руки и зашагал вперед.

Он почувствовал огромное облегчение, когда они очутились под мнимым прикрытием разоренной деревенской улицы — разрушенной стены и нескольких разбитых войной тополей. Но он все еще шептал: «Боже мой!»

К счастью, дальнобойная пушка больше не стреляла в этот вечер. Теодор подскочил при следующем взрыве, но это палила скрытая где-то поблизости батарея.

— Все в порядке, дружище,— сказал какой-то дружелюбный голос.— Это наши палят.

Постепенно к нему стало возвращаться чувство, что он не один, что на него смотрят. Он перестал тыкаться в спины товарищам, как испуганная овца в стаде. Глоток бренди оказал свое действие. Теодор перестал бормотать «боже мой!» Он огляделся по сторонам и в стойком спокойствии других почерпнул немножко мужества. Взглянув на Ивенса, он поймал его испытующий взгляд. Он взял себя в руки, поднял голову, поправил ранец.

— Полегчало? — спросил Ивенс.

— Я еще новичок в этом деле, сэр,— ответил Теодор.— Надо привыкнуть. Все обойдется. Уж вы извините меня.

Он провел рукой по мокрому от слез лицу. И потом снова невольно оглянулся на темную дорогу, где остался этот ужас во мраке.

Он изо всех сил старался овладеть собой. Гордость его воспряла, когда он заметил, что окружающие интересуются им.

— Уж очень неожиданно,— оправдывался он.— Смотрю, знакомое лицо... Пили с ним вместе... Вчера...

— Еще немножко, и вы совсем оправитесь,— успокаивал его маленький сморщенный человечек, к которому он до сих пор относился с презрением.

— Вы понимаете, мы только вчера пили с ним,— продолжал объяснять Теодор.

— Ну, разумеется, пили,— сказал сморщенный человечек.

Весь этот вечер Теодор был спокоен и только боялся, что во сне его будут преследовать кошмары, но он спал как убитый. Проснулся он рано. Он лежал на соломе, рассеянно глядя на кусочки неба, видневшиеся сквозь продырявленную крышу амбара над его головой. Одно время он с интересом следил, как звезда прячется за стропилами. Потом он стал думать о себе. Что с ним случилось? На него очень подействовала эта история, очень подействовала; если бы он не держал себя изо всех сил в руках, он бы совсем осрамился. Он смотрел на бесформенные фигуры лежащих вповалку людей. Они бормотали, храпели и метались во сне. Разве эти люди чем-нибудь лучше его? Или они просто не так восприимчивы?

Конечно, это было невыносимое, тошнотворное зрелище. И такое неожиданное потрясение, оно застало его врасплох, когда он и без того выбился из сил. Такие вещи не повторяются. А все-таки это ужасно на него подействовало.

Больше этого не должно быть. Он должен держать себя в руках! Нельзя допускать, чтобы это еще раз застало его вот так же врасплох. Он чуть-чуть было не поддался страху, чуть-чуть, но в конце концов ему всетаки удалось овладеть собой. Как он себя вел? На что это было похоже? Его рвало. Что ж, всякого деликатного человека могло бы вырвать. Может быть, он плакал? Он уверил себя, что этого не было. Но страх? Конечно, величайшая опасность здесь — это страх. Несколько дней он чувствовал, что этот первобытный инстинкт шевелится в нем, но он не знал или не хотел

знать, что таилось там, где-то в глубине его существа, что пробивало дорогу к его сознанию. Теперь он знал. Теперь он знал своего внутреннего врага. Знал, зачем он прячется там.

Самые храбрые люди, говорил он себе, это те, которые побеждают страх. Дурак может не видеть опасности. Вот эти олухи вокруг него — ведь для них это совсем другое. Самое храброе животное — носорог, потому что у него отсутствует воображение. Вот и они такие же. Для них не существует его затруднений. До сих пор Бэлпингтон Блэпский не ведал страха, но теперь его идеал изменился. Он подавлял свой страх железной волей. Он никогда не обнаруживал его ни перед кем, ни одна живая душа этого не подозревала.

— Мужественный, благородный человек,— шептал он себе.— Необыкновенно мужественный человек!

Какое успокаивающее действие оказывали слова: «Необыкновенно мужественный человек!» В таком настроении он встал, чтобы встретить лицом к лицу все тягости грядущего дня.

В этот день батальон отправлялся на передовые линии. Во всем отряде не было человека, который бы проявлял столько оживления, сколько Теодор. Он был так оживлен, глаза у него так блестели, он так охотно все делал, что сержант не утерпел и спросил его, с чего это он так суетится.

— Спешить некуда. Чему быть, того не миновать, каждому свое выйдет,— сказал сержант.

Участок передовых линий, куда попал отряд, был относительно спокойным, но и тут Теодору хватало пищи для возбуждения. В более ранний период войны здесь шли жестокие бои и британские линии местами перекрещивались с прежними германскими линиями; кое-где на открытых местах валялись незарытые трупы и всюду виднелись отмеченные крестами низенькие жалкие холмики, которые то и дело разворачивало взрывами снарядов или пулеметным огнем, так что сознание Теодора продолжало неустанно впитывать в себя зрелище человеческой смерти. Ничейная зона — унылая голая равнина, опутанная проволокой,— была усеяна кучами земли, лохмотьями, людскими отбросами, жестяными

банками, соломой. Военные действия здесь сводились к легкой ружейной перестрелке; время от времени из неприятельских окопов метали гранаты, а иногда делались попытки вылазок, и тогда начинали строчить пулеметы и бить окопные мортиры. Всюду, где только было возможно, цветущие побеги сорняков боролись с опустошением, которое вносил человек. Разбитые деревья покрывались почками, птицы пели, и повсюду шныряли в изобилии сытые и наглые крысы. Ночи были спокойны, только иногда какие-то необъяснимые приступы нервозности заставляли то ту, то другую сторону озарять небо багровыми вспышками и будить пулеметы. В воздухе ни та, ни другая сторона не проявляла большой активности. Окопы были достаточно сухи и глубоки, подземные убежища — темные и душные, но вполне надежные. Поистине это было весьма мягкое вступление для неопытного новичка.

Теодор, который решил изгладить из своей памяти и из памяти своего отряда впечатление предыдущего дня, держался чуть ли не до назойливости услужливо и суетливо. Он помогал своему маленькому сморщенному приятелю укладывать походную сумку. Он участливо оказал помощь человеку, который стер себе ногу до крови. Он вынул асептическую мазь, которую ему дала тетя Аманда. Он сходил и принес воды, чтобы промыть рану. Он обменивался веселыми замечаниями с солдатами, которых они пришли сменить. Он раздавал налево и направо папиросы.

— Видите вы их когда-нибудь? — спрашивал он, подразумевая немцев. Это, по-видимому, был удачный вопрос, и он много раз повторял его.

Но молодой офицер из батальона, который они сменяли, вернулся в окопы на носилках мертвым. Он был убит на наблюдательном пункте, когда совершал свой последний обход. Его лицо было закрыто окровавленной тряпкой, и никто не сделал попытки посмотреть на него.

— Чертовски не повезло, сэр! — сказал Теодор, стоявший рядом.— Чертовски не повезло!

Взгляд его упорно следовал за окровавленной тряпкой, пока он не сделал над собой усилия и не отвел его.

Неприятель зашевелился, почуяв, что происходят какие-то изменения, окопные мортиры заработали, окопы оживились.

У-у-у, банг! — совсем рядом. Где это?

Теодор стиснул зубы и выпрямился. Разве он прятался? Он вытянул шею.

— Никто не ранен! — весело закричал он.— Гони еще!

Ему было велено спрятать свою гнусную башку и заткнуться.

Он засмеялся весело и совершенно естественно.

Когда они заняли отведенное им помещение в окопах, он оставался все таким же оживленным и услужливым.

— Это лучшая квартира из всех, что были у меня во Франции,— весело сказал он.— Не сквозит. Даже и обыкновенной вентиляции нет. Не мешало бы заморить червячка.

— Червякам корму хватит,— буркнул кто-то.

Люди расположились на отдых. Ему казалось, что они как-то хмуро косятся на него. Но, может быть, это только его воображение. Он закурил папиросу и стал напевать отрывок из Девятой симфонии Бетховена. Потом он заметил, что перестал напевать. Он прислушивался к шуму наверху. Похоже, с той стороны сыпались снаряды. Его сержант наблюдал за ним, как ему казалось, не очень дружелюбно. Не обидел ли он его чем-нибудь? А все-таки, как неприятно, думал он, сидеть, закупорившись в этой темной, душной яме. Его мысли перескочили к красной тряпке, закрывавшей лицо молодого офицера. Не годится сидеть здесь слишком долго, ничего не делая. Он решил выйти наверх и осмотреться. Последний взрыв был где-то совсем неподалеку.

Но бош, по-видимому, уже угомонился. Ничего больше не сыпалось с той стороны. Спустя немного Теодора поставили исправлять брешь в парапете, пробитую окопной мортирой, после этого нашлась еще кой-какая мелкая работа. Он делал все как-то суетливо и лихорадочно. Он боролся с неудержимым желанием выглянуть наверх и посмотреть, что происходит у врага, и с таким же неудержимым желанием нагнуть голову на ярд ниже уровня пролетавших снарядов. Сумерки сгущались, и он опять вернулся в землянку. Здесь стало еще душнее от

многочисленных попыток поджарить бекон и вскипятить чай в котелках Четверо играли в карты при свете огарка, а трое или четверо спали, улегшись на короткие и узкие нары. Все, казалось, были в дурном настроении, и между сморщенным человечком и злоязычным деревенским парнем из Илинга поднялась ссора из-за того, кому куда положить вещевой мешок. Теодор сидел некоторое время молча, а потом принялся чистить винтовку, чтобы отогнать от себя это ужасное воспоминание о страхе, одолевавшее его.

Его соседом оказался рыжеволосый парень, который, наполовину раздевшись, занимался тем, что осыпал себя и свою одежду каким-то порошком, который он считал необыкновенно могущественным средством от блох.

— Вылезайте, свиньи,— ворчал он.— Я вам покажу.— Он тоже был новобранец.

Его бормотания поощрили Теодора вступить в разговор.

— Вот мы и попали сюда,— сказал он.

— Куда это сюда?

— Да вот сюда!

— Да уж верно, что попались, что говорить,— сказал охотник за паразитами.— Вшивая дыра!

— Я не то хотел сказать... Но надо пройти и через это. Удивительно, как подумаешь, что мы участвуем в последней войне.

— Что? — вскричал сержант, который улегся было на нары. Он так быстро вскочил, что ударился головой о балку в потолке, и обильный запас известных ему одному ругательств прокатился по всему убежищу.

Когда этот поток сквернословия иссяк, сухощавый человечек вмешался в разговор.

— Если вы говорите, что, по-вашему, это последняя война, так вы, надо полагать, думаете, что она протянется до Страшного суда,— сказал он.

— Я думаю, что мы победим,— сказал Теодор.— Конечно, мы победим. И не так уж долго этого ждать. И тогда будет конец войне. Какой смысл в том, что мы находимся сейчас здесь, если эта война не покончит со всем этим?

— Со всем этим? — откликнулся сержант, все еще потирая голову.— Что ты такое плетешь? С чем это «со

всем этим»? Ты что ж, думаешь, больше войны не будет и не будет солдат?

— А ради чего же еще мы боремся?

— Так, по-твоему, больше не будет солдат?

— Не так много. Вот надо будет только разделаться с этим. Если вы читаете газеты...

— Нашел дурака! Читать газеты, еще что! Мы-то ведь здесь? Все это у нас под носом происходит. Да разве похоже, что это когда-нибудь кончится? Покончить со всем этим? Покончить! Эка сказал. Солдаты всегда были и всегда будут. А без них, что же, одни слюнявые сосуны на земле останутся. Тоже нашел. что сказать. Война, она, знаешь, таким вот молодчикам, как ты, или вправляет мозги, или вышибает их начисто. Вот для чего бывает война, а для тебя что то, что другое — одинаково полезно. И после этой войны будет еще война, а потом еще и еще, и так до скончания века. Аминь.

— Либо мы боша одолеем, либо он нас одолеет,— сказал сухощавый человечек.— А одолеет тот, кто сильнее.

— Вот это правильно,— сказал сержант.

Сухощавый человечек, по-видимому, почувствовал, что он сказал именно то, чего от него ожидали. Он подумал и глубокомысленно изрек:

— Война — это необычайное дело, экстраординарное. Подумать, чем людям приходится заниматься! Я вот, видите ли, столяр. В свое время делал хорошие вещи.

— Почему же ты аэропланы не пошел делать? — спросил сержант.

— Да у нас, видите ли, было то, что называется отделочная мастерская. Я больше поправлял да подновлял мебель, самому-то мало приходилось делать. Но я пробовал. Ведь я здесь не для своего удовольствия. Коли бы можно было, ни за что не пошел бы. Да уж так нехорошо обернулось дело. Хозяйского сына призвали, и видать было, что хозяин думает, что и мне не годится оставаться. Да и дела пошли плохо.

— В Илинге нас тысячу человек, можно сказать, на улицу выбросили,— сказал парень из Илинга.— Никакой работы получить нельзя было.

— А я был шофером в садоводстве,— сказал охотник за вшами.— Раз утром приходит хозяин — пастор он у нас был — и говорит: «Пришло,— говорит,— вам время идти. Да. Пришло время и вам свой долг исполнить».

— Если б мне посчастливилось, я пошел бы еще в четырнадцатом,— сказал Теодор, блистая нравственным превосходством.— Но мне велели подождать год.

Сержант молча окинул его взглядом.

— На этот раз мне повезло,— продолжал Теодор,— и я чертовски рад, что я теперь здесь с вами, товарищи. Чертовски рад.

— Тебе сказали, подождать год? — спросил сержант.

— Пока я не буду совершеннолетним,— сказал Теодор.

Сержант хмыканьем выразил глубочайшее недоверие. Потом он ясно показал, что ему ничего не остается делать, как лечь спать. Он опять улегся на свою койку, демонстративно повернувшись спиной к Теодору.

— У меня там осталось...— Ему вдруг захотелось рассказать им все про Маргарет; он чуть было не сказал: «Осталась моя девушка»,— но это непонятное, внезапно возникшее желание тут же исчезло.— Все там осталось.

Он предоставил им самим догадаться, что значит это все.

— Ну ясно, всем нам пришлось оставить все,— сказал столяр.

— Словно какая-то сила толкала нас всех, все мы почувствовали этот великий толчок. Он-то и приведет нас к победе,— сказал Теодор.

— Избави нас, боже, от всех этих проклятых толчков,— сказал чей-то голос из коричневой мглы за свечкой.

— Я рад, что я здесь,— сказал Теодор.— Ах, я так рад! Всем нам придется тяжело, но, клянусь богом, мы свое дело сделаем. Чувствуешь себя так, будто входишь в историю. То, что мы делаем, будет поворотным пунктом в жизни каждого. Дети наших детей будут рассказывать о нас. О людях Последней войны. Конечно, сейчас приходится выжидать. Но с этой мертвой точки мы

скоро сдвинемся. Долго продолжаться это не может. Скоро произойдет великий сдвиг, будет сделано мощное усилие. Оно будет колоссально. Вдоль всего фронта от Голландии до Швейцарии. Сойдутся, как два гигантских борца. Сейчас это просто затишье, как бы... как перед Армагеддоном.

— А по-моему, так просто вшивая дыра,— вставил рыжеволосый парень.

— Чем скорее мы из этого выберемся, тем лучше,— сказал Теодор.— Не нравится мне здесь. Да и никому из нас не нравится. Сидим, как крысы в норе, наполовину зарывшись в землю. Грязное это дело! Похоронили нас здесь, но мы еще подымемся.

— Ох! — раздался угрожающий голос сержанта.— Заткнись-ка ты, цыц, говорят тебе! Похоронили — будь ты проклят! — И, повернувшись и вытянув шею, как химера, он еще раз злобно крикнул: — Цыц!

Теодор замолчал.

В эту же ночь Теодору в первый и в последний раз пришлось стоять на посту. Это было уже после того, как зашла луна, незадолго до рассвета. Он должен был стоять, не поднимая головы выше определенного уровня, и от этого у него сводило шею. Он смотрел на расстилавшуюся перед ним полосу голой земли, изрытую воронками, обнесенную столбами, между которыми была натянута замотанная узлами проволока. Полоса эта простиралась до невысокой горки, где среди темных пучков низкорослой травы виднелось несколько незарытых трупов. Затем она пропадала и появлялась уже у горного кряжа, отстоявшего примерно на четверть мили, вдоль которого тянулась линия немецких окопов. Вблизи было тихо-тихо. Но дальше, направо, где начинался склон, что-то шевелилось, слышались отдельные тревожные выстрелы, вспыхивали огни. А еще дальше, там, куда не достигал взгляд, стрекотали пулеметы.

Вблизи было так тихо, что тишина эта казалась враждебной. За каждой кочкой Теодору чудились какие-то тени, которые крадучись скользили по изрытой земле, и только когда он делал над собой усилие, они исчезали. Он видел или ему казалось, будто он видит собаку, которая кружила среди этих странных и зловещих призраков. Сначала он думал, что ему это кажется.

Иногда он совершенно отчетливо видел — собака, а потом оказывалось — нет, не похоже! Иногда казалось, что это просто полоса бегущей тени, появляющаяся при вспышках света справа. А потом опять ясно было видно собаку — длинную собаку. Ну конечно, это собака. Он тихонько свистнул и позвал ее. Она не обратила на него внимания и продолжала бегать взад и вперед в каком-то странном смятении. Очень быстро. Казалось, она росла. И при каждой новой вспышке вздрагивала, менялась на глазах. Она становилась огромной. Теперь она была похожа не столько на собаку, сколько на движущиеся клубы черного тумана. Теодор чувствовал, что необходимо что-то сделать, и это чувство усиливалось, становилось нестерпимым. Он окликнул ее, а когда она повернулась и побежала к нему, он поднял винтовку и выстрелил. Банг! Она тут же исчезла.

Она не отскочила, не упала, а просто исчезла.

Ему было очень трудно объяснить, что он видел. Его выстрел вызвал ответную стрельбу, и в отряде его встретили ругательствами.

— Ему почудилось что-то,—сказал парень из Илинга.

В землянке ему учинили настоящий допрос.

Особенно настаивал на подробностях парень из Илинга. Что это была за собака? Какой породы? Что она делала?

— Да я даже не могу сказать, похоже скорей на тень, чем на собаку,— рассказывал Теодор.— И она все время шныряла кругом. Длинная такая, ну совсем как длинная черная тень. То как будто ползет по земле, то подпрыгнет и остановится на месте, знаете, где они там лежат, постоит около одного, потом к другому перебежит и так все время и кружится возле них, точно обнюхивает. А иногда вдруг повернется и глядит в нашу сторону. Точно ждет... Понимаете, ждет.

— Черт тебя не возьмет! — заорал сержант неистовым голосом.— Провались ты со своей проклятой собакой! Что это тебе вздумалось нас всех стращать? Думаешь, нам приятно сидеть в этой паршивой дыре да слушать про твои привидения?

И как раз в эту минуту какой-то необычный звук прорезал трескотню, слышавшуюся снаружи,— долгий, пронзительный свист, закончившийся глухим ударом.

— Что это такое? — вскричал Теодор.

— Что «что такое»? —откликнулся парень из Илинга. Он быстро повернулся и нечаянно задел огарок свечи, стоявший возле него. Землянка погрузилась в полную тьму.

— Что это, вы слышали, какой-то странный шум? — твердил Теодор прерывающимся голосом.— Неужели ни у кого нет свечи? Что это был за шум? Скажите, что это был за шум?

— Цыц, заткнись, ну тебя к дьяволу! — прикрикнул сержант.— Цыц ты, Бэлпингтон! Да стукните его кто-нибудь по башке.

— Я не виноват,— сказал Теодор.— Я только спросил.

— А ну, не рассуждать!

В темноте Теодор засунул кулак в рот и изо всех сил впился в него зубами. Несколько секунд он боролся с желанием схватить винтовку, выбежать из землянки и показать им. Что, собственно, он собирался показать им, он не знал.

Настороженно прислушиваясь, он ждал повторения этого свистящего звука и удара, и через несколько секунд звук повторился.

Но к этому времени парень из Илинга разыскал и опять зажег огарок. И при свете было уже не так страшно.

На следующий день тот же парень из Илинга подошел к Теодору — малый был на себя непохож. Он стоял на посту часовым поздно ночью, и сейчас его грязное лицо было все еще землисто-бледным от одного только воспоминания о том, что ему пришлось пережить.

— Я видел вашу собаку,— прошептал он, вытаращив глаза — Господи Иисусе!

Позже Теодора вызвал старший сержант и отчитал его.

— Какого черта вы распустили эти небылицы про черную собаку? — сказал он.— Не так уж нам весело здесь, не хватало еще, чтобы какие-то заклятые собаки из преисподней болтались на ничейной земле Глядите у меня! Слишком много вы языком треплете. Запомните, что я говорю. Помалкивайте!

Теодор очень огорчился, что его невзлюбили в отряде. Неприятно, когда тебя кто-нибудь невзлюбит, но если тебя невзлюбит твой сержант, это уж совсем плохо. Он мучался и не находил себе покоя. Он почти совсем перестал спать. Ведь видел же он своими глазами — собака это была или что-то другое. Во всяком случае, что-то такое было. Но теперь об этом нельзя было и заикнуться. Стоило ему только задремать, его тотчас же обступали чудовищные, жестокие кошмары, и он начинал отбиваться и кричать. Эта собака завладевала даже его бодрствующим сознанием. Она превратилась в какой-то гигантский призрак. Она олицетворяла войну, опасность, смерть. Он пытался отнять у нее разлагающиеся мертвые тела, но тогда она бросалась на него. Ее пасть, из которой текла отвратительная зеленая слюна, издающая запах тления, приближалась все ближе и ближе, как он ни старался отбиться. А за ней вырастала бесконечная вереница двигающихся ощупью фигур с красными, окровавленными повязками на лицах. Она поймала их, и теперь они должны всюду следовать за ней. А когда она поймает и его, он тоже очутится в их числе. Ему было больно и душно от этой повязки. Он жаловался во сне. Его бормотание переходило в хриплый крик. Это кончалось тем, что в него запускали сапогом, а иногда чужие, грубые руки стаскивали его с койки.

Тогда он лежал без сна, прислушиваясь к тяжелому дыханию и храпу своих соседей и к приглушенному грохоту орудий снаружи, над головой.

Иногда им овладевало нестерпимое желание выскочить наверх, начать стрельбу по окопам, что-то предпринять. Ему хотелось во что бы то ни стало добраться до этих немцев, которые сидели там, спрятавшись, и покончить с ними. Покончить навсегда.

И так прошел день, другой; на третьи сутки Теодор получил приказ явиться к лейтенанту Ивенсу. Тот пристально поглядел в его глубоко запавшие, лихорадочно блестевшие глаза, затем спросил:

— Вы случайно не из Олдингтона?

— Нет, сэр, — ответил Теодор. — Я из Блэйпорта.

— Я сам из Олдингтона. Я что-то слышал о вас... Возможно, я ошибаюсь. Может быть, просто знакомая фамилия. Да, подождите, что это я хотел вам сказать?

Вы ведь художник, не правда ли? Я видел в платежной ведомости...

— Да, сэр.

— А чертите хорошо?

— Ничего себе, сэр.

— Так почему же вы не подаете прошение в штаб, чтобы вас перевели на чертежную работу? Там нужны чертежники.

— Как? — спросил Теодор и заставил Ивенса повторить все снова. Но ведь это же значит покончить со всем этим? Вырваться отсюда. Избавиться от этой собаки. От всего этого смрада и темноты. Теодору пришлось сделать над собой усилие, чтобы не закричать, что он согласен. Нужно было сделать огромное усилие, чтобы остаться верным себе.— Но, видите ли, сэр, я вовсе не хочу выбираться отсюда...— сказал Бэлпингтон Блэпский.— У меня этого и в мыслях нет. Я, правда, все еще никак не могу привыкнуть, я знаю, но я изо всех сил стараюсь держать себя в руках.

— Вы там будете более на месте. Определенно.

— Конечно, сэр, если вы так думаете,— сказал Теодор.—Если вы считаете, что это более подходящая для меня работа...

— Я бы не стал предлагать, если бы я этого не думал,— сказал Ивенс.

— Но как отнесутся к этому другие? — возразил Бэлпингтон Блэпский.

— Они не станут протестовать. Они ведь не желают вам зла. Просто подумают, что вам чертовски повезло,— добавил молодой офицер, давая понять, что он не склонен поддерживать этот разговор джентльмена с джентльменом.— Они поймут.

И они и в самом деле поняли. И отнеслись к этому чрезвычайно тактично.

В эту ночь Теодор спал как убитый, несмотря на грохот и вой английских орудий, поднявших пальбу на рассвете, а на следующий день и ему самому и окружающим стало ясно, что его нервы успокоились. Он начал находить много прекрасных качеств в товарищах, с которыми ему предстояло скоро расстаться. Воздух в убежище казался ему уже менее смрадным, пища — вкуснее, окопы — безопаснее. Дни проходили без всяких не-

счастных случаев. У него вернулся аппетит. Ему казалось, что все его страхи были преувеличены. На следующую ночь ему снились какие-то сны, но совсем не такие ужасные...

Через месяц он уже распростился со всем этим и сидел, вычищенный и отдохнувший, за чертежным столом. Его служба на передовых позициях временно прекратилась. На стене около своего стола он приколол несколько рисунков Бэрнсфадера, превосходно написанные юмористические сценки из фронтовой жизни. Днем, когда Теодор бодрствовал, он старался приспособляться к войне, следил за своим питанием, прогуливался перед тем, как лечь спать, и это помогало ему держать на привязи свои сны.

Он добросовестно и тщательно исполнял свою новую работу, но каким-то свободным краешком своего сознания уже обдумывал фразы писем, которые он собирался писать домой.

У него были весьма веские основания написать теткам, в особенности леди Бруд, жене сэра Люсьена Бруда из министерства обороны.

А еще надо было написать Маргарет Брокстед, рассказать ей о величии и ужасах фронта и о том, как его героический дух откликался на эти величественные ужасы. Надо было иметь в виду, что это письмо прочтет не только Маргарет, но и какой-то неведомый цензор, который, конечно, мог оказаться просто тупицей, рутинером, а может быть, и человеком с изысканным литературным вкусом. Во всяком случае, независимо ни от чего это должно было быть очень нежное и трогательное письмо. Потому что Маргарет, видите ли, была теперь его возлюбленной. Она отдалась ему.

7

ДЯДЯ ЛЮСЬЕН

Сестры Спинк были чрезвычайно заинтересованы, взволнованы и потрясены тем, что их единственный из всего рода отпрыск отправился на войну. Люцинда с самого начала настаивала на том, чтобы он поступил в

добровольческий походный госпиталь и сочетал бы таким образом исполнение долга с моральным осуждением войны, но Клоринду не воодушевляли устремления Антанты, и она не поддержала ее. Само собой было ясно, что он физически непригоден для фронта, и его внезапное и неожиданное решение поразило всех. Клоринда очень огорчилась и обнаружила по отношению к нему непривычную теплую заботливость. Она даже подумала заплатить кому-нибудь, чтобы выхлопотать ему увольнение, но такой поступок чрезвычайно противоречил бы духу времени. И Теодор, который все же разбирался в действительном положении вещей, не хотел и слышать об этом.

— Я просто переменил бы фамилию и записался бы опять,— сказал он.

Тогда она обратилась к дяде Люсьену, сэру Люсьену Бруду, супругу Миранды Спинк, человеку весьма влиятельному и прочно утвердившему свой авторитет в аппарате военного снабжения.

При жизни Раймонда Клоринда и леди Бруд были в несколько натянутых отношениях, но кремация, а затем разразившаяся война сгладили многие расхолаживающие воспоминания. Перед тем как отправиться во Францию, юный герой получил приглашение провести отпуск в большой пригородной вилле сэра Люсьена. Сэр Люсьен — широколицый, несколько чересчур демонстративно деловитый человек — успешно занимался весьма выгодными и в высшей степени сложными патриотическими операциями, маневрируя между поставщиками различных химикалий и технических материалов и военным потребителем. У него был крупный благодушный рот, еще более крупные, выступающие вперед зубы и неистощимое красноречие.

— Итак, значит, ты последний ныне здравствующий мужской отпрыск великого рода Спинков, а? — сказал он Теодору.— И ты желаешь рискнуть жизнью ради великой старой империи?

— Я чувствую, что не могу стоять в стороне, сэр,— ответил Теодор.— Я рад, что меня приняли.

— Согласен с тобой, ясно, ты должен что-то делать. Я приветствую, что ты пошел в армию. Ты поступил правильно. Гораздо лучше было пойти сейчас самому, чем

дожидаться, чтобы тебя взяли через три месяца, что они, конечно, и сделали бы.

— Я об этом не думал, сэр.

— Но это факт. Тебя непременно взяли бы. Ручаюсь, не пройдет и трех месяцев, как у нас будет объявлен призыв. Ты поступил правильно. Это достойный жест. Но тем не менее...— Сэр Люсьен задумался.— Не можем же мы посылать на убой всех наших художников и поэтов, черт возьми! И не годится упекать на войну единственных сыновей. Я подумаю о тебе. Тебе придется пройти через все это, понюхать пороху. Но не следует оставаться там слишком долго. Это вредно для здоровья. Нужно будет что-нибудь придумать...

— Я не хочу никаких привилегий,— сказал Теодор.— Хочу рискнуть...

— Совершенно правильно, мой мальчик, и в высшей степени похвально. Что ж, рискни, но нет нужды слишком долго испытывать провидение. Ты дашь нам знать, где ты и что с тобой. Великое дело во время войны — поставить каждого человека на такое место, где он будет всего полезнее. Служба — это одно, а самоубийство — другое.

В это время Теодору не понравился некоторый оттенок цинизма, проскальзывавший в замечаниях сэра Люсьена, но теперь он достойным образом оценил здравый смысл и доброе чувство, которые диктовали их.

— Терпеть не могу все эти разговоры о людях, которые жертвуют жизнью,— сказал сэр Люсьен.— Это сентиментально. В корне неправильно. Мы должны беречь нашу жизнь до последней минуты — так же, как мы должны беречь наши предприятия, и уступать их не иначе, как по самой высокой цене. Тогда мы выиграем войну и сможем чего-нибудь добиться. Ни мне, ни империи нет никакой пользы от всех этих так называемых героев, которые жаждут «пожертвовать собою». Я это называю глупостью. Чистейшей глупостью. Ну просто-напросто потеря очков в игре. Ты не выиграешь, а проиграешь, если дашь убить себя. Понятно?

Итак, Теодор написал леди Бруд письмо в тоне храброго, но рассудительного воина.

«Я сблизился с замечательными людьми,— писал он.— Удивительная это вещь — чувство товарищества в

окопах. Не могу описать вам всю честность, великодушие и скромное благородное мужество этих чудесных малых. А их юмор! Это неподражаемое суровое остроумие! Наш сержант — это, ну просто вылитый Старый Билл. Вплоть до усов. Я старался не отставать от них, но меня перебросили. Здесь большая нужда в чертежниках. Вы понимаете, в платежной ведомости я был записан как художник. Стали расспрашивать. Я не мог отвертеться. Конечно, чертить я могу лучше, чем рыть окопы».

Его перо повисло в воздухе на несколько мгновений. Лицо стало задумчивым.

Он старался представить себе офицера, к которому попадет на цензуру его письмо.

«Я чувствую, что должен быть там, где я могу принести больше пользы»,— приписал он.

8

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ

Написать Маргарет было гораздо труднее.

Маргарет была его возлюбленной. Он обладал ею. А раз она принадлежала ему, нужно было запечатлеть как можно ярче свой образ в ее сознании. Но вот тут-то и возникали трудности: надо было создать такой образ, который удовлетворял бы его и в то же время удовлетворял бы и воодушевлял Маргарет.

Он сидел, кусая перо, и вспоминал свои последние встречи с ней, когда она уступила ему.

Ни одна из этих встреч не была похожа на то, что он рисовал себе раньше. Когда он в первый раз пришел к ней в солдатской форме, она проявила отчаяние матери, у которой ребенок упал в лужу и весь изгваздался.

— Ах, зачем вы это сделали? — сказала она.— Зачем вы это сделали? И еще после того, как они вас признали негодным. А я уже была уверена, что вам не грозит никакой опасности!

— Я не мог больше оставаться в стороне.

— Ведь это же совершенная нелепость, Теодор. Вас пошлют туда, чтобы убить или искалечить. Вас, ваше тело. Эту копну волос. Эти милые мягкие брови. И эту

милую глупую привычку заикаться, когда вы не сразу находите что сказать. Вас!

— Я должен был пойти. В конце концов может ли долг — честное исполнение долга — искалечить кого-нибудь?

— Долг! Да что это, неужели уж весь мир сошел с ума?

Завязался опять все тот же нескончаемый спор.

Теодор счел необходимым высказать свое мнение о противниках войны.

— Я не осуждаю Тедди. Но я не могу поступить так, как он. Не могу.

Но лучше было не нажимать, не подчеркивать этого расхождения в ее привязанностях. И скоро он почувствовал, что лучше не подчеркивать и своего собственного героизма. Он все яснее и яснее видел, что не это привязывало ее к нему. Он вызывал в ней теплое чувство нежности. И если она не восхищалась им так, как ему хотелось, она любила его чистосердечно и пылко.

В конце концов это произошло само собой. Он оставил за собой квартиру, чувствуя инстинктивно, что пока она остается за ним, война еще не совсем поглотила его. Это было как бы обещание вернуться назад. И вот они пришли туда вместе.

Это было совсем непохоже на его любовные свидания с Рэчел. С Маргарет он чувствовал себя властелином. Он срывал одежду с ее трепещущего тела, но при этом сам дрожал с головы до ног. Он чувствовал себя не столько ее любовником, сколько торжествующим преступником. Она плакала в его объятиях и прижималась к нему.

Она ласкала его.

— Это милое смуглое тело возьмут на войну! — шептала она и всхлипывала от боли и жалости.

Ее нежность пробудила в нем ответную нежность. Он всю жизнь бредил романтикой и романтической любовью, но тут ему впервые открылось, сколько страдания и самоотверженности кроется в настоящей любви. Неведомые ему до сих пор чувства зашевелились в нем.

— О Маргарет! — говорил он.— Маргарет, дорогая!

Он вспоминал теперь эти встречи. Их было всего три до того дня, как он походным порядком двинулся на вок-

зал Виктория. Он вспоминал обстановку этой маленькой грязноватой квартирки, где все напоминало о Рэчел, которая невольно выступала на заднем плане и становилась как бы фоном любви Маргарет. Теодор всегда восхищался внешностью Маргарет, но ее кротость и покорность оказались в конце концов еще чудеснее, чем ее красота. За это время по крайней мере она не делала никаких попыток критиковать его. Казалось, она утратила эту свою чуточку неприятную проницательность, от которой он так часто чувствовал себя неловко. Она так глубоко огорчалась разлукой с ним, что уже перестала *задумываться над тем, насколько он умен или искренен.* Все ее сомнения умолкли, вся настороженность пропала, она не защищалась ничем.

Он вспоминал последние минуты перед посадкой.

Маргарет пришла очень бледная, но все такая же прелестная, она держала себя в руках, не плакала. Она пришла одна, так как никто не должен был знать о перемене в их отношениях, и в особенности Тедди.

Он обнял ее и поцеловал.

— Я готов умереть за тебя,— сказал он.

— О, живи для меня, Теодор! Живи для меня!

Когда поезд двинулся, прямая, неподвижная фигурка потонула в стремительном потоке девушек, женщин, безличной серой толпы; кто провожал сына, кто друга, мужчины и женщины бежали рядом с вагоном с заплаканными улыбающимися лицами и махали платками, кричали, не отставая от прибавлявшего ход поезда до самого конца платформы. Там вся толпа слилась в одну темную массу, потом превратилась в смутное пятно и растаяла.

Когда затемненный ночной пароход, вздрагивая, поплыл через Ла-Манш, Теодор постепенно начал приходить в себя. Было тихо, тепло и пасмурно, и он сидел на палубе, вытянув ноги, в длинном ряду смутно различимых, притихших, угрюмо-сосредоточенных фигур. Разговаривали мало. Им сказали: чем меньше они будут шуметь, тем лучше. Они не проехали еще и полпути, как он уже опять стал Бэлпингтоном Блэпским, трагическим героем, который сидел неподвижно, как статуя, в то время как корабль нес его навстречу судьбе. Это было горестно, ужасно, но великолепно.

Он чувствовал себя способным на невероятный героизм.

А теперь он должен был дать отчет о своем подлинном геройстве.

Он долго грыз перо, прежде чем окончил это письмо. Он решил, что цензору может не понравиться слишком подробный отчет о его перемещении. Пожалуй, не годится сообщать ей о своем уходе с передовых линий. Лучше написать ей об этом туманно. И побольше рассказать об удивительном чувстве товарищества, рождающемся среди опасности и лишений. Не стоило также, ибо цензор мог оказаться каким-нибудь пошляком, слишком явно подчеркивать их отношения. Но можно с почти бессознательным пафосом написать ей об Англии, о домашнем очаге и в особенности о двух прогулках с нею вместе — Рикмэнсуорт, Кью-гарденс, Ричмонд-парк, Вирджиния Уотер...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГНЕТ ВОЙНЫ

1

СВОЕНРАВНЫЙ КОСТОПРАВ

Теодор уже больше не вернулся на фронт рядовым. Провидение и сэр Люсьен — направляющий перст оного — вели его извилистыми путями, пока не привели к Парвиллю на Сене, предместью Парижа. И здесь вскоре в нем возродилось ослабевшее было стремление жить согласно высоким требованиям Бэлпингтона Блэпского.

Этот его второй перевод состоялся безо всякого труда благодаря повреждению полулунного хряща над коленной чашечкой. Повреждение это произошло вследствие того, что он, выходя из чертежного бюро, неосторожно шагнул мимо ступеньки. Сначала это показалось пустяком, просто незначительным растяжением, но чем дальше, тем сустав все больше отказывался служить. Теодор ходил с одеревеневшей ногой, опираясь на палку. Казалось, что ходить так ему придется до конца войны.

«Моя фронтовая служба на время прервалась,— писал он Маргарет и Клоринде.— У меня что-то случилось с коленом, не очень серьезное. (Ты не беспокойся. Все будет в порядке.) Пока это не пройдет, я работаю в чертежном бюро и ковыляю «где-то во Франции», вне пределов досягаемости чего-либо, кроме Длинных Берт и воздушных налетов. Это унизительно, но что поделаешь».

Он впервые сообщал вскользь каждой из них, что он уже больше не в окопах.

Сэр Люсьен добился его перевода в этот наспех сооруженный промышленный агломерат в Парвилле по-

тому, что сэр Люсьен пользовался в Парвилле влиянием. У него там были «дела», туда направлялась значительная часть его «материалов» для «сбыта». Проект объединенной франко-английской конторы по изготовлению воздушных рекогносцировочных карт был утвержден, а это, несомненно, должно было повлечь за собой спрос на всевозможные фотографические материалы, которые находились в его ведении, и он чувствовал, что «свой» человек, который мог бы приглядеть и при случае дать нужный ответ на некоторые щекотливые вопросы, был бы там очень и очень полезен. А кто же лучше всего подходит для этой роли, как не племянник?

Итак, казалось, Теодору предстояло остаться в Парвилле в качестве почетно выбывшего из строя до самого окончания войны. Это было убогое местечко: жалкие домишки с облезлой штукатуркой, сараи, бездействующая фабрика, обращенная в склад материалов, немощеные дороги, бесчисленные грязные кабачки, беспорядочно раскиданные мелкие участки пашен, хижины, хибарки, импровизированные изгороди из бочарных досок и проволоки,— но все это было бесконечно чище и спокойнее, чем фронт. Он храбро ковылял вокруг и довольно много работал, скромно избегая вопросов о происхождении своей раны; и два главных источника его страданий были — слишком тонкая перегородка сна между ним и миром кошмаров и жгучее желание и в то же время неспособность изобрести приемлемый план, чтобы заставить Маргарет приехать и утешить его в его несчастиях.

Это была до нелепости немыслимая идея, но он цеплялся за нее, потому что ему нестерпимо хотелось, чтобы Маргарет была здесь. Он любил ее, временами любил особенно сильно, но ему неотступно хотелось, чтобы она была здесь. Он чувствовал, что она — его женщина, и чувство долга по отношению к ней не позволяло ему завести любовную интрижку в Парвилле или искать развлечений в Париже. Это вызывало у него чувство раздражения против нее. Он восставал против этого запрета, которое его собственное воображение наложило на него. Он чувствовал, что Маргарет должна придумать какой-нибудь предлог, чтобы приехать в Париж, что,

если она действительно любит его, она должна найти способ приехать к нему, откликнуться на его желание.

Он слонялся по Парвиллю, который по мере приближения лета становился все суше и пыльнее. Он не занимался спортом, плохо ел, чувствовал себя физически расслабленным. Он не сходился близко ни с кем из своих сослуживцев. С двумя из них он играл в шашки и в шахматы, но он не был силен в этих играх. Местечко кишело мелкими ссорами. Они лишали его спокойствия днем, а ночью преследовали его во сне, вырастая в бешеную ненависть. В разговорах преобладал придирчивый и насмешливый тон. Рабочий день тянулся долго, и работал он лениво. В Парвилле все работали лениво. Он пытался проникнуться загадочной страстью французов к рыбной ловле. Но не мог. Он сидел на берегу, погруженный в героические мечтания, а тем временем поплавок тонул, запутавшись в водорослях. Он много читал и от времени до времени ездил в Париж доставать книги. Он старался усовершенствоваться во французском языке, но пополнял только свое знание арго.

Значительную часть своего досуга он посвящал письмам домой, в которых пытался изобразить себя. Он посылал Маргарет и Клоринде длинные письма, очень длинные, не вполне удовлетворявшие его. Образ, который он пытался создать, никак не удавался ему. Он изображал себя раненым, в состоянии застоя.

«Война грохочет рядом,— писал он.— Как будто что-то захватывающе интересное происходит на соседней улице, на которую никак нельзя пройти».

Он подумывал было писать роман, чтобы выразить свое благородное недовольство вынужденным бездействием. Роман должен был называться *Выброшенный из рядов, Интермедия войны*. Он напишет его в третьем лице, и по замыслу герой его, все еще хромой и страдающий, ухватится за счастливый случай и погибнет геройской смертью.

Письма, которые он получал в ответ на свои, также не давали ему удовлетворения. Два первых письма от Маргарет, нацарапанных ею в отчаянии, были еще довольно сносны, но затем, как только она узнала, что он уже не в окопах, она снова обрела равновесие. Она требовала, чтобы он написал ей подробно о своем ранении,

но когда он уклонился, ее как будто перестало это интересовать. Ясно было, что она успокоилась, узнав, что он теперь вне опасности и что рана его не серьезна.

Она никак не откликнулась на его настойчивые уговоры приехать к нему во Францию. Она могла бы по крайней мере отнестись к этому более чутко. До сих пор он никогда не замечал такой непреклонности в характере Маргарет.

Она готовилась к последним экзаменам на степень бакалавра медицинских наук и, кроме того, принимала деятельное участие в антивоенной пропаганде. Контраст между ее методическими занятиями, ее целесообразной деятельностью и его собственным существованием раздражал его. Для поддержания собственного достоинства он чувствовал себя вынужденным преуменьшать все, что делала она, и преувеличивать свою собственную деятельность. Любовная нотка в их переписке сменилась оттенком пререкания.

Он начал поносить в своих письмах убежденных противников войны, в частности Тедди. Тедди сделался воинствующим антимилитаристом и сидел в тюрьме. Теодору казалось, что Маргарет уделяет этому слишком много внимания. Она была целиком на стороне Тедди, она восхищалась им.

Теодор смутно чувствовал, что расхождение между ним и Брокстедами было гораздо глубже простых расхождений по поводу войны. Это было давнишнее расхождение, возникшее с первых же дней их знакомства. Война была только пробным камнем, выявившим нечто гораздо более существенное в их мировоззрении. Уже много позже ему довелось узнать всю глубину бездны, разделяющей их, но он и сейчас остро ощущал эту рознь и возмущался Маргарет. Она не понимает его, жаловался он, и под этой жалобой скрывался, быть может, смутный неосознанный страх — прозреть и понять ее. А что, если вместо очаровательной актрисы, готовой участвовать в его драме, он увидит такое же невыносимое существо, как он сам, движимое такими же повелительными импульсами?

Затем пальцы огромной руки, появившейся нежданно, схватили Теодора и сомкнулись. Кому-то свыше пришла в голову неприятная мысль прочесать штаты слу-

жащих в Парвилле, состоящие главным образом из легкораненых, и отозвать всех, кроме калек и выбывших из строя вследствие тяжелых увечий. Чертежники, повидимому, были уже не так необходимы, как раньше; изрядное количество более или менее пострадавших художников и фотографов оказались пригодными. Теодор очутился перед лицом пожилого врача в военной форме. Он подвергся суровому допросу.

— Вам нет никакой необходимости оставаться здесь. Ни малейшей. У нас имеется человек по имени Баркер, и у него два молодца, которых он обучает для нас. Они могут мигом поправить ваше колено. Их называют костоправами. Они не имеют никакой квалификации. Никакого права заниматься лечебной практикой — во всяком случае, Баркер не имеет права. Ни малейшего. Но нам теперь не приходится быть слишком разборчивыми. Он может сделать, а мы не можем. Ловкость рук. Просто какой-то фокус. Совершенно не профессионально. Выпустит вас в полном порядке, таким, каким вы были. Давайте попробуем...

Он сделал какую-то заметку.

Теодор следил, как он писал.

— Я не хочу оставаться здесь,— сказал он немножко поздно в ответ на невысказанное осуждение в тоне доктора.— Я сделал все, что мог, чтобы остаться на передовых позициях.

— Конечно. Конечно. Вы совершенно правы. Я не вижу, почему бы вам не вернуться туда.

Это было волнующее переживание.

Теодор не мог заснуть всю ночь, так это его взволновало. Ему вспомнились окопы, они вставали в его памяти целой серией живых картин. А когда он задремал, ему представилось, что он уже там, дрожа, стоит на посту и смотрит на скользящие тени. И вдруг они расплываются, и снова перед ним вырастает страшный призрак отвратительной черной собаки.

Снайпер, чудовищный снайпер, с лицом военного доктора, целился в него, и он, леденея от ужаса, не мог двинуться с места и спрятаться. Дуло винтовки надвигалось все ближе, становилось все шире и, казалось, нащупывало самое чувствительное место в его теле. Он пытался крикнуть «камрад», но не мог издать ни звука. Он

проснулся в холодном поту и лежал в ужасе с широко открытыми глазами.

Не откладывая, он написал леди Бруд, напоминая ей слова сэра Люсьена, который сказал, что спустя некоторое время ему можно будет подать прошение о производстве в офицерский чин. Это дало бы ему возможность вернуться в Англию для обучения, вместо того чтобы тотчас же отправиться на фронт. Он все время помнил об этой возможности, с той самой минуты, как ему указали на нее, а теперь она обратилась для него в своего рода долг. Первый пыл войны, когда сын кухарки и сын герцога шли служить рядовыми, уступил место более практическому умонастроению. Теперь ощущался большой недостаток в молодых людях с мировоззрением высших и средних классов, которое военные власти считали необходимым для успешного командования, так что лицам, принадлежащим к этой категории, было сравнительно легко получить офицерский чин.

Теодор несколько беспокоился по поводу того, какой рапорт написал Ивенс о первых неделях его пребывания в окопах и об истинных причинах его перевода в чертежное бюро штаба дивизии. Но рапорт так и не был подан. Он напрасно беспокоился. От Ивенса остался теперь только изгрызенный крысами череп, обломки костей, лохмотья, заржавленные ручные часы — все это, смешавшись с землей и осколками снарядов, тлело среди разбитых пней в зловонном лесу под Аррасом, а взвод Д, заново сформированный, не сохранил характеристики Теодора — ему было не до того.

Костоправ произвел на Теодора впечатление вполне сведущего медика,— это был смуглый, плотный молодой человек с большими красивыми руками, с лицом, выражавшим суровую и непреклонную искренность. Он чем-то напомнил Теодору Тедди.

— Итак, вы хотите вернуться на фронт? — сказал он, небрежно ощупывая онемевшее колено.

— Каждый должен исполнить свой долг,— ответил Теодор.

— Ну да, разумеется. Но вот хотел бы я знать...

Он откинулся на спинку стула, задумчиво глядя на Теодора и на его вытянутую ногу. Он переводил взгляд с ноги Теодора на его лицо и опять на ногу. Казалось,

будто он разговаривает с ногой. От времени до времени он наклонялся к ней.

— Н-да, дурацкое это дело... Я думал заняться исследовательской работой по медицине, когда эта проклятая война перевернула все вверх дном. Я просто как-то растерялся, когда началась война. Все мы, должно быть, растерялись. Верно, и вы тоже? Я решил пойти в санитары. Думал, что это ни к чему не обязывает. Мне претило убивать людей, хотя бы и профессиональным способом. Очень претило. Но, как видите, я поступил неосторожно, и как-то так вышло, что меня послали сюда обучать этому делу. И теперь я занимаюсь тем, что изо дня в день возвращаю обратно на фронт этих бедняг, которые только что приковыляли к безопасности. Изо дня в день. Хуже, чем убивать немцев. Ведь мне приходится возвращать на передовую людей как раз тогда, когда они чувствуют, что у них есть законное основание выбраться оттуда. Имею ли я право посылать человека обратно,— конечно, если я знаю, что ему вовсе не хочется возвращаться?

В его молчании чувствовался вопрос.

Теодор дал ему сказать все это, не прерывая его. Он тоже смотрел на свою вытянутую ногу. Человек предлагал оставить его хромым до конца войны. Это было большим соблазном — Теодор втайне только и мечтал об этом.

— Меня с каждым днем все больше тошнит от моей работы,— продолжал костоправ.

— Я должен вернуться назад,— промолвил Теодор.

— Не придавайте значения моим... беглым мыслям,— сказал костоправ.— Конечно, если вы считаете, что должны вернуться, это упрощает дело.

Молодые люди встретились взглядом.

— Я должен вернуться,— сказал Теодор, не скрывая, что он понял предоставлявшуюся ему возможность. Мысли его текли быстро и бессвязно. Раскрыть ли ему свою душу перед самим собой и перед этим человеком, поддаться неудержимому чувству отвращения к фронту? До сих пор никогда, даже самому себе, он не признавался, как велико это отвращение. Сделать это теперь — значит сдать все свои позиции, занятые им с самого начала войны.

Что думает о нем доктор? Он смотрел на него дружелюбно. Что он подумает, если Теодор выдаст обуревавшее его желание сохранить хромоту?

— Я должен вернуться,— повторил Теодор.

— Я должен увидеть все до конца,— произнес Бэлпингтон Блэпский.

— Не подумайте, что я предлагаю вам какой-то выход,— заметил молодой доктор.

Но разве он на самом деле не предлагал?

— Разумеется, нет,— сказал Теодор.— И пусть вас не тяготит, что я из-за вас снова тотчас же попаду в окопы. Я подаю прошение о производстве.

— Это уже несколько отраднее,— сказал доктор.— Во всяком случае, у вас будет хоть передышка — Англия, домашний очаг, что-то хорошее... Ну, что же...

Он занялся коленом.

— Это легкий случай. Я думаю, лучше вас захлороформировать, а завтра уже все будет в порядке, хоть танцевать.

Вошел помощник, грузный пожилой человек, с грустными глазами, и деловито приготовил все необходимое. Когда Теодор пришел в себя, доктор уже опускал засученные рукава.

— Тошнит?

— Нет.

— Как вы себя чувствуете?

— Боли нет.

— Согните ногу.— Теодор согнул.— Как вы думаете, можете вы встать? — Теодор встал.— Топните ногой.

— Не могу.

— Нет, вы можете, топните.

Теодор исполнил приказание.

— Все в порядке. Это прием Баркера. Обыкновенный врач разрезал бы хрящ и оставил бы вас хромым до конца ваших дней. А теперь, сэр, вы можете, если желаете, отправиться на войну. И даже, если вы не желаете.

Костоправ подождал, пока помощник вышел из комнаты.

— Слушайте,— сказал он, понизив голос.— Что это за черная собака, которой вы бредили?

— Я бредил черной собакой?

— Да. Она бегала и грызла трупы. Прескверная черная собака. Она как будто обладала безграничной способностью увеличиваться... Вы говорили еще о разорванных на куски людях, о вываливившихся внутренностях. Красные внутренности. Куски печени. По-видимому, вы не ожидали увидать такую бойню. В наше время снарядов и бомб и всего прочего, чем швыряют в вас, где попало и как попало, животам со всеми их внутренностями достается больше, чем они привыкли. Следовало бы подготовлять новобранцев к таким неожиданностям. У вас, по-видимому, был шок. Довольно скверный шок. Не знаю, оказал ли я вам услугу, отправив вас обратно на фронт.

Теодор, все еще находившийся под действием хлороформа, утратил способность рисоваться.

— Я и сам не знаю,— сказал он.— Но ведь я сначала поеду в Англию.

— Ах, да! Небольшая отсрочка. Ведь в Англии нет черных собак. Нет. И мало ли что может случиться.— Он выглянул в разбитое окно.— Эта работа в полевом госпитале,— сказал он,— похожа на ловлю людей, которые выбегают из горящего дома, а ты ловишь их и бросаешь обратно в огонь. Немногие признаются, что они действительно чувствуют. В затруднительное положение мы попали. М-да... В лагерь пацифистов теперь уж, пожалуй, поздно переходить. Гм... Если исключить медицину, прескверный это мир...

Он протянул Теодору большую крепкую руку.

— Желаю удачи,— сказал он.— Советую вам не встречаться на полдороге с черными собаками, когда есть возможность их избежать. И не думайте больше о людях, разорванных на куски. Вполне естественно, что куски шевелились. Что же можно ожидать другого? Но какой прок теперь думать об этом?

— Я и не думаю,—сказал Теодор.

— Вы не знаете, что думаете,— возразил доктор,— но подсознательно вы думаете.

Он смотрел пустым взглядом мимо Теодора, потеряв к нему всякий интерес.

— Хотел бы я знать, что, собственно, они могут со мной сделать, если я вообще откажусь от этой работы,— пробормотал он.

2

ОБЕСКУРАЖИВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКА ДЯДИ ЛЮСЬЕНА

Впечатление, произведенное на Теодора этой встречей, стало отправным пунктом целого ряда мыслей. Сомнения костоправа вызвали в нем беспокойство. Они обнажали сущность вещей, изобличали позерство; было что-то непонятное и непристойное в откровенном равнодушии этого человека к войне. Напротив того, старый доктор был совершенно понятен Теодору. Он считал, что каждый молодой англичанин, когда Англия воюет, должен проникнуться воинственным духом и вести себя соответственно, а все, что подрывает этот воинственный дух, должно подавляться. Если человек испытывает страх,— он не должен признаваться в этом. Если ему ненавистна мысль об окопах, он должен делать вид, что всей душой рвется к этому зловонию, грохоту и ужасу. Это не ханжество. Это — умение владеть собой и держаться на высоте. А это и значило всецело и искренне быть Бэлпингтоном Блэпским. Если ты страшишься опасности, иди ей навстречу — чтобы не бежать от нее — или по крайней мере старайся изо всех сил идти ей навстречу.

Вот ясный и простой образ действий молодого англичанина, когда Англия находится в состоянии войны. И таков был молодой англичанин, которым Англия, включая и его самого, могла гордиться. Но этот костоправ из тылового госпиталя, так же как Маргарет и Клоринда, по-видимому, не считал воюющую Англию фоном некоего драматического действия с его личным участием. Всем своим поведением, всем своим отношением к делу он показывал, что эта война вовсе не мужественная борьба великого народа за ясные и благородные цели. Он не желал видеть этого, и они не желали и все более и более откровенно давали это понять. Они считали войну насилием, которое следует отстранить и подавить. Они не видели за всем этим угрозы цивилизации, угрозы, с которой надо было храбро бороться. Они так же мало ожидали хорошего от победы Англии, как и от ее поражения. И все они в различной мере влияли на сознание Теодора. Тенью своих глубоких сомнений они

грязнили его доблесть. И без того было трудно смело смотреть в лицо событиям, и без того было трудно жертвовать своей жизнью, если даже война и была прекрасным подвигом, каким она должна быть, но они незаметно внушали ему, что война — это нечто совсем другое, просто зверская грубость и жестокость, и все порядочное и честное нужно вырвать из ее пасти любой ценой, поступившись ради этого всякой условной гордостью и честью.

— Мужественный благородный человек,— прошептал Теодор, проснувшись на рассвете и глядя на тоненький луч, который просачивался сквозь ставни его парвилльской спальни.

Фраза показалась ему лишенной смысла. Она больше не поддерживала его, как раньше, когда он ехал на фронт.

И вот так-то Теодор с незаметно подточенным сознанием вернулся в Англию, ко всем ее многократно увеличившимся трудностям. Тетя Миранда своевременно позаботилась о том, чтобы сэр Люсьен пустил в ход свое влияние и связи, и Теодор был отозван для обучения и подготовки к производству в офицеры.

Лондон показался ему сильно одичавшим, грязным, лихорадочным, притихшим. Уличное движение заметно сократилось, а темнота и выжидающая пустота улиц в ночное время действовали угнетающе.

Воздушные налеты, производившиеся теперь боевыми аэропланами — фаза цеппелинов миновала,— больше утомляли, чем волновали его. Он презирал людей, прятавшихся в подвалах и под арками домов. На него теперь не действовали налеты. Нервы его перестали реагировать на них. Разрывные ракеты не ускоряли биение его пульса. По сравнению с Францией, с французским фронтом Лондон представлялся ему бесконечно более безопасным, во всяком случае, для его тела. Но что касалось душевного покоя Бэлпингтона Блэпского,— Лондон был для него гораздо более опасен, чем скучная рутина Парвилля.

У Теодора произошел разговор с сэром Люсьеном, и ему чрезвычайно не понравилось то, как сэр Люсьен разговаривал с ним. В некотором отношении образ мыслей сэра Люсьена оказался гораздо более пагубным для ду-

шевного спокойствия Бэлпингтона, чем образ мыслей Маргарет.

— Нечего тебе торопиться в этот твой батальон,— говорил сэр Люсьен с медоточивой убедительностью.— Я знаю, ты горишь желанием вернуться и быть разорванным на куски и все такое, но тебе следует подумать о матери и обо всех тетках. А что еще важнее, я должен о них думать. Не зря же я женился на одной из десяти сестер, как ты думаешь? Шутки в сторону, мой мальчик, есть вещи поважнее, чем вязнуть в болотах или увертываться от снайперов. Это, говоря откровенно, ни к чему не приведет ни тебя, ни меня, ни родину. Ты уже присмотрелся к делу в Парвилле, и черт знает как досадно, что эти деревянные башки посылают тебя на фронт именно теперь, когда ты мог бы быть мне полезен. Мне нужно, чтобы ты сидел в Парвилле, ты или кто-нибудь вроде тебя. Или в Отейле. Туда теперь понаехали американцы и, конечно, не только для того, чтобы драться с немцами. У них есть нюх, можно не сомневаться. Воспитаны на покере. Эта война на много фронтов, мой мальчик, и кто ее выиграет, об этом мы сможем судить по тому, кто с чем останется после нее. Будь моя воля, я бы постарался выиграть войну без союзников, с одними англичанами, будь что будет. Понял мою мысль?

Теодор старался казаться непонимающим из боязни оказаться заговорщиком.

— Ты подавай прошение о производстве, мой мальчик,— продолжал Люсьен.— Это будет правильно. Но после этого, если я сумею доказать, что ты для нас незаменим,— тогда уже придется тебе бросить свои фантазии и не лезть пустой славы ради под жерло пушек, как говорит добрый старый Шекспир. На некоторое время, во всяком случае. Я не хочу тебя разочаровывать, но так обстоит дело.

— Конечно, если я больше нужен там,— сказал Теодор,— если я могу таким образом больше приносить пользы своей стране,— я согласен. Но я бы предпочел остаться в рядах. Уверяю вас, сэр. Безо всяких привилегий. Вы действительно считаете, что я незаменим?

— Спроси тетушек,— засмеялся сэр Люсьен.— Спроси всех твоих благословенных тетушек!

Теодор вспыхнул.

— Не нравится мне это,— сказал он.

— Ты хочешь сказать?..

— Не нравится мне, что другие тем временем будут драться. Честное слово, не нравится.

Возможно, что улыбка сэра Люсьена была несколько скептической.

— Ну, ну,— сказал он.— Не каждый волен выбирать себе дорогу. Что говорит старик Мильтон? «Те служат также, кто стоит и ждет». И в этом сейчас все дело, мой мальчик. В этом все дело.

— Возможно,— отвечал Теодор.— Но я, кажется, готов пожелать, чтобы у меня не было такой деловитости.

— Ну, ну, ну, мой мальчик. Ведь нам придется продолжать работу и после войны,— сказал сэр Люсьен. И, помолчав, прибавил: — Мы еще доживем до того, что ты будешь моим компаньоном.— И он с преувеличенной нежностью похлопал Теодора по плечу.

Рассказывать об этом разговоре не стоило. Но обдумать этот разговор следовало. В конце концов это было только предложение. Ничего не было решено. Итак, он не счел нужным осведомлять других, что ему не грозил естественный удел пехотного офицера — удел, который в то время сводился в среднем к четырем-пяти месяцам существования до заключительного нокаута. Он не хотел об этом думать. Эта неопределенность его собственных перспектив еще более усиливала его негодование против тех, кто лишал души эту великолепную войну, избегая, умаляя, обесценивая ее, сопротивляясь ей. Она усиливала спокойный героизм его поведения в кругу новых друзей Маргарет и Тедди, с которыми он проводил свободное время, то, что удавалось урвать от сложной процедуры обращения из рядового солдата в украшенного звездочками джентльмена.

3

ВЕЛИКИЙ СПОР

Жизнь в Лондоне заметно притихла. Продукты питания были нормированы, их было далеко не так много, как в Париже. У сэра Люсьена в Эдгвере был довольно

хороший стол; недостаток мяса он восполнял не подлежащей учету олениной из парка одного своего приятеля в Бэкингемшире, и Теодор с удовольствием оставался у него раза два с субботы на воскресенье. Общество состояло преимущественно из стариков и пожилых людей, а сэр Люсьен был по уши погружен в свои деловые патриотические операции. Теодор играл в гольф с более подвижными приятелями сэра Люсьена. О войне не было никаких разговоров. Они устали от разговоров о войне. Они поддерживали с ней чисто деловые отношения, и этого было достаточно. Нового ничего нельзя было сказать, и самое большее, что они могли сделать для юного героя накануне его перевоплощения,— это составить с ним партию в гольф или бридж.

В Лондоне все свободное время Теодор проводил с Маргарет, и она навещала его. Она познакомила его со своим кружком отщепенцев, которые пассивно или активно сопротивлялись войне, и они да кое-кто из пристроившихся в тылу «незаменимых» сотрудников министерств и служащих молодых женщин, заполнявших штаты военных учреждений, и составляли главным образом общество Теодора. Они с избытком возмещали отсутствие разговоров в Эдгвере. Рэчел все еще была в Бельгии, но Мелхиор встретил его очень дружески и показался ему хорошо упитанным и энергичным. Мелхиор устраивал маленькие вечеринки (выпивка, сигары, сардинки, копченая лососина и жареный картофель) в квартире, где когда-то Теодор наслаждался любовью Рэчел, и Теодор устраивал вечеринки у себя дома (выпивка, сигары, жареный картофель, копченая колбаса, миндаль и оливки), и молодые люди из министерств устраивали вечеринки (чай, кофе, крепкие и легкие напитки, папиросы, закуски) в самых разнообразных местах. Мюзик-холлы посещались очень бойко, и все кафе и рестораны в районе Пикадилли и Лейстер-сквер были полны оживления и света за плотно закрытыми ставнями.

В этом юном кругу великий спор, начавшийся для Теодора три года тому назад на барке, в заводи под Мейденхэд, теперь снова возобновился, значительно разросшийся и усложненный. Он пускал свежие ростки на любой почве, врастая в любую область человеческой жизни. Так, например, он до неузнаваемости искалечил

любовные отношения Теодора с его возлюбленной, как искалечил он миллионы любовных отношений, превратив их в нечто абсолютно непохожее на какие бы то ни было романические отношения довоенного времени.

Поскольку здесь идет речь о Теодоре,— для него это был спор с Маргарет и Тедди, с Клориндой, профессором Брокстедом, сэром Люсьеном, кое с кем из парижских читателей иллюстрированных журналов, с некоторыми случайно встречавшимися ему видными людьми,— а по существу, во всей своей совокупности, этот спор и поныне продолжается, разрастается и будит эхо во всем мире. Каждый отголосок этого спора задевал сознание Теодора; оно откликалось, вторило, отвечало, изменялось, сопротивлялось. Теодор читал теперь левые антимилитаристские журналы, которые были запрещены во Франции; он знакомился с людьми и встречал откровенность, с которой ему не приходилось сталкиваться там. Он разговаривал с измученными окопной жизнью, искалеченными юношами, которые могли только проклинать стариков, стоящих у власти, и утверждать, что они находят садистское удовлетворение, обрекая на гибель молодежь. Были среди них и такие, которые в малодушии вымещали свою бессильную ярость на женщинах. И такие, которые все еще не утратили гордо-воинственного духа и без конца ругали за бездействие военные власти.

Он узнал, что существует движение «Долой войну». Что была сделана попытка объединить все радикальные и социалистические партии мира на социалистической конференции в Стокгольме. Они должны были свергнуть свои воюющие правительства. Кто бы мог это подумать в 1914 году? В Англии шла мощная агитация за то, чтобы принудить правительство объявить «Цели войны». Никогда до сих пор человечество не поднималось до таких ступеней самоанализа. Впервые начинали всерьез говорить о том, что такое война, каковы причины войны, а вся эта игра на сантиментах и романтические бредни, приведшие к катастрофе, подвергались суровому осуждению. Увлекаемые бурным течением событий, люди отрекались от старых мерил. Сознание, что на земле возможен мир, правда, еще не зачатый, не рожденный, но мыслимый, воодушевляло пацифистов и неотступно

досаждало Теодору. В этом споре у сторонников войны была более прочная опора, чем у их противников. Они могли взывать к подлинной действительности; они опирались на установленные порядки и на общепринятые нормы поведения. На их стороне была история. Противники опирались на убеждение, более широкое и, по существу, может быть, более здравое, но гораздо менее отчетливое. Это были пока еще только туманные наметки на то, что должно быть. Многое в этом новом движении против человеческой распри волей-неволей из-за отсутствия выбора вылилось просто в пассивное сопротивление, в отрицание существующего порядка вещей. Это движение, основанное на недоказанных положениях, производило впечатление чего-то надуманного, неестественного. Приверженцы его чувствовали свою правоту, но не могли не видеть, что у них много пробелов. Это вносило в их сопротивление, в их протесты неприятный, раздражающий оттенок, их правота была непривлекательной правотой, у нее не было ни музыки, ни знамен. Они цеплялись за нее, но она не завладевала ими.

В мозгу Теодора шла борьба, она разворачивалась внутри и вне его сознания. С одной стороны, была жизнь романтически приподнятая, отвечающая всем высоким традициям, жизнь, в которую он с самого детства прятался от угрозы действительности, импульсам и условностям которой он всегда повиновался, ведя себя героически даже теперь, когда они толкали его к лишениям, страданиям и смерти; с другой стороны, была жизнь неизведанных возможностей, ее не страшило никакое осуждение, и это открывало перед ней необозримые просторы, давало ей неслыханную мощь. Трусость как будто тесно переплеталась с жаждой возвышенного. В чем была бо̀льшая ложь? В лицемерии настоящего или в обетах будущего? С Маргарет и в присутствии Маргарет противоречия между этими двумя сторонами в великом мировом споре, в котором участвовало сознание Теодора, становились особенно резкими. Маргарет была так похожа на юную трагическую возлюбленную героя войны, и она так категорически отказывалась от этой роли.

С ее стороны требовалась только незначительная уступка, чтобы придать сентиментально-трагическую пре-

лесть их жизни в Лондоне. Ей — так ему казалось — было не только легко, но даже естественно играть роль, соответствующую его благородной роли. Так приятно было ходить по Лондону, где на каждом шагу чувствовались следы войны, в новеньком офицерском мундире, который действительно очень шел ему, и водить Маргарет в рестораны, куда был запрещен вход простым рядовым. И у него могло бы быть чувство, что наконец-то он покончил со всеми сложностями войны. Маргарет могла бы просто дать понять ему, что Тедди сбился с пути, что он поступает недостойно. Потому что, ведь правда же, он и в самом деле ведет себя недостойно. А тогда, как все было бы хорошо!

Но нет, она этого не хотела. Она изменилась и продолжала меняться. Она уже была не той кроткой, испуганной, грустной девушкой, какой была в начале войны. В ней появилась какая-то несвойственная ей решительность. И даже какое-то себялюбие. Она усердно готовилась к выпускным экзаменам, и было очевидно, что она не позволит ни любви, ни страсти мешать ей в ее занятиях. Ничего похожего на ту прежнюю Маргарет, которая была так покорна и смотрела на него глазами, полными слез. Она приходила к нему, отдавалась ему, правда, с пылкой сердечностью, но без восторга. Первая свежесть юности, новизна любовных желаний, непосредственность страсти миновали для них обоих.

4

ЛЮБОВЬ И СПОРЫ

Они любили и ссорились. Ссорились без конца: из-за Стокгольмской конференции, из-за целей войны, из-за борьбы с войной, ссорились от всего сердца; это уже были не просто любовные стычки; Теодор, обвинявший всех социалистов и интернационалистов в том, что они стали орудием тайной антибританской организации, вынужден был для подкрепления своих обвинений сослаться на какую-то свою особую секретную осведомленность.

Он стал употреблять выражение: «Мне достоверно известно»,— которому суждено было впоследствии перейти у него в привычку.

— Видишь ли, Маргарет,— говорил он,— я не просто фронтовик. Я делал там порученное мне дело, готов делать его и теперь. Но,— загадочно-многозначительным тоном,— есть вещи, о которых...

— Теодор! — внезапно спросила Маргарет.— Что такое, собственно, было с твоим коленом? Никаких следов. Покажи-ка! Согни ногу.

Теодор замялся и солгал.

— Не знаю, право,— улыбнувшись, сказал он.— Теперь как будто все в порядке, а как по-твоему? Наверно, задело осколком снаряда или, может быть, обломком бревна, когда землянка обрушилась. Так, только задело, слегка. Были кровоподтеки, болело, а потом, когда поджило, оказалось смещение сустава. Мне сделали маленькую операцию, вправили его, вот и все.

— Сколько времени ты был на передовых позициях?

— Постой-ка... дай вспомнить... да... несколько месяцев.

— Тебе приходилось убивать?

Он задумался.

— Не знаю.

Потом прибавил:

— Видишь ли, нам почти не приходилось видеть живых немцев. Конечно, за исключением тех случаев, когда бывали атаки. Мы стреляли в них, бросали ручные гранаты. Пулеметы работали вовсю.

— А людей около тебя ранило, убивало?

— Я просто не могу говорить об этом,— сказал он вполне искренне.— Но нельзя же воевать, ничего не разрушая.

Она задумалась, подперев рукой подбородок.

— Это бессмысленно,— промолвила она.— И отвратительно. А когда мы хотим покончить с этим, нам не дают.

Это был все тот же стокгольмский припев.

— Нельзя сейчас покончить,— сказал он.— Надо биться до конца.

Они опять заспорили.

— Ты не понимаешь,— настаивал он.— Надо биться до конца. Нельзя допустить, чтобы наполовину разбитая Германия снова оправилась.

— Германия,— повторила Маргарет.— Германия, Франция, Британия, империя... Мы... Что значат все эти слова?

— Действительность, самая настоящая действительность.

— Нет,— возразила Маргарет,— это ложь. Спроси Клоринду. Она как-то говорила об этом. Как хорошо иногда говорит твоя мать! Как это она сказала? Всех нас ведут на убой из-за философского заблуждения. Нет большей лжи, говорила она, чем ложь этих громких, напыщенных слов. Британия! Германия! Какая жвачка! Действительность — это миллионы людей, которые жмутся друг к другу из страха, из низменных побуждений, из алчности. Шелли знал это сто лет назад. Ты никогда не читал Шелли? О, Шелли замечателен! Он называл анархами эти правительства. Анархия! Нет, ты только послушай! Ты думаешь, что участвуешь в войне, а на самом деле ты просто слепо идешь туда, куда тебя толкают. Это так же верно, как то, что я люблю тебя, Теодор. Тедди прав. Тедди всегда был прав. Он всегда смотрел правде в глаза. И вдумывался. Если существует какой-то выход, он найдет его. А ты, ты просто уступил и расшаркался. И перестал думать. Вот это-то и ужасно — ты совершенно перестал думать.

Все это страшно возмущало Теодора. Как это он не думает? Он думает не меньше ее. Только думает по-своему. Он попытался восстановить свой авторитет.

— Ты говоришь, смотреть правде в лицо,— сказал он.— Но чему, собственно, вы — ты и Тедди — смотрите в лицо? Ничему. Легко повернуться спиной к войне...

— А разве он повернулся спиной? — спросила Маргарет.

— ...и говорить всякие там слова — о человечестве, о всемирном государстве и прочее. Но где же оно, это пресловутое всемирное государство? Покажи мне его.

Маргарет обдумывала ответ.

— Оно там, где есть люди, которые верят в него,— сказала она.

Она сидела на низенькой кушетке, и ему казалось, будто она повторяет заученный урок.

— Я скажу тебе, во что я верю. Нам нужно понять друг друга. Патриотизм — это не то. И национализм —

не то. Да. Ты не веришь этому, а я верю. Я знаю, для тебя это звучит нелепо и оскорбительно, ну, а я в это верю. Я верю, что настанет время, когда последних патриотов, бряцающих оружием, будут преследовать, как разбойников. Или запирать, как сумасшедших. Всемирное государство — единое всемирное государство. Вот во что я верю. Ах, я не могу объяснить тебе, как и почему. Но к этому мы идем. Иначе не стоит жить. Ты спрашиваешь, где это всемирное государство. Это совсем не такой неразрешимый вопрос, как ты думаешь. Если хочешь знать, оно здесь, оно уже существует. Только сейчас оно задавлено и еще не собралось с силами. Его нужно поднять, освободить. Как законного наследника, чьи владения были захвачены мятежниками и самозванцами. Растоптано вконец, говоришь ты. Ну так что же? Тем более оснований для нас быть ему верными. Тем более оснований сплотиться против нашего правительства, против их правительств, против всех, против всего на свете, против самозванцев и захватчиков, которые стоят за разделение и войну. Неужели это не ясно?

— Маргарет,— сказал Теодор,— у тебя прелестнейшее личико в мире. И прелестнейший голос. Когда ты говоришь вот так, ты точно пророчествующая Сивилла. Ты так прелестна! Но послушать, что ты говоришь,— кажется, будто это неразумный ребенок.

— Нет,— ответила Маргарет и, обхватив колени руками, внезапно посмотрела ему в лицо.— Это ты ребенок. А я уже выросла. И ты помог мне вырасти. Да, ты. Разве не ты сделал меня женщиной? В этой самой комнате? Это, и война, и многое другое изменили меня. Ты живешь в какой-то детской сказочной стране. Ты, как мальчик, воображаешь себя действующим лицом в какой-то пьесе. Ты всегда разыгрывал из себя кого-то. И продолжаешь разыгрывать! И неужели я только теперь поняла это? А в Блэйпорте? Может быть, тогда я не могла этого заметить? Ты играешь. Ты выбираешь себе роль и играешь ее. Я женщина, и мир кажется мне страшным. Но я смотрю на него. Я смотрю ему в лицо. И я принимаю не все, что он мне показывает. А ты все еще играешь в солдатики.

Это уязвило его, но он постарался скрыть обиду.

— Нет,— сказал он, улыбнувшись,— ты не назвала бы это игрой, если бы побывала там. Игра! Боже милостивый!

— Это игра в ужасы. Ужас никогда ничего не облагораживал.

Ее открытый взгляд искал подтверждения в его лице.

Он опустил глаза перед ее взглядом.

— Я не мог поступить, как Тедди,— тихо сказал он.

Они помолчали несколько секунд.

— Да,— согласилась она очень мягко,— может быть, ты не мог.

При этих словах в нем вспыхнула злоба.

— Изменить своему долгу,— сказал он.— Спасать свою шкуру!

— Тедди! — воскликнула она, уязвленная.— Мой брат? Спасал свою шкуру!

— Ну, ты подумай сама!

Они смотрели друг на друга.

Она медленно поднялась. Остановилась в нерешительности.

— Сколько времени ты, говоришь, пробыл в окопах? — спросила она сдавленным голосом и вдруг заплакала.

Отвернувшись от него, она всхлипывала, как горько обиженный ребенок. Она предоставила ему самому угадать, что скрывалось в ее вопросе. Что она знала? О чем подозревала? Она стала неловко одеваться дрожащими руками.

— Тедди трус!— шептала она.— И это сказал ты. И ты мог!

— Послушай...— начал он и не окончил.

В ее голосе зазвучало негодование:

— Я знала, тебе давно не терпелось сказать мне это, и вот ты и сказал.

Она продолжала одеваться. Он молча присел на корточки на полу. Через несколько секунд он вскочил на ноги. Он подошел к окну, повернулся и начал ходить по комнате.

— Послушай,— начал он взволнованно, размахивая руками,— рассуди сама, как обстоит дело. Рассуди так, как это вынужден делать я. Сколько бы времени я ни

был в окопах, я там был. На той неделе у меня будет экзамен. И выдержу я его или провалюсь — все равно, я поеду обратно. Рядовым или офицером. Я смотрю на это не так, как ты и Тедди. Для меня и долг и честь там. Конечно, это ужасно, но это нужно пережить. Я не верю в ваш всемирный мир. Мир во всем мире! В ваше всемирное государство. Это чепуха. Это предлог. Верил ли в это Тедди? До войны? Вот о чем я спрашиваю. Если он не верил до войны, так какое право он имеет верить теперь? Легко чувствовать отвращение к войне, когда она уже идет. Боже мой!

У него не хватало слов.

Она продолжала застегивать крючки и пуговицы, пока он произносил эту речь. Когда он сказал все, что мог сказать, она сидела молча некоторое время. Но выражение гнева в ее глазах сменилось каким-то удивлением. Она кончила одеваться, а он стоял неподвижно, положив руки на бедра, и смотрел на нее, словно ожидая ответа. Она посмотрела на его голую фигуру, застывшую в неестественной позе. Лицо ее смягчилось. Она сделала было движение к нему, но потом опять села на кушетку.

— Теодор, милый,— сказала она.— Ведь я люблю тебя. Я хочу сказать тебе это. Я всегда любила тебя. С тех пор, как ты пришел к нам пить чай. Помнишь? Когда Тедди привел тебя к чаю? С пляжа... Я совсем не хотела обидеть тебя, когда говорила. Не обращай на это внимания. Но я ничего не понимаю — все на свете оказывается не таким, как я ожидала. И это, это тоже...

Она сидела, опустив глаза, глядя в пол. Казалось, она глубоко задумалась.

— Я часто мечтала об этом. То есть о тебе. О том, что ты влюбишься в меня. Может быть, я была совсем не так холодна, как ты думал. А теперь мне кажется, что это уж не так важно, совсем не так важно. Как будто все, что мы тогда считали прекрасным, перестало быть таким прекрасным. Эта война все как-то совершенно исказила... Ах, как все это противно! — воскликнула она.

Ей хотелось что-то объяснить, но она не находила слов.

— Прошлой ночью мне приснился глупый сон... Ведь

от снов никуда не денешься. Мне снилось, будто ты изменился. Это был ты, но как будто из зеленого стекла. И ты делал... что-то странное... не важно, что. Такой нелепый сон. Мне казалось, будто я вижу все в тебе и сквозь тебя. И твое милое лицо уже было не похоже на твое лицо — сквозь него было что-то видно. Ну, все равно! Я не могу рассказать этого. Это не было похоже на тебя. И все-таки целый день сегодня это не выходит у меня из головы. Если я была сегодня не такая, как всегда... Но, слушай, Теодор, конечно, я и теперь люблю тебя. Я должна любить тебя. Мы всегда любили друг друга. Мы оба. И ничто не может этого изменить, хоть бы двадцать войн. Я всегда говорила,— так должно быть. И вот что получается. Я одета, а ты стоишь раздетый, и мы говорим друг другу речи. Длинные речи. Разве мы с тобой об этом мечтали?

— Но тогда почему же ты всегда на стороне тех, кто нападает на меня? Почему ты стараешься переубедить меня? Говоришь мне такие ужасные вещи?

— Но я вовсе не нападаю на тебя. Просто я не могу думать иначе — по-моему, война — это что-то такое чудовищное и бессмысленное, что мириться с этим нельзя. Ну что я могу с собой поделать?

— Надо набраться мужества,— сказал Теодор.

— И бороться против войны,—подхватила Маргарет.

— Нет, на войне.

— Ах, опять...

И пропасть, разделявшая их, снова открылась.

Они замолчали в глубоком смущении. Вдруг она поднялась и протянула к нему руки, и он обнял и прижал ее к себе.

— Мой Теодор!—сказала она, целуя его.— Мой Теодор, с пушистыми волосами и янтарными глазами.

На мгновение все растворилось в любви и нежности.

— Любимый мой,— говорила она.— Мой самый, самый дорогой, любимый Теодор. Но что же это случилось с нами? Что на нас нашло? Стоит нам только встретиться, как мы начинаем ссориться, но ведь мы же любим друг друга.

Ее вопрос остался без ответа. И ведь нельзя всю жизнь держать друг друга в объятиях.

— Мне пора идти.

— Тебе пора идти. Но ты придешь?
— Приду.
— Завтра?
— Завтра.
Он горячо поцеловал ее.
— Прощай, моя дорогая. Любимая, прощай.

5

КЛОРИНДА ТОЖЕ

Когда Теодор в первый раз после своего возвращения увидал Клоринду, у него было чувство какого-то странного удивления. Она изменилась. Постарела. У нее стала какая-то другая кожа, и ее пышные, блестящие волосы тоже стали другие — они не поседели, а потускнели,— и в очертаниях лица появилось что-то новое, мелкие морщинки и черточки проступили вокруг темных глаз. А в глазах затаилась легкая грусть. Но он не привык слишком пристально присматриваться к матери, и это первое впечатление скоро изгладилось, он только впоследствии вспомнил о нем. Она не жаловалась на нездоровье, на плохое самочувствие.

Она засыпала его вопросами о его службе на фронте, о его удобствах и нуждах, рассказала о книге, которую она писала с доктором Фердинандо.

По-видимому, она виделась с этим джентльменом реже, чем она надеялась, перебравшись в Лондон. Он занимался теперь «военными неврозами» всех родов. Это немного раздражало ее, потому что она очень хотела поскорее окончить и сдать в печать их книгу «Психоанализ философии».

— Мне так хотелось бы видеть ее напечатанной,— говорила она.— Я никогда ни о чем так не мечтала, даже странно.

Об этом он тоже вспомнил потом.

Но затем Клоринда заговорила о войне — в том же нелепом уничтожающем тоне, что и Маргарет. Она также припомнила Шелли. У нее выходило, что все правительства — это организованные кучки болванов, а война была не великим героическим делом, а разорением, бедствием. Теодор попал в беду, из которой его надо во что

бы то ни стало вытащить. Она с безусловным одобрением говорила о Стокгольмской конференции и о том, что долг чести обязывает англичан и французов объявить «Цели войны» и прекратить войну. А они продолжают вести себя загадочно, преступно и темно. Они не захотели даже принять или дополнить Четырнадцать пунктов президента Вильсона.

— Я ничего в этом не понимаю,— сказал Теодор.— На фронте,— прибавил он, очевидно, разумея не фронт, а Парвилль,— мы смотрим на это гораздо проще.

— Но, дорогой мой, как бы то ни было, война должна кончиться. Она истощила весь мир.

— Война должна окончиться поражением Германии.

— Но в чем, собственно, будет выражаться это поражение?

— Мы должны войти в Берлин. Такова наша цель. Этого требует справедливость, и в этом случае мы ничем поступиться не можем.

— А потом? — воскликнула Клоринда.— Потом что?

— Мы об этом не думаем,— ответил молодой воин.— Мы делаем то, что велит нам долг, и глядим на восток.

Он стоял, как истинный воин, невозмутимый, решительный, спокойно глядя на восток (поскольку он мог смотреть в этом направлении) через плечо своей матери.

— Ты так относишься к этому, дорогой мой? — сказала Клоринда.

Он старался относиться именно так. Но впоследствии ее слова опять пришли ему на память. Подозревала ли она в нем скрытую неуверенность? Ее слова перекликались с критическими выпадами Маргарет. Они перекликались со спорами и рассуждениями у Мелхиора и у тети Люцинды. Тетя Люцинда стояла за войну, но, по ее мнению, войну надо было вести другими методами и в другом духе. Тетя Аманда вся ушла в работу по изготовлению перевязочных материалов в Таун-Холле. Она говорила, что если бы даже война не дала других результатов,— она дала пожилым вдовам дело, которое стоило делать. Она очень обрадовалась приезду Теодора и тотчас же принялась готовить для него огромный запас носков, перчаток, фуфаек, обмоток и т. п. Теодор увидел, что она по-прежнему легко понимала его. Он много рассказывал ей о товарищеских отношениях в око-

рах, о том, как ему жаль было расставаться с его первым взводом. Тетя Аманда помогла ему вернуть утерянное самоуважение. Она была простодушна. Он хотел бы обладать ее простодушием, быть простым, искренним и честным воином — джентльменом, не испытывающим мук неуверенности. Он чувствовал, что его собственная изощренная простота ненадежна.

Он сдал экзамены, и его возвращение во Францию стало неизбежным.

Он объявил об этом Маргарет, когда они сидели в ресторане Isola Bella и ели жареное мясо, истратив на него продовольственные карточки за три дня.

— Еще три дня,— сказал он.

Маргарет кивнула головой. Задумалась.

— Ты поедешь во Францию, а я останусь в Англии, и мы будем все меняться и меняться.

— Со мной перемена может произойти очень быстро,— сказал он многозначительно.

— Но ведь ты же не едешь сразу на позиции,— возразила она.

Откуда она это узнала? Разве он что-нибудь говорил ей? (Какая досада, что ни тетя Миранда, ни его мать не умели держать язык за зубами. Они все болтали о нем, не задумываясь, с кем придется.)

— Да, я получил отсрочку,— сказал он, вспыхнув.— Но меня в любую минуту могут послать туда.

— Это скверно,— промолвила она.

— Да, неважно... Ты будешь занята своими экзаменами,— сказал Теодор.

— Мне надо много пройти, я буду очень занята. Но все равно у меня будет болеть сердце.

— Почему бы нам не пожениться перед моим отъездом?

Она покачала головой. Они и раньше спорили об этом.

— А если я вернусь, мы поженимся?

— Не знаю. Зачем говорить об этом?

— У нас было много хороших минут.

— Да, у нас много было хороших минут.

— Ты любишь меня?

— Да.

— Мы были с тобой Адам и Ева. Как это было чудесно! И все-таки ты не уверена, что когда я вернусь ..?

— Я уже буду доктором тогда. Буду работать. Я буду казаться тебе еще больше педантом, чем раньше.

— Но разве нас не будет все так же тянуть друг к другу, когда я вернусь?

— Каким ты вернешься? Другим. Мы оба станем другими. Давно ли мы были девочка и мальчик, а теперь, подумай, как много нам пришлось пережить.

— Ты не изменишь мне?

— Я не могу себе представить, что могу изменить тебе, милый.

— Но в таком случае?..

— Дорогой мой, я устала сегодня. Мне не хочется думать обо всем, что может случиться со мною и с тобой в будущем. Я любила тебя, Теодор, милый. И я люблю тебя. Но...

— Но что же?

— Что-то вклинилось между нами... чужое, точно какая-то маска.

Теодор задумался. Он подлил красного кьянти в ее стакан.

— Мы оба устали,— сказал он.

— Если б мы могли так же легко обнажить душу, как обнажаем тело,— сказала она.— Слишком много любви. Какая-то отчаянная попытка растворить в себе другого человека, слиться с ним ближе и теснее. А все равно нельзя подойти ближе. Я устала. Ты утомил меня. Не обращай на меня внимания... Давай лучше посмотрим, сколько еще свободного времени у нас остается до твоего отъезда.

Они в каком-то замешательстве расстались на вокзале Виктория. На платформе им, казалось, уже не о чем было говорить.

Когда поезд тронулся, она отступила назад, пристально глядя на Теодора. Казалось, будто она решает сложную задачу. Потом вдруг лицо ее смягчилось, она протянула к нему руки и сразу опустила их. Он помахал ей рукой, но чувствовал при этом, что жест его банален.

Усаживаясь на свое место, он поглядел, не наблюдают ли за ним его спутники, но увидал только озабоченные лица. Каждый был поглощен своим расставанием.

6

ПИСЬМА ИЗ ПАРИЖА

Теодор сначала должен был явиться в Парвилль, чтобы ознакомиться с делами, которые теперь переходили в его ведение, после чего ему следовало направиться в Париж в качестве инспектора по делам снабжения воздушной разведки.

Сэр Люсьен убедил военное начальство, что в аэрокартографическом управлении, которое усиленно развивало свою деятельность под его эгидой, необходимо иметь одного или двух человек из офицерского состава с соответствующими полномочиями и знаниями.

Его настоятельные рекомендации Теодора как человека, вполне отвечающего этим требованиям, были приняты и привели к желанным результатам. Теодор был назначен на специальный административный пост. У него не возникло и тени подозрения относительно того, какую роль сыграли в этом назначении слезы Клоринды и настояния Миранды. Он писал матери с чувством полной покорности своей судьбе: «Может быть, мое пребывание здесь не затянется слишком долго и я еще приму участие в настоящем деле до окончания войны». Писать Маргарет было гораздо сложнее. Он начинал письмо в одном настроении, но, прежде чем он успевал его кончить, настроение у него менялось, и не только настроение, но и почерк, и ему приходилось рвать написанное и начинать сызнова. И это тоже вызывало у него чувство раздражения против Маргарет.

Иногда он ясно сознавал, что она для него — самое прекрасное, самое желанное существо в мире. Он жаждал ее до боли в сердце. Но ведь она же принадлежит ему, чего ему больше желать? И тем не менее эта боль в сердце не проходила. Она тянулась без конца, словно рельсовые пути в гористой местности: то их видно отчетливо, то они вдруг пропадают из глаз, но они всегда где-то здесь и вот-вот появятся.

Его постоянно преследовала нелепая мысль, что Маргарет должна приехать к нему в Парвилль, и, хоть это на самом деле было неосуществимо, он все же

не мог разубедить себя в том, что она не хочет приехать.

Как маленькая заноза, которая вызывает нарыв, мучил его ее упрек в том, что он перестал думать, что его затянуло, как щепку, в трясину войны. По мере того как нарыв воспалялся, это мучительное воспоминание болезненно набухало новыми ложными воспоминаниями. Он начинал представлять себе выражение ее лица и все, что скрывалось за ее словами, когда она это сказала. Иногда ему казалось, что она говорила с ним презрительно, и тогда она была невыносима. Иногда она произносила эти слова, не сознавая их оскорбительного значения. Он чувствовал, как она несправедлива к нему, потому что в его отсутствие она всецело подпадала под влияние Тедди и его друзей и проникалась этой нелепой мыслью, будто раз начатая война может быть прекращена до окончательной победы или поражения.

Он начинал гневные письма и рвал их. Наконец он просто решил не касаться ее убеждений, а попытаться изобразить в своих письмах духовный облик честного, мужественного офицера, выполняющего порученное ему важное дело, которое только он один и может делать в Париже; он рвется к походной жизни и опасностям войны, он жаждет вернуться к своим боевым друзьям и с завистью следит за их подвигами на поле брани, но, верный своему долгу, он остается на своем менее славном, но не менее ответственном посту и делает свое дело, участвуя таким образом в героическом усилии, которое в конце концов приведет к победному завершению войны. Пусть его письмо своей благородной простотой покажет ей низкие антипатриотические происки ее сообщников. Он воздержится от прямых нападок.

Но даже и в таком стиле это было трудное сочинение. Не так-то просто было внести оттенок мрака и опасности в его описание Парижа.

В действительности Париж был в это время гораздо более веселое и безопасное место, чем Лондон. Правда, он находился под обстрелом больших дальнобойных орудий, он страдал и от воздушных налетов, но эти налеты не носили характера упорной преднамеренности

воздушных атак на Лондон. В ресторанах было больше еды, на ночных улицах больше оживления, и не чувствовалось того мучительного гнета предстоящей разлуки, который навис почти над каждой веселой парочкой в Лондоне. Повсюду толклись американцы. У них было много денег и весьма незамысловатые, откровенные, наивные аппетиты. Их решимость испить Париж до дна так же, как и выиграть войну, была очевидна и действовала ободряюще. Они платили дань благодарности Франции-освободительнице в каждом ресторане, в каждом борделе. Они изрыгали свое глубокое моральное негодование против Германии и пламенно стремились выразить его в кровопролитии, резне и разгроме. Их манера изъясняться проливала какой-то необычный, новый свет на войну и на то, в каком духе следовало ее вести. Теодор, вспоминая их шумное оживление, томился от скуки по вечерам. Иногда он отправлялся вечером на бульвар, в мюзик-холл или в кино и на обратном пути наталкивался на группы ревностных искателей наслаждений. Женщины приставали к нему, упорно не желая принять за отказ его «нет».

— Нет, нет, мадемуазель,— говорил он, бессознательно совершенствуясь во французском языке.— Il y a déjà quelqu'une [1].

Некоторые из этих женщин были, несомненно, привлекательны, гораздо более привлекательны, думал он, чем жалкие шлюхи, снующие по улицам Лондона.

В письмах к Маргарет он избегал говорить о Париже. Этот фон не годился для его кисти. Он писал ей об организации своего учреждения, которая еще далеко не закончилась, о некоторых препятствиях, мешавших осуществлению проектов сэра Люсьена. А больше всего он использовал свою поездку в Аррас, куда его командировали однажды наблюдать за вывозом печатного и чертежного оборудования; описывая эту поездку, он стремился создать у Маргарет впечатление, что в его жизни фронт играет большую роль. Его письма к Маргарет получались не такие, как нужно, и он сознавал это. В лучшем случае в них чего-то недоставало. Но чего же именно в них недоставало?

---

[1] У меня уже есть девушка *(франц.)*.

7

НЕИЗВЕСТНОСТЬ В ПАРИЖЕ

А затем пошли слухи о сэре Люсьене. Сначала в одной крупной провинциальной газете, а затем и в лондонской прессе появились неприятные заметки о его успешных операциях на внутреннем фронте. В палате были сделаны оскорбительные запросы. Некоторое время сэр Люсьен стойко держался на своем посту; он не позволит, говорил он, проискам врагов и конкурентов помешать ему трудиться на благо общества; но затем внезапно и как-то загадочно он подал в отставку, и характер учреждения, которое он создавал во Франции, изменился. В один прекрасный день Теодор узнал, что оно будет совершенно реорганизовано.

Это было первое, что Теодор узнал о затруднениях своего дяди. А из этого само собой явствовало, что во главе станут новые начальники и директора, которые не знают Теодора. Его служебное положение грозило измениться. Могло статься, что его услуги вообще окажутся излишними и благодарное управление воздушной разведки вернет его на передовые линии, откуда он был заимообразно изъят.

Когда Теодор понял это, он написал Маргарет и матери, что он надеется вернуться к прежней строевой жизни. «Как раз ко времени мощного наступления на Германию».

Клоринде он написал кратко. Он чувствовал, что она должна понять грозящую ему опасность, а тогда эту опасность поймут все тетки, и что-нибудь будет сделано. Маргарет он писал более обдуманно:

«По многим причинам, дорогая моя, я хотел бы, чтоб ты была здесь. Ты увидела бы тогда, что война не так страшна и не так зла, как ты думаешь. Надежда и радостное воодушевление заставляют нас бодро смотреть на восток. Это борьба воли против воли. Придет время, и они уступят. Мое рабство в чертежном бюро и на складах химикалий подходит к концу. Мне предстоят иные задачи. Были поставлены некоторые цели, они достигнуты. Когда-нибудь я смогу больше рассказать тебе об этой «войне позади фронта», как мы ее здесь называем, но теперь еще не время. Эта война не просто зверство и

жестокость, как воображают некоторые из вас. Под внешней борьбой втайне идет незримая, необычная борьба».

Он остановился. Перечитал письмо. Его превосходное критическое чутье оценило его по достоинству. Это напыщенная, искусственная галиматья, свидетельствовало это чутье, ходульная и просто хвастливая галиматья. Да что же, опять начинать сначала? Он разорвал уже четыре письма, написанные в различных стилях. Он посмотрел на кучу бумажных клочков. Его терзали глубокие сомнения. Разве так страстный любовник пишет своей возлюбленной? Он поймал себя на том, что повторяет недоуменный вопрос Маргарет: «Что с нами случилось?»

Он боролся с желанием начать письмо в шестой раз и начать именно с этого вопроса. И сказать Маргарет — и самому себе,— что он просто перепуганный насмерть, попавший в ловушку человек, внезапно очутившийся снова лицом к лицу с ужасом фронта и пытающийся сделать вид, что он не боится. На какое-то смутное мгновение это видение самого себя выступило перед ним отчетливо, как странный незнакомый ландшафт, вырисовывающийся в светлых предрассветных сумерках. Воскресит ли это признание способность чувствовать, исчезнувшую из его жизни? Он попробует быть правдивым. Он обнажит перед ней свою душу, он будет громко взывать к ней, это будет вопль одной заблудшей души к другой. Что с нами случилось? Снова сердце его сжалось от безмерной, невыносимой боли, она завладела им и прошла.

Он оттолкнул в сторону письмо № 5. Взял чистый листок и написал: «Что с нами случилось?»

Но дальше этого ничего не выходило. Бойкие фразы, которые в таком изобилии роились в его сознании, одурманенном героическими мечтами, здесь были непригодны. Он не находил нужных слов. Он сидел, покусывая перо и стараясь сформулировать следующую фразу. Он не может даже придумать ее, не только сформулировать. Он не мог ничего придумать, ни одного слова, которое шло бы прямо от его сердца к ее сердцу, от самых тайников его «я» к тайникам ее «я». Обладают ли человеческие существа, спрашивал он себя, такой способностью непосредственного понимания? Всякое слово искусствен-

но. Как бы сильна, как бы искренна ни была мысль,— слова всегда будут фальшивы.

Мало-помалу это стремление быть правдивым угасло в нем. Мысль о сердце, говорящем сердцу, стала казаться невероятной. Все, что ему следует сделать, решил он,— это запечатлеть в ее уме свой нарисованный им ранее образ. Что еще возможно в человеческих отношениях? Мы создаем в представлении людей, с которыми встречаемся, тот или иной образ нас самих, а потом стараемся вести себя неуклонно в соответствии с этим образом.

Он опять взял письмо № 5 и перечитал его. В конце концов, несмотря на некоторую натянутость слога, оно создавало образ храброго молодого человека, находившегося в этом незнакомом городе-лагере, каким для него являлся Париж. Может быть, следовало оттенить немножко больше любовную сторону и внести несколько мужественных скромных ноток, столь милых сердцу англичанина.

Он не думал о том, как она отнесется к этому письму. Или, вернее, он думал, что она отнесется к нему так, как ему хотелось.

Он окончил пятое письмо. Чтобы уж не колебаться больше, он сразу запечатал его, наклеил марку и понес в почтовое отделение на Авеню.

Когда письмо было отправлено, сомнения и боль в сердце снова зашевелились, но теперь уже было очевидно: они зашевелились слишком поздно. Он постарался заглушить их. Дорогой ему повстречались два американских офицера, которые спросили его, как пройти к Опере. Он сказал, что идет как раз в ту сторону, и они пошли вместе. Он шел по знакомым широким серым улицам вдоль набережной, восхищался и заставлял их восхищаться нежной серебристостью, зелеными и бледно-голубыми тонами парижской акватинты. Американцы говорили на каком-то совершенно варварском жаргоне, но проявляли полную готовность учиться. Он очень много рассказывал им об Англии, о Франции, о ходе войны.

Они предложили выпить, и он отправился с ними. Ему удалось на время отделаться от двух неотвязно преследующих его неприятных мыслей: мысли о том, что

хотя он и любит Маргарет, но между ними каким-то таинственным образом утратилась связь, и непонятно, как и почему это случилось, и затем мысли о том, что в самом скором времени ему придется расстаться с этой неопределенной, но более или менее безопасной жизнью в Париже и отправиться героем на фронт. До сих пор он не получал никаких уведомлений, но он чувствовал, как нащупывающая рука войны протягивается, чтобы схватить его. Теодор страстно желал быть героем, но стоило ему только представить себе непрерывное напряжение, невыносимые трудности и все ужасы этой роли, мысли его тотчас же разбегались, и ему совсем не хотелось думать о действительном положении вещей.

Одно время, примерно недели три, Теодору казалось, что преследующая десница войны промахнулась и уж больше не ищет его. Дела в учреждении все больше и больше уходили из его рук. У него было мало обязанностей, затем стало еще меньше. Неопределенность его положения была бы невыносима, если б не мысль о том, что ему предстоит нечто еще более невыносимое, когда эта неопределенность кончится.

Он провел вечер в обществе этих двух американцев шумно и весело. Он напился, но не настолько, чтобы потерять способность владеть собой. Его новые друзья были так откровенно, так добросовестно пьяны, что это заставляло его следить за собой и оставаться трезвым. Они говорили, что «они ликвидируют Лафайета». Когда их наконец подхватили и довольно стремительно повели с собой две молодые, профессионально оживленные женщины, с которыми они решили завершить этот приятный вечер, они уверяли Теодора, что не забудут этих прекрасных минут, проведенных в его обществе,— он расстался с ними, уклонившись при помощи своего неофранцузского «Il y a quelqu'une», что привело их в неописуемое восхищение.

Младший из этих ликвидаторов крикнул ему на прощание: «Будьте непорочны, юноша, будьте непорочны!»— и с этими словами исчез, рассыпаясь в похвалах высокой красоте незапятнанного целомудрия перед молодой проституткой, доставшейся на его долю. Ее знания англосаксонского языка были далеко не совер-

шенны. Она могла кое-что сказать, но ничего не понимала.

— Я покажу, что ви прав,— говорила она ему ободряюще после каждого нового взрыва красноречия.

На следующий день Теодору пришлось отправиться на почту, чтобы получить два заказных письма, которые пришли на его имя. Он должен был явиться за ними лично. Они пришли из Парвилля с большим опозданием, в котором он сам был виноват. Он вспомнил, что некоторое время не сообщал в Парвилль своего парижского адреса. Он забыл это сделать, может быть, до некоторой степени умышленно.

Он пошел на почту, получил два письма и узнал из них две новости. Его мать умерла, и ему уже три дня тому назад надлежало явиться в лагерь близ Аббевилля.

8

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА КЛОРИНДЫ

Конечно, Клоринда выглядела плохо и казалась больной. Она вся как-то посерела, но за все время ни разу даже не намекала ему, что смерть уже витает над ней.

Теодор снова перечитывал оба ее письма, и мысли его устремлялись к ней, что помогало ему отвлечься от более пространных размышлений о том, что он теперь не что иное, как дезертир, что его разыскивают, а когда, наконец, его поймают, ему придется еще давать объяснения по поводу этой маленькой заминки с адресом.

Она умерла. Ушла навсегда из его жизни. Его мать; он не помнил, чтобы она когда-нибудь ласкала его, но за эти последние годы он постепенно научился уважать и ценить ее ум и проницательность. Она была из тех матерей, которые лучше ладят со взрослыми сыновьями, чем с детьми. Конечно, она была страшно изнурена и утомлена, когда он в последний раз приезжал в Англию, и как это глупо с его стороны, что он не заметил этого. Она, вероятно, чувствовала, что ей недолго жить, судя по тому, как ей мучительно не терпелось окончить поскорее этот «Психоанализ философии». Она окончила бы его, в этом он был убежден. Это была не иллюзорная книга его отца.

(Далеко ли она продвинулась? Может быть, Фердинандо закончит и выпустит ее теперь?)

Обычно она писала ему очень кратко.

Они, в сущности, никогда по-настоящему не «переписывались». Эти два письма, которые он получил с сопроводительной запиской доктора, тоже были коротенькие и написаны карандашом, но на этот раз не чувствовалось, что она старается писать кратко. Она как будто пыталась высказать в них что-то такое, что она слишком долго носила в себе.

«Мой милый сын (начиналось оно, раньше всегда было «Теодор»). Я собиралась сказать тебе, когда ты пришел проститься,— но ты был так поглощен чем-то, так торопился уйти,— что мне предстоит операция, по-видимому, с целью исследования, насколько я понимаю. Последнее время я чувствовала себя неважно. Какие-то странные боли и тяжесть. Ты не беспокойся. Только сознание, что мне предстоит операция — во всякой операции всегда есть некоторый риск,— вызывает желание привести в порядок всякие дела.

Меня тревожат наши отношения, Теодор. И тревожат уже давно. Не знаю, следует ли меня отнести к категории хороших или дурных матерей. Может быть, я всегда была дурной матерью, не знаю. Я готова признать, что я была слишком неустойчива, слишком много жила умственной жизнью, чтобы быть по-настоящему хорошей матерью. Я многим пренебрегала, от многого отмахивалась. Может быть, мне следовало родить на свет книги, а не детей. Хотя бы одно детище. И выправить его тщательно. Тебя я никогда не выправляла. Я всегда мечтала о хорошем серьезном разговоре с тобой, мой дорогой, но из этого ничего не вышло. Есть вещи, которые мне хотелось бы выяснить с тобой. Чрезвычайно существенные. Но я сама узнала о них только, когда ты уже вырос. Насчет того, как люди понимают и принимают жизнь — иначе говоря, как они себя ведут в жизни. Если бы только они смотрели на нее прямо, а не сквозь туман слов (все это больше похоже на какие-то заметки, чем на письмо). Я думаю, если бы они могли достигнуть простоты и откровенности—высшего духовного совершенства,— тогда мир стал бы совсем иным.

Я мысленно вела с тобой разговоры об этом — тысячи раз, долгие разговоры. Но об этом трудно даже писать, говорить еще труднее.

Все живут, опутанные каким-то туманом слов, мы сами окутываем себя этим туманом слов о жизни, ослепляем себя. Туман фраз. Мы рассказываем себе сказки и стараемся все видеть в хорошем свете. Я начала понимать это много лет спустя после твоего рождения, и с тех пор я стараюсь сорвать эту повязку и смотреть на вещи прямо. Все люди ходят с завязанными глазами, натыкаются друг на друга, ушибают друг друга... И я смотрела, как ты растешь и плетешь паутину воображения, вытягивая ее из себя, как паук, сплетаешь ее в повязку и ходишь в этой повязке, словно в тумане. Бредешь ощупью, натыкаясь на всех, и ушибаешь себя и других.

Не знаю, поймешь ли ты хоть слово из всего, что я написала. Если поймешь, то это может оказаться ненужным, а если не поймешь,— бесполезным. Но все-таки я хочу сказать тебе: «Смотри на вещи прямо».

(«А разве я не смотрю прямо?»— возразил читающий.)

Я должна была сказать тебе это, когда ты еще был мальчиком. Но разве я тогда понимала это так, как понимаю теперь? Не заслоняй своего взора приятными иллюзиями. Я хочу сказать, не столько приятными, сколько спасительными, спасительными и обольщающими. Это сладкий яд жизни. Перестань рассказывать себе волшебные сказки о себе самом. Жизнь совсем не волшебная сказка. В моей вселенной нет ничего красивенького, когда мне удается взглянуть на нее из-под моей повязки, но есть нечто — нечто несравненно лучшее, Теодор. Нечто величественное, чудесное, суровое, высокое, вне любви и ненависти, вне желания. Один только проблеск этого... не сравнится со всей этой приторной красивостью. А надо всем этим — Существо, оно стоит высоко-высоко над этой игрой слепого человеческого самообольщения. Я не могу сказать тебе, что это, если ты сам не знаешь. Я не могу назвать это богом. Бог — это слово, которое обозначает столько вещей — конфетные личики с перламутровыми очами, устремленными кверху,— для меня это не годится. Но... Безмолвный Созерцатель. По-

кой Души. Отрешение от себя. Единственная подлинная жизнь... Для этого нет слов.

Надо прийти к этому.

Я, кажется, сказала тебе все, что хотела сказать, милый сын, но, когда я перечитываю это, мне кажется, что я не сказала ничего. Но я сказала, как могла. Я очень устала. Я чувствую себя ужасно усталой теперь всегда. Ты не можешь представить себе, как быстро я устаю. Мне что-то дают, и я оживаю, я чувствую, что мое сознание светло и ясно, как кристалл, пока я не пытаюсь заставить его работать. Тогда оно быстро идет на убыль. И через какие-нибудь пять минут оно слабеет и гаснет. Нам с тобой надо было серьезно побеседовать обо всем этом год назад, если не больше. Наш мир, дорогой мой, обременен этими невысказанными мыслями, которые люди должны были бы высказать и никогда не высказывают.

Завтра операция; сиделка суетится около меня. Я, может быть, допишу попозже».

Второе письмо было нацарапано очень неразборчиво на маленьком листочке линованной бумаги, вырванном, по-видимому, из записной книжки.

«Когда они дают мне лекарство, я куда-то проваливаюсь, избавляюсь от боли. Кажется, будто плаваю. Прихожу в себя, боли нет. Очень, очень, очень ясная голова.

Я теперь все вижу яснее, гораздо яснее. Всегда мечтала об этом. Так трудно писать. Слова не идут. Карандаш не слушается. Цепляется. Только голова полна всем этим. Кровь так медленно движется. Свет гаснет. Скоро совсем погаснет. Хочется объяснить все снова. Завтра, может быть. Полная ясность. Свет. Сестра говорит, завтра».

Доктор в сопроводительной записке написал, что последние слова Клоринды сиделке были: «Пошлите это Теодору». Доктору не сразу удалось достать адрес; он послал письмо заказным. Все три письма — два письма Клоринды и записка доктора — пришли в одном конверте.

Некоторое время Теодор сидел, задумавшись, забыв о том, какая угроза, какое принуждение могли скрываться во втором заказном письме. Он не увидит мать мерт-

вой, как видел отца. Ярче всего она вспоминалась ему такой, какой он видел ее во время своей последней поездки в Лондон: усталое, осунувшееся лицо, измученные глаза, глубокий мягкий голос; он вспоминал теперь, как трудно ей было говорить. Этот образ больной женщины заслонял теперь более красивую, более здоровую, но всегда несколько распущенную Клоринду блэйпортского периода, крупную, рослую, плотную, иногда вдруг настойчиво требовательную. Для него она всегда была Клоринда, а не мать. Он вспоминал ее то хмурой и угрюмой, то возбужденной, блестяще остроумной. Она столько всего знала! Она могла припереть к стенке даже Уимпердика, когда бывала в ударе. Но нежности в ней совсем не было. Всегда чувствовался какой-то холодок. Если она когда-нибудь и ласкала Теодора, то всегда очень сдержанно. У него сохранилось воспоминание о редких минутах, когда их обоих внезапно охватывало искреннее восхищение друг другом, например, когда они «наряжались», перед тем как пойти к Паркинсонам, и еще как-то, раз или два, когда оба они были в белых костюмах, загорелые, раскрасневшиеся на солнце.

Он снова взял оба ее письма и положил их перед собой на столе.

Было ли это действительно ее завещанием ему? Что она хотела ему сказать? Она пыталась выразить какую-то свою веру. Но это не вызвало в нем никакого отклика. Разве это обращено к нему?

Это было не столько письмо, сколько неоконченный этюд. Ему предлагалось смотреть на вещи прямо. И тогда, может быть, он тоже увидит этого ее пустого бога, который почти что и не бог. Как будто он не смотрит прямо на эти вот окопы и смерть, ожидающую его. И как бы там ни было, для этих вопросов он нашел свое решение. Ему не нужна эта туманная вера в какой-то принцип отречения. Он верный сын англиканской ортодоксальной церкви, и разве он в любую минуту не готов достойно завершить свою жизнь и умереть, если потребуется, за бога, короля и отчизну?

Тут мысли его на некоторое время отвлеклись от Клоринды, и он живо представил себе картины славной смерти на поле брани. Затем он опять вернулся к

действительности — к воспоминаниям о матери. Теперь он начинал яснее понимать ее.

Что означало все это? Он, наконец, нашел ответ.

Ее письмо было литературой. Не письмо, а литературный набросок. Ей нравилось писать. Нравилась напряженная работа ума. Она была писателем по натуре, писателем-критиком. А последнее время она писала много и с увлечением. Да, вот в чем дело.

Это было не столько прощание, сколько последний критический опыт. Она всегда относилась к нему критически, до самой последней минуты. Так же критически, как Маргарет. Всякий раз, когда она глядела на него, ему казалось, что она выискивает в нем какие-то недостатки.

— Она никогда не любила меня,— сказал Теодор, вертя в руках этот жалкий прощальный листочек.— Она никогда не любила меня по-настоящему.

Где же тут самоотречение и всепрощающее обожание — а ведь это, как всем известно, и составляет основу материнской любви? И каждый сын от рождения имеет на это право. А где они среди всех этих холодных рассуждений? Питала ли она к нему когда-нибудь такие чувства? Это бедное письмо, которое все словно изнемогало и корчилось, не вызывало в нем ответной любви. А ведь это самая верная проба любви — она согревает тебя, и ты любишь в ответ. Любовь слепа. Она чувствует и греет, она не рассматривает тебя.

Странно, какой она всегда бывала застенчивой с ним, сколько он ее помнит. Такой застенчивой, точно она боялась его. Точно она боялась, что он потребует от нее любви, а она не сможет ее дать. Словно она опасалась его вызова...

Была ли эта застенчивость с ним следствием ее отношений с отцом? Он старался припомнить какую-нибудь нежную сцену между родителями, какое-то проявление любви. Но не мог вспомнить ни нежности, ни ласковой, задушевной близости. Да любила ли вообще Клоринда? Любила ли она кого-нибудь по-настоящему? Разве любовь не главное дело женщины? Призвание женщины — жить для любви.

Что за фантастическая, нелепая штука — любовь! Все ее жаждут, все ее требуют, но кто способен дать ее?

Любопытно, что Теодор не включал себя в это всеобъемлющее «все». Себя он не считал. Сам он стоял особняком. Под «всеми» он подразумевал все остальное человечество, и в особенности женщин. Все люди, думал он, хотят быть победителями в любви, и никто не желает быть тем рабом, которого каждому хочется иметь. Вот и Клоринда его обманула, и Рэчел и Маргарет обещали и не сдержали обещания, готовы были, казалось, отдаться безоговорочно, а потом начали ставить условия. Его манили в обетованный рай безграничного снисхождения, а потом оказывалось, что это суровая лаборатория, где тебя подвергают самому подробному исследованию. Любовь возвышает, раздевает донага, а потом безжалостно разглядывает со всех сторон.

Так, значит, это не настоящая любовь.

Его охватила огромная жалость к себе — к этому жаждущему любви существу, достойному любви и томящемуся без любви в этом безлюбом мире. И вот теперь, нелюбимый, одинокий, он пойдет навстречу опасности, лишениям и, может быть, смерти.

Он долго сидел неподвижно, поглощенный этим странным горьким открытием. Наконец, вздохнув, он протянул руку к другим письмам.

9

ПАДЕНИЕ В ПАРИЖЕ

Теодор не сразу отправился на фронт. В этом мире, изрезанном телефонной и телеграфной сетью, он затерялся еще на три дня.

Он предпочел затеряться. Ибо, думал он, если письма могли дожидаться его три дня, с таким же успехом они могли дожидаться и шесть дней, а расстрелять могут одинаково как за один день, так и за неделю свободы. Но он знал, что его не расстреляют, его просто пошлют на передовые позиции. Было странное, мучительное и какое-то почти исступленное наслаждение в ощущении каждой минуты этих украденных дней. У него сложилось очень твердое убеждение, что на фронт он идет, чтобы быть убитым. Он видел себя уже отмеченным печатью смерти. Он — человек, который никогда не

мог найти любви, истинной, самоотверженной любви, и он обречен на смерть.

Он чувствовал в этом какой-то байронический лиризм и даже пытался несколько раз выразить это в стихах, но слова не шли к нему.

Последние письма Клоринды приобрели какой-то мрачный оттенок в его воспоминаниях. Спустя некоторое время ему стало казаться, что она прокляла его на своем смертном одре. А Маргарет, во всяком случае сердцем и мыслью, была неверна ему.

В воздухе разливалось тепло ранней весны. Опускались сумерки, лист бумаги перед ним стал сереть. Он бросил неоконченные строчки стихов, которые вдруг неприятно напомнили ему своими пробелами и черновыми наметками потуги Раймонда, и вышел из своей маленькой грязной комнаты на улицу. Его охватило неудержимое желание рассказать о себе все кому-нибудь, кто ничего о нем не знает. А за этим желанием внутри него, подстегивая его, пряталась более широкая, более примитивная жажда жизни. Любовь обманула его, он воздерживался напрасно, а теперь его ждут окопы и смерть. Почему не урвать напоследок что можно от жизни? Пойти побродить по бульварам. Насладиться жизнью хоть раз. Найдется же где-нибудь хоть одно существо, которое захочет его выслушать.

Оно само подвернулось ему как раз кстати. Это была высокая тонкая девушка с интеллигентным лицом и очень блестящими темными глазами. Она говорила мягким голосом. В нем совершенно не было тех жестких, металлических ноток, свойственных женщинам ее профессии, той наглой пронзительности, которая рассчитана на то, чтобы расшевелить мозги пьяных иностранцев.

Он остановился, когда она заговорила с ним.

— Пойдем со мной,— сказала она.

— Не знаю,— ответил он.— Я очень несчастлив.

— Товарища убили? —спросила она.

— Многих. И разные неприятности. Но неважно.

— Мы все несчастливы,— сказала она.— C'est triste. Mon amant est mort il y a deux mois. Cette guerre... [1]. Но все-таки не стоит плакать, мальчик.

---

[1] Это печально. У меня дружок умер два месяца тому назад. Эта война... (*франц.*).

— Ну что ж, раз в жизни можно повеселиться. Пойдем, пообедаем вместе, поболтаем. Где ты училась английскому?

— В хорошей школе,— ответила она.— Я знаю местечко, где можно уютно расположиться.

Это было приятное местечко. Достаточно было переступить порог, как уже чувствовался комфорт и хорошая кухня. Метрдотель, почтительно стушевываясь, провел их к нарядному маленькому столику, и Теодор заказал роскошный обед с бургундским для оживления крови и филе для укрепления чресел. Нежное чувство к этой чистосердечной и отзывчивой иностранке затеплилось в нем после супа, а после филе оно разгорелось уже в пылкую страсть. Он решил жить мгновением, забыть все сложности своей жизни и своей натуры и позволить себе хоть раз быть беззаботно веселым, каким он иногда умел быть. Она живо угадала его намерения. Она откликнулась на них ото всей души. Ее ум, ее благородство становились все более и более очевидны. Она думала, она всячески показывала и говорила, что он самый интересный, самый обаятельный из англичан, и они наклонялись друг к другу через стол и обменивались все более доверчивыми и ласковыми словами, все более горячими и нежными взглядами.

Вскоре он уже тихонько поглаживал ее руку, не переставая разговаривать. Он закурил папироску, но вдруг, словно спохватившись, выдернул ее и сунул ей в губы, а сам закурил другую. Она приняла это как нечто вполне естественное, но, может быть, немножко и не так. Ее робкая, чуть заметная улыбка была очаровательна.

Разговаривали они главным образом о нем. Ее трагедия была, по-видимому, слишком проста и мучительна, чтобы в нее стоило глубоко заглядывать. Но он, он жаждал обнажить свою сложную, мятущуюся душу. Он нарисовал ей старинную английскую семью, типичный английский домашний очаг, рассказал ей о разных попытках осиротевшего юноши вступить в армию, о том, как ему потом наконец удалось записаться добровольцем, о жизни в окопах, о том, как он был ранен, вернулся на родину. Его произвели в офицеры. А теперь он вдруг узнает о кончине своей дорогой матушки. Потом, о многом умалчивая, но с большой от-

кровенностью, он рассказал о своей любви, о своей несчастной любви. Разумеется, он не мог позволить себе говорить откровенно о Маргарет. Сквозь покрывало, которым он окутал ее, смутно угадывалась юная аристократка, холодная, холодная от природы и по всему своему воспитанию, надменная и жестокая.

— Ваши англичанки — ледышки,— сказала смуглая дева.— Я знаю. Я училась в английской школе. И преподаю французский au pair [1]. Так вот, все девчонки там были ледышки. Ледышки и грубиянки. Им чего-то не хватает, у них отсутствует какой-то инстинкт.

— Да нет, это не совсем так,— сказал Теодор и вздохнул, как будто стараясь прогнать мучительные воспоминания.

Потом сразу заговорил о другом.

— Расскажи мне об этой английской школе. Расскажи о себе.

— Моя мать была арабкой, родом из Алжира,— сказала она.— Отец был французский офицер. Он меня любил. Он очень меня любил. Он говорил, что я должна получить лучшее воспитание, какое только можно получить за деньги.— Она развела руками.— И вот что из меня вышло.— Она пристально посмотрела на него.— Ты очарователен,—прошептала она.—Ты появился, словно звезда. В моем мраке. Мужчины! Мужчины, с которыми приходится встречаться! Но что же делать? Ведь чем-то надо жить.

Когда они выходили через вертящуюся дверь ресторана, Теодор чувствовал, он был почти убежден, что наконец после горького разочарования и неудовлетворенности он встретил настоящую любовь. И в течение нескольких чудесных часов это убеждение росло, углублялось и крепло. Благодарение богу, что это случилось раньше, чем его настигла смерть. Потому что эта маленькая алжирка казалась ему истинным воплощением любви.

Ее отзывчивость, ее понимание, ее способность оценить рыцарское благородство его натуры превратили эту ночь в волшебную сказку.

Он жил исступленным мгновением; и прошлое и будущее перестали существовать, они превратились для него

[1] В обмен *(франц.)*.

в романтическую оправу, которой он украшал настоящее. Принимая во внимание то, чем она была,— она была удивительно непосредственна. Она обладала божественным даром безграничного восхищения. Она восхищалась его профилем, его волосами, его стройностью. Она говорила, что он изящен, полон очарования, полон печального и нежного благородства. В нем была подлинная аристократичность, невыразимая, незаносчивая аристократичность английского джентльмена.

Утром волшебное очарование несколько рассеялось. Он проснулся со смутным воспоминанием о Маргарет, какой она была в его лондонской квартире, и только постепенно понял, что находится в какой-то непривычной обстановке.

Комната, представившаяся его взору, была убогая и грязная. Она была украшена гравюрами весьма нескромного жанра, и все они, по французскому обычаю, были развешаны слишком высоко. Обои представляли собою квинтэссенцию французской безвкусицы и претенциозности. Они были покрыты пятнами и плесенью. Окна были закрыты, и воздух не отличался свежестью. И смуглая женщина, которая крепко спала возле него, слегка похрапывая, с открытым ртом, незнакомая, тощая, казалась какой-то жалкой и беспомощной. Ее беспамятство напомнило ему трупы, которые он видел на фронте.

Она проснулась внезапно, сразу пришла в себя, села, протирая глаза, и узнала его с некоторым усилием. Она перестала смотреть на него так, словно он был какой-то неприятной неожиданностью.

— А!— сказала она, подавив улыбку и закрыв лицо руками.— Mon petit anglais! [1]

Вставать оказалось еще неприятнее. Но все же в ней была какая-то удивительная грация, когда она двигалась по комнате.

Внезапно она повернулась к нему и сказала без всякого притворства:

— Конечно, у тебя умерла мать, и ты грустил. Я припоминаю. Скажи, я была для тебя «bonne amie» [2] этой ночью? Мне было так жаль тебя. Мне кажется, я

---

[1] Мой маленький англичанин *(франц.)*.
[2] Милая подружка *(франц.)*.

в самом деле люблю тебя немножко. Ведь любить могут даже и такие.

Это уж было лучше. Когда она в первый раз взглянула на него утром, ему показалось, что у нее жесткие блестящие глаза, как у змеи. Теперь ему казалось, что у нее очень умные глаза.

Сначала он хотел проститься с ней, но потом уговорился встретиться еще раз днем. Он тут же подумал, что не пойдет на это свидание, но, позавтракав, настроился пойти и явился точно к условленному часу...

Она спросила, когда кончается его отпуск в Париже, он деликатно уклонился от ответа, но этот вопрос разбудил в нем неприятные мысли. Этот любовный эпизод, это исступление украденных часов близилось к концу. В этот вечер у них на глазах остановили возле церкви Мадлен какого-то человека, арестовали и увели. Кто-то из толпы, которая тотчас же растаяла, сказал, что это дезертир. После этого тощая алжирка уже не могла избавить его от навязчивых мыслей.

Он не мог уснуть. Его жажда жизни окончилась внезапным пресыщением. Смутный, но непобедимый ужас охватил его, когда он увидел себя в этой мрачной, уродливой комнате с нависшей над ним угрозой ареста и приговора. Вспышки света и огни уличного движения отбрасывали неверные, скользящие тени на потолке. В воздухе дрожали неясные аккорды звуков, которые обрывались, снова поднимались на новой ноте, замирали и опять начинались.

Ужас сменился раскаянием, которое мало-помалу перешло в недоуменную злобу. Почему он здесь? Что привело его к этой печальной необходимости — искать забвения в объятиях проститутки, будучи обреченным на смерть?

Все это потому, что его никто не любил.

В этом все дело. Это случилось потому, что его никто не любил.

Его обошли любовью. Он представляет собою биологическую трагедию. Он был зачат без настоящей любви, рожден без любви, вырос без любви. Рэчел никогда не любила его (почему она ни разу не написала ему после той остендской открытки?), Маргарет никогда не любила его. Нет, Маргарет никогда его не любила. Даже

это жалкое, убогое, истасканное создание возле него дало ему больше любви, честной, пылкой, инстинктивной, всепрощающей любви, чем Маргарет. Вначале, может быть,— в тот раз, когда она так плакала и по щекам ее текли соленые слезы,— она, пожалуй, и любила его. Но потом? В этот его приезд любила ли она его хоть немного? У нее только и было в голове, что какие-то стишонки Шелли, пацифистские лозунги и Теддины нравоучения.

Насколько ее невозмутимо-спокойное сердце способно любить — она любила Тедди.

При мысли о Тедди его охватила ярость. Конечно, она любила Тедди больше, чем его. Как мог он не замечать этого раньше? Теперь это было совершенно ясно и очевидно. Глубоко в тайниках ее существа таится с трудом подавляемая преступная страсть. У психоаналитиков имеется этому какое-то название, разные названия. Да не все ли равно, как это называется, важна самая суть. И вот в то время как он, Теодор, лежит измученный и несчастный в этой продавленной, гнусной постели в Париже, не зная, какой удар может на него обрушиться завтра, Тедди, со своим красным, решительно нахмуренным лицом, разыгрывает из себя мученика — кто не позавидует такому легонькому, безопасному мученичеству в камере лондонской тюрьмы! Боже милостивый, вот бы он посмеялся, если б какой-нибудь немецкий аэроплан сбросил бомбу над тюрьмой и уничтожил бы всю эту мразь! Никогда до сих пор Теодор не сознавал, как он ненавидит Тедди, как страстно он желает ему страданий и смерти. И как ненавистны ему следы его влияния на сестру!

Ненависть душила его. Он не мог лежать спокойно. Он вертелся с боку на бок. Он начал метаться и стонать.

— Chéri [1],— сонно пробормотала алжирка и, протянув к нему руку, тихонько погладила его и опять заснула.

Он представлял себе драматическую сцену, в которой участвовали брат и сестра, бурю презрительных обвинений и упреков. Он сочинял одну за другой самые оскорбительные фразы. Они казались ему необыкновенно удачными и разящими.

[1] Милый *(франц.)*.

Утром его голова все еще была полна этими изобличениями. Он рассеянно простился с алжиркой, лживо пообещав ей, что они встретятся еще раз. Она криво улыбнулась — ее нельзя было обмануть. Он отправился к себе в hôtel meublé[1] с тем, чтобы уложить вещи, и ехать в Аббевилль, и явиться в свою часть, пока еще было не слишком поздно. Все пышные фразы, которые он придумывал ночью, с мучительной яркостью вспыхивали в его сознании. Он сел за туалетный стол и написал брызжущим пером:

— «Ты никогда меня не любила,— упрекал он Маргарет.— Ты понятия не имеешь, что такое любовь. Жалкая проститутка, с которой я провел ночь перед тем, как идти на смерть, больше знает о любви, чем ты».

Он мрачно заклеил конверт, решительно написал адрес и поспешил бросить письмо в ящик, пока еще не успел раскаяться.

Потом он стал думать, какое это будет страшное письмо, если его убьют. Он вдруг представил себе Маргарет совсем в другом свете — она читает это письмо, и в глазах у нее сверкают слезы, слезы раскаяния.

А потом засверлила другая, гораздо более мучительная мысль и веером раскинула перед ним целый ряд неприятных возможностей. Каково покажется это письмо, если он останется невредим, даже не будет ранен?

10

СНАРЯД РАЗОРВАЛСЯ

Предчувствие смерти, одолевавшее Теодора, оказалось преждевременным. Ему не пришлось умереть на позициях. Ему казалось, что он жаждет смерти, что разочарованный Бэлпингтон Блэпский, стремясь покинуть достойным образом этот жестокий мир, с отчаянным бесстрашием бросается навстречу опасности, но когда дело происходило не в воображении, а в действительности, скрытые, подсознательные свойства его натуры выступали с непобедимой силой. Он был сдержан, но не держался

[1] Меблированные комнаты *(франц.)*.

особняком от своих товарищей офицеров. Он взирал на восток, быть может, не так неумолимо, как в присутствии Клоринды и Маргарет, и охотней вступал в циничческие рассуждения о жизни, искусстве и удаче, чем в задушевные разговоры о доме и своих личных обстоятельствах.

Его опоздание не вызвало никакого шума, и он с подчеркнутой поспешностью отправился с распределительного пункта в довольно комфортабельную офицерскую землянку, во всяком случае, по сравнению с той первой землянкой эта была комфортабельна. Весь уклад жизни казался лучше, чем в первое его пребывание в строю. Ему не приходилось таскать на себе тяжелого снаряжения. Ему отдавали честь, и, если не считать неуловимой, но непреодолимой силы, которая держала его привязанным к этой землянке, он пользовался достаточной свободой передвижения. Он мог свободно бродить в пределах определенного участка. Он имел возможность лучше питаться. Его башмаки и краги были точь-в-точь по нем, и он чувствовал себя более презентабельным. Ему казалось, что он теперь много зрелее и старше, чем возбужденный, измученный новобранец, каким он был год с небольшим тому назад, когда его так ужасно потрясло зрелище разорванного снарядом товарища.

Возвращаясь на фронт, он видел много трупов, и старых и новых, и это не произвело на него большого впечатления. Правда, ему и теперь снились сны, чрезвычайно неприятные сны, которые словно были насыщены присутствием не его самого, а какого-то чуждого ему труса, но они не выходили из пределов сновидений и не проникали глубоко в его бодрствующую жизнь. Он жил с двумя юнцами, только что выпущенными из школы, Плантом и Элдерсом. У него было что порассказать им. И это тоже несколько поддерживало его. Но он начинал отдавать себе отчет, что фронт стал гораздо более шумным, напряженным и опасным, чем во время первого его пребывания, и неприятельские аэропланы стали много чаще появляться в виду.

Грязь, опасность и шум держали в постоянном напряжении его нервы, а когда он старался отвлечься от окружающего, воспоминание о последнем письме к Маргарет осаждало его с упорством неотвязного музы-

кального мотива, от которого никак не отделаешься, и вызывало длинный ряд затейливо разворачивающихся мыслей и рассуждений о ней и Тедди и всей этой цепи влияний, которая сделала их обоих противниками войны, а его — сражающимся героем. Он старался припомнить в точности содержание этого письма. Ему хотелось возобновить их спор. И он снова и снова с бесконечными вариантами начинал свою тяжбу против Маргарет.

Затем на тот участок фронта, где он находился,— он был в Пятой армии,— начался нажим последнего немецкого наступления. Еще когда он только что прибыл сюда, чувствовалась какая-то тревожная смутная настороженность, совсем непохожая на воинственное ожидание более раннего периода. Теперь в первый раз он почувствовал всю мощь бомбардировки, какой она была в 1918 году.

Перемежающийся грохот и разрывы снарядов сменились непрерывным землетрясением, бесконечным чередованием взрывов, обвалов и разрушений. Артиллерийский обстрел достигал такой сокрушительной силы, что, казалось, ничего более страшного и представить себе нельзя, но вот он начинался снова, еще более грозный, и превосходил все, что было до него.

Крепления и стены окопов были снесены, окопы изрыты воронками, землянки были битком набиты чудовищно искалеченными людьми, всюду валялись растерзанные трупы, стояли лужи крови. В офицерскую землянку попал снаряд. Он разорвался, и Теодор увидал, как юный Плант, с которым он разговаривал пять минут назад, упал, придавленный балкой крыши, причем балка не просто обрушилась на него, а вошла в его тело. Но все же глаза его еще двигались, он умоляюще смотрел на Теодора. Он был еще жив в течение нескольких секунд. Тяжелая завеса газа у входа, казалось, пылала. Но сквозь нее лежал путь к спасению.

Облако газа заставило Теодора надеть маску. Он стал взбираться по ступенькам. Он больше не взглянул на Планта.

И тут сознание Теодора словно куда-то проваливается, и до сего дня он не имеет ясного и связного представления о том, что он пережил и что делал. Случает-

ся иногда, что сны приобретают странное сходство с событиями, которые он смутно припоминает, и эта сомнительная действительность переплетается с усилиями воображения, пытающегося драматизировать поступки, в которых его обвиняли. Но все это является отнюдь не чем-то цельным, а похоже на разрозненные отрывки из двух-трех различных, но сходных историй и, во всяком случае, не имеет ничего общего с его прочно установившимся представлением о самом себе.

Проступая сквозь мглу его утаиваний и поправок, встает картина — бесконечно отвратительное зрелище окопа, развороченного и разрушенного до такой степени, что он больше напоминает русло бурного потока, чем окоп. Как будто это какое-то детское сооружение, которое сокрушил и растоптал злобный великан. Повсюду валяются трупы, растерзанные, разорванные на куски. И по этому ущелью ужаса наступают немцы, маленькая рассыпавшаяся кучка, несколько человек с примкнутыми штыками, в глазастых противогазах,— они идут и оглядываются по сторонам, словно нерешительные исследователи. В их наступлении не чувствуется ни большой уверенности, ни угрозы. Это просто отдельные образы какого-то мучительного, страшного сна. Но за ними через дымящиеся груды развалин идут другие, более решительные. Они начинают стрелять, бросать гранаты. Огонь рвущихся снарядов вспыхивает сквозь дым, воздух содрогается вокруг Теодора. Несколько английских солдат бьются с неприятелем возле него. Один громко вскрикивает и падает, цепляясь за его колени. Теодор вспоминает, как он с проклятием оттолкнул умирающего и бросился бежать прочь, прочь отсюда. Он один. Он невредим. Но если он останется здесь, разве он уцелеет? В сознании его проносится мысль, что все это ужасно, что этого не должно быть. Тедди был прав. Маргарет была права. Это верх безумия, люди сошли с ума. Все эти люди — и те, кто с ним, и те, кто против него,— все эти фантастические фигуры в масках, все они безумцы, безумцы оттого, что повинуются, безумцы оттого, что позволили привести себя сюда, безумцы потому, что не покончат с этим.

Прежде всего во что бы то ни стало надо вырваться из этого кошмара, уйти от этих маньяков. Он пытается

вырваться из этого кошмара — дни и недели он пытается вырваться — и снова проваливается в него.

Другое видение, почти такое же яркое.

Он один. На нем противогаз, но ему кажется, что он прилегает неплотно. Он в разбитом ходе сообщения, в развороченном нужнике, мечется из стороны в сторону в зловонной грязи, как загнанная крыса в яме, не зная, откуда грозит опасность.

Еще один кошмар, в котором он без конца пытается куда-то пробраться, куда, все равно, только подальше отсюда; он карабкается вверх по ржавой железной стене, он ползет, лежит, распростертый, в ужасе, и воздух над ним рассекается со свистом градом пулеметных пуль; он забивается в темные ямы, из которых нет выхода, он ползет по обломкам стены какого-то разрушенного дома, по грудам битой посуды, попадает на какой-то пустырь, где свалены зловонные раздувшиеся трупы лошадей и разбитые лафеты, сталкивается и бежит прочь от кучки отчаянных людей в хаки, которых очень молодой капитан ведет к последнему бесполезному сопротивлению. Немцы где-то уж совсем близко, потому что все без противогазов и не чувствуется никаких признаков газа. Теодору врезалось в память, что лицо молодого капитана покрыто белыми оспинами. Так непривычно встретить теперь рябое лицо! На минуту он овладевает собой.

— Куда вы идете, сэр? — спрашивает молодой офицер.

— Мои люди вон там, — лжет Теодор. — Но, ради бога, скажите, где мне достать патроны? Мой капитан здесь, но у нас нет боеприпасов.

Как бы то ни было, он отделался от них.

Потом он видит себя в высокой жесткой траве среди деревьев, кругом масса цветов, в особенности ромашек. Рядом сравнительно мало поврежденная дорога, а немного подальше — белая хибарка с нетронутой крышей. Он старается припомнить, как это называется по-французски — chaumière или chaumette? Странно, что он может думать об этом. Затем он начинает отдавать себе отчет в своем положении. Он дезертир. Одному богу известно, куда он забрел, но ясно, что он вне поля сражения. Но едва он успел подумать, что он вне поля сра-

жения, слышится протяжный и низкий вой снаряда, который падает с глухим стуком и рассыпается в белое облако. Он бросается ничком на землю и долго лежит неподвижно под градом грязи и щебня. Мир кажется странно затихшим после того, как этот оглушительный взрыв ударил в барабанные перепонки Теодора. Тишина эта длится. Теодор приподнимается и прикладывает руки к своим мучительно ноющим ушам. Во рту отвратительный вкус дыма.

Он старается припомнить более отчетливо, что, собственно, произошло...

И вдруг проваливается в какой-то ужас и пустоту. Он хотел бы быть мертвым. Если бы этот снаряд упал чуть-чуть ближе, его убило бы, и тогда все было бы кончено, и он избавился бы от этого нестерпимого ужаса. И его желание исполняется. Он умирает. Он опускается в траву, складывает вытянутые, как у покойника, руки, и больше он ничего не помнит.

В последней, заключительной картине он снова на время становится самим собой...

Он говорит с доктором.

Доктор сидит напротив него, и между ними стоит маленький плетеный столик со стеклянным верхом. Как они встретились, с чего начался их разговор, он не помнит, он помнит только самый напряженный, критический момент допроса.

— Откуда, черт возьми, я знаю, что случилось? — спрашивает он, плача.— Я думаю, что я убежал. Да, я думаю, что убежал, и теперь меня расстреляют. Во всяком случае, это уже будет конец всем моим мучениям.

В процедуре лечения пациентов такого рода, как Теодор, практиковались различные методы, в зависимости от подхода военного врача, в ведении которого это находилось. Иногда диагноз приводил прямехонько к суровому, мрачному ружейному залпу на рассвете. Но среди этих военных врачей попадались вдумчивые и милосердные люди, которые никогда ни одного человека не обрекли на такую судьбу; и Теодору повезло, он попал к доктору этой новой школы, а не к бездушному автомату старого образца. Доктор был далеко не так уж уверен в своей науке да и в своей роли, но профессиональные традиции обязывали его держать себя так, как

если бы он был в этом уверен. Он сохранил независимый образ мыслей, пронес свою веру в науку через четыре года врачебной практики на фронте. Он знал, как поступит с Теодором, но не мог удержаться, чтобы не высказать на его счет кое-каких предположений.

— Я думаю, может быть, в самом деле было бы лучше перестрелять всех таких вот молодчиков, как вы,— сказал он.— Может быть, человечество улучшилось бы от этого. Что это, неизбежность сделала вас таким? Неизбежность? Или у вас чего-то недостает, что-то было упущено в вашем воспитании?

Теодор чувствовал, что его распекают и распекают жестоко.

— Пусть меня расстреляют,— угрюмо сказал он, проводя рукой по мокрому лицу.— Я убежал.

И, всхлипывая, прибавил:

— Если я не пожертвовал жизнью одним способом, я могу пожертвовать ею другим.

— Шш! — сказал доктор.— Это не вы убежали. Это другой офицер убежал. Не болтайте глупостей, или вас действительно расстреляют; а тогда, вы знаете, это станет известно дома. Вам этого не хочется. Нет.

— Я не помню, как я убежал,— сказал Теодор с новым проблеском надежды в покрасневших глазах.

— Но тогда зачем же, черт вас возьми, вы болтаете об этом?

— Разве я убежал?

Доктор промолчал и подумал, что лучше было бы просто исполнить свою обязанность.

— Нет,— сказал он. Чувство юмора пересилило в нем.— Вы храбро вели ваших солдат, снаряд разорвался у ваших ног и отбросил вас мили на полторы в тыл. Ну, и вполне естественно, что вы лежали оглушенный. А так как у вас нет никаких телесных повреждений, а только психические, произошло — ну, попросту сказать — недоразумение. А теперь, несчастный вы идиот, потрудитесь-ка заткнуться и предоставить это дело мне.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОИНА

1

ИНТЕРМЕДИЯ ВО МРАКЕ

Вплоть до окончания войны Теодор пребывал в качестве пациента в Уайтинг Семмерсе и лечился от так называемой военной травмы. Прежний термин «шок от контузии» вышел из моды, и объяснение неромантического поведения нашего героя на поле битвы, так же как и наступившего вслед за этим состояния глубокой депрессии, выражавшейся главным образом в полной прострации и слабых, неэффективных попытках к самоубийству, уже не опиралось теперь на гипотезу физического расстройства, вызванного контузией от снаряда. Здесь было нечто более серьезное. Медицина, которой приходилось на практике сталкиваться с весьма затруднительными случаями, вынуждена была прийти к более широким выводам относительно этих «нервных шоков» и признать, что они являются только более яркими, более наглядными примерами едва ли не всеобщего психического расстройства, вызванного войной.

В поучительной синей книге «Доклад военного министерства о контузиях снарядами», опубликованной в 1922 году, мы видим, что официальные круги все еще пытаются трактовать эти случаи как нечто специфическое и определенное и отказываются признать, что каждый человеческий мозг, сталкивающийся с современной войной, сталкивается лицом к лицу с чем-то столь противоестественным, бессвязным, бессмысленно и бесцельно жестоким, чего он не в состоянии выдержать. Человек вовлекается в это потоком традиций, приверженностей, сентимен-

тальностей, понятий о честности, представлений о долге и мужестве, доверия правительству и властям, и только для того, чтобы очутиться во всесокрушающем хаосе этой необъятной разрушительной бесцельности. Не все, кому приходилось сталкиваться с этим вплотную, кричали, бежали или падали, и только какой-то процент военных невротиков попадал в госпитали, но все без исключения выходили из этого искалеченными, изуродованными и разбитыми.

Глубоко под мраком безотрадной апатии нашего невредимого военного невротика Теодора, находящегося под наблюдением в Уайтинг Семмерсе, это новое прозрение обмана, угрозы и ужаса жизни и старые, укоренившиеся навыки приспособления и самоуспокоения вели свою незаметную, но непрекращающуюся борьбу. В нем иногда еще шевелилось слабое стремление, возникшее много лет тому назад под влиянием Брокстедов,— стремление обнажить себя и свой мир, взглянуть в лицо своим беспредметным вожделениям и сентиментальной маскировке, признаться в своем мучительном страхе перед страданием, в своем отвращении к каким бы то ни было усилиям, в своих бесчисленных слабостях, спуститься в самую пропасть человеческого унижения, признать подлинные ужасы жизни рядом с ее обманчивыми возможностями — и подняться человеком.

Но откуда же возьмется сила, которая потом поднимет его из этой пропасти самоуничижения? Он может спуститься в нее, но жить в ней он не может. Ему недоставало мужества стать настоящим самим собой, а дар самообольщения на время покинул его. Он часами сидел в состоянии полной прострации, примиряясь с нею, поощряя ее, сидел с безжизненно опущенными руками, с открытым ртом, не отвечая на вопросы. Потом вдруг сразу его настроение менялось. В нем поднимался протест против этого чувства самоуничижения. Потускневшие воспоминания о бегстве и отчаянии вытеснялись за пределы сознания. Он вносил смягчающие поправки в историю своего ранения, так что теперь он уже оказывался не военным невротиком, а контуженным, пострадавшим от разрыва снаряда.

— Конечно,— бормотал он, выпрямляясь и перестраивая свои воспоминания.— Конечно.

Он вел себя совершенно безупречно, когда этот проклятый снаряд разорвался около него. Правду сказать, ему даже кажется, если бы только он мог восстановить в памяти все как было, он вел себя исключительно мужественно. А эти сны о бегстве и ужасе были не более как сны. Зачем он поддавался им?

— Ну вот, это уже лучше,— сказал доктор, увидев, что он сидит прямо, с закрытым ртом и живыми глазами.— Погуляйте-ка немножко. Когда человек болен такой болезнью, как вы,— убеждал доктор,— всякое воспоминание становится безобразным. Не расстраивайтесь из-за этого. В действительности все было совсем не так безобразно, как вы думаете. Надо все видеть в настоящем свете. Кстати, почему бы вам не заняться рисованием? Ведь вы были художником, правда?

Сначала Теодор не хотел делать никаких попыток, но спустя некоторое время этот совет соблазнил его. Доктор положил на виду рисовальный альбом и акварельные краски. Сначала у него получалась какая-то мазня, но потом он начал писать один за другим целую серию фантастических пейзажей, прогалины в густой ярко-зеленой чаще, тропинки, вьющиеся по высоким горным массивам, высокие замки среди скалистых утесов, горные озера и часто две маленькие фигурки, едущие верхом. Все это, казалось, принадлежало к какому-то другому миру, к какой-то другой фазе существования, в которой он был счастлив.

Потом, он заметил, что музыка тоже оказывает на него благотворное влияние, хорошая граммофонная музыка. Больше всего ему нравились Берлиоз и Оффенбах. Он слушал, и давно забытые видения снова вставали перед ним.

После заключения мира он стал очень заметно поправляться. Это наблюдалось у очень многих военных невротиков. Мир, говорили психологи, ослабил действие инстинкта самосохранения, уничтожил бессознательное противодействие организма выздоровлению. Спустя некоторое время не было уже никаких препятствий к тому, чтобы выписать Теодора выздоровевшим.

В один ясный, теплый апрельский день он очутился в поезде, идущем в Лондон. Но теперь это уже был ис-

правленный и обузданный Теодор. Этот Теодор сидел в вагоне и поглядывал в окно на бегущий мимо расцветающий ландшафт послевоенной Англии. Теодор, который бежал из окопов, исчез совсем из его бодрствующей жизни и остался жить только в его снах. А у этого бодрствующего и сознательного Теодора была совсем другая история. Последние перипетии его военной службы были начисто вычеркнуты из его памяти и заменились туманными, изменчивыми легендами о его героическом поведении. Он герой войны, возвращающийся к мирной жизни. Он сражался и страдал. Бэлпингтон Блэпский сыграл свою роль, исполнил свой долг — встал на защиту дорогой Англии и помог ей спастись, один бог знает от чего... Так или иначе...

Сны протестовали, издевались, угрожали, но постепенно, по мере того как здоровье и чувство безопасности крепли, перегородка между этим подсознательным миром и повседневной жизнью снова восстанавливалась. И наконец она стала совсем плотной, и сквозь нее только изредка просачивалось чувство безотчетной тревоги, смутное стремление бежать. Он часто вздрагивал при неожиданном шуме, колебался перед тем, как открыть дверь, его заикание стало несколько более заметно, и он не всегда мог справиться с ним.

В таком виде Теодор вынырнул из Великой войны.

2

ПРЕРВАННЫЕ СВЯЗИ

Он не совсем ясно представлял себе, что его может ждать в Лондоне.

Самое главное было то, что он возвращался. Ведь не куда-то в неизвестное он едет. Лондон, в который он возвращался, надо полагать, тот же Лондон, из которого он уехал. Он сражался, чтобы спасти Англию своих юношеских идеалов, а не для того, чтобы создать другую, непохожую Англию. Итак, он мечтал, как он вернется к своей прежней художественной и литературной деятельности, и представлял себе ту же школу, те же старые разговоры, старую дружбу и соперничество. Разумеется, его разговоры теперь будут отличаться большей

глубиной, его кругозор расширится воспоминаниями о военной службе и великом походе. Это будет тот же Теодор в том же Лондоне, но более зрелый, сложившийся и умудренный. А надо всем этим, пока еще не совсем отчетливо, но заполняя собой все и властвуя надо всем, выступала Маргарет. Он чувствовал, что он некоторым образом как бы возвращается к Маргарет, что она неизбежно займет свое место центральной фигуры его мечтаний. Он сознавал, что он стал теперь в полном смысле слова мужчиной, более красивым, более зрелым, более интересным, чем неуклюжий рекрут первого периода их связи. Он похудел, вытянулся дюйма на два, у него стали более строгие глаза, более твердый голос.

Его не очень смущало, что всякая переписка между ними прекратилась после того последнего письма, которое он ей послал перед тем, как отправиться в Пятую армию. Это письмо долго не давало ему покоя; он все старался припомнить, в каких выражениях оно было написано, но постепенно оно приобретало в его памяти характер мужественного протеста против противников войны, естественного и даже необходимого со стороны офицера, идущего на тяжкие мучения фронта. Может быть, слова его были суровы. Она, вероятно, слышала о его ранении от тети Аманды, если не из других источников, и, конечно, она сгорала желанием написать ему и привести в ясность их отношения. Но, вероятно, она не знала, куда написать, или же письмо могло затеряться.

Он много раз представлял себе их встречу, сидя в поезде, который мчал его к Лондону, и всякий раз у него получалось по-разному.

Его маленькая квартирка в Западном Кенсингтоне оставалась за ним, но одну-две ночи, пока ее не привели в порядок, ему пришлось переночевать у тети Люцинды в комнате для гостей. Конец недели он провел в Эдгвере у дяди Люсьена, который давно забыл свои неудачи со снабжением, сделался одним из лидеров героического движения реконструкции, поставившего своей целью построить новый рай в Англии, в ее зеленых и живописных селениях. Это движение стремилось сделать Англию «достойной ее героев». Оно должно было вознаградить их за все жертвы, которые от них потребовала война. Это видение сверкало очень ярко в течение некоторого

времени, привело к каким-то сложным спекуляциям со строительными материалами и примерно через год или около того незаметно померкло и исчезло.

Теодор сразу пошел в школу Роулэндса, чтобы восстановить прежние связи. Школа очень мало изменилась. Были два новых помощника — оба их предшественника погибли на войне, но Роулэндс остался тем же Роулэндсом, он так же азартно писал, как и раньше, и был все такой же тучный, крикливый и беспорядочный.

— На кой черт стану я заниматься всей этой проклятой журналистикой и пропагандой? — спрашивал он. — Какое дело искусству до всей этой войны и политики? Скоро, пожалуй, ваши солдаты примутся писать для нас картины! — И он продолжал писать по-своему то, что ему нравилось.

Вандерлинк вернулся из Италии и писал теперь лучше, чем когда-либо. Его лицо от лба до подбородка было перерезано багровым шрамом, который приподнял его губу наподобие заячьей и каким-то образом пощадил только его воинственно вздернутый нос. Это образовало сердитую складку у него между бровями.

Начав со школы Роулэндса, Теодор постепенно восстановил и другие старые связи. Он узнал, что Фрэнколин получил не более и не менее как чин полковника и массу всяких знаков отличия, а Блеттса разорвало на куски в публичном доме во Фландрии какой-то бомбой, сброшенной наугад немецким аэропланом. Рэчел Бернштейн, как он узнал от ее брата, вышла замуж за сиониста и уехала в Палестину. Она сделалась ярой сионисткой, и для нее теперь не существовало ничего, кроме избранного народа. Но в конце концов разве мало избранного народа, особенно в Палестине!

От Мелхиора он услыхал и о Брокстедах.

Отец и сын давно уже помирились. Тедди вышел из тюрьмы несколько озлобленным, но пока что прекратил всякую политическую деятельность; недавно он опубликовал кое-какие результаты своих исследований. Очень серьезная и ценная работа, сказал Мелхиор. А профессор написал очень язвительную и изобличающую книгу против способов ведения войны, «Результаты исследования недееспособности», и похоже, что он собирается перекочевать из своей зоологической сферы в область

социологии. Он опубликовал доклад «Человеческая ассоциация с точки зрения биологии», который Мелхиор очень горячо советовал Теодору прочесть.

— Чертовски оригинальная книга для такого старикана: такой поразительный скачок ума.

— А Маргарет?

— Я вижу ее иногда,— сказал Мелхиор.

Теодор подождал, что он еще что-нибудь прибавит.

— Она стала еще красивее. И, знаете, она получила очень хороший диплом.

— Ну, а что же тут удивительного? — сказал Теодор.

— Не знаю. Она ведь не разговорчива. Ну просто как-то не верится, чтобы такие красивые женщины были способны сдавать экзамены.

— А что она теперь делает?

— Она работает штатным врачом в госпитале. Удивительно, что она до сих пор не вышла замуж. Такая девушка... Вероятно, отбою нет от женихов. Если только они ее не побаиваются, как, например, я. Смотришь иной раз на нее и думаешь: «А трудно, должно быть, на вас угодить, юная леди». Но стоило бы постараться. Ведь, надо полагать, такой же она человек из крови и мяса, как все другие.

Теодор записал адрес госпиталя, и после этого весь Лондон наполнился мыслями о Маргарет, томлением по Маргарет и каким-то страхом перед Маргарет. Целых три дня он сдерживал себя и не писал ей. Все это время он надеялся и мечтал встретить ее где-нибудь случайно на улице. Иногда в толпе прохожих, увидев вдалеке какую-нибудь женскую фигуру, напоминавшую Маргарет, он бросался к ней с замирающим от счастья и в то же время мучительно сжимающимся сердцем, но она оказывалась незнакомкой. Он ходил по разным местам, где можно было надеяться встретить ее. Он обедал в ресторанах, где они бывали вместе в дни войны. Он двадцать раз проходил мимо ее госпиталя. Наконец он написал ей в госпиталь.

«Маргарет, дорогая.

Я вернулся в Лондон из армии, излечившись от всех моих ран, и чувствую себя очень одиноко. Я очень хочу видеть тебя. Где бы ты могла со мною встретиться?

Твой *Теодор*».

3

ПОСЛЕВОЕННАЯ МАРГАРЕТ

Она ответила так же коротко. Она очень рада, что он поправился. Не угостит ли он ее чаем у Румпельмейера, на Сент-Джемс-стрит, в том конце, где дворец?

Он явился за несколько минут до условленного часа.

Мелхиор сказал правду. Она стала еще красивее, чем прежде. Она с серьезным видом прошла через магазин в кондитерскую, где он поджидал ее за маленьким столиком. Она увидала его, и лицо ее дружески, подчеркнуто дружески, просияло. Он встал, смуглый, худой, и протянул к ней руки.

(В конце концов, может быть, это последнее письмо из Парижа и не дошло до нее!)

Она была так рада увидеться с ним снова, так рада, и она так интересовалась им.

— Я никогда не пила чая в этой кондитерской,— сказала она.— Мне всегда очень хотелось.

Они сели. Они смотрели друг на друга, но избегали смотреть слишком пристально. Теодор нервничал. Его немножко беспокоила процедура заказывания чая.

— Пожалуйста, пирожных и все, что у вас есть,— сказал он официантке. Он чувствовал, что для него чрезвычайно важно сделать заказ изящно, корректно, властно. Он должен показать себя мужчиной до мельчайших подробностей. Официантка приняла заказ с проникновенной почтительностью и отошла от них.

Они обменялись ничего не значащими фразами:

— Я должен был написать тебе.

— Естественно, что ты написал мне.

— Ты ничуть не изменилась. Ты стала только еще более сама собой.

— А я чувствую, что я ужасно изменилась. И постарела и поумнела. Ведь я теперь практикующий врач.

— А твой отец все еще профессором в колледже Кингсуэй? А Тедди?

— Он понемножку приходит в себя после войны.

Приходит в себя после войны! Да что он-то делал на войне? Но оставим это. Надо забыть на время эту старую ссору.

— А что ты теперь собираешься делать, Теодор?

— Не знаю. Думаю писать или рисовать. Посмотрю, что больше захватит меня.

Она с серьезным видом ждала, что он скажет что-нибудь еще, и в ее глазах светилась нежность. Она облокотилась на стол, и по всему было видно, что он кажется ей лучше, чем она ожидала.

Он начал говорить о своем искусстве и о возрождении искусства и литературы, вдохновленных войной. Для творческого импульса, особенно в литературе, заявил он, сейчас наступает самый благоприятный момент. Вот почему его больше привлекает литература, чем живопись. Новое вино не годится вливать в старые мехи. Должны появиться новые формы, новые люди, новые школы. Старые авторитеты отпали от нас, как громоздкая пустая шелуха, которая отслужила свою службу, все эти Харди, Барри, Конрад, Киплинг, Голсуорси, Беннет, Уэллс, Шоу, Моэм и т. д. Они сказали все, что могли сказать, они выдохлись. Им больше нечего сказать нам. Он махнул рукой, словно отметая их прочь. Все это довоенные светила. Их можно было бы с успехом сжечь во время иллюминации в день перемирия. Новое поколение несет великие новые идеи, новые понятия, полные глубокой значительности, новые широкие перспективы, которые открыла война. Возникают новые концепции жизни, новые концепции счастья и пола, и они будут выражены по-новому, другим языком, более богатым и тонким, выкованным заново для новых запросов.

Он и не подозревал, что все это таилось у него в глубине сознания. Это вылилось так неожиданно, что он сам был удивлен своим красноречием. Но весь мир теперь снова наполнился значением, и все это было важно для него, раз его слушала Маргарет.

Она не сводила с него глаз, когда он говорил.

— Милый, прежний Теодор,— сказала она.— Ты говоришь так же хорошо, как раньше.

Он резко оборвал.

— Все ли я еще милый, прежний Теодор? — отрывисто спросил он.— Маргарет, дорогая?

Несколько секунд она сидела молча.

— Да, всегда милый Теодор, да,— сказала она.

— Милый, как и прежде?

Она молчала. Он продолжал:

— Я мог бы говорить с тобой вот так целую вечность. Я чувствую, как ко мне снова возвращаются и сила и смысл жизни. Я могу писать, могу создать что-то ценное, если только... Маргарет, дорогая, скажи, ты все так же любишь меня? Все осталось по-прежнему, ты моя?

— Нет, нет,— сказала она.— Говори о книгах. Говори о литературе. Говори о том, как вы, молодые писатели, сметаете прочь старых болтунов. Я люблю слушать, когда ты говоришь об этом. Мне бы очень хотелось, чтобы ты осуществил все эти замечательные мечты. Настоящий новый век.

— Любимая моя, дорогая. Я люблю тебя все так же.

Несколько мгновений они пристально смотрели друг на друга, не говоря ни слова.

Она сложила перед собой руки.

— Теодор,— сказала она очень твердо,— слушай.

— Я не хочу слышать то, что ты хочешь сказать.

— С этим все кончено.

— Но почему кончено?

— Это кончилось. Умерло. И умирало уже тогда, когда ты в последний раз был в Лондоне. Разве ты не чувствовал? И потом—разве ты не помнишь? Ты написал мне письмо.

Значит, она получила его письмо. Но он так много думал об этом. Он сумеет объяснить ей.

— Я был невменяем, когда писал тебе это письмо. Это была дикая выходка. У меня нет слов рассказать тебе, в каком мраке и отчаянии я находился в то время... Эти долгие дни неизвестности и тревоги в Париже. Да, это было непростительно. И все-таки я прошу тебя простить. Что это за любовь, которая не умеет прощать?

— А эта проститутка! Которая гораздо лучше умела любить?

— Это все то же. Конечно, я этого не думал. Разве я мог так думать? Я написал, чтобы сделать тебе больно.

— Что же это была за любовь, которая хотела сделать больно? Может быть, она нанесла такую рану, которая никогда не заживет. Женщины — а может быть, и все влюбленные — носят в себе какое-то чувство гордости: они гордятся тем, что умеют любить.

— Я был невменяем,— повторил он, чувствуя, что все его доводы ускользают от него.

— Глупый Теодор,— сказала она.— Милый, но глупый.

— Ты наказываешь меня за то, что я не вытерпел и закричал.

— Я не наказываю тебя. Но ты оборвал что-то. Сломал и швырнул мне в лицо.

Он наклонился к ней через стол и заговорил, взволнованно понизив голос:

— Маргарет, дорогая, все это так глупо. Так нелепо. Мало ли чем мы обидели один другого. Ведь мы же любим друг друга, и тела наши жаждут друг друга. Все это такой вздор. Между нами нет никакой настоящей преграды, только вымысел, только уязвленная гордость. Если б я только раз мог поцеловать тебя, ты бы вспомнила. И все вернулось бы.

Она твердо выдержала его взгляд.

— Да,— сказала она.— Но ты не можешь поцеловать меня. Ни здесь и нигде. И я не хочу вспоминать. Не хочу, чтобы это вернулось. Даже если бы это было возможно... Мне было бы противно потом. Это кончилось. Но я все же хочу, чтобы мы остались друзьями. Я и сейчас очень люблю тебя и думаю, что это останется всегда. Я, правда, очень люблю тебя, Теодор. Но если ты будешь вести такие разговоры, разве я могу встречаться с тобой?

4

МАРГАРЕТ КОЛЕБЛЕТСЯ

В этот раз она не условилась с ним, когда они встретятся... Он послал ей открытку.

«Подари мне один день, один-единственный день, Маргарет. Вирджиния Уотер, наши прогулки».

Она не ответила. Он позвонил ей в госпиталь.

— Я не хочу дарить тебе день.

— Ты что, боишься встретиться со мной?

Он знал, что это заденет ее гордость.

— Что мы можем сказать друг другу, кроме того, что уже сказано? — спросила она.

— Приходи ко мне.

— Нет.

— Тогда давай встретимся и поговорим в последний раз в Кенсингтон-гарденс.

Она согласилась.

— Хорошо, если ты считаешь, что это необходимо,— сказала она.

Когда они встретились, у них у обоих было наготове, что сказать. Некоторое время они разговаривали, не слушая друг друга, каждый старался высказать свое. Он обращался к ней с цитатами красноречивого призыва, который он успел сочинить и несколько раз переделать в этот промежуток времени, призыва выйти за него замуж, помочь ему вернуться в жизнь, вдохновлять его, забыть все их разногласия, возникшие во время войны, и отдаться любви. Но ее невнимательность сбивала его, и он путался в фразах. Она не слушала его, она старалась отмахнуться от его фраз и пыталась объяснить ему что-то. Наконец он отказался от своих попыток и стал прислушиваться к тому, что говорила она.

— Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Я не хочу, чтобы ты ушел из моей жизни. Я чувствую, что это было бы равносильно тому, как если бы ты умер для меня. Я никогда не выйду за тебя замуж, но разве ты все-таки не можешь оставаться близким мне? Разве все то, что было между нами, не может остаться светлым воспоминанием и сохраниться? Может быть, первая любовь больше значит для женщины, чем для мужчины. Я не хочу, чтобы ты совсем перестал существовать для меня. Я не хочу расставаться в ссоре. Я не могу ссориться с тобой, и этим все сказано. Мы любили. Ты часть моей жизни. И вот так я и чувствую.

— Но тогда все очень просто разрешается. Будь частью моей жизни.

— Нет, этим ничего не разрешается, если ты попрежнему настаиваешь на любви. С этим все кончено, навсегда. В жизни все не так просто. Будем откровенны. Когда я отдалась тебе во время войны, это казалось пустяком, да это и был пустяк. С моей стороны было бы подло в то время отказать тебе. Я рада, что это сделала. Рада, ты слышишь? Но теперь .. Теперь...

— Теперь,— язвительно сказал Теодор.— Теперь ты, по-видимому, решила подумать о своем будущем. А в мое ты не веришь. И этим все сказано. Пока мое имя не будет красоваться на всех афишах, а мои книги не будут выставлены во всех книжных лавках, у тебя нет уверенности, достаточно ли я хорош, чтобы быть твоим мужем. Вот как обстоит дело.

— Нельзя сказать, чтобы ты всегда выражался очень любезно. Но допустим, что это так. Хорошо. Наполовину, во всяком случае, это верно. Я не верю в наше будущее. У нас нет общего будущего. Не можем же мы, дорогой мой, прожить всю жизнь в объятиях друг друга. Когда мы с тобой говорим, пишем друг другу или думаем, мы расходимся. Если б даже ты и достиг этого успеха, о котором ты говоришь, нас это все равно не сблизило бы. Может быть, я не считала бы это успехом. Я хочу делать свое дело. Я хочу служить — служить чему-то более значительному, чем красивому, безответственному мужчине, хотя бы его имя и красовалось на всех афишах. И еще есть многое другое. Я не хочу связывать свою жизнь с твоей ни за что на свете. В тебе есть что-то...

Голос ее оборвался. Даже себе самой она не хотела признаться в том, что она на самом деле думала о Теодоре.

— Как все это невыносимо рассудочно! — помолчав, сказал Теодор.

— Да. Не правда ли?

— Невыносимо рассудочно.

— Невыносимо,— согласилась она.

Он сделал вид, будто задумался. Но на самом деле он колебался, ему хотелось задать ей один вопрос, и он не мог решиться. Наконец, он решился.

— Скажи мне одну вещь. У тебя есть кто-нибудь другой? На моем месте?

— Никто никогда не будет на твоем месте.

Он пристально посмотрел на нее.

— Уклончивый ответ.

— Да. Ну, хорошо, да. Я думаю выйти замуж за другого. Он... Мы вместе работали. Мы подружились. Он любит меня.

— Говоря попросту, твой любовник? Я хочу сказать...

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Это тебя не касается. Впрочем, если ты хочешь знать,— нет.

— Пока еще нет?

— Пока еще нет.

— Я так и думал,— сказал Теодор и повернулся на стуле так, чтобы иметь возможность смотреть ей прямо в лицо.— Я чувствовал это.

— Теодор,— сказала она, твердо выдерживая его взгляд.— Ты сам хотел порвать наши отношения. Я этого не добивалась.

— А все-таки, знаешь, несколько неожиданно.

— Почему это может быть для тебя неожиданно?

— Я думаю... Когда же ты решила бросить меня? Когда я был ранен?

— Ранен?

— Ну, выбыл из строя, черт возьми! Что мы будем препираться из-за слов!

— А это письмо, которое ты мне написал из Парижа? Разве тебе не приходило в голову, что оно заставит меня задуматься? Разве ты не порвал со мной тогда? И даже еще раньше. В последний твой приезд в Лондон. Я ясно видела, когда провожала тебя в тот раз, что это конец. У меня было такое чувство, что мне надо остерегаться тебя, чтобы не погубить свою жизнь. Я это понимала. Но, видишь ли, я все еще любила тебя. И еще долго потом. Даже после этого письма. Я думала, что смогу продолжить мою работу, а свою любовь к тебе отодвинуть куда-нибудь в уголок.

— Пока этот твой любовник не занял мое место?

— Вторая любовь не занимает место первой. Это уже что-то другое.

— Лучше, может быть? — настойчиво спросил Теодор, изо всех сил сжимая рукой спинку стула.

Она не ответила, но чуть заметная тень презрения промелькнула на ее лице.

— Боже мой! — произнес Теодор, опустив глаза, и яростно завозил каблуком по траве Кенсингтон-гарденс. В несколько секунд у него под ногой образовалась ровная круглая ямка.

— Вот до чего дошло! — внезапно воскликнул он и встал.

Она тоже встала.

— Идем к Ланкастер-Гейт, там можно достать такси,— сказала она.— Я хочу домой.

Он остановился против нее.

— А этот человек, этот другой... У него, надо полагать, всяческие возвышенные цели? Пацифизм и тому подобное? Наука и прочее? История до сих пор заблуждалась, а вот мы теперь покажем. Подальше от войны. От этой, во всяком случае. Все, против чего я возражаю? И работа? И все? А?

— Какой смысл нам с тобой говорить об этом?

— Я хочу знать.

Она покачала головой.

— Вероятно, приятель Тедди?

— Оставь в покое Тедди.

— Но он знает обо мне?

— Конечно, знает. Разве я прячусь?

— Боже! — воскликнул Теодор, с жестом отчаяния обращаясь к деревьям, траве, солнечному свету и воде, сверкавшей вдали.— Но ведь теперь весь мир для меня станет совершенно пустым.

Она подняла глаза на его искаженное настоящим страданием лицо и вздрогнула.

Жалость захлестнула ее.

— Мне так больно,— сказала она со слезами на глазах.— Мне так больно!

Что-то толкнуло его сделать фантастическое предложение.

— Маргарет,— сказал он,— пойдем ко мне. Вот сейчас. Один последний раз! Забудемся в любви. Последний раз! Я чувствую, ты любишь меня. Подумай, Маргарет! Вспомни! Как я целовал тебя в это местечко — в шею. Помнишь, один раз я поцеловал тебя под мышку. Мои объятия. Мое тело, которое ты обнимала.

Она смотрела на него молча, и лицо у нее было белое, как бумага.

— Мне надо идти,— сказала она почти шепотом.

Она опустила глаза, потом снова подняла их, и он понял, что больше говорить не о чем.

Они пошли рядом по дорожке мимо пруда. Он позвал такси, усадил ее, и они расстались, не сказав ни слова.

5

ЭПИСТОЛЯРНАЯ НЕВОЗДЕРЖНОСТЬ

Теодор повернул к Оксфорд-стрит. Так оно и было, как он сказал: мир стал пустым.

Правда, на улице было какое-то движение, прохожие, стояли освещенные солнцем дома, деревья, но все это были ненужные предметы в пустой вселенной. Он чувствовал теперь, что вся его жизнь была сосредоточена на Маргарет. Что Маргарет была душой его воображения, что без нее он уже не может воображать, а для него никакой другой жизни, кроме воображаемой, нет.

Ему больше не о чем было думать, как о своих взаимоотношениях с ней. И по привычке, усвоенной его сознанием, он драматизировал их и рассказывал себе о них сказки. Мысли его крутились водоворотом, их бурный поток выливался в повествовательную и литературную форму. Все его фантазии хлынули в письма. В течение четырех дней он написал и послал Маргарет семь писем, не считая трех или четырех, которые он разорвал, и все это были весьма разноречивые и нескромные письма. В двух из них он дал выход накопившемуся в нем негодованию против ее упорства и разразился оскорбительными упреками. Некоторые из них отличались откровенной грубостью. Как бы явно она ни показывала, что решила порвать с ним,— она его любовница, и он не намерен допустить, чтобы кто-то из них забыл об этом. Все его письма были рассчитаны на то, чтобы так или иначе задеть и взволновать ее, и этого они достигли.

Все они были полны обвинений и упреков, ибо ничто так не ожесточает человека, как сдерживаемое и неудовлетворенное желание. Воспоминания о ее нежности и доброте исчезли из его памяти. Он помнил только ее отказ, ее оскорбительное неверие в него и эту уж совершенно неслыханную низость — что она могла полюбить кого-то другого. Он томился желанием вернуть ее прежде, чем этот другой овладеет ею; это было мучительное, исступленное желание, но у него недоставало ни ума, ни характера, чтобы постараться воздействовать на искрен-

нее чувство нежной привязанности и физическое влечение, еще сохранившиеся у нее. Он не мог убедить, потому что старался доказать, что во всем виновата она одна, и заглушал свое горе и раскаяние упреками, обвиняя ее в непостоянстве и предательстве, изобличая низость ее побуждений и негодуя на ее холодность. А еще ему надо было сокрушить своего соперника, хотя он ничего не знал о нем. Он убедил себя, что этот человек оставался в Англии в то время, как он был на фронте и в госпитале. Он решил, что это такой же принципиальный противник войны, как Тедди. Итак, он разражался следующими великолепными фразами:

«Банальнейшая история военного времени! Пока я был там, ты не стала ждать и изменила мне с этим embusqué»[1].

Или еще:

«Эта война разоблачила всю фальшь женских притязаний на какое-либо благородство и самоуважение. Люди, которые умирали, веря в женщин, оставшихся дома, были счастливее тех, кто вернулся назад, чтобы утратить последние иллюзии».

Потом он принимался взывать:

«Понимаешь ли ты, что ты убиваешь душу человека, который всю жизнь свою построил на мечте о тебе? Представляешь ли ты себе, какое место ты занимала в моем воображении? С детства! Тысячу и одну мечту, которые сосредоточивались на тебе!»

Потом переходил к возвышенному стилю, впадал в высокопарный тон настойчиво домогающегося и в то же время властного самца:

«Если когда-нибудь женщина принадлежала мужчине, ты принадлежишь мне. По праву любви. По праву ответного желания. Ты милое, чудесное, неразумное создание, вернись ко мне, вернись в мои объятия! Забудь все, что я писал тебе в минуты горечи. Эта горечь свидетельствует лишь о том, что в моей любви бушуют все стихии, ненависть и вражда бороздят кровавыми вспышками огромное светлое пламя. Приди в мои объятия, о Маргарет, моя дорогая, любимая, моя прекрасная возлюбленная, моя жена! Нам нужно всего лишь не-

---

[1] Окопавшийся *(франц.)*.

сколько минут побыть в объятиях друг друга, и все воспоминания об этих страшных днях рассеются, как дым. Мы начнем новую жизнь, прощенные, забывшие и прощающие. Поплачь на моей груди. Возлюбленная моя, как памятен мне вкус твоих слез в тот день, когда ты впервые отдалась мне. Неужели ты могла забыть это незабвенное мгновение? И третьего дня в Кенсингтон-гарденс ты плакала. Плакала обо мне. Священные слезы. Нестерпимо сладостные слезы. Как они потрясли меня!»

Он набросал это в один присест, и, по мере того как это выходило из-под его пера, он чувствовал, что этот пламенный призыв является редким образцом почти недосягаемой красоты. Он убеждал себя, подавляя смутно шевелившиеся в нем сомнения, что эти строки сломят ее упорство, хотя все другие письма оказались бессильны. Кончив письмо, он по своему обыкновению тотчас же пошел опустить его. Но на этот раз, после того как письмо исчезло в ящике, у него не было такого тревожного чувства и опасения, как бывало обычно.

Он почувствовал, как в нем поднимается неудержимая жажда музыки, величественной, героической музыки, и увидал, что у него есть еще время попасть на концерт в Куинс-Холл, где исполнялся Бетховен. Он сидел, погруженный в возвышенные размышления, сочиняя новые и еще более убедительные послания.

На следующее утро он два раза звонил ей по телефону в госпиталь, надеясь поговорить с ней, но каждый раз ему отвечали, что она занята.

6

ПАПЬЕ-МАШЕ

Кто-то постучал в дверь его маленькой квартиры. Безумная надежда охватила Теодора. Он открыл дверь и увидал перед собой загорелого молодого человека в клетчатом костюме, чуть-чуть поплотнее и пониже его самого; незнакомец сразу, без всяких церемоний, вошел в маленькую переднюю.

— Вы мистер Бэлпингтон,— сказал он.— Да?

Лицо его показалось знакомым Теодору. Он чувствовал, что они где-то уже встречались, разговаривали, но не мог вспомнить, где. Он припоминал даже голос.

— Мне нужно сказать вам несколько слов,— заявил незнакомец.

— Мне кажется, я... не припоминаю вас,— сказал Теодор.— Мы с вами знакомы?

— По всей вероятности, нет. Я, видите ли, друг Маргарет Брокстед.

— А! — сказал Теодор.— Вот что!

— Вот именно,— сказал незнакомец и огляделся по сторонам.

— Пожалуй, лучше будет, если мы пройдем в комнату,— сказал Теодор и повел его в маленькую комнатку, в которой после смерти Клоринды секретер Раймонда, поместившись рядом с письменным столом, несколько загромождал пространство. Под окном с мягкими шторами стоял большой диван и возле него два высоких зеркала, одно выпуклое, другое вогнутое.

Незнакомец прошел через комнату, задумчиво посмотрел на диван и зеркала и повернулся.

— Послушайте,— сказал он,— вы надоедаете Маргарет вашими письмами и телефонными звонками.

— Разрешите спросить... Может быть, вы назовете себя?

— Лэверок. Я женюсь на Маргарет.

— Женитесь?

— Мы с ней решили это вчера.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно.

Теодору следовало принять известие твердо, непринужденно и решительно, но вместо этого он почувствовал, что весь дрожит от ярости.

— В мире нет ничего абсолютно достоверного,— сказал он. Он присел на ручку кресла и жестом пригласил сесть своего гостя. Но Лэверок остался стоять.

— В настоящий момент речь идет главным образом о том, что Маргарет расстраивается и огорчается. Эти ваши письма...

Он внезапно вытащил из кармана пачку сложенных вчетверо листков бумаги.

— ...расстраивают ее.

Он сунул письма обратно.

— Вот как,— сказал Теодор. Он глубоко засунул руки в карманы брюк.— Вряд ли они могли бы уж так ее расстраивать, если бы она приняла определенное решение.

— Вот в этом вы ошибаетесь,— сказал Лэверок и, наклонив голову набок, посмотрел на Теодора.

Он повернулся, сделал несколько шагов по комнате, вернулся обратно, снова посмотрел на Теодора, затем подошел и сел в кресло напротив него.

— Ну, конечно,— сказал он.

— Что — конечно?

— То же лицо, тот же голос, те же развинченные движения. Вы были у меня на освидетельствовании. После последнего германского наступления.

Теодор провел рукою по лбу.

— Что-то не припоминаю.

— Вас хотели расстрелять. Симуляция контузии после взрыва. Я солгал. Как-никак, я дал ложное заключение, чтобы спасти вас. И вот мы теперь снова встретились.

— Нет,— медленно произнес Теодор.— Где, вы говорите, меня видели? Я был ранен осколком снаряда. При чем тут симуляция?

— Нет? Но я очень хорошо помню. Ваш голос, ваши манеры. Я даже заинтересовался тогда. Это было в Мирвилле на Марне.

— Ничего подобного.

— Вы уверены?

— Ничего подобного. Я был отброшен снарядом и отравлен газами. Долго был без сознания. Но все это произошло не там. Совершенно определенно. И все это отмечено в моем послужном списке. Вы ошибаетесь. Я вас никогда в глаза не видал.

— Но в какой госпиталь вы были направлены в Англии? Не в госпиталь для военных невротиков в Уайтинг Семмерсе?

— Нам совершенно незачем входить во все эти под-

робности. Вы пришли говорить о Маргарет. Так и будем говорить о Маргарет.

— Как вам угодно,— угрюмо сказал молодой доктор.— Во всяком случае, вы должны прекратить этот поток писем и упреков Маргарет. Вы попытали счастья с нею. Теперь это кончено.

— Я не откажусь от Маргарет так легко,— ответил Теодор.

— А я думаю, что откажетесь,— невозмутимо сказал доктор.

Наступило долгое молчание.

— Мне хотелось посмотреть на вас,— промолвил молодой доктор.— Признаться, я никак не ожидал встретить такое поразительное сходство с моим пациентом. Но я хотел вас видеть. Я не считаю нужным скрывать от вас, что даже и теперь, даже после всех этих гнусных писем, она очень привязана к вам. Юношеская дружба. Юное воображение. Ну, так вот. Она сжилась с каким-то представлением о вас, которое вы разрушаете этой вашей вредной галиматьей.— Он ткнул пальцем в свой карман.— Не лучше ли вам постараться вести себя прилично и кончить эту историю так, чтобы у нее не осталось никаких омерзительных воспоминаний?

— Она моя любовница,— сказал Теодор.

— Была,— сдержанно поправил доктор.— Все это мне известно.

— Она... она неравнодушна ко мне.

Тон молодого доктора сделался несколько жестче, и лицо его побледнело.

— И это мне известно. Но это долго не продлится. Нет! И вы бы лучше придержали то, что собираетесь сказать. Что мне желательно от вас — что нам обоим желательно от вас,— это чтобы вы оставили ее в покое. Уезжайте из Лондона. Уезжайте куда-нибудь подальше с наших глаз. Уезжайте за границу.

— А если я этого не сделаю?

Лэверок пожал плечами.

— Придется как-нибудь с вами поступить,— сказал он.

— Что, собственно, вы можете сделать?

— Я против всякого насилия. И я бы не хотел делать ничего, что могло бы испортить представление Маргарет о вас. Но по началу похоже, мы с вами не столкуемся. Правда, у нас впереди еще полдня и целый вечер. Признаться, я больше всего хотел бы заставить вас проглотить ваши письма.

— Она вам их отдала?

— Я сам взял их. Если вы хотите знать, она плакала над ними, и так я ее и застал. Она вас оплакивала. Потому что вы лгун, потому что вы жалкий, надутый пустой фанфарон, лгун и позер, а она изо всех сил старалась внушить себе, что вы порядочный человек. У вас не горели уши вчера вечером? Мы в первый раз попробовали поговорить о вас, что называется, по душам.

Теодор мрачно кивнул головой.

— Вы понимаете,— продолжал Лэверок,— до сих пор мы никогда не говорили о вас. Мне было о вас известно, но ни у нее, ни у меня до сих пор не хватало мужества войти, так сказать, в запертую комнату, открыть ставни и проветрить ее. Вчера вечером мы это сделали. Ничего страшного. Это нас сблизило. Это была своего рода чистка.

Он резко оборвал. Отвернулся, затем снова взглянул на Теодора. Кулаки его сжались в карманах, но он продолжал все тем же подчеркнуто невозмутимым тоном.

— Как много в вас человеческого,— сказал он.— Отвратительно человеческого! Как вы похожи на всех. Это-то и пугает меня. И это,— он ткнул пальцем,— если бы не милость провидения, стояло бы на пути Стивена Лэверока. Надо же, чтобы судьба послала вам такое чудесное создание! Да разве вы способны ее оценить! Ее красота не ложь. Она честна до мозга костей. А этого было мало для вас. Или слишком много. Это не вязалось с дурацкими сказками, которые вы себе рассказываете о себе самом. Вы! Боже! Как вы отвратительны! Когда я смотрел на вас в Мирвилле, я, признаться, был очень склонен отправить вас на расстрел. Я спрашивал себя — да и вас спрашивал, помнится,— стоит ли оставлять жить такую породу? И вот теперь... Да что тут рассуждать,— прервал он себя.

И вдруг стремительно вскочил, как будто вспомнил о каком-то неотложном деле.

— Посмотрим.

— Но что, собственно, вы собираетесь делать? — спросил изумленно Теодор.

— Заставить вас прекратить все это.

— Как?

— Прекратите вы это или нет?

— Нет.

— В таком случае... Да. Придется прибегнуть к этому.— В тоне Лэверока не чувствовалось убеждения.— Придется вам проглотить эти письма — для начала.

Теодор тоже встал. Лэверок, помедлив, двинулся вперед. Письма были зажаты у него в правом кулаке.

Когда Лэверок подошел к нему вплотную, Теодор ударил его, но не очень решительно. Лэверок повернулся, мотнул головой, и удар пришелся в ухо. Затем Лэверок нанес Теодору удар в грудь, а Теодор тотчас же ответил ему звонким ударом по скуле. Этот удар преисполнил Теодора безумной надеждой на победу. Это был хороший удар. Он собирался повторить его, но в это время получил сокрушительный удар в челюсть. Голова его мотнулась вверх. Всякая мысль о победе мгновенно исчезла. Казалось, удар отдался где-то внутри черепа. Он чувствовал, что сейчас неминуемо последует второй, и не знал, как увернуться от него. Всего лучше, по-видимому, было держать Лэверока за руки и таким образом не допускать удара. Лэверок изгибался и вертелся, стараясь освободить руки, но Теодор зажал их, как в тисках. Они сцепились, забыв всякое чувство достоинства, возили друг друга по комнате и наконец повалились на диван. «Вероятно, это происходило на этом диване»,— подумал Лэверок и в приступе бешеной ярости стряхнул с себя Теодора на пол, как мешок. Теодор, наполовину оглушенный, очутился под Лэвероком; отбиваясь обеими руками и стиснув зубы, он старался защититься от жесткой скомканной бумаги, которую тот совал ему в рот и тыкал в лицо.

— Съешь, съешь,— бормотал сквозь зубы Лэверок, делая бессмысленные усилия.

Борьба продолжалась около минуты. Наконец Теодор почувствовал во рту обрывки бумаги и пальцы Лэверока и изо всех сил вцепился в них зубами.

— Черт! — вскрикнул Лэверок, отдергивая руку, и вскочил, задыхаясь.

Наступило нечто вроде перемирия. Лэверок разглядывал свои пальцы. Теодор сидел на полу и выплевывал бумагу. Этот укус все же как-то уравновесил счет очков.

— Но ведь это же совершенное идиотство с моей стороны! — с трудом переводя дыхание, сказал Лэверок.— Деремся, как собаки во время течки. Что мы делаем?

Теодор не ответил. У него было слишком много бумаги во рту, говорить было неудобно.

Лэверок дрожащими руками начал разрывать мокрые скомканные письма в мелкие клочки, приходя все в большую и большую ярость от сопротивления бумаги, наконец швырнул целую пригоршню обрывков в лицо Теодору, который все еще старался вытолкнуть изо рта последние завязшие на зубах клочки.

— Вот,— сказал Лэверок.— Мне стыдно за себя. Мне... жаль, что так вышло.

Он вытер руки.

Он остановился перед своей жертвой, пытаясь сказать что-то вразумительное.

— Можно ли вести себя, как подобает порядочному человеку, когда мир полон вот такими, как вы? — говорил он.— Как тут сдержать себя? И что делать с такими, как вы? Вы посмотрите. Посмотрите на все, что вы наделали. Какой смысл было вам лгать мне о вашей контузии? Я вас узнал. Вы убежали. Какой смысл лгать теперь о Маргарет? Какой смысл изводить ее? Игра кончена. Черт возьми! Неужели вы не понимаете положения? Боже, и подумать только, какой мерзостью были напичканы эти письма... Говорить ей такие вещи! Осмелиться! Напоминать ей... Так слушайте же, что я вам скажу. Ваша Маргарет теперь принадлежит мне. Я женюсь на вашей Маргарет. Я буду спать с вашей Маргарет, я заставлю ее забыть вас, а если она когда-нибудь и будет вспоминать, то только как о каком-то забавном, незначительном, глупом эпизоде, который разбудил

в ней инстинкт чувственности, когда она еще была девчонкой. Что же касается вас... Убирайтесь из Лондона. Убирайтесь немедленно! Я, собственно, для того и пришел, чтобы сказать вам это. Вот и все.

Он остановился, задыхаясь от напряжения.

— Понятно? — прибавил он как-то беспомощно.

Лучше было бы, если б он закончил этим: «Вот и все».

Он направился к двери. Остановился, словно задумавшись. Затем, после некоторого колебания, нерешительно повернулся.

Казалось, он вдруг сделался меньше ростом. В его манере держаться появилось что-то почти заискивающее.

— Разумеется...— начал он и запнулся.

Он сделал шаг к Теодору.

— Нет никакой необходимости посвящать Маргарет в подробности нашего маленького спора, вы понимаете. Боюсь, что мы с вами оба несколько забылись.

Его попытка обратиться в светского человека, обратить их обоих в светских людей оказалась не очень успешной.

— Недостойно,— сказал он.— С обеих сторон. У меня не было намерения, когда я пришел к вам. Я сказал ей, что верну вам письма и сообщу о том, что мы женимся. Чтобы вы перестали писать ей. Что касается меня, то это все, что она узнает. Я скажу, что вернул их. Я даже не упомяну о том, что разорвал их. Но только — поймите это — вы не должны больше ей писать. Вы не должны этого делать.

Теодор провел пальцами под измятым воротничком, пока не коснулся разбитой челюсти. Здесь пальцы задержались. Он не ответил. Он устал от этого интервью со всеми его неприятными сменами настроений. Ему хотелось кончить его.

— Абсолютно между нами, поймите это,— продолжал Лэверок.— Так будет гораздо лучше. Она ничего не должна знать об этой — ммм — стычке.

Он говорил почти извиняющимся тоном. Больше он ничего не сказал. Дверь стукнула.

Он ушел.

7
ВЕЛИКОЕ ОТРЕЧЕНИЕ

После того как дверь за его гостем захлопнулась, Теодор еще некоторое время сидел на полу. У него было впечатление, что челюсть сломана. Ощупав ее несколько раз, он встал, пошел в ванную, разделся до пояса и вымыл лицо и шею холодной водой.

Переход Лэверока к нападению был для него такой неожиданностью, что он все еще не мог согласовать его со своим образом действий.

— Сумасшедший,— сказал он, вытираясь перед зеркалом.— Взбесился от ревности.

Он вытащил три маленьких клочка бумаги, зацепившихся в его темных волосах.

Пристально посмотрел себе в глаза. И сказал своему отражению в зеркале:

— Счастье, что я не потерял голову, старина. Я мог бы убить его, если бы не держал себя в руках.— И лицо, глядевшее на него, стало суровым. Он смотрел, как оно становилось суровым. Багровый след на подбородке пылал угрожающе.

Он начал переодеваться. Он чувствовал, что это освежит его.

— Он бесится потому, что сознает, какую власть я еще имею над ней. Если бы я только пожелал воспользоваться ею.

Он сел в старое кресло Раймонда, за его письменный стол. Он внушил себе, что ему нужно употребить все усилия, чтобы восстановить всю эту историю в надлежащем аспекте. Он начал вспоминать и корректировать свои воспоминания об этой драке, в особенности о том ударе, который он нанес Лэвероку в лицо.

— Драчливый болван, сумасшедший! — сказал он.— Я мог бы убить его.— Он еще раз ощупал свою челюсть. Она как будто онемела, но не было никаких признаков того, что она будет кровоточить или распухнет.

Очень странно, но он почти не чувствовал злобы к Лэвероку. Этот малый просто раздражительный дурак. Не чувствовал он злобы и к Маргарет. Такая уж она

есть, чего ж от нее ждать другого. Мысли его сосредоточились главным образом на его великом разочаровании, на том быстром конце, который постиг его мечты о возрождении романтической любви. Никогда до сих пор он не сознавал так ясно всю неспособность женщины осуществить пламенные мечты мужской половины человеческого рода. Какое величие любви слагал он к ногам Маргарет!

— И она могла так обмануть меня! Она могла взять мои письма и, не помня себя, побежать к этому субъекту, к этому ввязавшемуся в наши отношения драчливому идиоту! Она уцепилась за него, потому что боялась, что не устоит, если встретится со мною. Боже мой! И это женщина, которой я готов был отдать свою жизнь! Какая чудовищная несоизмеримость чувств! Какое несоответствие переживаний! Так-то закончилась моя первая любовь, единственная великая любовь, которая у меня была в жизни! Да, так-то! Ибо это конец.... И что же такое в конце концов я сказал? Что толкнуло ее на это последнее предательство?

Эти последние роковые письма, жалкие клочки бумаги, рассыпанные по полу, начали преображаться в его памяти. По мере того как он припоминал их, все явственнее выступало для него возвышенное благородство его упреков. Пламенная страстность любовных призывов разгоралась все ярче и ярче. Но нужно иметь великую душу, чтобы откликнуться на этот отчаянный вопль великой страдающей души. Вот они лежат здесь и ждут, пока их выметут,— излияния, которые могли бы составить целую книгу. Может быть, когда-нибудь он и припомнит их настолько, чтобы создать из них книгу.

— И это кончено,— сказал он.— Все кончено.

Он обвел взглядом свою маленькую, заставленную мебелью гостиную. Она была полна воспоминаний. Вот печь, которая так ярко горела в зимние дни. Вот блестящие кресла красного дерева, диван, зеркала, широкий пушистый ковер, а там за дверью его маленькая спальня.

— Пожалуй, самое лучшее будет продать все это,— сказал он.— Отделаться от всего. Сейчас, вероятно, можно выгодно переуступить квартиру, если продать обстановку. Надо подумать.

Не замечая, где он и куда идет, Бэлпингтон Блэпский бродил по оживленным улицам. Что ему делать со своей жизнью? Ехать за границу. Ясно, что он должен ехать за границу; но для чего? Быть может, мысли о заграничном путешествии привели его к вокзалу Виктория. А там, может быть, сутолока и шум заставили его искать темноты и тишины в Вестминстерском соборе.

И здесь, под высокими сводами, он снова познал мир и утешение этого великого святого приюта, этого мирного прибежища от шумной сутолоки повседневной жизни.

— Здесь,— сказал он,— я найду исцеление души.

В церкви были две-три молча молившиеся женщины, а в глубине бесшумно двигавшийся священник зажигал свечи на престоле. Бэлпингтон Блэпский на цыпочках прошел через неф. Направо от него, в коричневой мгле, маленький притвор ярко сиял множеством свечей. Там тоже в глубине виднелась молящаяся фигура. Он сел около колонны и погрузился в глубокую тишину.

Он размышлял о своем положении. Война, любовь, искусство — Бэлпингтон Блэпский изведал все, но что он ни пробовал, что он ни делал, душа его не обрела покоя. Жестокость мужчин, черствость женщин, зло неодухотворенной жизни разрушили его благородные надежды и высокие стремления. Но здесь, здесь, несомненно, было нечто более глубокое и долговечное.

Перед его мысленным взором предстало видение. Дикий хаос скал, теряющиеся в облаках снеговые вершины, а внизу, на гигантском утесе, одинокое и холодное в вечернем свете, стоит большое голое здание. Это — альпийское убежище траппистов. Одинокая фигура с мешком за спиной стоит на крутом перевале; смуглый худой человек, еще молодой, но с лицом, изможденным страданиями, на которое скорбь наложила свою суровую печать. Он стоит некоторое время, глядя на небо, на море, на высокие вершины, потом, как будто желая сказать последнее прости, оборачивается туда, где глубоко внизу рассеяны в голубом тумане города и деревни великой житейской равнины. Наконец он глубоко взды-

хает и начинает спускаться по крутой тропинке к монастырю. Там уже ждут его. Строгий старик привратник отпирает ворота на звук дребезжащего колокольчика. Он ведет его по холодным чистым коридорам в маленькую часовню, и там, сбросив с плеч свой мешок, как некогда христиане сбрасывали свою ношу, он опускается на колени перед алтарем. Бурное сердце Бэлпингтона Блэпского наконец обретает успокоение.

Картина меняется: страшная снежная буря, никто не решается выйти, несмотря на то, что собаки... (А держат ли трапписты сенбернаров? Ну, неважно, эти, во всяком случае, держат.) Лай собак дает знать, что в горах заблудились путники. Никто не решается выйти на помощь, кроме самого бесстрашного из всех, неутомимого отца Теодора.

Борьба с разбушевавшимися стихиями. Буря сбивает его с ног, слепит, ледяной ветер пронизывает до костей, и наконец верное животное приводит его к выступу скалы, под которым, скорчившись, сидят двое заблудившихся и испуганных альпинистов, мужчина и женщина.

— Спаси меня! — кричит мужчина.— Спаси меня! У меня больше нет сил терпеть.

Женщина сидит, съежившись, прижавшись к скале, и не произносит ни слова.

— Мы встречались с вами раньше, Лэверок,— говорит монах.— Но хоть я и служитель божий, я сначала спасу женщину.

Он поднимает ее на руки. Легкое ответное движение показывает, что она в сознании.

— Что это она прошептала: «Теодор»?

Но обратный путь слишком тяжел. Он спотыкается и падает. Даже собаки потеряли направление. Наутро их находят в объятиях друг друга — мертвыми.

Теодор вздохнул на своей скамье и пошевелился. Видение исчезло, как сон, но он почувствовал глубокое облегчение.

Из глубины собора доносился голос, очень быстро читавший молитвы. Время от времени это монотонное чтение прерывалось ответными детскими голосами, поднимающимися и замирающими в песнопении. Теодор на-



«БЭЛПИНГТОН БЛЭПСКИЙ»



«БЭЛПИНГТОН БЛЭПСКИЙ»

ходил неизъяснимую прелесть в этих отдаленных звуках богослужения. Он находил утешение и защиту в сумрачном просторе этого величественного здания, в его глубоких сводах и нишах, в этой сокровенности, возвышающей душу, в бесконечной трогательности алтаря, где свечи возносили свой огонь прямо к богу в таком жарком, пламенном, отрешенном от мира молении. Каким тихим пристанищем являлось это место! Каким тихим пристанищем для тысячи израненных душ, ищущих забвения от блестящей суеты, от унижений, от горьких обманов и предательства! И всегда этот великий, благодатный, утешительный кров готов был приютить его. Было ли еще место в Лондоне, куда он мог бы прийти с такой уверенностью, что встретит мир и сочувствие? Словно чья-то прохладная рука касается его чела. Словно в самой архитектуре, в резном дереве и в камне скрыто неизреченное, безгранично утешительное: «Забудь, бедное дитя».

Теодор задумался всерьез, не уйти ли ему от мирской жизни в монастырь. Помимо того, что это отвечало его потребности драматизировать, он готов был обосновать это и доводами рассудка. В конце концов что одолело и сокрушило его? Современный дух, дух науки. Этот холодный исследовательский дух ожесточил против него женственную Маргарет, заставил ее усомниться в его преданности, в его патриотизме, мужестве и любви и в конце концов привел к тому, что она вопреки естественному влечению своего сердца отреклась от него. Этот дух лишил ее всего возвышенного и священного. И он же был тайной причиной несостоятельности Клоринды, причиной того, что он, Теодор, не знал материнской нежности и рос таким одиноким, жаждал любви и никогда не находил ее. И его история — это не какой-нибудь единичный случай. То, что переживал он, то, что переживает он теперь, переживают тысячи других потерянных, отчаявшихся людей. Мир лишился души. Наука лишила войну величия и славы, лишила богатства и глубины все человеческие взаимоотношения. Везде за пределами этого храма она распространяет свое ожесточающее и огрубляющее влияние. (Какое грубое животное этот Лэверок! Неуклюжий современный дикарь с тяжелыми кулаками! Придет время, и, может быть, даже ско-

ро, когда Маргарет поймет, что значит променять утонченность чувств на материалистическую грубость. Что станется с ней, такой чистой, такой нежной, несмотря ни на что, когда ей придется столкнуться с грубой физической силой? Он не решился углубляться в этот вопрос.) Если дать волю науке, если дать волю Тедди и его отцу, они уничтожат последнее прибежище человеческого духа, подвергнут весь мир иссушающему действию губительного огня, этого разъедающего сомнения, которое они называют светом. Как же, свет! Возможно, что и после этого мир будет существовать, но какой это будет чужой, новый мир, не наш привычный, человеческий мир, который борется, сражается, страдает, любит, идет на жертвы, молится и верит, что у него есть душа, мир, в котором мы живем сейчас. Нет, они создадут поистине новый мир, ибо в его бесплодном ледяном свете на земле воцарится подлинный ад.

Никогда еще Теодор не постигал с такой ясностью естественного устремления своего духа. Никогда еще не становился так решительно на сторону вечных человеческих ценностей против угрозы этих так называемых Наследников, которые стремились путем разрушения построить мир заново. Ему казалось, что он никогда еще не достигал такой ясности мысли, как сейчас. Наконец-то он охватил жизнь. Или наконец-то он увидел жизнь во всей ее полноте. Здесь, в этом величественном, священном месте, на него сошло откровение, он услышал глас.

Его призывают отдать на служение свои таланты. Он должен сохранить в памяти эти вещие слова, которые сейчас, словно молнии, бороздят его сознание. (Эта вот мысль насчет бесплодного света науки и ада в самом деле очень и очень удачна.) Он должен стать открыто тем, чем он всегда был в душе по своему темпераменту и наклонностям,— борцом, ярым борцом, а может быть, и вождем великого движения протеста против этой жестокой и холодной современной дьявольщины. Он должен стать поборником церкви, он в этот век безверия должен возродить патриотизм, беззаветную преданность признанной, установленной власти, высоко поднять знамя верности и чистоты — чистоты женщины...

В воображении его возник образ святого Игнатия Лойолы. Какой необыкновенной высоты достиг этот человек! Бывший солдат, как и он, бывший любовник, как и он, презревший суетные утехи военной доблести и светской жизни, чтобы посвятить себя более высокой цели! И в те дни в человеческой жизни, казалось, также рушилось все, что было в ней ценного. Вера ослабла, и человечество в трепете стояло на краю бездны. Все подвергалось сомнению. Каждый поступал так, как казалось правильным ему самому. Волны Реформации безжалостно захлестывали твердыни церкви, поднимаясь все выше и выше, как никогда не спадающий прилив. Что ни день, религию подтачивали новые насилия, новые ереси. И вот нашелся один простой, твердый человек, который бросился в пучину, остановил поток, поставил против него оплот и повернул его вспять. Эта история контрреформации всегда привлекала воображение Теодора. Теперь она снова завладела им с непобедимой силой.

Он также станет Лойолой. Он также станет служителем церкви, отдаст ей всего себя, принесет ей все свои дарования.

Конечно, ему придется посвятить несколько лет скромному служению, приготовиться.

Но потом, когда распространится слава о его делах, когда его имя, имя отца Теодора, основателя нового ордена Возвращения, прогремит по всему свету, Маргарет невольно заинтересуется им, и ей захочется услышать его проповедь. И вот в какой-нибудь большой собор вроде этого она, духовно изголодавшаяся жена грубого материалиста, придет из любопытства послушать откровения этого странного человека, бледного, смуглого, изможденного аскета, который преградил путь бешеному потоку, влекущему обезумевших людей к материализму и разрушению, и вернул человечество к древним, вечным и почти забытым истинам.

Едва он начнет свою проповедь, она узнает этот звучный голос, это изменившееся изможденное лицо, которое когда-то в юности прижималось к ее лицу, какой-нибудь знакомый жест поразит ее...

8

ИЗГНАННИК

Через три недели Теодор разделался со своей квартирой и обстановкой и был на пути за границу. Четыре раза он пересекал Ла-Манш во время войны, каждый раз в глубокой тишине и темноте. Теперь он в первый раз переезжал его днем. Он стоял на корме, глядя на все уменьшающиеся утесы Англии, и думал о бесчисленных изгнанниках, которые до него переплывали этот узкий пролив. Они так же молчаливо прощались с высокими белыми берегами, с гордым замком, с маленькими домиками, лепившимися в ущельях. Они так же смотрели, как Южный мыс появляется на востоке и постепенно исчезает. Воздух был пронизан солнечным сиянием; море было чудесного голубого цвета.

Он вспоминал лорда Байрона. Вот и он теперь так же тяжко ранен непониманием женщины. И он обречен на изгнание. А впрочем, он, пожалуй, находил в себе больше сходства с Дон Жуаном...

Но наряду с этими мыслями в сознании его возникал какой-то другой поток мыслей, направлявшийся по другому руслу. Он стремился к великому духовному подвигу. Мечты о Лойоле все еще владели им. Каким-то образом он должен войти в лоно церкви, принять постриг, стать поборником веры. Может быть, это будет в Париже. Может быть, даже в самом Монсерра. Или в Манрезе, ведь это там, кажется, Рыцарь посвятил себя служению пресвятой деве? Все это ожидает его, таков был основной поток его мыслей. Но откуда-то из глубины пробивалось другое течение.

Лойола до того, как его ранили, был пылким любовником, вел распутную жизнь.

И в этом тайном течении мыслей Теодора было какое-то смутное ожидание и умысел. В Париже он снова встретится с той тонкой гибкой женщиной, француженкой из Алжира, с которой он когда-то проводил время. Скрытые силы, движущие его воображением, побуждали его мечтать о ней. Ей предстояло укрыть под своей жаркой приютной сенью его гордое, презрительное изгна-

ние. Потому что, если бы Теодор не представлял себе, что она и другие подобные ей будут к его услугам в Париже, он волей-неволей представлял бы себе Маргарет, которой обладает другой, а мысль о Маргарет, принадлежащей другому, перевернула бы все в его сознании и причинила бы ему невыносимую боль. И вот, чтобы предотвратить эту катастрофу, он вынужден был ограждать себя предвкушением мирных и удачных любовных похождений в Париже. Другого выхода у него не было.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ ПРЕДСТАВИТЬСЯ — КАПИТАН БЛЭП-БЭЛПИНГТОН

1

СТОПЫ ЮНОШЕЙ

Время разворачивало год за годом, и Теодор разворачивал с годами свои возможности. Он залечивал воображением раны памяти и окутывал их все более плотным покрывалом забвения. Новая обстановка, новые люди, новые события помогали ему в этом инстинктивном перестраивании жизни. Он ни разу не съездил в Парвилль, в Париже, он облюбовал новый квартал подальше от тех мест, где он бывал во время войны, он избегал разоренных областей и кочевал с места на место по более счастливым, южным районам Франции, которые война задела только слегка. Приехав в Ош, он говорил, что не прочь бы пожить тут несколько лет, предаваясь спокойным размышлениям. Через две недели он переехал в Монпелье и сказал, что он, может быть, обоснуется здесь навсегда. Спустя несколько недель он был уже в Женеве, где познакомился с некоей француженкой, написавшей роман «Toi et Lui», и затем, более или менее с ее помощью, сначала более, а потом менее, он вернулся в литературный мир Парижа. До сих пор он был знаком с южной и западной частями Парижа, теперь он открыл бесконечно более привлекательный Париж к северу от Оперы. Он очень успешно изгонял Лондон из своих воспоминаний и предпочитал общество американцев и французов обществу заурядных англичан. Он очень усердно старался овладеть разговорным

французским языком и достиг в этом больших успехов. За десять лет он ни разу не съездил в Англию.

Он не стал ни траппистом, ни «новым иезуитом» и ничем в этом роде. Эти проекты заглохли. Попытка в последний раз окунуться в бурный водоворот и суетные радости жизни продлилась и перешла в привычку; мечты о суровой, отшельнической жизни затерялись в перспективе туманных, отодвинувшихся на неопределенный срок намерений поехать на север Испании и провести несколько дней в глубоком уединении в Монсерра.

Он так и не встретился со своей тоненькой алжиркой. Всякая необходимость в этом отпала. Но начиная с Женевы и дальше он повсюду находил утехи подобного рода, которые помогали ему забыть духовную грубость Маргарет и ее неверие в него. Эти поверхностные, второстепенные коллизии чувств, потворство своим слабостям и восстановление попранной гордости не трёбуют места в нашей повести.

По причинам, известным ему одному, он переменил свое подлинное имя и звание. В Париже его называли, и так он всегда называл себя сам, капитаном Блэп-Бэлпингтоном, при этом он никогда не говорил, ни в каких войсках он служил, ни в каком полку. По-видимому, он был капитан в отставке. Таким образом, он отрезал себя от своей родни и от всех более или менее неприятных событий своей молодости. Он был теперь — и это становилось все более и более определенным — единственным оставшимся в живых отпрыском старинной английской католической семьи, которая отошла от римского вероисповедания только по причине позднейших расхождений в учении о непогрешимости и непорочном зачатии — уже в XIX столетии. Он был консерватором даже среди католиков. Он был насквозь проникнут старинными стойкими традициями — благородный, доблестный джентльмен, брезгливо отворачивающийся от суеты и шума грубого механистического века. Он осуждал современность. Казалось, не он остался позади, отринутый, отброшенный в сторону бурным, неудержимым движением вперед, а, наоборот, он сам его отринул.

Таково было в основном его представление о себе. Многие из его парижских друзей и знакомых восставали так же, как и он, против страшных, необъятных за-

гадок расколовшегося мира. Они не могли поверить, что этот раскол является залогом возрождения; они считали, что попытка пересмотреть укоренившиеся понятия и представления требует слишком много умственных и душевных усилий и что не стоит за это браться. Этим людям прежде всего бросалась в глаза слабость, ограниченность, невзрачность меньшинства, увлекающегося реформами, преувеличенные масштабы их замыслов. А мощь и величие преобразовательного движения они не замечали. Чувствовали ли они, что это движение окончится крахом, или боялись, что оно приведет к созданию уродливого и ненавистного им строя, оскорбительного для всякой утонченной и чувствительной души? Как бы там ни было, они решительно высказывались против него. Они тянулись к тем выдуманным утешительным иллюзорным миркам, к которым в своем бесконечном разнообразии открывает доступ искусство.

За десять лет Теодор забыл и Маргарет и Тедди — этих друзей-противников Бэлпингтона Блэпского поры его юности, этих участников его длительной борьбы и попыток найти самого себя; он забыл их умышленно и, по-видимому, весьма основательно. По неделям, по целым месяцам он совсем не вспоминал о них. И так как долго жившая в его воображении фантазия о новом человечестве, о Наследниках, овладевающих миром, была тесно связана с этими его противниками, она также исчезла из его сознания. Но на самом деле он вовсе не забыл их, только они появлялись теперь в замаскированном и обобщенном виде, знаменуя собой «материализм», «иллюзии прогресса», «механистический дух» и этот новый «прагматический иррационализм науки». Он собирал против них и глубоко впитывал в себя каждую мысль, каждый довод, которые, он это чувствовал, неизбежно вызвали бы их возражения. Это была не обдуманно выбранная позиция, а неминуемое столкновение.

Спустя некоторое время он сделался редактором и совладельцем (главным финансистом предприятия была некая американская леди, обладавшая довольно значительным капиталом, привлекательностью и отзывчивостью) блестящего и задорного журнальчика, именовавшегося «Стопы юношей». Это название должно было напоминать миру о молодых людях, которые вернулись,

чтобы изобличить жалкое вдовье лицемерие Сафиры, после того как Анания постигла смертная кара. Наука и крупная промышленность являлись современным эквивалентом этой несчастливой четы; они обещали создать новый мир, заявлял Теодор, и не создали ничего, кроме тесноты и спешки. Они не сумели дать миру красоту и счастье. Теодор, руководивший отделом «Заметок», каждый месяц поражал насмерть этих лжецов и из месяца в месяц погребал их презрительно и бесповоротно. И каждый месяц их приходилось убивать снова. Тедди и ему подобные стояли за простые и ясные утверждения, за бесстрастную отчетливость мысли и доказательства, и потому из некоего тайного протеста «Стопы юношей» печатались абсолютно без всяких знаков препинания,— их заменяли пробелами различной длины, и все заглавные Б и П стояли вверх ногами. Желательно было печатать навыворот не только заглавные, но и строчные б и п, но стоимость нового комплекта шрифта оказалась слишком велика. Строчки печатались волнообразно, с повышениями и понижениями, чтобы привлечь внимание и изощрить глаз читателя. Это показывало, как высоко ставили эти юноши так называемую научную ясность. А так как их противники-утописты мечтали о всемирном языке, об очищенном и упрощенном английском языке для своего всемирного государства, то в виде контраста «Стопы юношей» в каждом номере помещали коротенькое лирическое стихотворение, иногда на арго, а иногда на болгарском, эстонском, чешском, ирландском или еще на каком-нибудь не слишком сложном языке, а то и на смешанном жаргоне, и всегда пять-шесть страниц, испещренных волнообразным узором, отводились какому-нибудь новому гению, писавшему нечто вроде мировой прозы, символической прозы, абсолютно без слов. В избранном обществе автор вещал эту прозу, завывая на все лады. Помимо этого, Теодор теперь открыто восставал против сексуальных запретов и приличий. Издание претендовало на чистоту высшего порядка, которая обрывает все листья с фигового дерева, чтобы открыть доступ животворящему свету. Единственным правилом благопристойности считалось полное отсутствие стыда. Журнал изобиловал двусмысленными гравюрами, которые всегда доставляют столь-

ко хлопот прокурорам,— настолько трудно решить, что это — грубая непристойность или чистейшая декоративность; печатались также коротенькие новеллы и поэмы, непристойность которых не подвергалась никакому сомнению, ибо других качеств в них не было. Наряду с этим печатались также, когда их удавалось достать, краткие набожные или резко полемические воззвания католических богословов, но раздобыть их было не так легко, потому что эти благочестивые люди поднимали вопли протеста и требовали обратно свои послания, как только они обнаруживали, какой ассортимент печатается в этом новом журнале. Им было очень трудно объяснить, какие глубокие реакционные цели преследовались их собратьями. Тон журнала был неизменно задорным и вызывающим. И надо всем витало дуновение победы, движения вперед, опережающего прогресс. Это было последнее слово реакции. По всей обложке, вверх и вниз, по диагонали, шли эти стопы, стопы юношей, стопы всепожирающей судьбы.

Этой деятельностью Теодор поддерживал свой дух и подавлял все мысли и представления, которые могли бы смутить его. Десять лет какое-то безотчетное отвращение держало его вдали от Англии. Он путешествовал с совладелицей «Стоп юношей» по Италии и Египту; он поссорился и расстался с нею и вслед за этим, испытывая финансовые затруднения, сократил объем журнала; впоследствии он снова расширил его, продав свою половину пая молодому человеку с литературно-социальными устремлениями, который нашел нефть в Техасе. Этот молодой человек изобрел новый и оригинальный способ вырезывать на линолеуме клише с изображением людей и животных в состоянии оргазма и желал найти место для сбыта своих произведений. Рисунки отличались примитивной грубостью, доставлявшей ему большое удовольствие. Когда другие не очень хвалили их, он утверждал, что они, во всяком случае, не хуже старых картин Лоуренса. Оценка такого рода не допускала возражений. Теодор, стараясь выпутаться из затруднительного положения, печатал их на вкладных листках и на особой бумаге, так что их легко было выронить из журнала. Но молодому техасцу не понравилось, когда он обнаружил, что его детища, обнажен-

ные и отверженные, носятся по свету. Он поднял спор из-за этого, потом, движимый завистью, начал обливать грязью автора бессловесной прозы, произведения которого были неотъемлемой частью журнала.

Ему хотелось, в сущности, распоряжаться журналом на равных правах с Теодором, поскольку он оплачивал бо̀льшую половину расходов. Чего ему только не хотелось! Он критиковал рассуждения Теодора в «Заметках». «Стопы юношей» пошатнулись.

Таким образом, в один прекрасный день Теодор снова повернулся лицом к Кале и Дувру. Не посоветовавшись со своим компаньоном, он продал свою половинную долю в предприятии,— это была уже третья половина, которой он распорядился, но он никогда не был силен в арифметике,— некоей леди, стремившейся пропагандировать план Дугласа, предоставив ей объясняться по поводу создавшегося положения с молодым техасцем и выработать вместе с ним какой-нибудь метод, пригодный для их совместного управления «Стопами юношей». Теодор потерял к этому делу всякий интерес. Он вдруг почувствовал, что центр тяжести мировой литературы переместился в Лондон, что дни эксцентрического, хотя и творческого издания сочтены и что «Стопы юношей» выполнили свою задачу, в чем бы она ни заключалась.

Он мало думал о Тедди и Маргарет, когда принял это решение. Он и не подозревал, как близко к верхнему слою его сознания лежат эти забытые воспоминания. И возвращался он не столько в старый Лондон своего прошлого, сколько в Девоншир, страну сливок и яблонь, которой он никогда в жизни не видал.

Он возвращался, чтобы снять урожай после своих теток.

За эти десять лет еще три сестры Спинк из десяти были скошены великим жнецом, и каждый раз это приносило ему финансовое подкрепление. Теперь он должен был вступить в наследство, доставшееся ему после тети Белинды. Существенное достоинство этого наследства заключалось в хорошо помещенном капитале, а светлые заманчивые возможности — в очень хорошеньком коттедже близ Сиддертона в Девоншире. Он видел тетю Белинду всего один раз в жизни — на кремации от-

ца, и ему запомнилась яркая, грузная, одетая в просторное платье фигура, блуждающие глаза, усы и низкий, почти мужской голос. Из всех сестер она была наибольшим подобием сына, которого мог произвести на свет старый Спинк. Она обладала очень сильным чувством колорита. Она писала акварелью виды Девоншира и посылала их на выставку, ей даже удалось продать несколько картин лицам, разбирающимся в живописи. Мир праху ее. Весна была уже близко, и перспектива начать новый период жизни на фоне Девоншира казалась Теодору чрезвычайно привлекательной.

Годы сделали его несколько солиднее. Его еще нельзя было назвать полным, но он уже не отличался той бросающейся в глаза стройностью. Его сходство с отцом заметно усилилось. Он был похож на более полного, более здорового Раймонда, которому пошла на пользу военная тренировка. Если б вы увидали его на Гар дю Нор, вы, конечно, назвали бы его красивым мужчиной. На нем был хорошо сшитый, чуть потертый шерстяной костюм и небрежно повязанный галстук, отнюдь не богемный, но приличествующий джентльмену с изысканным вкусом и артистическими наклонностями. Его темные волосы были чуть-чуть длинноваты, но не слишком длинны, а фетровая шляпа с большими, но не бьющими в глаза полями была лишь слегка сдвинута набок. Он купил «Морнинг пост», «Панч» и «Таймс», чтобы читать в вагоне и таким образом снова войти во вкус Лондона раньше, чем он увидит утесы Дувра.

Он положил на свое место журналы и пальто, велел носильщику поставить чемодан на полку, дал на чай ему и еще какому-то другому, увивавшемуся около него без всякой нужды служащему, который, как всегда в этих случаях, появился неизвестно откуда. Затем он вышел из вагона и стал ходить взад и вперед по платформе.

Он был в прекрасном настроении. У него было отрадное чувство путешественника, которому предстоит увидать новые места, испытать новые впечатления. Он был рад, что ему удалось сбыть с рук «Стопы юношей». Они уже начали надоедать ему. Дни их успеха миновали. Он разглядывал своих спутников-пассажиров и спрашивал себя, кажется ли он им интересным. Он может рас-

сказать им много любопытных вещей, у него есть что порассказать о себе.

Он представлял себе, как он вступит в разговор и изобразит себя загадочной личностью, возвращающейся из таинственного изгнания, которое имело очень глубокое и важное значение. Он придумывал различные варианты высокоответственных обязательств, которые призывали его обратно на родину.

— Передо мной стоят некоторые цели,— начинал он разговор, обращаясь к самому себе.— Достигну ли я их— этого никто не может сказать.— Он еще не решил, изобразить ли ему себя великим авантюристом, который возвращается, чтобы взять приступом литературный мир Лондона, или некиим таинственным эмиссаром. В конце концов ведь впереди скрываются всякие возможности. Почему бы ему не быть отважным авантюристом-эмиссаром?

2

НЕПРИЯТНЫЙ СПУТНИК

Среди пассажиров больше других привлек его внимание невысокий бледный молодой человек, в очках, лет двадцати с небольшим. По его одежде и манере держаться можно было бы безошибочно сказать, что это человек из интеллигентного круга. Он показался Теодору кротким и покладистым юношей, но не оправдал его ожиданий.

Он стоял у газетного киоска. Последний выпуск «Стоп юношей» еще красовался в витрине. По-видимому, он был незнаком с этим журналом, он взял оставшийся экземпляр, перелистал его и купил. Это еще больше повысило к нему интерес Теодора. Один из «Les Jeunes», решил он, один из представителей расцветающей послевоенной молодежи, юные всходы, пробивающиеся из развороченной почвы человеческой мысли после грандиозных испытаний Великой войны. Вполне естественно, что этот живой и свежий журнал привлекает его. Как был бы поражен этот молодой человек, если бы он узнал, что сам творец и издатель этого журнала наблюдает за ним! С каким волнением послушал бы он о тех задачах и целях, которые преследовались им, с каким

восторгом узнал бы о том великом движении, которое вскоре начнется в Англии!

Теодор был очень доволен, увидав, что молодой человек устроился в соседнем купе.

И еще больше удовольствия доставило ему то, что они оказались за одним столом в вагоне-ресторане. Молодой человек несколько громко сопел, но в остальном его манеры были вполне сносны, и, по-видимому, он умел разбираться в людях. Он ответил на приветствие Теодора и очень услужливо передавал ему во время обеда бутылки с вином и соль. Он разбавил водой свое дешевое красное вино, чем заслужил одобрение Теодора. Многие не понимают, что простое вино хорошо разбавлять водой. Он спорил об этом в Париже.

Желание узнать образ мыслей расцветающей послевоенной молодежи, а может быть, и поделиться своими несколько более зрелыми размышлениями все неудержимее овладевало Теодором. Короткая остановка в Амьене вызвала в нем яркие воспоминания и представила удобный случай. Теодор откашлялся.

— Я помню эту станцию в тысяча девятьсот семнадцатом году,— начал он.

Молодой человек ждал продолжения.

— Очень сильно изменилась,— промолвил Теодор.

И с непринужденностью ветерана, вспоминающего прошлое, он принялся рассказывать, какова была эта станция во время войны. Он помнит, говорил он, как воинский поезд стоял как раз на этом месте и вся платформа была усеяна людьми в хаки. Все эти люди были в английской военной форме, однако большинство из них были красивые темнокожие молодцы с курчавыми черными волосами. Это явно были не индусские войска и не африканцы. Он заинтересовался и спросил. Оказалось, маорийцы. Приехали ну буквально с другого конца земли. Чтобы принять участие в Великой войне!

— Бедняги! — сказал молодой человек и окинул взглядом пустую платформу, которую на мгновение наполнил толпой рассказ Теодора.

— Но почему же бедняги? — воскликнул Теодор.

— А разве нет?

Военная традиция вызвала суровое выражение на лице Теодора.

— Простите меня, но я вижу это несколько в ином свете,— сказал он.

— Но все равно, разве вы не считаете, что они действительно были бедные малые, которых тащили сюда через все полушарие только для того, чтобы растоптать в грязи и крови во Фландрии?

— Тащили! Они приехали сами. Мы, служившие в армии, отнюдь не считали себя бедными малыми.

— Но маорийцы! Ведь их привезли на убой, отправили сразу в окопы, под пушки, в смрадную грязь, где их разрывали снарядами... Травили их газами, и все это — здесь! Мы-то теперь все знаем об этом. Не говорите, что им нравилось это. Нет, уж этого вы не говорите!

Молодой человек задумался.

— Нет, это было еще хуже, чем втягивать в войну португальцев!

Теодор был сбит с толку этим возражением. Он собирался угостить молодого человека замечательными рассказами о войне, но, по-видимому, молодой человек смотрел на вещи иначе и сам был не прочь порассказать ему кое-что.

— Все эти несчастные чужеземцы, которых согнали сюда со всех концов земли,— полинезийцы, аннамиты, кули, гурки,— продолжал юноша, улыбаясь, но с явно воинственным видом поглядывая сквозь свои очки,— разве они что-нибудь понимали?

— Они сражались, чтобы спасти цивилизацию, сэр,— сказал Теодор.

— Ну нет,— возразил молодой человек с неожиданной резкостью.— Ничего подобного!

И прибавил подчеркнуто вызывающим тоном:

— Цивилизацию все равно не спасли.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Теодор, оттягивая время, чтобы приготовиться к атаке.

— Цивилизация еще никогда не была под такой угрозой, как сейчас.

— Я не уверен, понимаете ли вы, что значила эта война,— начал Теодор, но его собеседник продолжал, не слушая.

— Эта война была просто взрывом, предваряющим мировую революцию,— сказал он со спокойной уверен-

ностью.— Ничто теперь не может спасти цивилизацию, кроме революции, настоящей революции, коренной, фундаментальной перестройки. Ничто!

Он повернулся, чтобы взять кусок сыра. Теодор наблюдал за ним. Было что-то неприятное в его голосе, Теодор только теперь заметил это,— и рот у него был слишком большой, лягушачий, он открывался и закрывался, как капкан. Человек должен закрывать рот, а не захлопывать его. В выражении его лица, если приглядеться внимательно, совсем не замечалось той учтивости, которая подобает юноше. Волосы у него были короткие и жесткие. Этот молодой человек был, должно быть, препротивным белобрысым мальчишкой, учить которого было легко, но неприятно. Теодор несколько раз порывался прекратить разговор, пожать плечами и сказать, что, конечно, у каждого свое мнение. Почему он этого не сделал? Он избежал бы и этого спора и бессонной, тревожной ночи.

Но странная вещь, этот молодой человек не только отталкивал, но и привлекал его. В нем, несомненно, было что-то такое, что побуждало Теодора продолжать разговор хотя бы только для того, чтобы сказать этому юноше, как опрометчивы и ошибочны его суждения. Итак, Теодор снова оказался втянутым в этот великий, старый, уже обросший плесенью спор, который начался в августе 1914 года, и ему снова пришлось столкнуться со всеми этими сомнениями и мудрствованиями, которые когда-то омрачили для него последние годы его Великой войны. Он не отдавал себе отчета, во что его втягивают, до тех пор, пока не увидал, что отступать уже поздно. Вызывающее замечание влекло за собой такое же вызывающее возражение. Снова выплыли старые, избитые вопросы о причинах войны и ее виновниках, старые опрометчивые обобщения о национальных особенностях и проблемах. И между тем как они спорили, упорно, неторопливо, образы Маргарет и Тедди, глубоко зарытые в его памяти, так тесно связанные в его сознании со всеми этими противоречиями, снова выступали на поверхность.

Наконец в споре наступил перерыв. Им дали понять, что они слишком долго занимают столик в ресторане, и они вернулись в купе Теодора. И тут внезапно с со-

вершенной отчетливостью в главном фокусе сознания Теодора, откуда ни возьмись, появился Тедди.

— Брокстед,— произнес молодой человек,— профессор Брокстед.— Речь шла о каком-то публичном выступлении. И юноша ссылался на его книгу «Человеческая ассоциация с точки зрения биологии». Это имя, вызвавшее столь же неприятные, сколь интимные воспоминания, вынудило невольное признание у Теодора.

— Я знаю профессора Брокстеда,— сказал он.— Его сын учился со мной в школе, мы с ним дружили одно время. Постойте, как его звали? Ах да, Тедди!

— Вы имеете в виду профессора Эдуарда Брокстеда?

— Я говорю о сыне — Тедди.

— Ну да, сын, Эдуард.

В обращении сурового молодого человека произошла какая-то неуловимая перемена, почувствовалось одобрение, в котором он раньше отказывал Теодору. Вот как, неужели? Так вы знакомы с Эдуардом Брокстедом? Теодор подтвердил. Методы работы Эдуарда Брокстеда были, по-видимому, «изумительны». Молодой человек работал под его руководством, теперь он возвращался в Лондон, чтобы продолжать занятия в его лаборатории. Тедди, оказывается, тоже стал профессором и преподавал в колледже; он читал лекции по новой и наиболее модной отрасли биологии —«социальной биологии», и при этом он был самым молодым членом Королевского общества. Выдающийся ученый и вообще замечательная личность.

Это внезапное воскресение Тедди из мрака забвения в ореоле успеха и поклонения было еще более нестерпимо, чем все остальное. В течение последующих пяти минут Теодору стоило огромных, невероятных усилий сохранять притворное спокойствие и проявлять дружеский интерес к собеседнику. Его Англия была уже испорчена для него прежде, чем он доехал до Кале. Она превратилась в резиденцию Тедди.

— Итак, значит, старина Тедди пошел в гору,— сказал он.— В мое время он, разумеется, отнюдь не считался таким выдающимся. Нет. Упорством пробился, надо полагать. У нас с ним часто возникали великие споры по этому самому вопросу — о войне. Я, видите ли, служил в армии, а он нет.

Молодого человека, по-видимому, вовсе не интересовало, что Теодор думает о Тедди и как он служил в армии. Он продолжал рассыпаться в похвалах. Эдуард Брокстед, говорил он, это истинный гений революционной науки. В его подходе вы действительно видите, как наука вскрывает подлинную сущность социальных и политических проблем и находит для них самое верное решение. Вялый голос юноши звучал воодушевлением, бледное лицо сияло. Кого он напоминал? На одно мгновение чей-то знакомый образ смутно мелькнул перед Теодором и исчез. И вдруг снова вернулся. Уимпердик! Старый Уимпердик, только обратившийся против самого себя. Нечто вроде вывернутого наизнанку Уимпердика!

Неужели даже Уимпердики ударились в коммунизм и в научный модернизм? И появились Уимпердики, проповедующие прогресс?

Теперь Теодору уже никак невозможно было отделаться от этого проповедника всего, что было ему ненавистно. Разговор опутал его, как сеть. Он чувствовал угрозу всему своему духовному миру, он чувствовал, что его вот-вот припрут к стене. Казалось, глаза Тедди смотрели на него сквозь эти очки. Он попробовал перейти в атаку и набросился на то, что он называл «вашим материалистическим утопизмом»; он заявил, что Советская Россия и фордовская Америка — это два гигантских доказательства провала новшеств, проводимых в большом масштабе. Он очень искусно и оскорбительно путал Форда с Иваром Крейгером [1], он утверждал, что Германия была и осталась вероломной, он выдвигал Францию и Британию, как двух уцелевших представителей трезвого равновесия в обезумевшем мире. Он пустил в ход весь свой арсенал.

Но самонадеянность и запальчивость бледного молодого человека не имели границ. Он упорно спорил. Он отмахнулся от наступления Теодора и продолжал провозглашать новую революцию, которую «мы» — молодчики вроде него — намерены осуществить. Они построят «плановый мир» в невиданно широких масштабах,

---

[1] Ивар Крейгер (1882—1932) — один из крупнейших мировых монополистов, глава шведского спичечного треста. После банкротства покончил самоубийством.

широких и четких. Русский пятилетний план — это, так сказать, только предварительная зарядка перед тем, как приступить к настоящей, фундаментальной революции. Их разговор превратился в перепалку голыми утверждениями, в кулачный бой деклараций. Они проговорили всю дорогу до Булони. Они обменивались колкостями на сходнях парохода. Пролив был удивительно спокоен: мягко колыхавшаяся зеркальная гладь внизу и голубой купол, пронизанный солнечным светом, вверху. Едва они выбрались из посадочной сутолоки, молодой человек проследовал по пятам за Теодором к его оказавшемуся очень скоро ненужным креслу и, став перед ним, донимал его до тех пор, пока тот не поднялся, после чего они оба стали ходить взад и вперед по палубе, продолжая свои жаркие пререкания. Даже в лондонском поезде молодой человек не отстал от Теодора. Да и самому Теодору очень не хотелось отпускать молодого человека, пока не удалось разубедить его, пока в нем все еще сидел дух Тедди. Они спорили сбивчиво, бесконечно повторяясь, каждый старался высказать свое. Это больше походило на декларации, чем на спор, их утверждения редко сталкивались вплотную.

— Но, уверяю вас, новое поколение мыслит совершенно иначе,— сказал Теодор.— Мне это хорошо известно. Вы — исключение. Вы и ваш профессор живете в вашем ограниченном маленьком мирке. Посмотрите-ка этот журнал, что у вас в руках. Вот это действительно молодежь.

Его противник все еще таскал с собой «Стопы юношей».

— Ну, эта дребедень! — сказал он.— Богатые старушки в Париже — шарлатаны средних лет — всякие там ателье — завывание фальцетом. Это не молодежь.

Теодор прекратил разговор о «Стопах юношей», не назвав себя.

К тому времени, как они доехали до Севенокса, оба обнаруживали признаки утомления. Каждый из них успел высказать свои основные положения, и не один, а много раз, в самой различной форме. Залитый солнцем ландшафт Кента с его хмельниками и фруктовыми садами мирно и плавно двигался за окном.

Некоторое время они сидели молча, каждый размышлял о закоснелом упрямстве другого.

Затем у Теодора возникло желание подвести итог их расхождениям.

— Нет,— начал он внушительно.— Вы мечтатель.

Молодой человек, не разжимая своего большого, плотно захлопнутого рта, отрицательно замотал головой.

— Вы упускаете из виду вечные, основные свойства человеческой природы, сэр. Вот в чем ваша ошибка. Вы могли бы построить этот ваш пресловутый плановый мир только при одном условии, а именно: если бы человечество было не тем, что оно есть.

— Мы его переделаем,— сказал молодой человек.— Воспитаем.

— Воспитание — это шлифовка! Воспитанием не переделаешь. Предположим даже, что ваши мечты в какой-то мере осуществимы; так вот, я спрашиваю вас, можно ли это реально осуществить? Вы говорите о таких, как вы. А много ли таких, как вы? Которые усвоят ваши идеи и будут распространять ваши книги? (Надо полагать, что такого рода книги уже имеются?) Вы так поглощены тем, чтобы протащить эту вашу тоненькую ниточку, что не видите ни проволок, ни канатов, ни цепей, да, цепей, которые тянут в обратную сторону. Во всех направлениях. У истинно энергичных и сильных людей совсем другие идеи, а не эти ваши бредни. Эта мешанина научного гуманизма с большевизмом, которую проповедуете вы и ваш профессор,— это чистейший вздор, простите, что я говорю так прямо, бессмыслица для всякого нормального, трезво мыслящего человека, человека, который по природе своей солдат, хозяин, правитель. У нас совсем другие жизненные ценности. Для нас это все слишком высоко и слишком тонко. Мы верим в гордость и в господство. Верим в преданность одного человека другому. Мы верим в более ощутимые и глубже затрагивающие нас понятия верности, в пылкое безумство личной любви, в королевский сан, в доблестное ведение войны, в красоту благородных усилий и высокую трагедию.

— Я должен поверить вам на слово, что вы во все это верите,— сказал молодой человек.— Это вполне соответствует тому духу, в котором наши государственные умы старались действовать со времени войны. Но, боже милостивый, все это мы можем изменить!

— Изменить человеческую природу?

— Повторяю вам, она изменяется непрерывно.

Некоторое время они спорили о значении воспитания и о том, может ли оно изменить стимулы поведения. Теодор говорил о слепой, повинующейся инстинкту и не поддающейся вразумлению толпе; молодой человек настаивал на том, что большинство людей поддается перевоспитанию. Поезд громыхал теперь над людными сумеречными улицами лондонского предместья. Грязная толпа теснилась у еле освещенных лавчонок, перед которыми были выставлены ряды бочек. Молодой человек показал на нее рукой.

— Если бы не искра честности в наших учителях, если бы не книги, которые мы читали, мы оба были бы в этой толпе — и вы и я!

Отпрыск старинного католического рода в воображении Теодора содрогнулся от отвращения.

И вдруг в первый раз за все время молодой человек проявил некоторый упадок духа. Что-то поколебалось в нем. Как будто в нем шевельнулось какое-то сомнение относительно Теодора.

Он смотрел в окно на стены убогих домишек, на мелькающие, тускло освещенные окна. Потом он повернулся и посмотрел в лицо Теодору, как будто в первый раз увидал его по-настоящему. Быть может, он думал: «Да, что ни говори, а это настоящий человек». Его манера держать себя внезапно изменилась, казалось, он теперь говорил сам с собой.

— Эта надежда увидеть мир, оздоровленный наукой... Мировая коммуна... Может быть, это и мечта — слишком тонко и высоко. Так вы, кажется, сказали? Да, вероятно, это мечта. И все же это мечта, которой я живу. И другие, такие, как я. Вот за что мы боремся.

Он пристально смотрел на Теодора, Теодор воспользовался этим минутным преимуществом.

— Я отдаю должное вашему возвышенному идеализму,— сказал он.— Не думайте, что я этого не понимаю.

Молодой человек тряхнул очками. Его лицо передернулось от снисходительного тона Теодора.

— О, мы все равно будем делать свое дело. Мы, наша порода. Это новый стоицизм, который ведет к мировому государству. И мы достигнем его. Мы не шумим по-

пусту, но мы упорно идем к своей цели. Шум подымают газеты, пушки, пулеметы да всяческие там национальные гимны. Ну и пусть себе шумят. Неважно. Истина всегда останется истиной. В конце концов больше всех шумит, бряцает и угрожает тот, кто чего-то боится. Не кажется ли вам... Ба, да уже Темза. Вот мы и приехали!

Так вот, не кажется ли вам,— поспешно продолжал он, протягивая руку к Теодору, словно боясь, что тот сейчас поднимется,— что после нескольких экономических передряг, вроде нынешней, после революции, которая произойдет непременно, после еще одной войны, и голода, и эпидемий массы в конце концов уразумеют, что наш образ действий достоин внимания? И присоединятся к нам, вы понимаете, к таким, как Брокстед, как я, и мы все вместе будем неустанно расчищать все это, неустанно пробиваться вперед — у кого это сказано—«без спешки и без промедленья». И будем неустанно твердить правду. В наше время с этим еще не будет покончено. И когда уже мы с вами умрем, все еще не будет покончено. Но я верю, что великая революция, истинная человеческая революция — сам-то я, признаюсь, плохой образчик — уже началась и идет по-настоящему. Неудачи, провалы не имеют значения. Она идет, вы понимаете. И мы идем с ней.

Поезд подошел к вокзалу, плавно замедлив ход. Остановился с чуть заметным толчком. Первые сторожившие его прибытие носильщики появились в вагоне. Теодор встал, взял свое пальто, зонтик, трость и чемодан.

— Никогда я еще не испытывал такого сожаления, что приходится прекратить разговор,— сказал он.

— Да, мы поговорили всерьез,— сказал молодой человек, все еще не двигаясь с места.— Не знаю, договорились ли мы до чего-нибудь.

Казалось, он сосредоточенно обдумывал все сказанное Теодором.

— Да, мы действительно поговорили всерьез,— сказал Теодор, делая знак носильщику и продвигаясь к выходу.

Молодой человек вдруг, словно опомнившись, вскочил и начал собирать свои вещи.

3

ЭТИ НАСЛЕДНИКИ СНОВА ПОДНИМАЮТСЯ

Уличный шум Лондона не похож на шум Парижа. Он ниже по тону и тяжелее; он гудит, рокочет, бормочет; по сравнению с парижским шумом он кажется почти убаюкивающим. Но Теодор привык к парижскому шуму и не привык к шуму Лондона. А так как семейная гостиница Рэсбон находилась на довольно глухой улице и славилась своей тишиной, то мимо нее с особенным азартом громыхали спозаранку фургоны с молочными бидонами. Теодор был очень взволнован разговором с молодым человеком, который оказался таким упрямым, но еще больше взбудоражили его ожившие воспоминания о Тедди и воскресший следом за ним образ Маргарет. Последний год или полтора он ни разу не вспоминал о Маргарет, какую бы роль она ни играла в его подсознательном мире. Он совсем не рассчитывал встретиться снова со своим прошлым даже в Лондоне, и надо же было, чтобы оно предстало перед ним в первый же день его приезда. Все эти старые споры.

Он чувствовал, что в конечном счете он оказался далеко не на высоте в разговоре с молодым человеком. Вспоминая теперь этот разговор, он испытывал такое чувство досады, что ему хотелось повторить его сначала. И он, в сущности, и повторил его сначала, и даже не раз.

Теодор отправился в издавна знакомый ресторан Isola Bella и обнаружил, что он процветает по-прежнему, но полон незнакомых людей. Никто его не узнал; официанты не оказывали ему никаких особых знаков внимания, никто не заметил выдающегося парижского литератора, он был здесь совершенно безвестным, и чувствовал себя одиноким, и жалел, что не догадался пригласить молодого человека пообедать с ним и продолжить их спор. Ему приходило на ум множество всяких аргументов, которые он мог бы привести и которые придали бы разговору совсем другой оборот. Совершенно блестящих аргументов.

Возможно, что его тревожное настроение в этот вечер объяснялось еще и тем, что он выпил полбутылки превосходного кьянти и рюмку старого бренди после

черного, очень черного, горячего и сладкого кофе. В три часа ночи он проснулся и лежал без сна. Из всех двадцати четырех часов в сутках этот час наименее располагает к безмятежной уверенности в себе.

Теодор давно не испытывал такого чувства угнетения и подавленности. Он был близок к тому, чтобы признать, что молодой человек вышел победителем в их споре.

Что, если действительность и в самом деле существует и за условной видимостью явлений крутится безжалостное, неотвратимое, великое колесо судьбы, к которому подбираются, чтобы ухватиться за него, все эти суровые и упрямые тяжелодумы, эти молодые ученые? Что, если действительно можно достигнуть таких знаний, которые дают власть?..

Давнишний, созданный его воображением страх перед этими Наследниками, о которых когда-то в детстве рассказывал отец, снова зашевелился в нем, страх перед этой новой и ужасной породой людей, которые изгоняют всякую мечту, всякое чувство и всякую свободную веру. Коммунисты, некоторые из них, должно быть, ужасно похожи на этих Наследников, если судить по их жестокости и бесчеловечности. И среди них притаился Тедди Брокстед; этот не пойдет ни на какие уступки, он обтесывает и обтачивает свои идеи, словно какой-то безжалостный враг, человек каменного и вместе с тем грядущего века, высекающий свое оружие.

Он проснулся с ощущением кошмара; ему снилось, что за ним гонятся; во сне все эти его противники превратились в какое-то страшное полчище — они настигали его. Грохот молочных бидонов был грохотом разрывающихся бомб, летевших из вражеского стана этих неуязвимых Наследников.

Даже и теперь, уже совершенно проснувшись, Теодор все еще не мог отделаться от этого ощущения погони.

«Мы идем»,— сказал молодой человек, и что-то он еще прибавил. «Неужели вы думаете, что мы отступим после того, как мы уже двинулись?»

Да, так вот он и сказал.

В страшном прозрении бессонницы эти Наследники уже не казались жалкой кучкой хвастунов, отщепен-

цев общества, какими они представлялись ему, когда он сошел с поезда на вокзале Виктория.

В том угнетенном состоянии, в котором сейчас находился наш Теодор, ему казалось не только вероятным, но и вполне возможным, что этот новый мир действительно возникает, медленно, но верно кристаллизуясь из хаоса современности! В то время как он разглагольствовал и писал о всяких новых течениях в искусстве и литературе, которые в редкие минуты такого злосчастного просветления, как сейчас, представлялись ему не чем иным, как смесью глупости, шарлатанства и претенциозности, Тедди и его друзья, Маргарет со своим молодчиком, и этот юноша, и множество других — все это, разумеется, гнусные отщепенцы, но число их все растет и растет,— пробивались к чему-то реальному, что-то подготовляли, закладывали шнур, чтобы взорвать все преграды, расчистить путь человечеству к новому строю, в осуществление которого они так твердо верили, взорвать вместе со всем остальным и тот мир, который создал для себя Теодор.

Что, если на самом деле в этом старом мире готовится сейчас нечто невиданное? Нечто такое, о чем раньше и подумать было нельзя? Что, если эти люди не просто мечтатели, а на самом деле их глаза ясны, и ум их ясен, и цели ясны? Что, если они правы? И, наконец, что, если «пробуждение» мира совсем близко? И величественная страница поворачивается — вот сейчас?

Он лежал обессиленный, не будучи в состоянии бороться со всеми этими мучительными предположениями. Неужели он выбрал для себя неверный путь в жизни или просто не сумел найти верного? Неужели он — неужели это возможно? — загубил даром свою жизнь? В течение нескольких горьких мгновений он видел себя без всяких прикрас.

«Индивидуальность — это опыт»,— так сказал Тедди много лет тому назад. И это вонзилось, как заноза, в сознание Теодора — чуждая мысль, вокруг которой образовался маленький очаг интеллектуального воспаления. И теперь этот очаг снова вспыхнул. И эта фраза и связанные с ней представления снова ожили. Он чувствовал себя пробиркой, которую держат на беспощадном свету и внимательно разглядывают. Он видел бес-

численное множество таких пробирок, тысячи, миллионы, и каждая из них представляла собой жизнь. От времени до времени экспериментатор брал одну, другую, поднимал на свет и внимательно разглядывал, одни он откладывал в сторону для каких-то дальнейших экспериментов, другие, после краткого осмотра и нестерпимо длительного мгновения проверки, выливал в раковину и прополаскивал. И вот теперь его тоже взяли и подняли на свет. Он был холодный и ясный, этот свет, и пронизывал его насквозь.

Он ворочался с боку на бок на жесткой маленькой постели лондонской гостиницы, так что простыня под ним сбилась в комок. К его упрекам самому себе примешивалось возмущение при мысли, что Тедди идет по правильному пути, и потому он, Тедди, останется опытом, который стоит продолжать, а вот для него, Теодора, приближается момент, когда его признают ненужным и выплеснут. А ко всему этому примешивалась мучительная мысль о том, что Маргарет была его собственная, предназначенная ему судьбой женщина, и он потерял ее. Другой заполучил ее и отнял у него.

Он стонал и разражался громкими проклятиями. В Париже он давным-давно похоронил все эти обиды. Неужели он вернулся в Англию для того, чтобы воскресить их?

На некоторое время воображением его завладел фантастический проект отыскать Маргарет, пойти к ней открыто и сказать совершенно умопомрачительную вещь:

— Ты принадлежала мне до начала времен. Ты мне нужна. Всегда, Маргарет, я нуждался в тебе. Я не понимал этого. Я смиренно сознаюсь в этом. Открыто признаю это. Я совершил ошибку, покинув тебя. Ты всегда была моим символом. Без тебя я погиб. Все мои великие дарования пропадают даром. Вернись... То, что было между нами,— вечно. Души, Маргарет,— это нечто вечное. Помнишь эти слова: «Я был царем в Вавилоне, ты — христианкой-рабыней»?

Сможет ли она устоять? Разве прежние чары не подействуют снова? Тогда начнется чудесная любовная поэма. Может быть, произойдет дуэль с этим субъектом или развод. Он должен был драться с ним еще тогда. Должен был драться непременно. Его захватили врас-

плох. Он был слишком податлив. Ему следовало хорошенько проучить этого молодчика, вышвырнуть его вон. В воображении его пронеслись картины драки, поединка.

А когда Маргарет станет его неотъемлемой собственностью, он будет смело смотреть в лицо фактам, он усвоит идеи и взгляды Наследников, он станет в их ряды и будет работать с упорной и суровой настойчивостью. И вскоре он станет среди них руководящей фигурой, своего рода Мирабо Наследников...

4

ОБРАЗЦОВЫЙ КОТТЕДЖ С ОДНИМ-ЕДИНСТВЕННЫМ НЕДОСТАТКОМ

Должно быть, Теодор заснул на рассвете, потому что, когда он совсем проснулся, было уже утро. А проснувшись утром, он опять почувствовал себя самим собою, а весь этот призрачный рой самоугрызений и опасений исчез, оставив после себя только смутное чувство подавленности. Больше всего ему запомнилось, что он тосковал по Маргарет и даже строил какие-то сумбурные, фантастические планы заставить ее вернуться к нему. Но утром здравомыслие взяло верх и заставило его вполне разумно и основательно предположить, что она, вероятно, живет теперь своим домом и у нее, должно быть, есть дети. Зачем разрушать ее налаженную жизнь? К тому же Лэверок пренеприятный малый,— ему-то это достаточно хорошо известно,— невоспитанный, лишенный всякого великодушия, и он, конечно, не остановится ни перед чем, чтобы помешать этому.

Капитан Блэп-Бэлпингтон чувствовал усталость после вчерашнего путешествия и бессонной ночи и был далеко не в радужном настроении. Но после того, как он встал, совершил свой туалет, цель его возвращения из Парижа снова отчетливо выступила в его сознании. В дневном свете эти подкрадывающиеся и злоумышляющие Наследники уже не казались такими страшными, как в темноте.

Во время бритья он произвел смотр всем тем фактам, которые он установил относительно себя. Капитан

Блэп-Бэлпингтон возвратился в Англию из добровольно предписанного себе самому изгнания в чужие края. Он вернулся на родину, чтобы отдохнуть душой в родной атмосфере, на родной земле. Он выполнил несколько серьезных задач, неважно каких, он пережил несколько необычайных приключений. Это пока не стоит уточнять. Внешняя сторона его парижской жизни, литературная и художественная деятельность, как они ни были замечательны, были всего лишь видимостью того, что он представлял собой на самом деле.

Причесавшись, побрившись и восстановив все свои жизненные ценности, Теодор отправился с чемоданом в Пэдингтон. Он позавтракал в поезде, но на этот раз ему не посчастливилось встретить никого, кто мог бы разделить с ним столик. Не представилось удобного случая для разговора. Поэтому он внимательно прочел «Таймс» и «Морнинг пост» и восстановил в себе подлинный английский дух. «Морнинг пост» особенно отрадно и убедительно писала о безумии, охватившем американские финансовые круги, об окончательном провале пятилетнего плана и о необходимости твердой политики в Индии. «Панча» не оказалось в киоске, и, прочитав обе газеты, Теодор вынул из чемодана остроумную маленькую книжечку Т. С. Элиота о конференции в Ламбете и с удовольствием стал читать ее. Она оказалась лучшим тоническим средством. Невозможно было не заразиться уверенностью Элиота, что в английском мире все обстоит благополучно. Самая его манера подсмеиваться внушала уверенность в том, что все это реально и значительно и продолжает оставаться таким же и по сию пору. Все реальное и значительное навсегда останется реальным и значительным. Епископы будут епископами «in saecula saeculorum» [1], а бог — богом.

Теодор добрался до своего коттеджа в Девоншире как раз вовремя, чтобы увидать его в мягком свете заката. Он оказался именно таким, каким должен быть девонширский коттедж. Он назывался Помона-коттедж и вполне заслуживал это название. Тетя Белинда очень предусмотрительно выбрала участок, разделала и украсила его с заботливым артистизмом. Кругом были яблони в

---

[1] Во веки веков *(лат.)*.

цвету, изгороди из цветущего боярышника, синели распускающиеся колокольчики, а в саду по краям дорожки стояли желтые нарциссы. Старая улыбающаяся экономка миссис Грейсон была искренне рада, что наследником оказался такой приятный джентльмен. После смерти тети Белинды дом остался на ее попечении, она кормилась при нем; но она не прочь была бы получать хоть маленькое жалованье. Коттедж был в образцовом порядке.

Человек, который привез его со станции на двуколке — на этой дурацкой маленькой станции все еще были двуколки,— внес пальто и чемодан и почтительно поблагодарил за лишний шиллинг. Миссис Грейсон носила величественный чепчик с розовыми лентами и маленький фартучек поверх серого платья; она встретила Теодора как раз на должном расстоянии между дверью дома и воротами.

Дорожка к дому была вымощена красной черепицей; светлая с низкими потолками передняя, с полом, выложенным из красных плиток, была устлана мохнатыми ковриками, красивая широкая темного дерева лестница вела на площадку, где стояли дедовские часы. Всюду блестело красное дерево, нежно мерцал старинный хрусталь, а по стенам висели гравюры: морская битва, какой-то баронет и несколько западных английских городков. Миссис Грейсон проводила Теодора наверх в спальню с покатым, как крыша, потолком; здесь стояли кресло и кушетка, обитые ситцем, а на комоде красовалось очаровательное шератоновское зеркало. Из спальни дверь вела в маленькую ванную комнату, которая своей белизной и чистотой приятно напоминала молочную.

— Когда вы вымоете руки, я вам подам чай в гостиной внизу. У вас только этот чемодан, сэр? Я надеялась, что вы приедете с вещами и останетесь здесь подольше.

— Так я и сделаю, так и сделаю,— сказал Теодор.

Сидя в глубоком кресле перед камином, где потрескивали поленья, и попивая чай из чашки королевского фарфора Дерби, он окидывал оценивающим взглядом настоящее старинное серебро чайного сервиза и приходил к заключению, что тетя Белинда умела жить в свое удовольствие. Комната была обита веселеньким сит-

цем и обильно, но отнюдь не неприятно для глаз увешана картинками работы тети Белинды,— весьма неплохой работы в своем роде. Тут же стояла пианола и книжный шкаф, в котором, наверно, были настоящие книги. А в стеклянной горке красовалась небольшая коллекция хорошего граненого хрусталя. Пристройку с мастерской и остальные помещения дома ему еще предстояло осмотреть.

В этой приятной обстановке последние следы его ночной депрессии рассеялись, как дым. Какой реальной и прочной оказывается настоящая Англия, когда уедешь из Лондона на запад или на юг! Как она уничтожает все призраки и разгоняет ночные страхи! Он чувствовал, что будет спокойно спать в этой маленькой спаленке. Он с благодарностью думал о восемнадцатом столетии, которое делало возможным существование таких коттеджей и такой обстановки, и о тете Белинде, которая создала этот уют, сначала, правда, для себя, но в конечном счете для него. Он все больше и больше сознавал преимущество быть единственным отпрыском и законным наследником всех десяти сестер Спинк. Если наследство старого Спинка, разделенное на десять частей, оказалось довольно-таки невесомым, то теперь оно снова приобретало весьма солидный вес, собираясь в одни руки. Капитан все яснее и яснее отдавал себе отчет в том, до какой степени он устал от парижской атмосферы и в особенности от своей довольно-таки тесной, неопрятной и не очень благоустроенной парижской квартиры. Только мы, англичане, понимаем, что такое комфорт, говорил он себе, и где еще в мире можно найти такое уютное существо, как миссис Грейсон? Эти ее маленькие лепешечки — он взял еще одну — так и тают во рту.

Он уже представлял себе, как он великолепно устроится в этом убежище. Он бросит Париж и будет жить и работать здесь. Если вначале эта жизнь и будет казаться ему несколько одинокой, холостяцкой, всегда можно сесть в поезд, и через какие-нибудь четыре часа он уже в Лондоне, а в Лондоне существуют литературные кружки, и ведь не везде же, в самом деле, путаются эти Наследники. «Наследники наследникам рознь»,— сказал он, поглядывая на сверкающие каминные щипцы.

Он чувствовал, что стечение обстоятельств, которое привело его сюда, было нечто большее, чем простой случай. В этом был перст провидения. Наследство досталось ему как нельзя более кстати и как раз в тот момент, когда стало совершенно ясно, что «Стопы юношей» уже отслужили свою службу. Здесь он может вступить в новую фазу своей карьеры, начать новую кампанию в своей беспощадной борьбе против угрожающего цивилизации материализма. Он дал миру критику, спасительную критику. Его «Заметки» были великолепны. Это признавали многие и, между прочим, кое-кто из весьма авторитетных судей. Он оказал большое влияние. Теперь, в этой атмосфере, он сможет перейти в наступление, он будет распространять положительные идеалы. Он сможет облечь реакцию в романтическую форму. В Париже это было всего лишь модным течением. Здесь, в этом оплоте Девона, это открывало возможности, более чем возможности: это становилось призванием. Здесь он начнет труд, которого ждет выздоравливающий мир. Он создаст новую историческую легенду.

Он сделает для девятнадцатого столетия то, что сэр Вальтер Скотт сделал для восемнадцатого. Он воскресит его скрытое очарование. Он положит начало новому романтическому движению, и, подобно тому, как Скотт и Байрон возродили скрытый в каждом человеке аристократизм духа и тем самым подавили дурные инстинкты в бунтарском движении, возникшем после наполеоновских войн, так и он возродит к жизни отважного рыцаря-аристократа, который скрывается в каждом представителе наиболее обеспеченных классов в эпоху восстановления.

У него будет более обширная, более тонкая канва, чем у автора «Уэверли». Она охватит нечто большее, чем елизаветинскую эпоху. Он расскажет о крестоносцах всего мира. Его рыцари и отважные исследователи будут основателями империй, полем действия будут семь океанов, а фоном будет вся земля. Он сделает королеву Викторию богиней своей легенды, не богиней-девственницей, но гораздо больше, почти символически плодоносной и благодетельной. Принц-консорт будет королем Артуром этой романтической плеяды. Мельбурн, Пальмерстон, Гладстон, Дизраэли, Сесиль Родс, генерал

Гордон — все будут тайно влюблены в королеву — героические рабы ее чарующего врожденного величия.

Эдуард VII может быть вторым принцем Гарри[1], он будет появляться мельком в ночном Лондоне девяностых годов, в его свите будут Бирбом Три (скажем, в качестве Фальстафа), Оскар Уайльд, Артур Робертс, Фрэнк Гаррис, Джордж Мур и пестрая толпа веселого разношерстного сброда. Какой это будет тонкий гротеск — соединить все эти противоречивые фигуры в шекспировской оргии ослепительных выпадов и острот! Какое яркое, широкое полотно! Для контраста рядом с этим блеском Пикадилли Сэркес можно показать Ливингстона в сумраке тропического леса, восстание в Индии, полярные экспедиции! И на фоне этого мощно развертывающегося империализма — жестокие и холодные силы злоумышляющего врага — грубый реализм науки. Можно показать зловещую фигуру Круппа в зареве мрачно пылающих плавильных печей и дать беглую картину страшных германских химических заводов. Кайзера Вильгельма можно изобразить царственным, но слабым человеком, стремящимся вырваться из-под колес викторианской триумфальной колесницы, орудием бесчестных, стремящихся к разрушению людей. А на заднем плане Америка, стремящаяся задушить всех своей гигантской, массовой продукцией,— духовный вассал Европы, жаждущий господства. И вот, наконец, мы подходим к кульминационному пункту — к Великой войне.

Он улыбался, перебирая все эти картины. Он нарисует их ярко, отчетливо, резко, в современном стиле, не гонясь за достоверностью. Для чего же и существует романтика, если нельзя свободно обращаться с историей? Он уже видел, как его эпопея превращается в сверкающий поток стремительно нарастающего романтического повествования. Это будет Скотт, Дюма в своем роде. Людям приелся реализм и цинизм; как радостно встретят они эту исправленную интерпретацию событий! Как радостно будут приветствовать нового мага, «Северного чародея», капитана Блэп-Бэлпингтона! А впоследствии сэра Теодора Блэп-Бэлпингтона.

---

[1] Эдуард VII (1841—1910), известный своим распутством, сравнивается здесь с героем Шекспира.



«БЭЛПИНГТОН БЛЭПСКИЙ»



«БЭЛПИНГТОН БЛЭПСКИЙ»

В этом доме, в этой простой, домашней, английской атмосфере, создать такое произведение не только можно, но естественно и необходимо.

Он вдруг увидал себя в золотом, пурпурном Бэкингемском дворце.

— Наши обязанности оставляют нам мало времени для чтения,— говорит ему августейшая особа,— но в вашей великолепной исторической эпопее мы наслаждаемся каждым оттенком вашего живописного слова, и королева и я.

А вот перед ним учебники истории литературы. Он читает главу под названием «Конец периода после военного декаданса. Оздоровление. Новое романтическое движение».

— Мы переходим к началу новой великой эры, наступает новый золотой век,— шептал Теодор, но тут вошла миссис Грейсон и спросила, не желает ли он сейчас обойти свои владения, а то скоро стемнеет и нельзя будет осмотреть дворовые постройки.

Он одобрил все. Кухня была созданием рук миссис Грейсон, которым она особенно гордилась, а двор — верхом совершенства. Тетя Белинда красиво вымостила его раздобытой откуда-то галькой, и даже выкрашенные в ярко-голубую краску столбы у навесов были приятны для глаз. Стеклянная дверь из гостиной вела прямо в маленький и, по-видимому, созданный по всем правилам искусства цветник, а оттуда калитка открывалась на длинную, прямую дорожку, обсаженную фруктовыми деревьями, которая резко обрывалась у живой изгороди, отделявшей усадьбу от раскинувшегося на пологом склоне красноватого распаханного поля; над ним, пламенея на западе, простирался широкий купол неба. Причудливо искривленная яблоня каким-то непостижимым образом напомнила ему сэра Гарри Лоудера в пору его расцвета. Мастерская оказалась действительно прекрасной просторной мастерской с превосходным освещением и очень уютной изразцовой бельгийской — а может быть, швейцарской — печью. Можно без особого труда превратить это помещение в отличный рабочий кабинет — убрать мольберты — или нет! — лучше оставить их на всякий случай; может быть, ему иной раз вздумается пописать — и внести длинный дубовый письменный стол.

— Здесь можно хорошо работать,— сказал он миссис Грейсон.— Такое уединение и покой.

И вдруг среди всех этих счастливых открытий, с которыми он то и дело себя поздравлял, Теодор неожиданно наткнулся на одну неприятную подробность.

Это было в безукоризненной во всех других отношениях, низенькой, полутемной столовой. По какому-то злосчастному совпадению вкусов тетя Белинда разделяла его юношеское восхищение Микеланджело, и главным украшением панелей были большие сероватые фотогравюры с Сикстинской капеллы. Там было «Сотворение Адама», «Кумская Сивилла» над прекрасно убранным буфетом и напротив кресла, в котором ему, естественно, надлежало сидеть,— предмет его прежнего восхищения—«Дельфийская Сивилла». Пробормотав себе что-то под нос, Теодор подошел к картине и стал рассматривать эти давно знакомые черты. Они уже давным-давно потеряли для него свое волшебное очарование. Он видел теперь, что это не что иное, как хорошенькая натурщица с наивным выражением лица, девушка с довольно мускулистыми руками, которую великий мастер из какого-то каприза увековечил, вознеся ее на свой величественный плафон. В ней не было — он вгляделся в нее пристальнее — ни утонченности, ни духовной силы. Некоторая откровенная простота, честность, если угодно.

— Нравятся вам эти картины, сэр? — спросила миссис Грейсон.

Это был удобный момент. Он понял, но уже несколько поздно, что ему надо было сразу ответить «нет» и распорядиться убрать их. Но у него не хватило предусмотрительности.

— Да, да,— сказал он с деланным безразличием, и сам осудил себя на пытку. Он отвернулся и стал разглядывать другие предметы.

— Какие замечательные бронзовые подсвечники!

Таким образом Теодор вступил во владение и обосновался в этом образцовом коттедже, приняв его целиком с этой его единственной неприятной подробностью — маленькой занозой, которой суждено было впиваться в него все глубже и глубже, пока, наконец, дело не кончилось катастрофой. Сначала его только слегка раздражало это бестактное вторжение Маргарет. Он думал, что свык-

нется с этим напоминанием о ней и в конце концов перестанет замечать его. Но он увидал, что с каждым днем ему становится все трудней не замечать ее. Фотография обладала гораздо большей силой воскрешать воспоминания, чем он думал вначале. Ощущение, что он в самом деле завтракает и обедает визави с Маргарет, усиливалось с каждым днем. Когда он поймал себя на том, что ведет с ней воображаемые разговоры, говорит ей, какой Тедди дурак, каким он всегда был грубым, неповоротливым тугодумом, тупицей, и из-за этих разговоров пребывает в полном бездействии, он понял, что ему надо что-то предпринять.

Она висела в точно такой же рамке, как ее Кумская старшая сестра. Он перевесил их, чтобы ему по крайней мере можно было сидеть к ней спиной. На следующее утро он обнаружил, что миссис Грейсон перевесила их на прежние места. Он позвал ее и сказал, что предпочитает, чтобы они висели там, где он повесил.

— Но ведь вам придется тогда смотреть на эту старуху вместо хорошенькой молодой леди!

— Для меня,— сказал капитан,— эта закутанная задумчивая фигура гораздо красивее, чем эта... эта девчонка с ничего не выражающим лицом.

— Конечно, у каждого свой вкус, сэр,— рассудительно ответила миссис Грейсон.

Он нагнул голову набок, как бы сравнивая относительные достоинства обеих фигур.

— Это прорицательницы,— объяснил он,— и книги, которые они держат в руках, заключают в себе тайны прошлого и будущего. Эта вот переворачивает последний лист. Она исполнена сокровенного знания. В этом есть какая-то торжественность, величие. А эта смотрит в будущее. Вот в чем весь смысл. Она переворачивает чистую страницу. Но на самом деле она вовсе и не смотрит в книгу. На самом деле она ничего не знает. Ровно ничего. Так, простодушная крестьянская девушка. Ждет, чтобы что-нибудь случилось, потому что, вы понимаете, будущего еще нет. Оно ничто. Оно не наступило. Ведь это просто выдумки, будто мы наследуем будущее. Разве вам не кажется, что у нее пустое лицо?

— Хорошенькое личико,— сказала миссис Грейсон и тоже, нагнув голову набок, посмотрела на нее.

— У моей двоюродной сестры дочку зовут Сибиллой,— прибавила она после нескольких секунд созерцания.— Ну, та совсем в другом роде. Ох, и проказница!

Он молчаливо дал понять, что у него нет никакого желания слушать о дочке двоюродной сестры миссис Грейсон.

Однако он не сделал попытки избавиться от этой картины. По-видимому, стремление сделать это было недостаточно сильно, чтобы преодолеть нежелание выдать в какой-то мере свои чувства этой болтливой экономке. Это женщина такого сорта, что, пожалуй, может и спросить его, почему он убрал картину.

И не одна миссис Грейсон могла заинтересоваться этим. На этой же улице по соседству жили две леди, большие приятельницы его тетушки, которые чуть ли не в первый же день явились к нему с визитом. Они тоже могли поднять разговор.

А что, если ему съездить в Векстер или в Лондон на денек и раздобыть там несколько действительно великолепных гравюр?

Вот было бы ловко. Потому что, конечно, настоящие гравюры здесь будут более уместны. И тогда уж здесь будут судачить не о том, что он снял картину, а что он повесил какие-то новые.

А между тем Дельфийская Сивилла продолжала висеть над буфетом.

5

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРИЕМУ ПЛЕМЯННИКА БЕЛИНДЫ

Мисс Уоткинс жила вместе с Фелисией Кибл примерно в полумиле от коттеджа Теодора, на той же улице. Мисс Уоткинс была учительницей английского языка в швейцарской школе; но на склоне дней своих она пришла к заключению, что у нее уже достаточно принакоплено и она может позволить себе распрощаться с родителями и со школьными косичками. Она сразу же начала интересоваться всякими вещами, какими отнюдь не подобало интересоваться школьной учительнице: окунулась в самое необузданное интеллектуальное распут-

ство, отошла в своих политических и социальных убеждениях от всего общепринятого, и отошла бесповоротно. Ее интересовало все, лишь бы это только не было общепринято. Она увлекалась фашизмом, коммунизмом, Ганди, проблемой предупреждения беременности, нюдизмом (в теории, правда, но при помощи иллюстрированного журнала), шпенглеризмом, Кайзерлингом, планом Дугласа, универсальной прозой Джемса Джойса, проникновенным изучением Лоуренса, культом Успенского и философскими откровениями мистера Миддльтона Мэрри. Она откапывала новинки искусства в самых сокровенных уголках. Она подписалась на «Стопы юношей».

Особенно решительно она порвала с общепринятым пониманием религии; никогда уже ее нельзя было увидать на церковной скамье, на которой она так часто сиживала раньше в дни своего учительства.

Она стала последовательницей новых религий; она даже вступила в переписку с некоторыми из их основателей. Она с удовольствием меняла бы религию каждые три-четыре месяца, но предложение далеко не соответствовало ее спросу, так что ей приходилось довольствоваться неким ограниченным количеством самых привлекательных и переходить от одной к другой и обратно. Большею частью она пребывала ученой последовательницей христианства, но несколько раз перебегала к сторонникам Баба и увлекалась двумя или тремя видами буддизма. Некоторое время она проникала в тайны бытия через посредство некоего изъяснявшегося стремительным стаккато индийского джентльмена, с которым она познакомилась в Берлине, но когда он сообщил ей, что она обладает особой, присущей только ей святостью, и тотчас же вслед за этим попросил у нее двадцать пять фунтов взаймы, она немедленно прекратила этот специфический способ проникновения. Можно быть неортодоксальной, но при этом не быть дурой. Она проводила резкую черту между интересами земной жизни и жизни духовной. Она воздавала чужим богам то, что принадлежало чужим богам, а то, что принадлежало мисс Уоткинс, она крепко держала в руках.

С Фелисией Кибл она познакомилась в Америке на религиозном конгрессе. Обе приехали с самыми лучшими намерениями, но конгресс оказался утомительно скуч-

ным, словно чересчур затянувшаяся собачья выставка. Каждый, как они обнаружили, пытался что-то сказать, но никто не слушал; жаждущие откровения души поднимали нестерпимый шум; их пребывание на этом конгрессе завершилось полным безверием и праздным времяпрепровождением в гостинице, где они жестоко высмеивали всех.

Фелисия была прирожденной поэтессой, это значит, что она не была поэтом, но у нее была большая способность писать стихи и изливать в них простые добрые чувства, в которых у нее никогда не было недостатка.

Много лет подряд она поставляла раз в неделю в одну из крупных газет стишки, обычно на какую-нибудь домашнюю тему, и в течение нескольких лет ее творения находили отклик в Америке. Смена вкусов, а может быть, и чрезмерное влияние юных чар вытеснили ее, заставив уступить место другой, более отвечающей требованиям моды молоденькой женщине, но она нашла другой выход потокам своих излияний и принялась писать нечто вроде романа в стихах, который, она надеялась, приобретет в конце концов широкую известность.

Она читала из него лучшие отрывки — чуть ли не все отрывки считались у нее лучшими — мисс Уоткинс, которая говорила, что они напоминают ей сэра Вальтера Скотта и несколько более женственного и более свободомыслящего Крабба. Фелисия не лишена была чувства юмора и с цинической веселостью относилась к упорному нежеланию издателей пойти на риск и преподнести ее публике в новом виде. «Они глазам своим не верят, когда видят это»,— говорила она. И хвасталась, что может заткнуть за пояс весь Патерностер-роу и Генриетта-стрит и даже заставить спасовать и просить пощады самого Э. С. Уотта. «Но все равно, дорогая моя,— говорила она, становясь серьезной,— радио развивает слух у людей,— такие прекрасные голоса! — и моя Метрическая Сага,— так я ее называю,— это только вопрос времени».

Вместе с Белиндой эти леди составляли неизменно веселое и насмешливое трио, жадно интересующееся всем, обо всем широко осведомленное и готовое услужливо осведомить всех обо всем. Они мужественно смотрели в ли-

цо надвигающейся старости. Мисс Уоткинс прозвала почему-то их маленькую компанию «Три мушкетера». Из них троих Белинда была самая крупная. Она перетянула бы на весах обеих своих подруг; она была более обеспечена и более решительно и умело вела свое хозяйство и свои дела. Благодаря этому она пользовалась известным авторитетом у своих приятельниц, и после ее смерти они постоянно ощущали ее отсутствие, как будто им чего-то недоставало в жизни. Поэтому они страшно заинтересовались, когда узнали, что в опустевшем коттедже снова появился хозяин, и хозяин этот — племянник Белинды.

Они разузнали о нем все, что только можно было узнать, от миссис Грейсон, а это было все, что она знала или могла придумать. Он был капитан армии, и у него множество всяких военных медалей (медали эти присвоила ему миссис Грейсон). Он поэт и художник, и в Париже у него были всякие романические приключения. Была установлена его связь со «Стопами юношей», и мисс Уоткинс перевернула весь коттедж, разыскивая старые номера.

— Ну конечно,— сказала она,— он был одним из вдохновителей этого течения! Чуть ли не главным вдохновителем.— Ей даже кажется, что она один раз видела его. В Латинском квартале, знаете. Затем она стала припоминать старые слухи, ходившие о Раймонде и Клоринде, дополняя и уточняя свои воспоминания разными мелкими подробностями.— Но он родился, когда они уже повенчались,— заключила она.— Об этом они позаботились.

Она задумалась о том, как меняются мерила в наше время.

Ее отец, мистер Спинк, член парламента, был самый ограниченный человек по нашим теперешним понятиям. Но это был очень горячий человек. Говорят, он три раза стрелял в Раймонда из пистолета. Но то ли пистолет не был заряжен, или патрон оказался холостой, а то, может быть, и сам он не думал так далеко заходить, или что-то в этом роде, ну, словом, вы понимаете, он их простил.

— Говорят, на войне он творил чудеса храбрости,— сказала мисс Кибл.

Обе леди готовы были при первом случае присоединиться к плеяде тетушек, которыми судьба одарила это прелестное дитя любви. С первого же дня его приезда они любовно, но незаметно следили за ним, подстерегая удобный случай атаковать его. Мисс Уоткинс с большой корзиной или с каким-то другим вещественным предлогом раз шесть — восемь в день проходила мимо коттеджа, который, кстати сказать, был ей совсем не по дороге, куда бы она ни шла из дому.

Она поймала Теодора на третий день. Она встретила его, когда он возвращался домой к чаю после долгой прогулки. Перехватив его у калитки, она остановилась перед ним, прищурившись и улыбаясь всеми морщинками своего увядшего на школьной работе лица.

— Наверно, вы и есть таинственный капитан Бэлпингтон? — сказала она.

— Капитан Блэп-Бэлпингтон к вашим услугам, мэм.

Она просияла от восхищения при его учтивом поклоне.

— Все ли вы здесь нашли в порядке? Все ли здесь так, как вам нравится?

— Я могу сказать, что Помона-коттедж превзошел все мои ожидания.

— Ведь мы с вами соседи, вы знаете. Я была ближайшим другом Белинды, мисс Спинк; от вас до меня всего полмили. Разумеется, я очень интересовалась и беспокоилась, понравится ли вам у нас, — если я смею так говорить об этом уголке Девоншира.

И она склонила голову набок, устремив на него настойчивый, сияющий нежностью, восхищением и доброжелательством взгляд.

Простая гуманность требовала, чтобы он пригласил ее с приятельницей, — несомненно, у нее была приятельница — прийти к нему как-нибудь на чашку чая.

— Мы, знаете, не решались нанести вам визит. Мы боялись, не придерживаетесь ли вы устава сурового уединения. Мы слышали, что вы заняты какой-то очень серьезной работой.

Они нанесли ему совершенно безобидный визит, рассказали много анекдотов о тете Белинде, а после этого зашли как-то еще раз и принесли книгу о местных древностях и сообщили о выставке репродукций с меди,

устроенной приходским священником в шести или семи милях отсюда.

Сначала Теодор склонен был считать кроткие попытки к общению этих двух леди посягательством на его покой, вторжением в его уединенное убежище, но спустя несколько дней его настроение изменилось. Он не привык к одиночеству. Он изнывал от желания поговорить. Его воображение не давало ему покоя. Ему недоставало слушателя, которому он мог бы выложить все накопившееся у него изобилие мыслей о жизни, о себе. Поэтому, когда его соседки расхрабрились настолько, что пригласили его обедать, он принял их приглашение милостиво и охотно согласился прийти.

— Нам было бы так приятно,— сказала мисс Уоткинс, дрожа от гостеприимного нетерпения.— Мы были бы так рады!

Она старалась внушить ему, что они приглашают его запросто. Она несколько раз повторила, что «это будет совсем простой, скромный обед, вряд ли это даже можно назвать настоящим обедом, ничего такого особенного, ничего похожего на милый Париж. Нечто вроде ужина. Самый простой Девоншир. Местные возможности, вы представляете. Но мы были бы так рады».

— Наш герой придет! — возвестила она Фелисии.— Теперь надо придумать, чем мы будем его угощать. Конечно, нечего думать о настоящем званом обеде. Он этого и не ждет. Но мы должны дать самое лучшее, что можем, моя дорогая. Нельзя сделать это кое-как. Что же мы придумаем?

Они посоветовались со своей кухаркой-домоправительницей и составили план. Обе леди много путешествовали, а мисс Уоткинс, будучи в Швейцарии, приобрела достаточный опыт по части европейской кухни, так что составить меню оказалось не так уж трудно. Закуски, сардины, салат из овощей, немного икры (по особому заказу из Лондона), редиска, еще что-нибудь; потом суп. Консервы из черепахи (из Лондона), слоеные пирожки с дичью и устрицами, пирожное из Векстера; молодой барашек с овощами по-английски; самый что ни на есть молодой картофель; свежие цыплята от

мистера Тэрнера, зажаренные с маленькими колбасками, и хороший салат из дичи; настоящее девонширское сладкое с массой сливок, яблочный пирог, сыр и хороший кофе, все совершенно простое, домашнее, но из самых лучших продуктов.

С этой частью угощения справились сравнительно легко. Но вот вопрос о напитках оказался гораздо труднее.

Они пришли к соглашению, что для начала мужчина должен подкрепиться коктейлем, крепким, бодрящим коктейлем. Они всегда предоставляли составление коктейля Белинде и знали, что в Помона-коттедже где-то хранится замечательное руководство из отеля «Савой». Разными хитростями и уловками они выудили у миссис Грейсон рецепт и приготовили крепкий «Мартин». Они сначала попробовали его сами и пришли к заключению, что коктейль поистине бодрящий и крепкий. Он примерно часа на два выбил их из колеи. Удивительно, что только мужчины могут пить! Затем они приступили к обсуждению вин.

— Никто из нас не знает вин так, как знала Белинда,— смиренно сказала мисс Уоткинс.— Мы всегда предоставляли это ей. Но что же нам делать с вином? Ведь надо подать самое лучшее. В Париже он, конечно, сделался знатоком вин. Разумеется, нам нечего мечтать о шампанских высоких марок. Но ведь на всех настоящих званых обедах подается в какой-то последовательности целый ряд вин. Нам за этим не угнаться. Мы были бы прямо смешны, моя дорогая. Но даже в самых обыкновенных домах в Швейцарии подают белое и красное вино. Какое вино пила обыкновенно Белинда? С каким-то таким религиозным названием? Либфраумильх! Молоко пресвятой девы. Не правда ли, очаровательно? Это напоминает мне Гилберта Кита, Честертона. Ну, это мы можем раздобыть, да еще надо достать хорошего, настоящего, крепкого бургундского. Конечно, к супу ему нужно будет подать хересу, и, как вы думаете, не заказать ли нам у Мортлона и Тайсона водки, если мы будем заказывать икру и черепаховый суп. Ведь икру надо всегда запивать водкой. В этом вся суть. Значит, водку. Портвейн на после обеда у нас есть — спасибо Белинде!

— А его petit verre? — сказала Фелисия.— Его petit verre? [1]

— Военные не признают ликер,— сказала мисс Уоткинс.— Это мне известно. Настоящий мужчина пьет брэнди. И непременно выдержанный, старый. Мы должны быть уверены, что это будет действительно старый брэнди.

— А может быть, распорядиться, чтобы Хлоя подала графинчик виски, когда он уже соберется уходить? — заметила мисс Кибл.— Дома у нас всегда подавали виски и кувшин с лимонадом.

Таким образом, были приняты все меры к тому, чтобы обеспечить капитану Блэп-Бэлпингтону действительно приятный вечер.

6

КАПИТАН БЕСЕДУЕТ С ЛЕДИ

Вечер вполне оправдал затраченные на него усилия.

Капитан не пренебрег ничем. По мере того как одно блюдо сменялось другим и хорошая пища и превосходные напитки согревали его кровь,— она приливала к его мозгу и наполняла жизнью и мужеством каждую клеточку. С самого начала он оценил теплую атмосферу любопытства и скрытого восхищения, которой они окружили его. Едва только он, оставив за собой сумерки, переступил порог их маленькой гостиной и очутился перед коктейлями (опасаясь преждевременно выбыть из строя, они очень остроумно приготовили себе вполне безобидные, но такие же на вид коктейли и подняли свои бокалы первые, оставив ему тот, настоящий), он понял свою роль и приготовился сыграть ее достойным образом. Им хотелось интересно провести вечер; им хотелось послушать его рассказы. Прекрасно.

Они сидели некоторое время в старомодной гостиной, попивая коктейль, которому надлежало разжечь их аппетит, и разговаривали сначала о здешних местах, об их особенной старинной прелести.

— Здесь, знаете ли, все осталось таким неиспорченным,— говорила мисс Уоткинс, усердно жестикулируя

[1] Заключительная рюмочка *(франц.)*.

худыми, длинными руками.— Почти совсем не испорченным.

— Мне кажется, это очень утешительно,— сказал он, и Фелисия одобрила его мудрые слова, сверкнув очками.— Здесь жизнь крепко держится за свои корни. Вчера вечером я сидел в саду и любовался закатом. И я говорил себе: «На свете не существует никаких революций и движений, кроме движения земли».

— Ах, если бы всегда можно было так чувствовать! — вздохнула мисс Уоткинс.

— В больших городах, со всем этим несметным количеством газет,— продолжал капитан,— как-то забываешь об этом. Но здесь — удивительно, с какой явственностью выступают перед вами эти вечные ценности.

В эту минуту появилась Хлоя и доложила, что обед подан.

— «Не будем ждать, кто шествие откроет, идемте все»,— процитировала мисс Уоткинс, и они вошли в светлую маленькую столовую. Прелюдия с икрой удостоилась восхищенной оценки капитана.

Он обратил внимание на «коттеджеобразную» форму комнаты. Он восторгался ее неправильностью.

— Никогда я не пил такой превосходной водки,— сказал он, подвигая к себе графинчик. Они нерешительно отпивали крошечными глоточками, глядя, как он одним духом опрокидывал рюмку. Никакой казак не сумел бы так ловко опрокинуть рюмку и проглотить водку с икрой одним глотком! Но очень возможно, что он побывал в России.

— Но даже здесь, вы знаете, мы не обходимся без революций,— сказала мисс Уоткинс, возвращаясь к разговору, начатому в гостиной.— Это падение валюты и кризис в Америке отозвались даже в нашей лесной глуши.

— Мы только слышим выстрелы,— сказал капитан.

— Но кое-кто чувствует и колебания,— остроумно заметила мисс Уоткинс.

— Когда фунты падают, доллары повышаются,— сказала англосаксонка Фелисия, которая держала акции и в Старом и в Новом Свете.

— Но дивиденды!

— Все это большей частью временные явления, временные колебания,— сказал капитан, не желая допускать и тени тревоги в эту уютную комнату.— Эти колебания касаются только биржевого мира, состояния вырастают, состояния лопаются, а для нас, умеренных, трезвых людей, маятник вернется на свое место. Большая часть этих разговоров о кризисе — просто газетная шумиха и паника, отчасти преследующая интересы рынка. Я немножко разбираюсь в этих делах. Что касается меня, леди, я придерживаюсь выжидательной позиции.

Мисс Уоткинс наклонила голову набок.

— Но всегда ли это дает какие-то гарантии? — спросила она.— Где бы ни был помещен капитал? Я иногда сомневаюсь в этом.

— А например?

— Ну, скажем, скромные акции стальных предприятий, Эквити, так они, кажется, там называются?

— Конечно, некоторое движение существует,— глубокомысленно сказал капитан, опрокидывая третью рюмку водки.— Благодарю вас. Очень хорошо.

Они поговорили о финансовых делах за черепаховым супом и хересом. Как все женщины, обладающие кой-каким капиталом, обе леди всегда готовы были просить совета и указаний в своих финансовых делах у любого малознакомого им мужчины. Было чрезвычайно утешительно обнаружить, что их гость придерживается консервативных взглядов и проявляет такую спокойную уверенность. У них обеих было такое чувство, что, если они не будут продавать одни акции и как можно скорее покупать другие, они понесут большие потери, а здесь, в глуши, им не к кому было обратиться, не с кем посоветоваться. Их поверенный в Лондоне, говорили они, милейший человек, но он отстал от века. Они действительно в затруднении. Они даже подумывали, не поехать ли им в Лондон, призналась мисс Уоткинс, поселиться в каком-нибудь маленьком частном пансионе где-нибудь около Сити и заняться койкакими маленькими операциями. Ну, вы понимаете, разузнать, как и что, и начать действовать.

— Но только, дорогая моя,— обратилась она к сидящей против нее Фелисии, сморщив лицо в комической

гримасе, намекавшей на прежние бесконечные споры по этому поводу,— что это значит — действовать?

— Вот это-то именно я и хотела бы знать,— сказала Фелисия капитану.

Он успокоил их. Он повторил, что нужно сохранить доверие и предоставить всему идти своим путем.

— Восстановление порядка и равновесия,— сказал он,— это только вопрос времени. Мне кое-что известно. Надо сломить враждебные силы. Я признаю — мир переживает сейчас кризис, очень серьезный кризис. Это результат действия враждебных сил. Но мы одолеем их. Они могут поколебать корабль, но им не опрокинуть его. Не забывайте, что мы еще не изжили всех последствий Великой войны.

Он не стал распространяться сразу об этих последствиях, потому что ему надо было кончить свой черепаховый суп, а это очень трудно — следить обстоятельно за ходом своих мыслей, пока не доешь суп; но к тому времени, когда приступили к слоеным пирожкам с дичью (их подали с опозданием, Хлоя обнаруживала признаки раздражения и нервничала, и две штуки довольно сильно подгорели), обсуждение мирового кризиса развернулось вовсю. Высказывались опасения насчет большевизма, насчет того, что все увеличивающаяся безработица и необходимость урезывать пособия приведут к серьезному недовольству и даже к своего рода коммунистическому движению.

— Так трудно заставить их понять,— сказала мисс Уоткинс.— Бедняжки, это так естественно, что им трудно понять.

— Расскажите капитану Блэп-Бэлпингтону, что сказал этот человек, который привез кокс для парника,— подсказала Фелисия.

— Ах да,— подхватила мисс Уоткинс,— это было в высшей степени показательно.

То, что сказал человек, который привез кокс для парника, произвело, по-видимому, незабываемое впечатление на обеих леди, и они уже обсуждали и взвешивали значение этого со всевозможных точек зрения.

— Этот человек — самый обыкновенный здешний житель из Векстера,— пояснила мисс Уоткинс,— не какой-

нибудь рабочий из вашего классово-сознательного пролетариата,— никаких таких идей.

Так вот она вышла и немножко поболтала с ним, пока считала мешки с коксом и проверяла, все ли они в порядке, а для того, чтобы не вызывать «ложных надежд», она заговорила о необходимости придерживаться всем строгой экономии и сказала, что все должны следовать примеру короля и где только возможно сокращать расходы.

— И вы знаете, он был так груб и не проявил никаких верноподданнических чувств. Он сказал, что если король думает помочь кому-нибудь тем, что сократил казенные работы на сумму пятьдесят тысяч фунтов, так он не с того конца взялся. Не лучше ли бы ему сэкономить на медвежьих папахах гвардейцев, коли уж ему приходится урезывать себя и экономить? И еще он сказал, что никогда не думал, что король способен на такие низкие фокусы, так он и сказал: «низкие фокусы» — лишить работы стольких порядочных людей, когда уж и так много безработных. И потом еще прибавил: мы, говорит, еще увидим, как эти богачи, которые копят денежки, когда-нибудь подавятся своими деньгами.

— И это в самом сердце Девоншира! — воскликнула Фелисия.— Такие вещи!

— Я пыталась урезонить его,— сказала мисс Уоткинс.— Mais que voulez-vous? [1].

Либфраумильх было превосходно, поистине благородное вино. Капитан очень польстил хозяйкам, спросив, какого оно года, и заметив: «Ну конечно. Это видно»,— когда они сказали, что оно двадцать третьего года. Он обходился теперь только с помощью вилки, это позволяло ему чувствовать себя более непринужденно, к тому же ощущались некоторые признаки того, что перед следующим блюдом тоже будет маленький перерыв. В нем все сильнее разгоралось желание порассказать кое-что этим леди.

— Король...— задумчиво произнес он, опуская вилку с медлительной изысканностью и пощупывая ножку своей рюмки, как будто считая пульс.— Король был в затруднительном положении. Я это хорошо знаю.

---

[1] Но что вы хотите? *(франц.)*

Несколько секунд он, казалось, припоминал какие-то важные события.

— У него были плохие советники.

Он больше ничего не прибавил, но обе леди почувствовали, что он мог бы рассказать нечто необыкновенное.

Барашек был подан неожиданно быстро. Капитан обернулся, приветствуя его появление, и оценил его по достоинству, не заставив себя угощать.

— Нет во всем свете такого блюда,— сказал он,— как жареный английский барашек, приготовленный руками англичан. И—могу ли я поверить своим глазам?— свежий зеленый горошек! Английский горошек!

Успех был еще больше, когда либфраумильх сменился темно-пурпуровым вином. У них были большие сомнения относительно этого вина. Им рекомендовали его у Хиггса и Бриссона в Векстере, и Хиггс и Бриссон уверял, что оно «бархатное». Бархатистость, собственно говоря, было не совсем то качество, какого они ожидали от бургундского. Мисс Уоткинс хотелось достать что-нибудь более внушительное и терпкое, но Хиггс и Бриссон, молодой человек с песочного цвета волосами и убедительными манерами, отговорил их. Когда капитан с великим одобрением сказал: «А ведь это, кажется, шамбертен»,— они втайне порадовались, что их отговорили.

— Точно бархат,— сказал он.

Хиггс и Бриссон сделался для них лучшим виноторговцем в мире.

На некоторое время барашек заменил собою разговоры. Но наконец капитан заговорил снова:

— Действительная история нашего времени сильно отличается от того, что вы знаете по газетам. Происходят великие дела. Если бы все стало известно, вы бы поняли все величие поведения короля.

— Все говорят, что он верен своему долгу,— сказала мисс Уоткинс.— И никогда не приходится слышать никаких басен, никогда, вы знаете, никаких таких басен, которые, бывало, ходили раньше о некоей особе. Если только в них была хоть капля правды... Но ведь не зря же сказано, что молва — это лживая блудница.

— На свете,— сказал капитан,— много странных и величественных событий, о которых мы очень мало слы-

шим. Действительно, очень мало.— Он задумался.— На войне люди вели себя изумительно. Я могу рассказать вам...

Они ждали, ибо теперь было уже совершенно очевидно, что они кое-что услышат.

— Вот, например. В нескольких словах. Все слышали о великом германском прорыве весною восемнадцатого года, об отступлении, о брошенных из-за отсутствия горючего танках, о потерянных орудиях, снаряжении, о разгроме Пятой армии. И так далее. Но мало кто слышал о стычках и сопротивлении. Вот, например, в одном месте... Да, немногие знают, как был спасен Амьен. Горсточкой людей. С девятью пушками. Всего-навсего с девятью.

Он сделал великодушную уступку неприятелю.

— Конечно, немцы были измучены, устали. Они слишком стремительно двигались и слишком далеко зашли. И все-таки эта изумительная стойкость двух сотен солдат позволила одержать победу союзникам.

— Но я об этом никогда не слыхала,— сказала мисс Уоткинс.

— По весьма понятной причине. Об этом никогда не рассказывалось.

— Но почему? — спросила Фелисия.

— Ах, дорогая леди. Военное amour-propre [1]. Ох, уж эти официальные донесения! Вечная зависть кадровиков к волонтерам.

— Но что же в действительности произошло? — спросила Фелисия, жаждавшая послушать рассказ.

— Нечто совершенно непредвиденное. Люди действовали без всякой команды. Я попробую объяснить вам. Войска откатывались назад. Полный разгром. Приходится признаться в этом. Конечно, никто не бежал, никакой паники, но люди упорно шли назад. С них было довольно. Натерпелись. Не было никакой возможности заставить их повернуть. Безнадежно. Сколько бы вы ни пытались взывать к тем, кто еще сохранил какое-то присутствие духа. Многие офицеры шли с револьверами в руках. Но вот постепенно стала сколачиваться какая-то маленькая кучка, и она повернула обратно. Словно

[1] Самолюбие (*франц.*).

захваченный течением сплавной лес. Кухни. Оркестры. Санитары. Люди из рабочего батальона. И вот на том месте, о котором я сейчас говорю, собралось около двухсот человек, не более, максимум две сотни, и с этого все и началось; и собрались-то они неизвестно каким образом. По-видимому, им попалось подходящее место. Возможно, что самое это место и вызвало мысль о сопротивлении. Это было нечто вроде естественного укрепления, старые окопы, железнодорожная насыпь, несколько домишек, разрушенных воздушным налетом, что-то еще, а немного левей, ярдах в ста или около того,— проезжая дорога. «А что если их здесь задержать?»— это было сказано так, попросту... «А ведь мы могли бы их здесь попридержать». А тут еще по ту сторону насыпи оказалась покинутая батарея. Точно им тут нарочно ее подбросили. Девять пушек. Боевые припасы. Так вот, собственно, не было даже никакого командования; мысль переходила от одного к другому. Это было сражение, которое велось кучкой простых солдат. Но они задержали великое наступление. С этого начался поворот.

Он помолчал.

— Этот молодой картофель прямо восхитителен. Что может быть лучше просто вареных английских овощей? И особенно хороши ранние овощи. Во Франции нам никогда не подают овощей, которые не были бы испорчены какими-нибудь специями.

— Но что же случилось с этими двумя сотнями людей? — спросила Фелисия.

— Как вы изволили сказать?

— С этими солдатами, которые остановили германское наступление?

— Они удержали форт, дорогая леди. Они спасли Амьен.

— Но немцы подошли? — настаивала Фелисия.

— Ну, очевидно, дорогая,— сказала мисс Уоткинс.

— Они подошли. Да-да, они подошли.— Он чувствовал, что эти две сотни солдат остались на его ответственности. Он напряг свое воображение.

— Вы представляете себе! Все эти случайно собравшиеся люди, одетые как попало, одни в каких-то неописуемых мундирах, многие в лохмотьях, и в их рас-

поряжении всего каких-нибудь два часа для того, чтобы организовать оборону, найти командира, сплотиться до того, как эта волна достигнет их. И они это сделали. Когда-нибудь, может быть, об этом расскажут. Не знаю. Время от времени какой-нибудь отставший от своей части солдат, увидя их за работой, присоединялся к ним. Отступающие войска прошли мимо. А вдалеке, с уверенностью, не спеша, уже двигался германский авангард. Наши головорезы задолго увидели их. Маленькая колонна серых людей в открытом поле. А за ними массы, бесконечные потоки серых батальонов. Широкая ровная местность, вы представляете себе. Не изрытый участок, а ровное поле.

Капитан умолк. Но было невозможно устоять перед этой немой мольбой, которая была написана на их лицах.

— Вообразите себе чудесный весенний день, кругом такое затишье... птички щебечут... Издалека доносится топот отступающих войск. Двое-трое приближаются к нам. Все точно замерло в ожидании. И вдруг загрохотали наши пушки. Неожиданно. Бум! Бум! Две сотни людей, всего две сотни безыменных английских рядовых — и последняя атака Германии. Не странно ли, что такой пустяк повернул колесо истории!

— И это умышленно замалчивали?

— Об этом никогда надлежащим образом не сообщали. Никогда не выделяли из числа других случайных стычек. Нет.

Леди следили за его задумчивым лицом. Он рассеянно наполнил свой стакан красным вином из графина.

— Но они действительно заставили повернуть обратно целую германскую армию?

— Я, видите ли, плохой рассказчик. Нет. Этого нельзя сказать. Они только задержали ее, — он быстро подсчитал в уме, — на тридцать восемь драгоценных часов. Видите ли, им необычайно повезло, что они выбрали это место для засады. Вначале они даже не подозревали, но под их ногами на этом месте оказались глубокие пещеры, где были спрятаны боеприпасы. Оказалось, что там был искусно замаскированный склад военного снаряжения. Целый треугольник. Они в любой момент могли взлететь на воздух. Но этого не случилось. Судьба покровительствовала им. В конце концов, может быть,

действительно существует бог войны. И вот снаряд за снарядом разрывался в рядах приближающейся армии, и таким образом великое наступление на Амьен было задержано. Воздушная разведка была сбита с толку, посылала самолет за самолетом, но тут же шныряли и английские патрульные самолеты. И не было никакой возможности точно установить ситуацию. Неприятельскому командованию казалось, что они натолкнулись на передовые укрепления заново подготовленной линии обороны. Естественно. И они потеряли несколько драгоценных часов в нерешительности. А под прикрытием этой маленькой кучки головорезов, этого, так сказать, отбившегося легиона, подошли официальные резервы. Новые батальоны были переброшены из Амьена. Вы представляете себе?

Он задумался, взвешивая кое-какие возможности.

— У них работали беспрерывно шесть пушек,— объяснял он,— а три охлаждались. У них было неограниченное количество боевых припасов благодаря этим складам. И они стреляли, голые, почерневшие, чуть не плача от напряжения. Мне рассказывали потом: немцы думали, что против них выставлено по крайней мере сорок орудий. А те, кто не находился при орудиях, укрепляли для защиты железнодорожную насыпь, сараи и прочее, устраивали проволочные заграждения, подтаскивали снаряды и ракеты на ночь. Никто не отдыхал. Никто не ел. Самое страшное — это было пережить ночь... после того как стемнело.

— И что же тогда? — прошептала Фелисия.

— Тогда действительно подошли немцы. Возможно, они поняли истинное положение вещей. Но слишком поздно. Один за другим ударные отряды немцев подступали к маленькому треугольнику. Он был окружен со всех сторон разъяренным приливом немецких войск, этот маленький островок отчаяния. Сражались в темноте. Бог знает, не убивали ли тут же и своих. Это был окопный бой в полном смысле слова. Взрывы снарядов — и сразу рукопашная схватка. Люди выскакивали из темноты и убивали или падали убитые. Это была уже не современная война, а поистине Гомерова битва. С самых сумерек до двух часов утра стычка следовала за стычкой. Иногда казалось, что кругом уже не осталось никого,

кроме немцев. Бились один на один. Кто-то кого-то убивал. Потом вдруг доносился английский возглас. В темноте, вы знаете, люди дерутся молча. Иногда наступало нечто вроде передышки. Я помню, в одну из этих передышек раздалось вдруг чье-то неподражаемое кокнейское восклицание: «Что, ребята, сробели?» Это, знаете, их любимое словцо. И в ответ ему сдавленное, задыхающееся: «Н-не-т!» Замечательно, а?

Леди обменялись восхищенными взглядами.

— Вы были там! — воскликнула Фелисия.

— О, я-то! Ну да. Разумеется, я был там, среди других безыменных людей. Поэтому-то мне все это и известно, вы понимаете. Ничего особенного я собой не представлял. Одна из щепок в этом прибитом течением сплаве. Никакой заслуги с моей стороны. Я помню, как по этим голосам я старался угадать, много ли нас осталось. Я словно сейчас их слышу. Они едва откликались, и даже этот жалкий, задыхающийся голос, который, казалось, вот-вот прервется. Какое мужество? «Не-ет!» И с этим кокнейским выговором! В темноте! А потом, примерно между двумя и тремя часами, наступило затишье, и чувствовалось, что у неприятеля идут какие-то приготовления. В холодной предрассветной мгле, часов так около трех утра, я так хорошо помню это. Мы все собрались вместе, приготовившись встретить последнюю атаку. У меня была фляжка с брэнди. Она пошла у нас вкруговую. Некоторые прощались друг с другом. И... эта атака так и не началась.

Он со вздохом отдал свою тарелку Хлое.

— Да. Даже теперь я иногда просыпаюсь ночью с этим томительным чувством ожидания. В конце концов я собрал кое-кого из наших ребят. «Вы сделали,— сказал я,— все, что может сделать человек. Или англичане вернутся, или игра кончена. Боши сейчас устанавливают окопные мортиры или подвозят орудия. Они нас раздавят, как мух. Забирайте всех раненых, сколько можно, попробуйте пройти через коммуникационные линии»,— там, понимаете, было нечто вроде коммуникационных линий, не помню, куда они вели. Да «и предоставьте мне взорвать склады, предоставьте это мне».

Он замолчал, пристально глядя на жареного цыпленка, который ожидал его с левой стороны. Но мысли его

были далеко. Бедная Хлоя недоумевала, долго ли ей придется держать перед ним блюдо. Она попыталась было спросить взглядом у своих хозяек, что ей теперь делать, но увидала, что обе они, затаив дыхание, жадно смотрят ему в рот, боясь проронить хотя бы слово.

— Вы не поверите,— сказал он, и глаза его увлажнились мужественными слезами,— ни один из них не покинул меня. Ни один. Ах!

Никогда еще лицо мисс Уоткинс не сморщивалось столь выразительно бесчисленными морщинками сочувствия, оно словно так и тянулось к нему из облегавшего ее шею воротничка; а очки Фелисии затуманились.

— Это своего рода братство,— прерывающимся от слез голосом вымолвил он.— Возникшее между совершенно чужими людьми. Безыменными. Отбившимися от лесного сплава щепками. За единую ночь битвы.

Он с торжественной сосредоточенностью выбрал крылышко.

В маленькой столовой воцарилась глубокая тишина, прерываемая только стуком тарелок, когда Хлоя ставила птицу и подавала салат.

— Хлебного соуса? — вздохнула Фелисия.

— На рассвете...— продолжал капитан, выливая себе в тарелку почти весь соус,— я... я не мог бы вам рассказать, на что было похоже это место. Убитые — наши и немцы. Видеть это — приятного мало, мало приятного. Бойня. (Вы, может быть, никогда не видали бойни? Ну, все равно.) Но ужас войны! Ее красота! Страшная красота! Рассвет... И вот тут... неизвестно откуда появляется щеголеватый и вычищенный молоденький офицерик. И говорит следующее — клянусь вам, что он сказал буквально эти слова: «Что вы здесь делаете, дезертиры? Вы — дезертиры».

— Идиот! — воскликнула Фелисия в глубоком волнении.— Глупый молокосос!

— «Некоторые из нас ждут носилок,— сказал я,— а некоторые могилы. И вам придется еще похоронить немалое количество немцев. Мы, видите ли, задержали их здесь, пока вы принимали ванну...» Да, вот как оно было. Но вы видите, дорогие леди, как это бывает, что некоторые прекрасные эпизоды не появляются в офици-

альных донесениях. Действительность — это одно, а история — другое. Но вы извините меня, что я так разболтался. Увлекся, знаете. Обычно я избегаю говорить об этом...

Он с драматической неожиданностью переменил разговор.

— Давайте поговорим о Девоншире и о сидре,— сказал он.— О благодетельных путях природы и о милых знакомых вещах.

— Я так хорошо понимаю эти чувства,— промолвила мисс Уоткинс.— (Хлоя, вы забыли салат?) И все-таки для нас, домоседов, в этом есть какое-то пугающее очарование...

— Я надеюсь, что мы никогда больше не увидим войны в Европе,— сказала Фелисия.

— И никакой другой войны,— с чувством поддержал капитан.

Он опять сделал попытку переменить разговор.

— Эти вечнозеленые дубы вдоль вашей ограды очень красивы,— заметил он.— Меня всегда интересовало, что вечнозеленый дуб — исконный уроженец Англии или нет? Они, конечно, привились здесь на юге, но росли ли они здесь, например, во времена римлян?

Мисс Уоткинс предположила, что они привезены из Испании. Она припомнила, правда, не очень точно, слышанную когда-то давно лекцию по акклиматизации яблонь, фиг и винограда.

— Подумайте только, как австралийский эвкалипт уже на нашей памяти изменил итальянский пейзаж,— сказала она.— А едва только римская культура начала распространяться по Средиземноморскому побережью, всюду стали сажать оливы, и они вытеснили дуб.

Эти замечания постепенно перешли в более глубокие рассуждения о том, как меняется лицо земли. А это, в свою очередь, снова вернуло их к явным переменам к худшему, назревающим в нынешнее время, и опять к последствиям Великой войны и ко всем угрозам и опасностям, которые преследуют нас даже в сердце Девоншира, в этой поистине девственной, нетронутой глуши.

К этому времени капитан добрался до нарезанного тончайшими ломтиками сыра и портвейна тети Белинды. Хлоя, которая теперь уже вполне оправилась от своего

недавнего потрясения, проворно и ловко сняла скатерть, открыв красивую полированную поверхность красного дерева. Прекрасный дорогой стол. Графин с портвейном на подвижном лакированном поставце — превосходно. После первого же глотка тетушкиного портвейна капитан проникся глубокой уверенностью, что он еще долго будет сидеть за этим столом и говорить с неослабевающим жаром. Вряд ли эти леди угостят его сигарой, но во всем остальном они принимают его великолепно. И в конце концов хороший портвейн и сигары — это вещи несовместимые. С курением можно подождать.

Он завел очень интересную беседу. Он сделал попытку развить несколько мыслей, которые уже много раз выручали его в Париже.

— Наша умственная жизнь,— сказал он,— сейчас как-то очень оскудела. Мы все живем только сегодняшним днем. Немногие из нас оглядываются назад и пытаются более или менее охватить целиком всю эту борьбу, эти конфликты. Но, по существу, если взять в целом и разобраться в этом поглубже, проблема разрешается очень просто. Если позволите, я разовью свою мысль?

Леди ответили горячими изъявлениями согласия.

— Так вот, начнем с христианской эры, с того, как мир переходил в христианство, и далее. Вас не очень пугает, что я собираюсь оседлать своего конька? Это, знаете ли, мой исторический конек. Так вот, что такое действительность?

— Мы никогда не пробовали исследовать христианство,— сказала мисс Уоткинс.— Не делали попыток разобраться в этом.

— Можно проследить и дальше,— сказал он и прибавил торжественно: — Я, видите ли, наблюдал историю.

Они сидели завороженные.

— Христианство,— пояснил он,— это уже последний, самый совершенный уклад жизни, некая система ценностей, которая веками боролась за то, чтобы утвердить себя. Что представляют собой эти ценности? Семья, а рядом с семьей — ее защита и оплот — община, народ и, как бы воплощение этого, как некий символ, к коему устремляются сердца людей, Монарх, «помазанник божий», для меня по крайней мере,— прибавил он,— и Церковь. Вера. Это первоосновы. Идея объединения

всех этих ценностей стремилась воплотиться в христианстве, отчасти ей это удалось, и она и поныне объединяет собою человечество. Этой системе ценностей, которую мы зовем христианством,— продолжал он,— мы обязаны всеми добропорядочными качествами жизни — преданностью, честностью, взаимопониманием, постоянством — всем, что подразумевается под словом «цивилизация».

Он оттенял свои слова интонацией и жестом и в особенности какой-то проникновенной торжественностью в голосе и, так сказать, всеобъемлющим помаванием руки.

— Но во все времена, через всю историю мы наблюдаем сложное, многообразное противодействие этим ценностям. Я не буду подробно анализировать это,— сказал он.— Я беру это в очень, очень широком аспекте. Но лишь тогда, когда эти широкие аспекты будут усвоены, когда вы ясно увидите, с одной стороны, эти высокие человеческие ценности, а с другой — враждебное противодействие, антагонизм,— только тогда можно попытаться представить себе, что такое история Египта, Рима, средних веков, и понять закономерность и значение всего, что происходит в наши дни. Стремление сохранить эти высокие ценности, тайные происки и попытки сокрушить и уничтожить эти высокие ценности — вот вам свет и тьма персидской культуры! Глубокие теологи эти персы! Мы до сих пор еще не воздали им должного за тот неоценимый вклад, который они внесли в духовную сокровищницу мира! И вот вам ключ к тысячам зловещих, враждебных течений, к значению борьбы с еретиками и неверными, к существованию тайных обществ, черной мессы, розенкрейцеров, тамплиеров, масонов (Ах, только представить себе все это!— подхватила Фелисия, замирая в проникновенном экстазе), к великим эпидемиям неверия, расколов, ересей, восстаний и так далее, вплоть до социализма, большевизма, анархизма, безверия и всей интеллектуальной борьбы нашего времени. Под каким бы видом ни пряталось это черное дело, оно всегда оставалось одним и тем же.

Это так называемые Наследники,— начал было он, но тут же, спохватившись, что обе леди, наверно, никогда не слыхали об этом наваждении, ибо это было его личное наваждение, оставил в покое Наследников.—

Всегда, во все времена,— заключил он,— длился этот поход против вечных человеческих ценностей. Непрерывно. Но обнаружить это было не так просто, как если бы это было нанесено черным по белому. Мысль человеческая развивается так сложно и такими извилистыми путями...

Он впился взглядом в Фелисию и задал ряд риторических вопросов. Вот хотя бы, к примеру, какую роль во всем этом играли иезуиты? А какова была роль энциклопедистов? Что скрывалось за Великой войной? Совершенно очевидно, что значимость ее со стороны или, так сказать, видимость, это вздор, просто маскировка. Внезапное крушение христианской монархии в России — это еще более фантастически нереальный факт, если опять-таки судить только по видимости. Что такое, я спрашиваю вас, Распутин? О да, мы знаем, кто он, но что он такое? И что представляют собой эти глубокие, сложные тайны, которые скрываются за всеми этими финансовыми и экономическими беспорядками современного мира?

Он остановился. Фелисия не знала, что сказать, но мисс Уоткинс в экстазе духовного просветления быстро закивала головой. Она сидела, крепко стиснув руки.

— Нет, в самом деле, что? — повторила она.— Нет, в самом деле?

Хлоя на время отвлекла их от этой проблемы.

— Прикажете подать сюда кофе и старый брэнди, мисс? — спросила она.

Ей явно хотелось убрать со стола.

Капитан насторожился при словах «старый брэнди», и маленькая компания снова перешла в гостиную, где топился камин и стояли уютные кресла и удобный столик. Здесь доклад о человеческих распрях возобновился в более интимном тоне. Сигар не было, но были очень хорошие египетские папиросы, и обе леди чопорно закурили.

— Мне случайно стало известно... — произнес он из глубины самого глубокого кресла и уставился на красные угли и шипящие, пляшущие языки пламени.— Мне по роду моей службы пришлось...— медленно выговорил он, следуя за своим воображением, и снова погрузился в задумчивость.

Они сидели и ждали. Уже сколько лет не приходилось им так интересно проводить вечер.

Он размышлял вслух:

— Откроется ли когда-нибудь истина? Сможет ли человечество выдержать ее? Убийство в Сараеве. Возвращение Ленина в Россию через Германию. Вот такие события... Я иногда задумываюсь над этим.

— Тайны,— глубокомысленно промолвила Фелисия и тоже поглядела на огонь с точно таким же выражением, как и он.

Но после этого он заставил их некоторое время помучиться. Было совершенно очевидно, что этот человек обладал не только удивительными сведениями, но и большой сдержанностью.

— Это действительно самый настоящий старый брэнди,— сказал он.— Должно быть, сорок восьмого года.

Фелисия обратила к мисс Уоткинс вопрошающий взгляд.

— Он, конечно, нам говорил? — начала она с сомнением, намекая на рыжеватого молодого мистера Хиггс и Бриссон.

Мисс Уоткинс проявила больше уверенности.

— Так и есть, сорок восьмого,— сказала она.— Удивительно, как вы могли это узнать?

— Как бы я мог не узнать, дорогая леди. Выдержано до совершенства.

Они пытались задавать ему разные вопросы, чтобы заставить его вернуться к прерванному рассказу. Но он не поддавался.

— Как мирно вы живете здесь! — заметил он.— Как спокойно!

Это был момент, когда обе леди почувствовали несравненное удовлетворение. Да, они действительно прочно и уютно устроились здесь, окружив себя незыблемыми ценностями человеческой жизни. Все высокие достижения цивилизации отгораживают их от ужасов озверелого мира. А все-таки какой сладостной дрожью пронизывала их мысль о подкрадывающихся извне темных силах, обо всех этих махинациях, большевизме, насилиях, убийствах; о неистовых бунтовщиках, неведомых страшных угрозах, нависающих где-то в от-

даленье; и хоть им здесь можно и не опасаться, но ведь все-таки они существуют, эти чудовищные силы.

— Спокойно, да,— сказала мисс Уоткинс.— Но ценою каких незримых усилий! Мы просто не задумываемся над этим.

— Да, это правильно — незримые усилия,— согласился капитан, и ясно чувствовалось, что он вот-вот перейдет к новым откровениям.

Казалось, он мысленно перебирал ряд примеров.

— Фанатики! — бормотал он.— Загадка фанатизма. Типы! Исступленные мечтатели! Упрямые радикалы. Претензии на научное всеведение. А некоторые просто злоумышленники. Анархисты! Открытые враги общества! Разрушить! Разрушить! «Наша порода»,— говорят они. Огромная антирелигиозная организация, тайная, мрачная, незримая, связывает их. Есть души — страшно подумать об этом! — которые действительно по природе своей враждебны всему человеческому. Великий заговор. Против христианства. Против человечества.

Среди пылающих в камине углей на одно мгновение смутно выступило кроткое лицо молодого человека, с которым он ехал в поезде, или по крайней мере половина его лица. Рыжеватый язык пламени превратился в Тедди Брокстеда, порывавшегося сказать что-то. Ну нет, ему ничего не удастся сказать.

— Они пустили корни по всему свету,— произнес капитан.— Подкапываются. Сеют сомнения и разъедают. Они совращают молодежь. И они ждут своего времени. Евреи финансисты. Крейгер и Толл. Торговля наркотиками. Гнуснейшие сделки. Все это одна грандиозная система. Один громадный заговор. Разрушить существующий строй. Но, слава богу, у нас есть еще люди! Неста Уэбстер, великий наблюдатель, высмеял их в свое время. А теперь Т. С. Элиот. Вам следует почитать Т. С. Элиота. Один из величайших умов нашего века. Огромное влияние. Осторожный, придирчивый — и все же вождь. Молодежь обожает его. Он принял заветы Несты. Сделал их приемлемыми. Облагородил их. Он прямо и просто предлагает выбор человечеству.

Некоторое время он распространялся о заслугах Т. С. Элиота.

— Англиканский монархист,— задумчиво заключил он.— Никогда еще ни один человек не употреблял таких благородных усилий, чтобы смыть с себя пятно своего рождения.

— Вы хотите сказать, он рожден вне...— спросила мисс Уоткинс, запинаясь, но в то же время дрожа от любопытства.

— О нет, совсем другое. Он родился в Америке. Его дед был столпом бостонского либерализма. Эта увядшая мечта прогресса! Как великолепно он опровергает ее!

Вслед за этим он заговорил о королевском величии, о королях.

— Современный мир,— сказал он,— погрязший в обыденщине, соперничестве, шумихе и неизменном потворстве своим страстям, забыл о королевской власти. Но королевская власть существует, и она возглавляет борьбу против этих темных, недремлющих сил. Короли, монархи — это самые непостижимые из людей. Их появление носит характер церемониала. Неизменно. Это их внешний долг. Но говорят ли они когда-нибудь? Открывают ли себя? Они словно маски, за которыми скрыты их непроницаемые, глубокие души. Душа короля, подумать только! Нечто священное! Eikon Basilike[1]. Не всякому дано ее узреть. В редких случаях она на мгновение открывается миру. Русский царь Александр Первый, Александр Священного союза, вот он, например, позволил миру заглянуть в глубины монаршей души.

— Венский конгресс. Я видела фильм в Векстере,— начала было Фелисия, но тотчас же прервала свое выступление и с жадным вниманием стала слушать то, что говорил капитан.

— Кайзер,— сказал он и откашлялся.— Кайзер,— повторил он,— был неповинен в войне... не больше, чем любой человек в Европе.

— Но так ли это? — воскликнула Фелисия.

— Вы знаете, это совсем не то, что мы слышали,— сказала мисс Уоткинс.— Совсем не ортодоксальный взгляд.

— Нет человека на свете более непонятого, чем он. Загадочная натура. Мистик. Глубокий мистик. Посред-

---

[1] Царственный образ *(греч.)*.

ник между богом и людьми. Человек, который постиг бога,— это с одной стороны, и вместе с тем глубоко постиг человечество.

— Но война?

— Не он затеял ее. Его вынудили силой. Мне это известно. Известно совершенно точно.

— Но кто же тогда начал войну?

— Следовало бы спросить не «кто», а «что»,— ответствовал капитан, и он снова нарисовал им величественную фигуру монарха, пребывающего в изгнании в Доорне.

— Разрешите мне объяснить вам, каково было положение кайзера, вот так, как он мог бы объяснить это сам, что он и сделал однажды. В течение целого бурного столетия великие традиции Священного союза держались крепко, и мир, управляемый дружной семьей монархов, прожил чудесные сто лет. Нам теперь так или иначе приходится признать это. Несмотря на сорок восьмой год, несмотря на непрекращающиеся подкопы черного радикализма и здесь, и там, и повсюду, несмотря на то, что Америка как будто отошла от объединившегося христианского мира, счастливая человеческая жизнь текла широким потоком. Война Северных и Южных штатов окончилась благополучно главным образом благодаря мудрому вмешательству королевы Виктории.

— Так ли это? — воскликнула Фелисия.

— Она относилась к Линкольну с величайшим расположением,— пояснил капитан.— Так же, как и он к ней. И все это совершилось очень спокойно.

Он вернулся к своему повествованию.

— И вдруг, казалось бы, безо всякого предупреждения, всякая нечисть, тайные силы, Распутин и все, что скрывалось за ним в России, франкмасоны во Франции и пушечные фабриканты — все поднялось сразу. Произошло это убийство — оно было подготовлено заранее,— и плотина прорвалась.

На этом бегло обрисованном фоне появился кайзер.

— Он объяснял это так. И, должен сознаться, я, со своей стороны, нахожу, что у него были все основания рассуждать так. «Вот моя империя,— говорил он,— краеугольный камень европейской системы. Она вооружена,

но она принуждена была вооружаться. Ваши торговцы оружием вынуждали ее вооружаться так же, как и всех нас. Но предоставили ли вы моей империи подобающее место в семье народов? Нет, вы окружили ее и всячески старались задушить ее экономическое развитие. А теперь вы собираетесь раздавить Австрию, ее естественную опору. Как же вы думаете? Могу ли я остаться безучастным? Мог ли я остаться безучастным? Не забывайте, ведь это мой народ». Я не говорю, что он прав, но так он смотрел на это. «Война обрушилась на меня,— сказал он.— Меня захватили врасплох. Я вынужден был обнажить меч, облачиться в броню и нанести удар. Но под этой броней я всегда оставался паладином мира. Всегда, вплоть до конца тысяча девятьсот четырнадцатого года, я всеми силами стремился к миру, стремился спасти старую систему и мир».

— Но разве об этом когда-нибудь писали в газетах? — спросила мисс Уоткинс.— Или это совсем недавнее интервью?

— Нет, об этом никогда не писали в газетах. Но вот так именно объяснял он сам.

— Как это не похоже на то, каким его изображали!

— Я знаю это из самых достоверных источников,— сказал капитан.

— У. вас, вероятно, были знакомые в этих кругах.

— Это его собственные слова. Мне это совершенно точно известно.

— Но когда же он говорил это? Недавно? Может быть, он одумался уже после всего, что случилось?

— Он говорил это еще до окончания войны.

— Но где же? — Мисс Уоткинс настаивала не потому, что она не верила, а просто в неудержимом порыве любознательности.

Наступила пауза. Капитан огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что Хлои нет в комнате и дверь закрыта. Потом вздохнул.

— Это, вообще говоря, мало кому известно,— начал он.— Разумеется, все, что я говорю, дорогие леди, останется между нами...

— О, конечно! — в один голос откликнулись леди.

— Это одно из событий, о которых умалчивает исто-

рия. В течение сорока восьми часов кайзер был пленником в наших руках!

Он уставился на их изумленные, застывшие в благоговении лица.

— Мне это хорошо известно,— сказал он.

— И это скрывалось?

— Да, скрывалось. И по очень важным причинам. Это случилось восьмого—девятого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года.

— И ни звука? Ни намека?

— Ни звука. И вот так-то случилось, mesdames, что он удостоил меня беседой. Потому что он был под моей охраной. Он все время ходил взад и вперед, держась очень прямо. Бледный, усталый, побежденный и все же, осмелюсь сказать, величественно благородный. Он, по-видимому, был рад, что может наконец кому-то высказать все, что у него на душе. И поговорить по-английски. Он всегда любил говорить по-английски.

Капитан погрузился в глубокую задумчивость, потом, очнувшись, налил себе еще рюмку брэнди.

— Но как же это случилось?

— Вы понимаете, это было время разгрома германской армии. Они отступали. Три армии, английская, французская и американская, продвигались вперед. Неравномерно. Одни части шли быстро. Другие наталкивались на сопротивление. Случилось так, что моя дивизия, дивизия, к которой я был прикомандирован, шла чуть ли не по пятам немцев. Мы бросили вперед на разведку несколько маленьких отрядов. Что они делали, зависело от настроения их командиров. Странные тогда творились дела. Мы иногда оказывались почти бок о бок с немцами, нам, так сказать, было по пути. Мы не стремились захватывать пленных. Поскольку они были безоружны, вы понимаете, мы считали, что чем скорее они уберутся в Германию, тем лучше. Меньше возни будет с их отправкой на родину. В некоторых местах между англичанами и немцами происходило нечто вроде соревнования — чтобы первыми войти в город и предупредить мародерство. Удивительное это было время — этот завершающий разгром. В одном месте — приблизительно в полумиле от главной дороги — маленький замок. Во дворе страшное смятение. Стоят автомобили. Нет бен-

зина. Мы, конечно, догадались, что тут какая-нибудь важная персона. Подходит ко мне мой помощник с биноклем в руках: «Тут, знаете ли, какая-то важная шишка, начальство, штаб и все такое. Не захватить ли нам...» В какие-нибудь двадцать минут мы окружили замок. Я думаю, что они даже и не подозревали о нашем присутствии, пока мы не очутились с ними лицом к лицу. Они так суетились около своих машин! Рассчитывали достать бензин. Я думаю, они даже не предполагали, что англичане могут быть ближе, ну, скажем, чем в двенадцати милях. И вот возвращается мой помощник с каким-то перепуганным и в то же время как будто торжествующим видом. «Господи помилуй,— говорит он,— мы захватили кайзера!» Да, вот как это произошло.

— И вы его отпустили! — воскликнула Фелисия.

— Мы его отпустили. Нет, не думайте, что я мог взять это на свою ответственность. Но я понял положение. Я представлял себе, что из этого может выйти. Я сразу пошел к нему. «Ваше величество,— сказал я,— не знаю, кто из нас находится в более затруднительном положении. Я должен на некоторое время иметь честь позаботиться о вас и восстановить телефонное сообщение, так как наши люди перерезали провода». Он посмотрел на меня спокойно. «Англичанин? — спросил он.— Не американец?» Я осмелился пошутить. «Англичанин,— сказал я.— Ваше величество, можете быть спокойны, это не сразу попадет в газеты». И он от всего сердца рассмеялся.

— Рассмеялся? — изумилась Фелисия.

— А почему бы нет? Отступление, поражение. Но ведь самый мрак, угроза смерти — все это уже было позади.

— И что же вы сделали? — спросила мисс Уоткинс.

— Восстановили телефонную связь, заставил двух офицеров, посвященных в это дело, поклясться, что они будут молчать, и не сказал о том, кого мы захватили, ни одной живой душе. Дивизия наша подходила маленькими отрядами и частями. Я соблюдал строжайшую тайну. Вы не можете себе представить, какого труда стоило мне связаться с той особой штаб-квартирой, куда я хотел прежде всего представить об этом рапорт. Ну, об

этом не стоит рассказывать. Воображаете, какой это вызвало переполох? Его жизнь была под угрозой. Он был козлом отпущения. Вы, наверно, помните эти дни, когда повсюду раздавался вопль: «Повесить кайзера!» А в Германии! Там то и дело происходили вспышки настоящей социальной революции. Мы видели валявшиеся у стены трупы шести прусских офицеров, расстрелянных их собственными солдатами. И вот я наконец соединился по телефону. Это был самый невероятный разговор, а тут еще мучение с телефоном: отвратительно работал. Жж, жж, жж, и голоса затихали вдали. Иногда даже не было уверенности, с кем говоришь. Что делать? Что делать?

— Ну, и что же вы сделали? Что можно было сделать?

— Лондон ругался и вопил: «Мы не можем убить его. Это невозможно». Некоему очень высокопоставленному лицу,— я не буду называть имен — пришла в голову нелепая мысль — одеть его в штатское и отпустить переодетым. Я указал, какие тут могут возникнуть трудности. Самое главное было то, что он ни за что не согласился бы. Это уронило бы его достоинство, и он был прав. Наконец я добился того, чего хотел: «А что вы предлагаете, капитан Блэп-Бэлпингтон?» Я внес свое скромное предложение.

Он вздохнул.

— И вот таким-то образом кайзер в качестве пленника был доставлен к голландской границе отрядом английских войск. На наших глазах он благополучно перешел границу. Это было лучшее, что можно было сделать. Дорогой, когда мы провожали его, мы натолкнулись на громадную толпу пьяных немцев, которые пели «Rote Fahne».

— «Красное знамя»,— ввернула мисс Уоткинс.

— Они избивали своих офицеров. Мы сделали все, что могли, чтобы помешать ему открыть свое инкогнито и вмешаться, рискуя жизнью. Он совершенно не сознавал опасности. Нельзя выдумать большей клеветы, чем эти разговоры о том, что он испугался и бежал. Мы провели его окольными путями через всю эту сумятицу к спокойному маленькому пограничному отряду. Не важно где. С минуту он стоял, обернувшись назад. Слезы

катились по его впалым, изможденным щекам. Не многие из нас могли остаться равнодушными. «Пути господни не наши пути,—сказал он.—Когда я расстался с Бисмарком, капитан Блэп-Бэлпингтон, я думал, что покончил с кровью и железом. Теперь я смотрю фактам в лицо. Меня предали. Я заблуждался. Это конец. А я надеялся умереть не властелином войны, а пастырем мира во всем мире!»

Капитан задумчиво прибавил еще одну подробность.

— Он хотел дать мне орден, который был на нем, какой-то усыпанный драгоценными камнями крестик. Я отказался. «Вы дали мне нечто гораздо более драгоценное, ваше величество,— сказал я.— Вы дали мне великое воспоминание». Наконец мы пожали друг другу руки — очень просто,— и он пошел по направлению к голландскому часовому. Стал вытянувшись. Отдал честь.

7

КАПИТАН БЕСЕДУЕТ С ТИШИНОЙ

Дверь коттеджа отворилась, и две стародевственные леди выпустили своего великолепного и обольстительного гостя в темноту ночи. На пороге он остановился. Ночь была теплая, очень ясная и тихая. Он несколько мгновений созерцал небосвод, затем великодушно, широким жестом помахал им рукой.

— Эти чудесные звезды,— сказал он.— Чудесные звезды.

И опять задумался на мгновение. Казалось, ему хотелось сказать что-то ободряющее этому невозмутимому мерцанию вверху:

— Взираете вниз на города. Пустыни. Одинокие горы. Поля битв. Все то же бессмертное великолепие... Доброй ночи, дорогие леди.

Он направился по полосе света к калитке, и, когда благополучно одолел это препятствие, дверь захлопнулась, полоса света исчезла, и ему предоставили продолжать свой путь в темноте при свете звезд.

Идти было трудновато, потому что переулок сильно зарос. Сначала он не мог отличить дороги от густой поросли, окаймлявшей ее по краям; он забрел в сторо-

ну, натолкнулся на скамью и на изгородь, споткнулся и упал.

— Тихонько! — сказал он и с трудом поднялся на ноги.

Он вытер руки одну о другую, счистил землю, которая пристала к коленям, отыскал тросточку, выскользнувшую у него из рук, и с величайшей осторожностью последовал дальше. Но это происшествие изменило его настроение. Когда он упал, в сознании его, словно от толчка, вынырнуло откуда-то сомнение: все ли, что он говорил сегодня вечером, было чистой правдой. Эта мысль нарушила его довольство собой.

Чувство, что он говорил неправду, охватывало его все сильней. Он попробовал, хотя и не очень успешно, играть с самим собой в скучную салонную игру, известную под названием «Распутай». Наверно, вы когда-нибудь играли в эту игру. В то время как его тело двигалось ощупью вперед в темноте переулка, сознание его нащупывало дорогу назад в воспоминания. Он старался подробно и последовательно восстановить в памяти весь свой рассказ и выяснить, как же это дошло до того, что он голыми руками захватил в плен и спас кайзера, и каким образом он дал это решительное сражение в тылу перед Амьеном. Когда он начал рассказывать об этом сражении, он даже и не подозревал о своем присутствии там, для него это было так же неожиданно, как и для этих леди. Он как-то незаметно, постепенно проник туда. Но как, собственно, он очутился там? Когда он излагал взгляды кайзера, у него совершенно не было намерения подносить это как изречения из его собственных уст. Но и тут тоже трудно было восстановить выпавшие звенья.

Он не мог добраться до исходной точки ни того, ни другого рассказа. Мозг его был слишком разгорячен, чтобы проделать весь этот обратный путь шаг за шагом. Но что было совершенно ясно, так это то, что он рассказал две в высшей степени невероятные истории.

Меланхолия, душевное беспокойство, которые так часто являются результатом обильного потребления напитков, обволакивали его, словно тяжелыми облаками.

Он ясно чувствовал, что недуг самокритики, которым он заразился от того зловредного молодого человека в

очках, снова ожил в его крови. Яд оставался все время в его организме. Он чувствовал себя в разладе с самим собой, чего не случалось с ним ни разу за все эти десять лет, с тех пор как он уехал из Англии. «Не кажется ли вам,— он ясно слышал даже его интонацию,— что эта история с замком, не говоря уже о том, что ничего подобного не было, вышла у вас какой-то уж чересчур гладкой и недвусмысленной? А уж если говорить о правдоподобности, не слишком ли вы сгустили краски, присвоив себе неограниченные полномочия и ответственность в данной ситуации от начала до конца? Леди переглядывались. Вы заметили? Ну, право же, они переглядывались. Под конец в их поведении стало ощущаться что-то явно скептическое. Вы этого не почувствовали? Но, уверяю вас».

Неужели он лгун? Неужели он стал откровенно бесстыдным, бессмысленным лгуном? Таким лгуном, которому даже не верят? Зарвавшимся сочинителем? Он допрашивал себя с непривычной и несдерживаемой жестокостью.

Живые изгороди по краям дороги стояли, как присяжные, готовые вынести приговор. Они настороженно тянулись к нему длинной черной крапивой, словно внимательно прислушиваясь, словно уличая его. Длинные колючие ветви ежевики зловеще наклонялись к нему, чтобы лучше слышать. А эти великолепные звезды вдруг превратились в свидетелей, готовых разоблачить его неопровержимыми фактами.

Но в чем же его обвиняли? В чем, собственно, состояло обвинение? Ведь речь идет уже не о простом вранье. Не об этих же, в самом деле, несколько преувеличенных измышлениях. Нет, это опять та же старая тяжба все о том же, что он сделал со своей жизнью.

В передней его коттеджа был свет, но он чувствовал, что не может войти в дом в таком состоянии духа. Слишком это серьезный спор, чтобы вести его дома. Он должен разрешить его под открытым небом. Действительно ли он превратился в отъявленного, закоренелого лгуна? И даже самое имя его — ложь? Можно поставить вопрос именно так. Потом будут оправдания, но сейчас следует поставить вопрос именно так. Сочинитель? Более приличное слово, но смысл тот же. Он должен вы-

яснить все это. Он повернул прочь от своей двери и пошел по обсаженной деревьями дорожке, мимо тисов, к изгороди. Он дошел до самого конца тропинки и некоторое время стоял совершенно неподвижно.

Звезды сияли, все такие же великолепные, и в воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Согнувшаяся, искривленная яблоня протягивала свои узловатые ветви в пронизанную звездным светом глубокую синь, а широкое поле с поднимающимися всходами простиралось мягкой мглистой полосой к северному краю неба. Большая Медведица перешла меридиан и катилась вниз, догоняя стройную Кассиопею, уже взбиравшуюся вверх по бесконечной кривой.

Вселенная словно превратилась в чье-то настороженное, молчаливое присутствие. В единый внятный вопрос. Когда-то очень давно у него уже было однажды это ощущение присутствия. Но тогда он чувствовал себя в единении с ним — оно как бы принимало его в себя, пронизывало его своей мощью. Теперь он был вне его, на очной ставке. Правда, оно и сейчас пронизывало его, подвергало допросу, но оно не растворяло его в себе. Он почувствовал, что должен защищаться.

— Ты...— начал он.

Голос его звучал хрипло, и он вынужден был откашляться.

— Ты и твои звезды! — сказал он.

Казалось, он овладел вниманием своего слушателя. Тишина была полная.

— Что же из того, что я лжец? — Он наконец справился со своим голосом.— Ну и что же?

— Ты, там! Слушай! Какое мне до всего этого дело? До этих звезд? Я тебя спрашиваю, какое мне до этого дело?

— Что ты от меня хочешь?

— Ложь... Я тебя спрашиваю: что такое ложь? Что такое истина? Разве я уж такое исключение, что ты считаешь себя вправе допрашивать меня?

Голос его звучал все выше и тоньше оттого, что он с т а р а л с я придать ему как можно больше внушительности.

— Почему именно меня уличать во лжи? Лезть ко мне с каким-то допросом?

— Подстерегать меня зачем-то? Меня?

— Истина. Да что такое истина? Я рассказывал,— ах, ну будем говорить прямо,— я рассказывал небылицы этим милым леди. (А в каком они были восторге!) Ну и что же, если я это делал?

— Я тебя спрашиваю, что тут такого, если я это делал?

— А разве существует что-нибудь, кроме лжи? Вся эта наука! Сплошное притворство говорить, будто есть что-нибудь истинное и достоверное. Ханжество и притворство, будто что-то идет к лучшему. А нельзя ли уточнить? Уточнить! Прости, если мне это кажется смешным.

Некоторое время он стоял молча, не находя слов для беспорядочно теснившихся мыслей. Ему хотелось доказать, что в мире нет ничего, что можно было бы считать более достоверным, чем все другое. Он чувствовал, что для него чрезвычайно важно установить это. В его отягченном и одурманенном мозгу копошились какие-то спутавшиеся в клубок обрывки всяких научных и философских споров последнего десятилетия. Ему хотелось сослаться на астрономов с их бесконечными расхождениями, привести цитаты, доказать, что время и пространство смешались и что поэтому не существует больше зависимости между причиной и следствием. Вселенная — это не что иное, как движущаяся, меняющаяся иллюзорность, прошлое, настоящее и будущее, все вместе. Это было бы действительно блестящим и убедительным выступлением, но беда была в том, что ему подвертывались только отдельные слова, а фразы никак не хотели складываться. Он выкрикивал:

— Эддингтон! Джинс! Уайтбрэд (вместо Уайтхэд)! Протоны! Неоны! И эти новые, как их там — нейтроны,— ни то, ни другое! Боже, как мне все это надоело! Как надоело!

Это надо было понимать как полное отрицание и даже более — окончательное ниспровержение всякой установленной внешней реальности. Если детали и были несколько схематичны, то, во всяком случае, намерение его оставалось твердым.

— А теперь перейдем к истории и доказательствам,— сказал он.— Перейдем-ка к этому!

Звук его собственного голоса действовал на него весьма успокаивающе. Звезды ничего не отвечали. Они, казалось, уходили все дальше.

— Вот тут-то я тебя сейчас и прижму.

И опять слова никак не складывались в связные фразы. Но он чувствовал силу своих доводов, даже если и не мог их произнести. Что такое религия? Мифология. Что такое история? Только несколько более правдоподобный подбор мифов. Даже современная история, а ну-ка разберемся! Он перебрал в уме целую серию полупрезрительных, полусочувственных восклицаний, чтобы изобличить эти басни о Великой войне, которые все страны мира рассказывают ныне себе, и своим детям, и всем, кто готов им верить. Все они оказываются теперь правы; все они вышли из войны с честью; все они полностью оправдались. Он, собственно, не пытался формулировать эти мысли; они проносились в его мозгу вихрем полуосознанных представлений. Но течение их было ясно для него. Тащи-ка историков на суд, если тут предъявляется обвинение в сочинительстве. Послушаем-ка, что скажут религия и история, какие они приведут оправдания. «История — чушь,— сказал старый Форд.— Выдумки».

Наконец он разразился речью.

— Ложь,— сказал он.— Но ложь творческая. Заметь это! Ложь, созидающая, ложь, которая поддерживает жизнь. Ложь, которая делает людей героями. Ложь, подобная шепоту ангелов над ухом отчаявшегося. Великая ложь, говорю я тебе. Великая!

Его красноречие иссякло.

— Если взглянуть правде в лицо,— сказал он, понизив голос, и запнулся.— Что сделали из человека эти проклятые искатели истины?

Снова мысли его хлынули стремительным потоком, слишком обильные и бесформенные для слов. Кто осмелится теперь поглядеть на то, что сделала с человеком наука? Адам, который запросто гулял с богом в саду, превратился в замученную обезьяну. В тщетной борьбе со своими страстями он превратился в жалкое животное. А страх! От которого только одно убежище — воображение! Единственный дар, отпущенный этой жалкой обезьяне, в ее отвратительной борьбе с фактом.

Она может лгать. Человек — единственное животное, которое может развести огонь и отогнать хищников в ночи. Он единственное животное, которое может создать ложь и отпугнуть зверя отчаяния.

Кто из живущих осмелится честно взглянуть на самого себя? Кто из всех самых святых и великих людей и героев прошлого выдержит это испытание, действие этих разъедающих современных истин? Кто посмеет честно проследить бесплодный бег истории за последние двадцать пять лет? Смотреть на слюнявое слабоумие современной человеческой жизни?

— И даже твой проклятый Тедди! — закричал он, снова разражаясь речью.— Разве он осмелится взглянуть на самого себя? Честно и прямо поглядеть на себя самого?

Он подбоченился.

— Боже мой! Подумать только, что со мной сталось бы, если б я не боролся с тобой!

Он замолчал. Тишина перешла в выжидающее спокойствие.

— Ты мучил меня. Обманутые надежды. Да. Стыд Да. О, я не дурак. Но ты так извел меня за эти последние недели, что вот теперь я приперт к стене. Я ложь. Я признаю это.

— Я лжец в мире лжи. Ложь? Грезы! Мир грез. Скрытый мир. Мир, который мы создали, чтобы укрыться в нем от тебя. Маленькие лжи внутри одной большой лжи. Мир самообмана. Но большинство из нас никогда и не узнает, что это самообман. А я это знаю. И потому, что я знаю это, я строю свою жизнь так, как мне вздумается, и прошлое, и настоящее, как мне вздумается. Что было неправдой, теперь стало правдой. Понятно? Я заставляю это быть правдой. Я схитрил, записался в армию, когда меня забраковали врачи. Да, я это сделал, говорю тебе. Я руководил боем под Амьеном. Я ваш покорнейший слуга. Я взял в плен кайзера. Беседовал с ним несколько часов. И так далее и тому подобное. Если я хочу, значит, так должно быть. Отныне и до века. Ложь за ложь. Кто верит в мою ложь, тот мне друг. Это честная мена, и многим она по душе. У меня будет множество друзей. А что такое дружба, как не обоюдная ложь? Взаимоутверждение. Лю-

бишь меня, люби мою ложь. А кто будет возражать? Ты?

На короткое мгновение слабый оттенок мольбы послышался в его голосе.

— Да что ты такое?

Умоляющая нотка исчезла.

— Да,— повторил он твердым голосом.— Что ты такое? Вот я и припер тебя. Все это будет длиться, пока я живу. Мой недолгий век. Ты слишком замкнут. Ты слишком неподвижен... чтобы помешать мне. Ты не можешь отступить от своей системы причины и следствия, что бы там ни говорили Уайтбрэд, и Эддингтон, и все прочие. Во всяком случае, ты не можешь отступить далеко, а я могу. И я это делаю. Ну и оставайся со своей старой вселенной. Оставайся со своими звездами, со всеми своими проклятыми звездами. Они для меня не больше, чем мушиные точки на обоях в моей комнате. Я обойдусь без тебя. Довольно, мне до тебя больше нет дела. Я то, что я есть.

Он помолчал, подумал. Затем поправился:

— Такой, как есть.

Но опять это было не совсем правильно, не вполне выражало его мысль, а он хотел выразить свою мысль совершенно точно. И потом как-никак это же цитата.

— Нет, не то, что я есть, это, может быть, про тебя можно так сказать. Нет, то, чем мне угодно быть. Понятно?

Он прошептал еще раз:

— Чем мне угодно быть.

Вот это лучше. Это правильно. Этим он утверждает ясно могущество своей воли.

Он снова порывался заговорить. Он хотел доказать, что его воля восторжествовала над действительностью, что теперь он наконец властелин своей Души, Господин своей Судьбы, но вдруг сразу очнулся и понял, что обращается к пустоте, к полной пустоте.

Ощущение присутствия незаметно исчезло. Исчезло незаметно и это видение Великого Экспериментатора, поднимающего на свет свою пробирку, исчезло, не оставив ни следа даже в воображении. Не осталось ничего, что бы могло внимать ему и общаться с ним. Он стоял один, победившая фантазия, душа, торжествующая по-

беду в мире бездушных фактов. Он стоял под искривленным деревом, под скрюченным старым деревом, которое беспорядочно раскинуло узловатые ветви над темно-серым полем пробивающихся всходов, под темно-синим куполом с бесчисленными, непостижимыми, ненужными звездами. Далекие звезды. Мушиные точки — звезды. Занятые своим делом. Каково бы оно ни было, это дело.

А он был здорово пьян, разговаривал и кричал.

Он подтянулся и несколько мгновений стоял неподвижно, молча.

Потом кивнул головой. Да будет так. Он сказал все, что хотел сказать.

С бесконечным достоинством капитан Блэп-Бэлпингтон повернулся, левое плечо вперед — раз-два-три, твердой солдатской поступью зашагал в темноте под тисами назад к своему дому. Всякий, кто услышал бы его шаги, даже не видя его, сразу узнал бы, что это солдат.

8

ДЕЛЬФИЙСКУЮ СИВИЛЛУ ПОСТИГАЕТ ЖЕСТОКИЙ КОНЕЦ

Никогда еще его душевное спокойствие не достигало такой глубокой, совершенной полноты.

Он чувствовал жажду после этой схватки и прошел в столовую, чтобы выпить виски с содой, и тут в последний раз очутился лицом к лицу с Дельфийской Сивиллой, которая когда-то играла такую важную роль в его воображаемой жизни. Он посмотрел на ее окутанную покрывалом сестру. И наконец повернулся и уставился на распростертую фигуру Адама, который от прикосновения создателя восстает из небытия навстречу своей неведомой судьбе. На лице капитана появилось выражение, какое бывает у человека, который видит неприятного посетителя, вторгшегося в его дом.

— Терпеть не могу этого Ренессанса,— сказал он.

Он огляделся по сторонам и заметил в углу комнаты маленькую шифоньерку. По-видимому, как раз то, что ему было нужно. Он открыл верхний ящик. Так и есть. Там лежало несколько альбомов со старыми фотографиями, трофеи, привезенные Белиндой из путешествий,

но они только наполовину заполняли ящик. Там могло хватить места для всех этих трех картин. Он подумал, затем подошел к Адаму, посмотрел на него, снял осторожно и положил в ящик. За ним последовала Кумская Сивилла. Затем со спокойной непринужденностью он подошел к предмету своей юношеской любви. Он приподнял раму и отцепил проволоку с крючков. И вдруг почувствовал, что он должен остановиться и посмотреть на нее. Это была долгая пауза.

— Усмехаешься,— вымолвил он наконец и снял картину.

Но правда ли, что она усмехалась? Он понес ее к свету на середину комнаты.

Это была не совсем усмешка, скорее кроткая недоуменность, легкое изумление. Но для него это было оправдание.

— Вечно,— сказал он,— вечно ты суешься с этим своим сомнением во все, что бы я ни говорил и ни делал.

Он понес ее к ящику, но все еще как-то нерешительно. Смутное, сохранившееся с давних пор уважение, почти неуловимое воспоминание о той минуте, когда на этих полураскрытых губах он почувствовал вкус соленых слез, слез жалости к нему, проступали в этой нерешительности.

— Иди-ка туда,— сказал он.

Но это было словно спокойное упорство Маргарет — она не хотела туда идти. Ящик был уже полон. Он придавил картину рукой, но ящик все-таки не закрывался. Тогда его охватила злоба.

— Проклятая! — закричал он.— Вот проклятая! Даже этого ты сделать не хочешь?

Он с силой толкнул ящик, стекло треснуло, и тут он уже пришел в ярость. Он выдернул картину и швырнул ее на пол; рама разлетелась, а она покорно и неподвижно легла у его ног. Он наступил на нее каблуком.

— Я тебя научу делать по-моему!

Он поднял измятую и истоптанную картину и сломанную раму и сунул все в ящик. Потом подобрал крупные осколки стекла, и они так же покорно легли туда же. Ящик послушно задвинулся.

— А!— вырвалось у него, словно он наконец закончил какой-то спор.

Он вернулся к столу, часто и тяжело дыша; казалось, прерывистые вздохи вот-вот перейдут в рыдания.

Он постоял немного, глядя на закрытую шифоньерку. Потом налил себе крепкого виски и добавил содовой воды, расплескав пенящуюся жидкость на полированном столике.

Это немножко успокоило его. Он выпил еще.

— Так-то вот,— сказал он наконец.

Покончено со всем этим. Покончено со слабостью и сентиментальностью. Он утвердил свой собственный мир. Вот он — военный человек, суровый, дисциплинированный, ограниченный, если хотите,— если вам угодно считать честь, мужество, исполнение долга, подчинение правилам ограниченностью,— но таков он. Мужественный до конца, господин своей судьбы, а превыше всего — господин своего прошлого.

(Второй стакан виски.)

Эти Наследники! Какой бред! Какой бессмысленный вздор! Мир всегда был и останется таким, какой он есть. Пусть себе трясутся над своим новым миром. Храбрые и сильные люди (еще виски) будут держаться прежних ценностей. Мир, скажите! Единение, выдумали! Почитайте-ка газеты! Неуверенность. Конвульсии. Катастрофа. Но против всего этого — романтика. Нескончаемая романтика. Такова жизнь была, такою она и будет. До конца. Храбрость. Призыв к мужественности.

— Adsum [1],— сказал он громко,— Adsum.

Великая старая человеческая история!

Он поднял третий стакан виски.

— За нашу следующую войну, mon général! [2].— Торжественно выпил.

Потом на минутку задумался, уставившись на осколок стекла на красной плитке около шифоньерки.

Так он стоял несколько секунд, нахмурившись. Это были последние следы его давнишней сердечной боли. Лицо, которое он уже не мог различить ясно, смотрело на него из темноты. Старое-старое видение утраченной красоты, потерянной чести вернулось снова. Но теперь оно было едва-едва уловимо. Он поднялся, чтобы изгнать его окончательно.

---

[1] Я есмь здесь (*лат.*).

[2] Мой генерал (*франц.*).

— Ба! Не думать об этом!

Еще виски? Нет. Нет! Сильные люди знают, должны знать меру. Но в графине осталось совсем чуть-чуть. Ну, ну, нечего оставлять на донышке. Мудрое правило. Последний.

— Скальд! — произнес он, уподобившись варягу. (Славные ребята были эти варяги! Молодцы по части бутылки!)

Великая вещь для поддержания духа — виски! Замечательно! Он долгое время сидел, наслаждаясь чувством полного удовлетворения, ощущением, которое дарило ему виски. Оно проникало его всего; оно восстанавливало в нем душевную цельность. Оно ограждало его ото всех этих безграничных враждебных внешних миров, которые порождают горечь в душе, дикое безумие желания, неистовство и отчаяние страха, предчувствий, парение мысли, мучительное алкание и утрату красоты... Все это оно изгоняло. И не допускало к нему.

Старые часы на площадке пробили час.

Спать.

Дедовские часы на площадке тикали твердо и громко. Они казались теперь капитану истинным воплощением решительности и долга, они шли, шли, не останавливаясь, день и ночь, неделя за неделей; раз в неделю им делали смотр, заводили, и снова они шли месяц за месяцем, год за годом. Они были поистине символом нерассуждающей дисциплины и долга. Вот они стоят не шелохнувшись, вытянувшись, стоят на посту, отдавая честь, действительно отдавая честь, насколько это возможно для часов, салютуя стрелкой, когда он поравнялся с ними.

Мы, солдаты, понимаем друг друга.

Он ответил на салют, как подобает солдату и джентльмену, подняв, не сгибая, два пальца, как будто и сам он был лишь слегка очеловеченным механизмом, и, покачнувшись, стал подниматься наверх.

Прекрасный вечер. Замечательный вечер, утонченные, образованные женщины — леди.

Все его жизненные ценности, дружно воспрянув, пели согласным хором.

1933

Облик грядущего

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Это прежде всего зрелищный фильм. Он показывает, как современная война разрушает мир, как разрывается ткань общества, как мир опустошает новая моровая язва, «бродячая болезнь», главный ужас которой заключается в том, что заболевший ею, подобно овце, пораженной вертячкой, беспрерывно движется, пока смерть не заставит его остановиться. Эта новая чума завершает собою процесс социальной дезорганизации, начатый войнами. Болезнь, однако, не до конца истребила человечество; многие спаслись благодаря естественному иммунитету, и среди них есть немало таких, которые помнят порядок и науку дней своей молодости. Современная цивилизация погибла удивительно быстро — на протяжении всего лишь нескольких десятилетий; еще не забыта пора расцвета — многообещающее начало двадцатого века; и вот после промежутка, в течение которого большинство областей земного шара находилось под варварской властью главарей воинственных разбойничьих шаек, люди науки и техники, в частности авиаторы и инженеры транспорта, объединяются, воскрешают старые механизмы и строят новую цивилизацию на разумных началах. На этот раз они создают Мир во всем мире, ибо политические границы и стеснения нынешней нашей эпохи сметены сорока годами сумятицы. Это научный общественный строй; ибо какой же иной выход из вечного конфликта может обещать грядущее?

Книга, по которой построен этот сценарий,—«Облик грядущего» [1], по сути своей является дискуссией на тему о социально-политических силах и возможностях, а в фильме споры неуместны. Поэтому выводы этой книги в фильме подразумеваются, и для показа их измышлена новая фабула — вначале повесть жизни некоего ави-

[1] Речь идет о книге Уэллса «Облик грядущего», написанной за два года до сценария, в 1933 году.

атора Джона Кэбэла, который остался невредим, пройдя через горнило войны и эпидемии, и сделался седовласым вождем и вдохновителем летчиков, а затем, во второй части, повествование о его внуке Освальде Кэбэле, главе Мирового Совета. Освальд — живое воплощение духа человеческой предприимчивости, вступающего в новый конфликт с консерваторами и ретроградами, еще довольно сильно представленными в человеческом обществе.

Фильм начинается короткими, быстро сменяющими одна другую картинами войны, разрушений и все более беспросветной нищеты, развертываясь затем в грандиозное зрелище реконструированного мира. Сделав огромное моральное и интеллектуальное усилие, человечество разрешило основные экономические и социальные проблемы, удручающие нас в настоящее время, и живет либо в здоровых и прекрасных местностях, либо в больших полуподземных городах, расположенных среди гор и залитых искусственным светом; в них чисто и красиво, воздух отлично кондиционирован. Избыток энергии люди направляют на конструктивное и творческое искусство и науку. Суть науки — в неустанном исследовании, и некоторым из молодых и смелых умов захотелось непременно достичь луны. Вокруг этого завязывается конфликт заключительной части. Дочь Кэбэла и ее возлюбленный, Морис Пасуорти, пожелали первыми покинуть землю и отправиться на луну; их кандидатуры приняты, так как физическое состояние их идеально, и Кэбэл разрывается между чувствами отцовской привязанности и героического увлечения. У эстетски настроенной части общества экспедиция вызывает ожесточенный протест; эти эстеты возмущены суровостью режима, введенного учеными, и тем, что молодым и красивым людям грозят бессмысленные (по их мнению) опасности, лишения и смерть. Главарем этого бунта становится красноречивый поэт и художник Теотокопулос. Он требует возврата к тому, что он называет «простой и естественной жизнью». И фильм показывает столкновение между консервативными инстинктами человека и его мужеством и предприимчивостью — столкновение, поводом к которому служит гигантское Межпланетное орудие — и кончается вопросительным знаком среди звезд.

К ЧИТАТЕЛЮ

Этот сценарий первый, который автор писал специально для экрана, и он дался ему с гораздо бо́льшим трудом, чем какой бы то ни было из последующих. На нем он выучился этому ремеслу. Его первый опыт в жанре киносценария, немой фильм «Король по праву», был не более чем любительским опытом, и он так и не попал на экран. Читателю здесь предлагается последний из нескольких вариантов. Первый из них был подвергнут обсуждению, над ним немного поработали и отклонили его. Это была ученическая попытка, и автор считает себя в большом долгу перед Александром Корда, Лайошем Биро и Камероном Мензисом, которые во время этой работы предоставили в его распоряжение весь свой опыт. Общая концепция сценария их очень заинтересовала, но они нашли его совершенно непригодным для постановки. Тогда был написан второй вариант. Произведя в нем некоторые изменения, его превратили в сценарий обычного типа. Этот сценарий также был отвергнут ради еще одного варианта, который опять-таки был пересмотрен и вылился в форму, ныне предлагаемую читателю. Корда и автор договорились о новой для кино системе работы — о полном отказе от детально разработанного режиссерского сценария и о постановке фильма прямо на основе описательного варианта, приведенного здесь. На практике это оказалось вполне осуществимым — при наличии компетентного режиссера. Однако к этому времени автор, уже почти прошедший трудный путь ученичества, устал и как-то охладел к измененному, пересмотренному и перестроенному тексту; и хотя он добросовестно старался писать сносной кинопрозой, у него осталось неприятное ощущение, что многие странные и неуклюжие выражения, вкравшиеся в сценарий, настолько примелькались ему, что он их не заметил и потому не мог устранить.

МУЗЫКА

Музыка входит в этот фильм как его неотъемлемая часть, и композитора Артура Блисса следует считать его соавтором. В этом, как и во многих других отношениях, настоящий фильм — по замыслу по крайней мере — является смелым эксперименто. . Звуковые и зрительные образы нужно было тесно переплести между собой. Музыка Блисса не должна рассматриваться как некое необязательное приложение. Она необходимая составная часть замысла. Музыка вступления быстрая и беспокойная, все больше нарастает угроза. Потом грохот и сумятица современной войны. Во второй части скорбные мелодии и жуткие паузы периода эпидемии. В третьей— в военную музыку и патриотические гимны врывается стук моторов — возвращение летчиков. Этот стук переходит в машинное крещендо периода реконструкции. Музыка убыстряется, становится все благозвучнее и нежнее по мере того, как с повышением производительности исчезает напряженная трескотня, отличавшая зарю машинной цивилизации начала девятнадцатого века. В музыке нового мира звучит широта и веселье. Ей противопоставлен мотив реакционного мятежа, оканчивающегося бурной победой новых идей в тот момент, когда Межпланетное орудие стреляет и лунный цилиндр отправляется в свое знаменательное странствие. В заключительных фразах слышно предчувствие торжества человека — героический финал среди звезд.

Нельзя утверждать, что в фильме удалось так тесно переплести зрительный образ с музыкой, как мы с Блиссом надеялись. Внедрение оригинальной музыки в фильм во многих отношениях еще остается нерешенной проблемой. Но превосходная музыка Блисса исполнялась и самостоятельно и записана на граммофонные пластинки, доступные всем желающим.

МЕМОРАНДУМ,

розданный во время работы над фильмом всем имеющим отношение к моделированию и выполнению костюмов, декораций и пр. для заключительной фазы «Облика грядущего» (2055-й год нашей эры).

В нашей работе мы должны руководствоваться некоторыми принципами, пока еще, к сожалению, до конца не усвоенными. Поэтому я не стану извиняться, повторяя здесь эти принципиальные установки возможно отчетливее.

Во-первых, в финальных сценах мы показываем более высокую фазу цивилизации по сравнению с нынешней — она богаче, более упорядочена, производительность выше. В этом лучше организованном мире не будет заметно спешки, будет меньше скученности, больше досуга, больше достоинства. Суета, давка и напряжение современной жизни, обусловленные бесконтрольной властью машин, не должны возводиться в n-ую степень, напротив, о них надо забыть. Вообще говоря, вещи, здания будут огромны, это так, но они не будут чудовищны. Люди не будут рабами, не будут все на одно лицо, они станут свободными и разнообразными. Галиматью, вроде той, что мы находим в таком фильме, как «Метрополис» Фрица Ланге с его «роботами» — механическими рабочими, сверхнебоскребами и пр. и пр.— нужно раз и навсегда выбросить из головы перед тем, как приступить к работе над данным фильмом. Как общее правило вы должны усвоить себе, что то, что сделал Ланге в «Метрополисе», прямо противоположно тому, чего добиваемся мы. Воины фаланги, или зулусских отрядов, или пехоты восемнадцатого века, рабы на галерах, рабочие первых фабрик, крестьяне — вообще «простолюдины» прошлого были бесконечно однообразнее и «механичнее» каких бы то ни было людей будущего. Ма-

шины раскрепостили людей, и те перестали быть похожими на машины. *Это надо твердо помнить.* Рабочие, которых вы должны показать,— это индивидуализированные рабочие, дружно и с чувством ответственности исполняющие общее дело.

Таковы же будут и рабочие костюмы. Специальность не будет бросаться в глаза. Вы не увидите суетливых людей в чудовищных нарядах, не увидите огромных очков, ватных комбинезонов и других атрибутов первых летчиков. Люди не будут сплошь обложены всякими вещами, словно они только что ограбили известный лондонский универсальный магазин Гэмеджа. Люди грядущего будут, конечно, носить с собой эквиваленты кошелька, бумажника, вечного пера, часов и т. д. и т. п., но эти вещи будут незаметны, они подчинятся стройному декоративному плану. При обсуждении музыки для этого фильма мы решили, что в первой фазе Реконструктивной части она должна передавать людские усилия и стук машин, но затем, с увеличением плавности хода машин, эти звуки растворятся в гармонии и плавном, почти беззвучном движении; собственно, и костюмы не должны быть шумными, кричащими. Люди будущего не будут оснащены наподобие телефонных столбов или выглядеть так, словно только что выскочили из электромеханической мастерской. Они не будут носить костюмов из целлофана, освещенных неоновыми лампочками, или еще чего-нибудь в этом роде. Не забывайте, что самые экстравагантные костюмы, известные человечеству,— это костюмы, в которые наряжаются дикари для церемониальных плясок.

Как я не раз говорил, человек будет носить при себе разнообразные легкие аппараты, вроде портативного радио, электрического фонарика, бумажника; современный костюм, уже сейчас широкий в плечах, поскольку надо уместить в нем бумажники и вечные перья, станет еще шире в плечах и сузится в талии и ниже, напоминая больше всего из всех стилей прошлого «тюдоровский» (ренессанс). Нам нужны тонкие материалы, но ничего экстраординарного. Для такого человека, как Кэбэл, мне нужен белый или серебристый костюм из совершенно гладкого материала. Я хочу видеть его изящным джентльменом, а не подбитым ватой сумасшедшим или зако-

ванным в броню гладиатором. На груди он носит радиотелефонную установку, не более заметную, чем нагрудный карман современного пиджака, а на запястье — изящный нарукавник, заключающий в себе разные мелкие аппараты,— эквивалент современного вечного пера и, так сказать, визитной карточки — опознавательный знак. Его у меня носят все. На шелковистом костюме Кэбэла можно показать красивую вышивку или рисунок.

Освобожденная энергия будущего, наверное, найдет себе выход в детальных украшениях. Костюм Пасуорти должен быть чрезвычайно декоративным. Морден Митани любит эффектный черный цвет. Теотокопулос впадает в вычурность — широкий плащ, пышный костюм. Одеяния будут выдержаны в одном стиле, но в пределах этого стиля весьма разнообразны. Некоторые женщины, особенно молодые и хорошо сложенные, будут одеваться, как юноши, но по неоспоримым эстетическим соображениям иные из них будут носить довольно длинные юбки. В чистом городе без улиц нет гигиенических препятствий к тому, чтобы носить даже очень длинные юбки. А широкие плечи, которые будут довлеть над мужским и (по контрасту или из подражания) над женским костюмом, так и просят плаща — самого живописного из одеяний.

Вот руководящие правила. Они указывают ограничения и объясняют стиль, но в пределах этих ограничений и стиля я сказал бы нашим декораторам: «Ради бога, высказывайтесь смелее». Но помните, платья должны быть изящны; никаких кошмаров, никакого джаза. Люди не ходят в стеклянных кружках, в алюминиевых котлах, в броне или в целлофане. Они не будут одеваться как сверхсандвичмены [1]. Не будут они также обременять себя большими париками и корсетами. Не будут они и «нюдистами» — им не нужно ни адамовой, ни ангельской наготы. Быть изобретательным и оригинальным — вовсе не значит быть экстравагантным и глупым. Сделайте милость, дайте новому миру изящное и достойное платье!

---

[1] «Живая реклама»— люди, носящие по улицам плакаты и афиши, скрывающие их, как футляр,

ЧАСТЬ I

ПЕРЕД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ

Это краткий показ современного человечества. Открывается он толпами куда-то идущих и спешащих людей. Кадр пересекает бледнеющая затем надпись: «Куда идет человечество?» Быстрая смена кадров создает впечатление многолюдности, спешки, путаницы и бессилия нашего мира. Толпы и города появляются и переходят в аналогичные сцены в других местах; на мгновение мелькают людные города — Париж, Токио, Милан, Вальпарайзо, Тимбукту.

Подробнее одна из следующих сцен.

Либо: толпы, идущие по Бруклинскому мосту, огромное движение и суета на реке под мостом.

Тауэрский мост, разведенный для пропуска парохода, река кишит судами, на пристанях энергично работают подъемные краны.

Столь же кипучий Бременский порт.

Либо: движение и толпы у Эйфелевой башни.

Достаточно одной из этих сцен. Она должна соответствовать сцене, выбранной для конца VII части.

После таких картин городской жизни экран напоминает нам о контрастных видах деятельности, как-то: мелкие запашки, затем сцены уборки хлеба современными машинами; крестьянская телега плетется по дороге, а затем битком набитые поезда и платформы. Качается крестьянская колыбель, затем наплывом картина методической работы современной клиники охраны младен-

чества. Колесник-кустарь за работой и большой автомобильный завод.

Монетный двор, печатают бумажные деньги.

Крупным планом показаны машины, выбрасывающие готовые деньги, и банковские служащие, все быстрей и быстрей передающие кому-то пачки их.

Потом паника на Уолл-стрит или на Парижской бирже.

Все это должно быть очень коротко. Надо молниеносно показать зрителю знакомые, типичные сцены и виды деятельности и тем самым напомнить ему о главных аспектах современного мира. Я думаю, что лучше всего будет, если умелый редактор составит эту часть фильма из уже существующего материала. Чем материал знакомее, чем он живее, тем лучше.

По мере того как кадры все быстрее следуют один за другим, слова «КУДА ИДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?» еще раз на момент пересекают экран, а затем бледнеют, и мы переходим ко второй части, в которой начинается локализованная и личная повесть.

ЧАСТЬ II

ТЕНЬ ВОЙНЫ НАД ЭВРИТАУНОМ

Эвритаун — это любой большой город нашего времени. На заднем плане его характерная линия холмов, повторяющаяся на протяжении всего фильма с целью напомнить нам о том, что мы прослеживаем судьбу одной типической группы населения, и в нем есть «центр» — большая Базарная площадь, с большими отелями, общественными зданиями, кинематографами, киосками, памятниками, трамваями и пр.

Сначала дается общий вид Эвритауна с гребня возвышающихся над ним холмов. На переднем плане мы видим рабочих, спускающихся с горы в город, а под горой видим весь Эвритаун, его предместья и Базарную площадь; ясный вечер, сочельник.

Потом мы попадаем на Базарную площадь. Кой-какими чертами она напоминает Трафальгар-сквер, или Базарную площадь большого города, или французскую

Grand Place. Большое стечение трамваев и автобусов. Рождественская торговля в полном разгаре. На одном из главных зданий загораются электрические буквы — редакция газеты сообщает последние новости: «Европа вооружается...»

Аппарат перескакивает с движения на площади к световому анонсу: *«Тревожная речь министра воздушных сил —»*.

Огромная витрина, полная рождественских игрушек. Дети и матери смотрят и любуются.

Останавливается автобус, выходят люди. На автобусе видны обычные газетные плакаты с яркими заголовками об опасном международном положении: *«Спор о проливах. Положение напряженное»*.

Вход в станцию метрополитена. Обычное движение. У входа стоит газетчик. На его плакате мы читаем: *«Еще 10 000 аэропланов»*. Но он выкрикивает: *«Победителями вышли...»*

В автобусе девушка разворачивает газету и просматривает первую страницу, пестрящую заголовками статей о военной опасности. Она не задерживается на этой скучной материи; переворачивает страницу и со страстным интересом углубляется в статью о модах.

Во время всех этих сцен люди с пакетами движутся взад и вперед. Это мирная и довольно веселая рождественская толпа покупателей. Никто, по-видимому, не задумывается всерьез об опасности войны. Слишком часто раздавались крики: «Волк!» Только аппарат обращает внимание зрителей на нависшую над миром угрозу.

Здесь начинается самая повесть.

Мы видим научную лабораторию, в которой усердно работает молодой Хардинг, двадцатидвухлетний студент. Это маленькая, недурно оборудованная лаборатория муниципальной школы, выходящая на Центральную площадь. Не химическая, а биологическая лаборатория. Видны два микроскопа и масса стеклянной посуды, краны и т. п., но не очень много колб и ни одной реторты. (Впоследствии эта лаборатория будет показана в разоренном виде, без стекла и ломких предметов.) В открытое окно доносится рев газетчика: «Военный кризис!»

Хардинг с минуту прислушивается: «К черту эту военную дребедень!» Он закрывает окно, чтобы не слышать шума. Смотрит на часы и начинает убирать препараты и записи.

Вначале мы его видим в опрятном лабораторном комбинезоне. Потом он снимает его.

Тихая дорога за городом, по бокам ее уютные особняки; по ней идет Хардинг. Он проходит в дом через калитку палисадника.

ЧАСТЬ III

СОЧЕЛЬНИК ДЖОНА КЭБЭЛА

Мы видим темноватый кабинет, в котором Джон Кэбэл сидит, задумавшись над газетой. Обстановка комнаты указывает на то, что он имеет отношение к авиации. Над каминной полкой висит лопасть пропеллера, на полке стоит модель. На столе под газетой лежат какие-то чертежи.

Рука Кэбэла с часами на ней лежит на вечерней газете. У него привычка барабанить пальцами, которая показана и в этой сцене и в дальнейшем. Аппарат направлен на эту руку и газету.

Читаем заголовки:

ИВНИНГ НЬЮС

Лондон 24 декабря 1940 года. 1 пенс.

Широкая шапка: «*Спор о проливах. Положение напряженное*».

Заголовки столбцов: «*Тревожная речь министра воздушных сил. Еще 10 000 аэропланов*».

(Эта газета должна, в сущности, повторять лондонский «Ивнинг Стандард». Рядом с заголовком обычные вставки — предсказание погоды и часы зажигания фар. Это вечерний выпуск, содержащий также последние котировки Сити.)

Кэбэл размышляет. Он смотрит на дверь. Входит Хардинг. Он приближается к Кэбэлу. Увидел газету и заголовки.

Кэбэл. Хелло, юный Хардинг! Вы нынче рано.

Хардинг. Я кончил. Начинать что-нибудь новое было уже поздно. О чем это так громко орут газетчики? Что это сегодня за шумиха в газетах, мистер Кэбэл?

Кэбэл. Опять войны и слухи о войнах.

Хардинг. Пугают волком?

Кэбэл. Когда-нибудь волк да появится. Эти олухи на все способны.

Хардинг. И что будет тогда с медицинскими исследованиями?

Кэбэл. Их придется прекратить.

Хардинг. Тогда и мне крышка. Я, собственно, только это и люблю. Это и Марджори Зоум, разумеется.

Кэбэл. Вам крышка? Разумеется. И вашей работе. И вашей свадьбе. Всему крышка. Господи, да если война опять сорвется с цепи...

Кэбэл и Хардинг оборачиваются к двери, в которую входит Пасуорти.

Пасуорти. Хелло, Кэбэл! С рождеством христовым! *(Поет.)* «Покуда пастыри в ночи свои стада блюли...»

Кэбэл кивком указывает на газету. Пасуорти берет ее и бросает с негодованием.

Пасуорти. Да что вы выдумываете? О, эта заварушка на материке не означает войны! Люди, которым угрожает смерть, живут долго. Войны, которыми угрожают, не начинаются. Опять его речь. Пустое, говорю я вам! Просто для того, чтобы подстегнуть публику насчет кредитов на воздушный флот. Не напрашивайтесь на войну. Смотрите на вещи с их светлой стороны. У вас все в порядке. Дела поправляются, прелестная жена, отличный дом.

Кэбэл. В мире все в порядке, а? В мире все в порядке. Пасуорти, вас следовало бы называть Пиппа[1] Пасуорти...

Пасуорти. Вы слишком много курите, Кэбэл. Вы... у вас плохо варит желудок... *(Ходит по комнате и напевает.)* Но-эль. Но-эль!..[2].

---

[1] Пиппа — героиня драмы английского поэта Роберта Браунинга (1812—1889) «Пиппа проходит». Припев ее песенки: «В небе бог — и в мире все в порядке».

[2] «Ноэль» — припев английских рождественских гимнов.

Гостиная в доме Кэбэла. Елка с зажженными свечами, с нее снимают и раздают подарки. Детский праздник в разгаре. Дети заняты, каждый на свой манер. Хорри Пасуорти надевает воинские доспехи. Тимоти прокладывает игрушечную железную дорогу. Он целиком поглощен своим делом, ничего не видит и не слышит, работает с увлечением врожденного строителя. В кадр входят девочка поменьше и совсем маленький мальчик. Они смотрят с восхищением, выпучив глаза. Их привлекает работа и работник. В другом углу комнаты Хорри, уже в полной форме, бьет в барабан.

Хорри. Становись! Становись! — Три мальчика выстраиваются за ним. — Шагом марш! — Они уходят под бой барабана.

Тимоти кончил прокладку дороги. Он бросает на нее последний критический взгляд перед тем, как пустить паровоз. Появляется Хорри со своей свитой. На экране видны только ноги детей. Железная дорога стелется по полу. Нога Хорри отшвыривает часть рельсов.

Тимоти *(нервно)*. Не надо!

Марширующие ноги проходят мимо. У Тимоти одна мысль: как бы спасти свои игрушки. Ему удается это. Он опять прокладывает свою железную дорогу. Маленькому мальчику: — Ты будешь подавать сигналы! — Осчастливленный мальчик садится на пол. Маленькой девочке: — Ты... ты смотри. — Девочка тоже садится и разыгрывает свою роль; она восхищается. Тимоти пускает поезд. Поезд движется. Тимоти с серьезным видом наблюдает. Ребята в восторге. Бьет барабан. Хорри и его приверженцы возвращаются и стоят на месте. Хорри задумывается.

Хорри. Устрой крушение!

Тимоти на секунду поднимает глаза.

— Нет! — Продолжает хлопотать над железной дорогой.

Хорри. Устрой землетрясение!

Тимоти. Нет.

Хорри. Давай устроим войну.

Тимоти. Нет.

Хорри нехотя отходит в сторону.

Игрушечная железная дорога. Поезд идет. Один из его вагонов терпит крушение. Он опрокидывается. В него

запустили деревянной пулькой. Мы видим четыре пушки, из которых стреляют Хорри и его друзья. Они в восторге. Тимоти понимает, что его дорогу сейчас разнесут в щепы. Он пытается загородить ее руками. Отчаянно протестует: — Не надо, перестаньте! — В его руку попадает снаряд. Маленькая девочка протестует вместе с Тимоти.

Хорри направляет орудия. Все больше снарядов попадают в Тимоти. Тимоти вскакивает на ноги и идет в атаку на Хорри. Хорри быстро встает, Тимоти бьет его. Хорри вырывается из рук Тимоти, ногой опрокидывает паровоз и разбрасывает рельсы. Тимоти вцепляется в него, начинается схватка, оканчивающаяся на полу.

В комнате шум. В среднюю дверь входит миссис Кэбэл, бросается к дерущимся. Из кабинета Кэбэла входит Пасуорти в сопровождении Кэбэла и Хардинга. Хорри и Тимоти дерутся. Миссис Кэбэл пытается разнять мальчуганов.

М-сс Кэбэл. Тимоти, Тимоти, в чем дело?

Пасуорти хватает Хорри.

— Ну-с, молодой человек, что вы тут наделали?

Хорри. Я, папа, только немножко повоевал с ним, а он играет нечестно.

Пасуорти. Военные существуют для того, чтобы защищать нас, а не для того, чтобы разрушать!

Хорри. Но, папа, на то и война, чтобы разрушать.

Пасуорти. Ты пойди стань в караул — солдаты существуют для того, чтобы предотвращать войну, а не для того, чтобы вызывать ее!

Хорри нехотя подчиняется. Дети возвращаются к своим занятиям. Тимоти возится с железной дорогой. Хорри довольно хмуро стоит на часах.

Кэбэл, Пасуорти, Хардинг, м-сс Кэбэл и дедушка сидят на возвышении в конце комнаты.

Пасуорти. Они уже забыли свои горести. Чудной народ малыши! Вспыхнут вмиг — и уже все прошло!

Дедушка. Хорошие у них нынче игрушки, хорошие игрушки! Наши были гораздо проще. Ноевы ковчеги и деревянные солдатики. Не такие сложные, как нынче.

Боюсь, не покажутся ли им когда-нибудь эти игрушки чересчур серьезными.

Пасуорти. Вот это мысль!

Дедушка. Да. Именно мысль.

М-сс Кэбэл. Они учат их работать руками.

Дедушка. Что ж, я думаю, у их внуков будут еще более удивительные вещицы. Прогресс... И прогресс хотелось бы мне повидать... те чудеса, которые они увидят.

Кэбэл. Не будьте так уверены насчет прогресса.

Пасуорти. Ах вы, неисправимый пессимист.

Дедушка. Ну, что может остановить прогресс в наши дни?

Кэбэл. Война!

Пасуорти. Ну, во-первых, войны не будет, а во-вторых, война не останавливает прогресса. Она стимулирует прогресс.

Кэбэл (*иронически*). Да, война — замечательный стимулятор! Но стимулирующими снадобьями нельзя злоупотреблять. Вторая доза может оказаться роковой! Чрезмерной.

Пасуорти (*нерешительно*). Но... в конце концов не преувеличиваем ли мы ужасы войны? Не переборщили ли мы с этой песенкой? Последняя война была не так уж плоха, как говорят. Никаких забот. Словно всех захватило что-то великое.

Кэбэл. В следующий раз вас может захватить что-нибудь еще более великое! Вы мелете чушь, Пасуорти. Если мы не прикончим войны, война прикончит нас. Все это говорят, миллионы людей понимают это, и никто ничего не делает. Я ничего не делаю...

Пасуорти. Ну, а что вы можете сделать?

Кэбэл. Да, что мы можем сделать?

Пасуорти. Держаться своего. Держаться и уповать на здравый смысл человечества.

Елка с догоревшими наполовину свечками.

Горничная тушит свечки на елке. Прошло несколько часов.

ЧАСТЬ IV

НАД ЭВРИТАУНОМ РАЗРАЗИЛАСЬ ВОЙНА

Пригородная дорога за домом Джона Кэбэла. Разные часы одни за другими бьют полночь. Дом Кэбэла. Отворяется дверь. Выходят Кэбэл, м-сс Кэбэл, Хардинг и Пасуорти. Слышится рождественский благовест.

Пасуорти. На земле мир, в человецех благоволение. В этом году будет настоящее, старинное рождество. Свежо, снег, уши пощипывает.

Слышится слабый гул. Все на миг умолкают.

М-сс Кэбэл. Что это такое? Похоже на орудийный выстрел.

Пасуорти. Орудий в этих местах нет. С веселым рождеством, Кэбэл, желаю всем нам счастья на предстоящий год! Тот, что кончается, был не так уж плох. Встретим же радостно еще один год восстановления!

Общим планом дорога. Внезапно небо озаряют лучи прожекторов, и силуэтом вырисовывается горный кряж. Группа, стоящая у дверей, наблюдает игру прожекторов и обменивается вопросительными взглядами.

М-сс Кэбэл. Но почему прожекторы?

Пасуорти. Вероятно, маневры противовоздушной обороны.

Кэбэл. Маневры? На рождество! Нет!

Три взрыва, на этот раз более громких, смешиваются со звоном колоколов.

Хардинг. Слушайте. Опять пушки!

Колокольный звон внезапно умолкает. Гром отдаленных пушек теперь слышен явственно.

Группа — в напряженном безмолвии. Слышится громкий взрыв.

После этого шум утихает, словно источник его удаляется от Эвритауна. Никто не говорит ни слова. Из кабинета доносится телефонный звонок. Кэбэл оборачивается и спешит в дом, остальные делают вслед ему несколько шагов и с тревогой прислушиваются.

Голос Кэбэла. Что, нынче ночью, в три часа у Хилтаунского ангара? Хорошо, буду.

Кэбэл возвращается к группе: — Мобилизация!

М-сс Кэбэл. О-о боже!

Пасуорти. Может быть, это только пробная мобилизация.

Кэбэл поворачивается и уходит в дом. Остальные следуют за ним.

Кабинет Кэбэла. Они хотят послушать радио — не передают ли чего-нибудь. Кэбэл включает радиоприемник.

Радиоприемник. «Неизвестные воздушные корабли пролетели над Сибичем и сбросили бомбы в нескольких сотнях ярдов от водопроводной станции. Потом они повернули к морю. К этому времени они были уловлены прожекторами броненосца «Динозавр», и прежде чем они вышли из его сферы обстрела, он открыл по ним огонь из зенитных орудий. К сожалению, безрезультатно».

Пасуорти. Это... это, безусловно, тревожный факт.

Хардинг. Ну да, ведь все говорили: «На этот раз объявления войны не будет».

М-сс Кэбэл. Слушайте!

Радио *(продолжает, потрескивая)*. «Мы еще не знаем национальной принадлежности этих воздушных кораблей, хотя насчет их происхождения едва ли можно сомневаться. Но прежде всего стране необходимо соблюдать спокойствие. Без сомнения, потери, понесенные флотом, серьезны».

Пасуорти *(перебивая радиоприемник)*. Это что? Потери во флоте?

М-сс Кэбэл *(с нетерпением)*. Слушайте! Слушайте!

Радиоприемник. «И настоятельно необходимо, чтобы все как один немедленно стали под ружье. Издан приказ о всеобщей мобилизации, и гражданская оборона должна немедленно привести в готовность средства химической защиты. (Ага, получены инструкции!) Мы сделаем перерыв на пять минут и затем прочтем вам общие инструкции. Созовите знакомых. Позовите всех, кого можете».

Радио умолкает.

Кэбэл *(с горечью)*. Вот ваше стимулирующее средство, Пасуорти! Вот вас и захватило нечто великое! Наступила война.

Они смотрят друг на друга.

Пасуорти, обращаясь к Хардингу:

— Ну, приказы о выступлении, вероятно, ждут нас дома. Теперь ничего не остается, как действовать.

М-сс Кэбэл. Война! Помоги нам всем, боже!

Пасуорти и Хардинг на пути домой. Пасуорти необычайно разговорчив. Хардинг мрачно безмолвствует.

Пасуорти. Бог мой! Раз они напали без объявления войны, так надо мстить. Никакой пощады, одно мщение! Наказать, наказать по заслугам — или цивилизации навсегда конец! Возможно, что тут какая-то ошибка. Я допускаю это. Но если нет — тогда станем грудью. Это не война. Это борьба против опасного гада. Охота на гада без отдыха и милосердия. *(Вдруг остывает.)* Спокойной ночи!

Хардинг так и не произнес ни слова. Он прощается кивком, стоит с минуту, глядя вслед Пасуорти, потом встряхивается и спешит домой.

Центральная площадь Эвритауна. На грузовике въезжает огромное зенитное орудие. На крыше устанавливают прожекторы.

Электрические рекламы гаснут.

Вспомогательная полиция со значками направляет людей в убежища.

Запоздалый пешеход бежит через площадь.

Вспыхивают прожекторы.

Заряжают зенитное орудие при свете тщательно затененного фонаря. Крупным планом лица орудийной прислуги.

Все это делается очень быстро и украдкой. Огни гаснут, видна лишь игра силуэтов, и звуки ослабевают, пока не воцаряется абсолютная тишина.

Кэбэл и его жена в детской. Кэбэл застегивает на себе костюм летчика. Он смотрит на спящих детей. Отворачивается, терзаемый мыслью о их будущем.

М-сс Кэбэл. Милый, милый мой, ты жалеешь о том, что мы... родили этих детей?

Кэбэл *(долго думает)*. Нет, жизнь должна продолжаться. Зачем нам уступать жизнь скотам и олухам?

М-сс Кэбэл. Я полюбила тебя. Я хотела служить тебе и сделать твою жизнь счастливой. Но подумай о том, что может случиться с ними. Не были ли мы эгоистами?

Кэбэл привлекает ее к себе: — Ты не боялась родить их — вчера мы сами были детьми. Мы встревожены, но мы не боимся! Право, так!

М-сс Кэбэл утвердительно кивает головой, но говорить она не в силах, она вот-вот расплачется.

Кроватка Тимоти, Кэбэл с женою стоят возле нее.

Кэбэл. Мужайся, дорогая!

Шепчет про себя: «И да будет мужественным это крохотное сердечко».

Ряд быстро мелькающих кадров напоминает мелькание их во второй части. Эвритаун в запоздалом свете зимнего утра.

Пригородная дорога. Люди выходят из домов с узелками или чемоданами и идут на станцию.

Молодая женщина прощается с мужем, который ждет трамвая.

Остановка автобуса. Люди лезут в автобус со своими вещами. Какое-то напускное веселье. Поднимаются брови, на лицах насильственные улыбки, хотя углы губ опущены.

Никакой военной музыки. Ничего похожего на подъем 1914 года. Шарканье и тяжелые шаги обреченных домовладельцев.

Пасуорти и Хорри в палисаднике перед своим домом. Хорри в своей вчерашней форме. Пасуорти выходит. Он прикрепляет нарукавник.

Хорри *(указывая на нарукавник)*. Ты офицер, папочка?

Пасуорти. Приходится вносить свою лепту, сынок. Мы все служим общему делу.

Хорри. Я тоже офицер, папочка!

Пасуорти. Вот молодец, правильно! Ничего другого и не остается. Не унывать, сэр, не унывать.

С шутливо-бравым видом отдают друг другу честь. Отец поднимает сына и целует его. Уходит.

Хорри остался один. Он бьет в свой барабан. Спер-

ва осторожно, а затем более уверенно. Он бьет в барабан, начинает мурлыкать песенку и маршировать. Взвинчивает себя. Поет все громче, без слов. Бой барабана переходит в военную музыку, которая продолжается в течение следующих кадров.

Позади маленького Хорри показываются чуть видные тени марширующих войск, шагающих в такт с ним и с его барабаном. Его образ бледнеет, войска выступают ярче.

Картина: армии в походе.

ЧАСТЬ V

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Колонны войск становятся призрачными и исчезают. Мирный сельский пейзаж, зима. Та же сельская местность была показана в первой части, но теперь повсюду видны признаки военных приготовлений. На переднем плане гладкая поверхность реки или озера, отражающая сцену; зеркало вдруг ломается — из воды выползает колоссальный танк-амфибия. На мирном поле внезапно вздыбливается гигантская гаубица.

Сцена, снятая с воздуха. Дороги забиты военными материалами, отправляемыми на фронт. Детали той же сцены крупным планом. Вереницы танков и гусеничных грузовиков. Вереницы людей в стальных шлемах. Грузовики, набитые людьми. Грузовики, набитые снарядами. Огромные склады снарядов. Фантастическая картина военных материалов в движении.

Химический завод. Грузят сотни ящиков.

Производство газовых бомб. Все рабочие в противогазах, вместо лиц — морды каких-то чудовищ.

Орудия стреляют. Снова проходит часть предыдущих кадров, но теперь люди и пушки не движутся к месту действия, они действуют. Стреляют орудия, танки наступают, стреляя, броненосцы дают залпы, газ с шипением вырывается из цилиндров.

Артиллеристы у орудия, передают снаряды.

Под аэропланом возится экипаж его, подвешивая бомбы.

Аэропланы, эскадрилья за эскадрильей, поднимаются в небо. Виден Эвритаун, и в небе над ним неприятельские аэропланы. Взрыв на переднем плане заполняет сцену. Когда дым рассеивается, видна пригородная улица Эвритауна, на которой живет Пасуорти, и вдали на дорожке какой-то маленький темный предмет.

Мы идем по дороге и перед разрушенным забором палисадника видим маленького Хорри в его доспехах, замертво распростертого на земле.

Долгая безмолвная пауза.

Взрывы бомб замирают вдали.

(Это первый труп, который мы видим на экране.)

Сцены бомбардировки Эвритауна. Сирены, свистки и гудки. На площади паника. Мелькают военные, занятые у зенитных орудий. Опять полная народу площадь, пораженные ужасом лица обращены вверх. Паника усиливается. Аэропланы над головой. Зенитные пушки палят довольно беспомощно.

Трамвай идет по улице, начинает крениться и падает на бок. Фасад гигантского универсального магазина обрушивается на улицу. Товары разбросаны и горят. На тротуаре лежат манекены из витрин и раненые.

На запруженной народом Площади взрывается бомба. Кинематограф рушится, превращаясь в груду развалин.

Бомба взрывает газовую магистраль, струя пламени, пожар распространяется.

Должностные лица раздают противогазы, толпа в панике. Драка за противогазы. Раздатчика сбили с ног. Вдалеке, общим планом, самолеты, они выпускают газ как дымовую завесу. Облако медленно спускается на город. Газовое облако все ниже, зенитные пушки продолжают стрелять в темноте. Общим планом — газовое облако спускается и затемняет Площадь. Люди в конторах и квартирах захвачены, как в ловушках, газом, проникающим через окна.

Общим планом Площадь, теперь очень туманная и темная. Пусто, движения нет, но на Площади кое-где лежат трупы.

ЧАСТЬ VI

ДВА ЛЕТЧИКА

Неприятельский летчик, мальчик лет 19-ти, находится в воздухе, выпускает на землю газ. Он же крупным планом в своей кабине. Запас газа кончается, и он делает вираж, чтобы повернуть назад. Он смотрит на небо и видит, что его атакуют. Он явно робеет.

Джон Кэбэл в своем самолете. Он направляется к самолету неприятеля.

Воздушный бой. Это неравный бой между бомбардировщиком и быстроходным истребителем. Неприятельский самолет сбит. Кэбэл попадает в пике, но затем выравнивает машину.

Неприятельский летчик падает. Дома и прочее на заднем плане в облаке газа, выпущенного им. (N3. Это не часть Эвритауна, и знакомая линия горизонта и прочее в этой сцене не фигурирует.)

Кэбэл с трудом приземляется. Он смотрит на неприятельский самолет и затем спешит к нему. Когда Кэбэл подходит к упавшей машине, она загорается.

Кэбэл добежал до неприятельского самолета. Неприятельский летчик выкарабкался из пламени. Он бьет себя по тлеющей одежде, гася огонь. Зашатался и падает. Остальная часть сцены разыгрывается при мерцающем свете горящей машины. По кадру пробегают клочья черного дыма.

Кэбэл оказывает помощь неприятельскому летчику, который, очевидно, сильно изранен. Он как будто еще слишком ошеломлен, чтобы чувствовать боль, но он знает, что погиб. Кэбэл усаживает его поудобней на земле.

К э б э л. Так вам лучше? Боже мой... но вы разбились, мой мальчик!

Кэбэл старается облегчить его положение. Он оставляет свои попытки и смотрит на неприятельского летчика с бесконечным изумлением:

«Зачем нам убивать друг друга? Как мы дошли до этого?»

Газовая волна приближается к ним. Неприятельский летчик указывает на нее. «Уходите, друг мой! Это мой газ, и очень скверный! Благодарю вас!»

Кэбэл. Но как мы дошли до этого? Зачем мы позволили им посылать нас убивать друг друга?

Неприятельский летчик не говорит ни слова, но по лицу его видно, что он согласен с Кэбэлом.

Кэбэл и летчик достают противогазы. Кэбэл помогает неприятельскому летчику надеть и приладить маску. Это трудно — у летчика сломана рука. Кэбэл делает передышку и начинает сызнова.

Неприятельский летчик. Вот забавно будет, если я задохнусь от собственной отравы!

Кэбэл. Теперь все в порядке!

Кэбэл надевает ему противогаз и затем надевает свой. Они слышат крик и осматриваются.

Кэбэл смотрит, и они видят маленькую девочку, убегающую от волны газа. Она уже задыхается и прижимает к губам носовой платок. В большом смятении девочка бежит в их сторону, потом остановилась, не зная, куда же дальше. Она не замечает летчиков.

Неприятельский летчик всматривается, затем срывает с себя противогаз и протягивает его Кэбэлу: — Вот — наденьте на нее!

Кэбэл колеблется, переводит взор с одного на другую.

Неприятельский летчик. Я угощал им других, почему мне не попробовать самому?

Кэбэл надевает противогаз на девочку, которая в испуге сопротивляется, но потом, поняв, утихает.

Кэбэл. Пойдем, детка, тут тебе не место! Ты иди в ту сторону. Я покажу тебе дорогу!

Кэбэл уходит с девочкой, потом возвращается, чтобы узнать, есть ли у неприятельского летчика револьвер. Видит, что он без револьвера, и, поколебавшись, отдает ему свой: — Он вам может понадобиться...

Неприятельский летчик. Добрая душа! Но я приму свою дозу.

Неприятельский летчик медленно умирает в трепетном свете горящего самолета. Газ теперь совсем близко. Языки подползают к человеку. Он смотрит вслед Кэбэлу и девочке. «Я сбросил газ на нее. Может быть, я умертвил ее отца и мать. Может быть, я умертвил всю ее семью. А потом отдаю свой противогаз, чтобы спасти

ее. Вот забавно! О! Это в самом деле забавно. Ха-ха-ха! Это... вот это шутка!»

Газ наплывает на него, и он начинает кашлять. Он вспоминает слова Кэбэла: «Какими олухами были мы, летчики! Они заставили нас драться, и мы послушались, как жалкие псы». «Я разбился, стараясь убить ее, а потом отдаю ей свой противогаз! О боже! Вот потеха! Ха-ха-ха!»

Смех переходит в отчаянный кашель, газ обволакивает летчика и скрывает от зрителей. Кашель слышится все слабей и слабей, пары затягивают сцену. «Я вдохну все, все! Я заслужил это».

Опять слышно, как он кашляет и задыхается. Потом резкий вскрик и внезапный стон невыносимой муки.

Слышен револьверный выстрел. Безмолвие. Кадр заполняют стелющиеся пары.

ЧАСТЬ VII

НЕСКОНЧАЕМАЯ ВОЙНА

Ряд сменяющихся газетных заголовков дает понятие о продолжительности войны.

В первой газете заголовки такого же типа, как в той, которую читал Кэбэл у себя в кабинете перед детским праздником. Открывается сцена крупным заголовком:

ИВНИНГ НЬЮС

Предсказания погоды и часы зажигания фар отсутствуют. Дата — 20 мая 1941 года. *Цена три пенса.* Вместо «Последних котировок Сити» — «Запрещение спекуляции»; но газета все еще называет себя «последним вечерним выпуском».

Шапка на два столбца: *Конец близок.*

Шапка на два столбца: *Скандал с пайками.*

Заголовок под первой шапкой: *Результаты воздушного наступления Блэйка.*

Текст: *Огромные усилия и жертвы воздушных сил во время большого контрнаступления в истекшем месяце приносят плоды.*

Опять крупным планом дата, и дата крупным планом дается для каждой из сменяющихся газет.

Весьма грубо отпечатанная газета с помарками и выцветшими местами заслоняет и сменяет предыдущую. Газета свидетельствует о значительном ухудшении обслуживания публики.

Она напечатана сбитым шрифтом, и нижние строчки ее смазаны.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПАТРИОТ

№ 1. Новая серия, 2 февраля 1952 года. *Цена один фунт стерлингов.*

ДЕЛО ИДЕТ К КОНЦУ

Необходимо вести войну более быстрым темпом, с величайшей решимостью. Только в этом случае мы можем надеяться...

Наплывает третья газета:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПАТРИОТ

№ 754. Март 1955 года. *Цена один фунт стерлингов.*
Величайшая решимость. Не сдаваться.

Большой пустырь, заросший вереском. Вдали что-то горит. Ветер треплет лист старой газеты. Она зацепилась за колючку, и, в то время как ветер рвет ее, зритель успевает прочесть скверно напечатанные на грубой бумаге слова:

БЮЛЛЕТЕНЬ БРИТАНЦА

21 сентября 1966 года. *Цена четыре фунта стерлингов.*
Держитесь. Победа близка. Силы врага истощаются...

Ветер разрывает газетный лист в клочья.

Следует тихая и унылая сцена, символически показывающая, что наша современная цивилизация потрясена до основания. Выбор местности лучше всего предоставить воображению, изобретательности и ресурсам декоратора. Она может даже различаться для американского, континентального или английского варианта фильма. Какая-нибудь одна из нижеследующих сцен даст все нужные эффекты.

Тауэрский мост в Лондоне разрушен. Никаких признаков человеческой жизни. Чайки и вороны. Темза, за-

громожденная обломками, вышла из своих искалеченных берегов.

Лежащая на земле Эйфелева башня. Такое же запустение и развалины.

Разрушенный Бруклинский мост. В воде клубки спутанных кабелей. В порту затонувшие суда. На заднем плане Нью-Йорк в развалинах.

Затонувший океанский пароход на дне моря.

Фешенебельный пляж — Лидо или Палм Бич, Блэкпул или Кони Айленд,— разрушенный до основания. Среди мерзости запустения бродят несколько одичавших собак.

Оксфордский университет в развалинах, книги Бодлеевской библиотеки разбросаны среди обломков.

ЧАСТЬ VIII

БРОДЯЧАЯ БОЛЕЗНЬ

Центральная площадь в Эвритауне. Она в развалинах. На одном из углов площади оборванные уличные торговцы и примитивный рынок. Посреди площади колоссальная воронка от снаряда. Группа людей стоит у прибитой к стене доски. Это доска объявлений, вроде древнего Альбума, на котором вывешивались новости на римском Форуме. По мере того как мир откатывается назад, воскресают старинные методы.

Крупным планом группа, читающая грязное, написанное на шапирографе объявление на доске.

Текст его:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Август *1968 года*

ВНИМАНИЕ! ЕЩЕ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ! НЕПРИЯТЕЛЬ СЕЕТ БОЛЕЗНЬ С САМОЛЕТОВ

Наши враги, побитые на суше, на море и в воздухе, сохранили тем не менее несколько самолетов, которые трудно обнаружить и уничтожить. Они используют их

для того, чтобы распространять болезнь, новую горячку телесную и духовную...

Еще раз — крупным планом — дата.

Человек в рваной и заплатанной форме выходит из ратуши с бумагой в руке и направляется к стене. Это привлекает нескольких зевак. Он приклеивает новое объявление.

Объявление это, написанное несколько вкривь, гласит:

Неприятель сеет Бродячую болезнь с самолетов. Избегайте мест, где упали бомбы. Не пейте стоячей воды.

Из дома выходит женщина. Она оборвана, у нее изнуренный вид, в руке она держит ведро. Она идет к исполинской воронке в центре площади. Женщина спускается с ведром, она хочет набрать воды. В кадр входит мужчина.

Мужчина. Разве вы не читали предостережения?

Женщина отвечает усталым и безмолвным «нет».

Мужчина *(указывая на воду)*. Бродячая болезнь.

Женщина поражена мгновенным страхом. Потом начинает колебаться. До родника полчаса ходьбы!

Мужчина пожимает плечами и уходит. Женщина все еще колеблется.

Больница под лабораторией. Темно и мрачно. Больные без ухода. Один из них — мужчина в грязной рубахе и брюках, босой и исхудалый — встает, дико озирается и выбегает вон.

Площадь перед больницей. Больной бродит. Он тупо смотрит вперед. Он ищет, сам не зная чего. Люди на площади, увидели его и разбегаются. Женщина в воронке видит приближающегося к ней бродячего больного. Она вскрикивает и выкарабкивается вон. Группа мужчин и женщин убегает от больного.

Часовой с винтовкой. Группа мужчин и женщин входит в кадр.

Мужчина *(к часовому)*. Разве вы не видите?

Женщина. Он несет заразу!

Часовому не по душе его дело, но он поднимает винтовку. Он стреляет. Бродячий больной падает, корчится и затихает.

Часовой *(кричит)*. Не подходите к нему! Оставьте его здесь!

Лаборатория д-ра Хардинга. Хардинг у своего рабочего стола, ему помогает его дочь Мэри. Он отчаянно бьется над проблемой иммунитета против Бродячей болезни, истребляющей человечество. Теперь это человек лет пятидесяти; он переутомлен, исхудал, постарел. Он работает в полуразрушенной лаборатории, ему не хватает материалов. Эта лаборатория была уже показана в начале фильма. (Нижние комнаты превращены в импровизированную больницу, куда привозят больных в ранней стадии заболевания.) Хардинг в рваном и заплатанном платье (белого комбинезона нет и в помине). Аппаратура его напоминает аппаратуру древнего алхимика, она сработана кое-как, и ее очень мало, электричества нет. Вода не идет, хотя сохранились бесполезные теперь кран и раковина. Но микроскопы те же, что и раньше. Их очень трудно разбить. Колбы, тигли и тому подобные прочные вещи уцелели, но не уцелело тонкое стекло, мелкие склянки. Нет, например, колб Флоренса. В ход пущены старые банки. Многие из оконных стекол разбиты и заклеены бумагой.

Хардинг работает и бормочет что-то.

Мэри — девушка лет 18, в заплатанном костюме сестры милосердия, с повязкой Красного креста.

— Отец,— говорит она,— почему бы тебе не поспать?

Хардинг. Как мне спать, когда моя работа может спасти бесчисленные жизни? Несчетные жизни.

Снаружи слышен выстрел. Хардинг идет к окну, за ним Мэри.

Аппарат снимает от Хардинга; в кадре больной Бродячей болезнью, убитый часовым, в луже крови. Площадь пустынна. Кадр пересекает мужчина, он тщательно обходит мертвеца и зажимает себе рот тряпкой, чтобы не заразиться.

Хардинг и Мэри.

Хардинг *(говорит)*. Итак, наша санитария вернулась к кордонам и к убийству! Так боролись с чумой в средние века...

Он делает жест бессильного отчаяния, пожимает плечами, вскидывает руки и возвращается к рабочему столу.

Комната Ричарда Гордона, бывшего бортмеханика. Она похожа на все комнаты этого периода — грязная, с импровизированной или очень старой мебелью. Настоящей столовой посуды нет, есть только набор жестянок и глиняных банок, достойный бродяги. Сестра Ричарда, Джэнет, варит обед, печка топится дровами. Ричард Гордон сидит перед старым столом и, очевидно, ждет обеда. Он в глубоком раздумье.

Вместо того, чтобы подать обед, Джэнет отходит от печки, делает несколько шагов и смотрит куда-то в пространство.

Ричард *(оторвавшись от своих мыслей, глядит на нее с возрастающим ужасом и быстро встает с места).* Что с тобой, Джэнет? Опять сердце? *(Он щупает ее пульс. В глубоком волнении.)* Я уложу тебя в постель, сестра!

Джэнет угрюмо молчит. Она качает головой. Ричард очень нежно пытается уговорить ее лечь.

Опять в лаборатории Хардинга. Хардинг у микроскопа. Мэри возле него.

Хардинг *(рассматривает какой-то препарат и, не оглядываясь, говорит).* Йоду, пожалуйста!

Мэри делает шаг к нему. В руках у нее какой-то сосуд. Она смотрит на него и наклоняет, чтобы проверить себя. Она не в силах заговорить, потому что понимает значение своего ответа.

Хардинг. Мэри! Сделай милость, йоду!

Мэри. Йоду больше нет, папа. Осталась одна капля.

Хардинг *(оборачивается, словно его ударили кинжалом).* Больше нет йоду?

Мэри в ответ качает головой.

Хардинг *(в полуобморочном состоянии садится).* Боже мой! *(Он закрывает лицо руками. Говорит чуть не с рыданием в голосе).* Что пользы пытаться спасти обезумевший мир от заслуженной кары?

Мэри. Ах, папа, если бы ты хоть немного поспал!

Хардинг. Разве мне можно спать? Смотри, как они выходят из домов, чтобы умереть!

Он встает и в глубоком волнении смотрит на дочь: «И как подумаешь, что я родил тебя на свет!»

Мэри. Даже теперь я рада, что живу, отец!

Хардинг ласково треплет ее по плечу. Потом начинает шагать по комнате, жестоко терзаясь.

«Это тяжелее всего в этой бесконечной войне. Знать, чего жизнь могла бы достичь и чем она могла бы быть,— и оставаться беспомощным!»

Он вынимает предметное стекло из-под объектива микроскопа и в бессильной ярости швыряет его на пол.

Садится в полном отчаянии.

Мэри безуспешно пытается утешить его. На лестнице раздаются шаги. Оба смотрят на дверь.

Мэри. Ричард!

Входит Гордон. Хардинг смотрит на него, со страхом ожидая, что он скажет.

Гордон. Моя сестра...

Хардинг. Откуда вы знаете?

Гордон. У нее страшно бьется сердце. Она слабеет. И... и... она не хочет отвечать.

Хардинг молчит.

Гордон. Как мне ей помочь?

Хардинг, убитый, измученный, молчит.

Гордон. Я думал, что-нибудь известно...

Хардинг не двигается.

Мэри *(вскрикивает)*. О, Джэнет! И вы, бедный...

Она приближается к Гордону; Гордон делает движение, как бы желая предупредить ее, что и он, может быть, заражен. Она не обращает на это внимания. «Ричард!» — шепчет она у самого его лица.

Хардинг встает и уходит, не произнося ни слова. Следуя инстинкту врача, он хочет помочь, даже если положение кажется безнадежным.

Комната Гордона. Джэнет ворочается на кровати. Хардинг, за ним Ричард и Мэри. Хардинг подходит к Джэнет и присаживается на кровать. Он откидывает простыни, прислушивается к ее дыханию. Потом покрывает ее снова и качает головой. Встает с кровати. Гордон задает ему немой вопрос.

Хардинг. Сомнения нет. А ведь этого можно было избежать. Подумать только! Остался всего один невыясненный вопрос. Но я не могу раздобыть даже йоду — даже йоду! Торговли больше нет, достать ничего нельзя.

Война продолжается. Эта чума продолжается — и с нею не борются, она хуже войн, которые породили ее!

Гордон. Неужели ничем нельзя облегчить ее положение?

Хардинг. Ничем. Не осталось ничего, чем можно было бы облегчить чье бы то ни было положение. Война — это искусство сеять нищету и бедствия. Помнится, еще студентом-медиком я беседовал с неким Кэбэлом о предотвращении войн. Об исследованиях, которые я произведу, и о зле, которое я буду исцелять. Бог мой!

Хардинг поворачивается к дверям и уходит.

Снова разрушенная и пустынная Площадь. Хардинг пересекает ее, с отчаянием возвращаясь в свою лабораторию.

Комната Гордона. Мэри и Гордон сидят. Атмосфера безнадежности. Оба не сводят глаз с кровати. Джэнет встает. Лицо ее теперь призрачно-бледно, глаза остекленевшие. Она идет по направлению к ним и к аппарату. Мэри и Гордон уставились на нее в ужасе, она проходит мимо них. Лицо ее приближается до размеров крупного плана. Она выходит из комнаты. После секунды колебания Гордон поднимается и спешит вслед за сестрой. Мэри делает несколько шагов, потом садится.

Площадь. Джэнет бродит по ней. Гордон нагоняет ее и пытается взять за руку, но она отталкивает его. Они направляются к толпе, обступившей доску с извещениями перед Ратушей. Толпа разбегается в паническом страхе.

Джэнет и Гордон идут к часовому. Часовой поднимает винтовку.

Гордон заслоняет Джэнет своим телом. Часовому:

— Нет! Не стреляйте, я уведу ее из города!

Часовой колеблется. Джэнет уходит из кадра. Гордон колеблется между нею и часовым и затем следует за нею. Часовой поворачивается им вслед, все еще не решаясь.

Джэнет и Гордон бредут по развалинам Эвритауна. Она впереди, мечется бесцельно, лихорадочно. Он следует за нею. Так мы совершаем экскурсию по Эвритауну в период его полного, окончательного упадка. Мертвый город. От них убегают крысы, отощавшие собаки.

Они проходят через покинутый вокзал.

Общественные сады в полном запустении. Разбитые вывески. Остатки фонтанов, поломанные решетки.

Загородная дорога с пустыми и разрушенными дачами. В садах заросли терновника и крапивы. Джэнет и Гордон проходят мимо прежнего дома Пасуорти, который можно узнать по расщепленному бомбой забору.

Обе фигуры, следуя одна за другой, все удаляются, и следующая сцена проходит за огромными, тоскливыми пустырями на все большем расстоянии.

Джэнет падает и лежит неподвижно. Гордон опускается возле нее на колени.

В первую минуту он не может поверить, что она умерла. Он поднимает ее и уносит на руках. Видно, как где-то очень далеко он несет ее в мертвецкую.

Выходят фигуры в капюшонах и берут ношу из его рук — все это в большом отдалении.

Мэри ждет в комнате Гордона. Теперь сумерки, и ее лицо очень бледно, неподвижно и грустно. Она смотрит на дверь, в которую, наконец, входит, шатаясь, Гордон.— О, Мэри, милая Мэри! — кричит он.

Мэри протягивает к нему руки. Он прильнул к ней, как ребенок.

На экране три даты.

1968
1969
1970

ЧАСТЬ IX

ЭВРИТАУН ПОД ВЛАСТЬЮ БОССА[1]-ПАТРИОТА

Площадь Эвритауна в 1970 году. Она несколько оправилась после крайней, трагической разрухи периода Бродячей болезни. Заметны неуклюжие попытки отремонтировать разрушенные здания. Магазины не открыты, и половина домов не заселена, но воронка от снаряда в центре площади засыпана. Существует нечто вроде рын-

[1] Босс — начальник, хозяин.

ка: оборванные, в заплатах, люди торгуются из-за овощей и кусочков мяса. Мало на ком видны ботинки. На большинстве обувь из лыка или тряпок или деревянные башмаки. Шляпы носят немногие, новой шляпы нет ни одной. Женщины простоволосы или в платках. Экипажи не грубые и не примитивные, но разбитое старье. Один или два ящика на велосипедных или автомобильных колесах — их толкают перед собой люди. Лошадей почти совсем не видать. Доят корову или козу. Вот крестьянин с автомобилем (маленьким, без резиновых шин), в автомобиль впряжена лошадь и в нем груда моркови и репы. Несколько палаток с подержанными вещами — одеждой, мебелью и домашней утварью. Похоже на маленький деревенский базар. Видна палатка с поношенным платьем и разной мелочью, с ювелирными изделиями и поношенным модным товаром. В ней торгует подобострастный субъект — таких встречаешь на восточных базарах. Он потирает руки, следит за другой палаткой и за прохожими. Нигде не видно новых вещей, потому что промышленная жизнь в застое. Аппарат описывает круг, чтобы дать общий вид площади, и останавливается перед Ратушей. Над колоннадой Ратуши висит большой флаг в форме розетки. Розетка — символ властвующего Босса и его правительства.

Небольшая кучка народу смотрит на украшенного розетками стража, который пишет на стене углем.

Наверху он нарисовал и растушевал грубую розетку.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 мая 1970 г.

Чума прекратилась. Благодаря решительным мерам нашего Босса, распорядившегося расстреливать всех бродячих. Уже два месяца ни одного заболевания. Чума побеждена.

Босс готовится с величайшей энергией возобновить военные действия против горцев. Скоро мы добьемся победы и мира.

Все хорошо — боже, спаси Босса. Боже, спаси нашу родину.

(Розетка)

Внутренность ангара для самолетов. Гордон, постаревший на три года, в другом, немного менее потрепанном костюме, работает на станке над аэропланным мотором. За ним виден разобранный самолет. С ним два помощника. Он исследует провода высокого напряжения.

Гордон. Этот каучук испорчен. Есть у нас изолированный провод?

Первый помощник. У нас совсем нет изолированного провода, сэр.

Гордон. А изоляционная лента?

Второй помощник. Здесь нет ни крохи. Все, что было, мы израсходовали на тот мотор.

Гордон медленно поднимается, сраженный.

— Да и что толку — все равно ведь нет бензина! Не думаю, чтобы в этом проклятом городе осталось хоть три галлона бензина. Зачем же меня приставили к этому делу? Ни одна машина больше не полетит. С полетами кончено. Всему конец. Цивилизация умерла.

Рынок. Аппарат повернулся к палатке с безделушками и старым платьем. К торговцу подплывает Роксана. Роксана — красивая двадцативосьмилетняя женщина, сознающая свою красоту. Лицо ее довольно искусно накрашено. По контрасту с грязной и унылой публикой на площади она и обе ее спутницы кажутся блестящими, веселыми и благоденствующими. Костюм ее лучше всего описать, как коллекцию украшений. Он подобран из гардеробов и шкафов, какие еще можно найти в покинутых домах. В общем, это вечерний туалет эпохи приблизительно 1935 года. Палатка Вадского полна таких находок.

Роксана *(подходя)*. Где Вадский? Мне нужно поговорить с Вадским.

Вадский, *прятавшийся за стойкой, пока она подходила*, собирается с силами и выходит ей навстречу.

Роксана. У вас был кусок материи в цветах, целый отрез — семь ярдов, а вы мне не сказали об этом! Вы его спрятали от меня и отдали этой вашей женщине. И теперь у нее новое платье — новое платье!

Покуда она говорит, Вадский протестует руками и плечами и, когда она умолкает, произносит: «О леди, я показывал вам этот отрез!

Роксана. Не втирайте мне очков, Вадский. Это не первый раз. Вы спрятали его от меня!

Вадский. Леди! Вы сказали: «Мне не нужна такая материя».

Роксана. Как! Я уж которую неделю прошу вас именно о такой материи для лета — светлого ситцу в цветах!

Вадский. Помилуйте, леди!

Роксана. Как вы посмели? Можно подумать, что я ничего не значу в Эвритауне!

Роксана (*обращается к первой из своих спутниц*). Разве вы не помните? Я говорила, что мне нужна светлая материя в цветах.

Спутница послушно вспоминает.

Роксана снова апеллирует к ней: что толку в любовнике, что толку в могущественном любовнике, если тебя так третируют?

Роксана (*обращаясь к Вадскому, который кланяется в полном смятении*). Я скажу об этом Боссу. Я вас предупреждала. Все новое раньше всех мне!

Другая часть рыночной площади. Кучка взволнованных людей обступила оборванного мужчину.

Мужчина. Я своими глазами видел!

Толпа хохочет.

Женщина. Вы сперва напиваетесь, а потом видите невесть что.

Мужчина. Сперва я услышал шум, потом поднял голову — и вот он в небесах, над холмами!

Через площадь идет Гордон, направляясь к ним. Он слышал последние слова: — Что вы видели?

Мужчина. Аэроплан. Он летел вон там, над холмами. Это было как раз на рассвете.

Толпа высмеивает его. Гордон смотрит на него, оценивает его взглядом, пожимает плечами и уходит своей дорогой.

Мэри покупает овощи у крестьянина с автомобилем, запряженным лошадью. Она в простом, грубом коричневом костюме. Но ей он идет. Показывается Гордон, и они приветствуют друг друга спокойно, как муж и же-

на. Пока Мэри выбирает зелень, Гордон с профессиональной симпатией разглядывает автомобиль:

— Это «моррис», не правда ли?

Крестьянин. Да, хорошая дочумная машина. Я ее смазываю и осматриваю время от времени.

Гордон. Вы думаете, что она когда-нибудь пойдет быстрее? Несмотря ни на что?

Крестьянин. Не знаю, у меня нет бензина. Но все же машина хоть куда! Помню, когда я был мальчиком и она была новая, нам ничего не стоило проехать в ней сто миль — целых сто миль! Я проезжал это расстояние меньше чем в три часа. Но все это кончилось — кончилось навсегда! А?

Он вопросительно и с хитрецой смотрит на Гордона.

Гордон и Мэри закончили свои покупки и идут к лаборатории.

Мэри. Ты нынче запоздал. Удалось что-нибудь сделать?

Гордон. Ничего. Машины ни к черту. Бензина нет. Босс просто в насмешку приставил меня к этому делу. Ни одна из них не поднимется в воздух. Полеты сделались мечтой для Босса и других пьяниц вроде него. Между прочим, тут был один пьянчуга, утверждавший, что он нынче утром видел самолет.

Мэри. Ричард!

Гордон. В чем дело?

Мэри. Ведь меня ты не сочтешь сумасшедшей?

Гордон. Ну?

Мэри. Я слышала аэроплан нынче утром!

Гордон. Когда?

Мэри. На рассвете. Я решила, что это сон. Но если и другие...

Гордон. Вздор! Говорят тебе, полетам пришел конец. Мы никогда больше не поднимемся в воздух. Никогда!

Слышатся звуки флейт и барабанов. Гордон и Мэри резко оборачиваются, им явно не по себе.

Босс со своей свитой. Это полувоенная банда, одетая весьма пестро, одинаковое — только значок в виде розетки. Они маршируют по Площади. Босс — здоровенный, заносчивого вида детина в шляпе набекрень. На

шляпе спереди розетка. Его мундир с портупеей принадлежал, вероятно, музыканту военного оркестра. На нем сабля, кортик и два револьвера. Изящные бриджи и сапоги. На ленте на груди та же эмблема — розетка. Манерами он смахивает на вежливого шофера лондонского такси. На его подчиненных приблизительно такие же полувоенные наряды.

Он узнает Гордона, бросает взгляд на Мэри, делает ей мысленную оценку, решает порисоваться и останавливается. Гордон без всякого воодушевления отдает ему честь.

Босс. Есть что доложить, Гордон?

Гордон. Ничего утешительного, Босс.

Босс. Мы должны иметь аэропланы — так или иначе!

Гордон. Я сделаю все, что могу, но без бензина летать нельзя.

Босс. Я добуду вам бензину, уж поверьте мне. А вы занимайтесь моторами. Я знаю, что у вас нет материалов, но, право, вы можете преодолеть эту трудность. Например, заменой частей. Вы не пробовали? Используйте части одной машины для ремонта другой. Будьте изобретательны! Дайте мне хоть десять машин, способных работать. Дайте хоть пять. Мне не нужны все сразу. Я позабочусь о том, чтобы вас вознаградили как следует. И тогда мы сможем кончить эту нашу войну — навсегда. Это ваша жена, Гордон? Вы ее прячете. Привет, сударыня! Вы должны использовать свое влияние на нашего Главного Механика! Воюющему государству нужна его работа!

Мэри *(ей не нравится все это)*. Я уверена, что мой муж всячески старается для вас, Босс!

Босс. Старается! Этого недостаточно, сударыня. Воюющее государство требует чудес!

Мэри молчит и затем глуповато замечает:

— Не каждый умеет творить чудеса, Босс, как вы.

Босс *(в высшей степени польщенный)*. Я уверен, что вы могли бы творить чудеса, если бы захотели, сударыня!

Слышится голос Роксаны: «Рудольф!»

Босс сразу присмирел. Он поворачивается к Роксане, которая подходит, возмущенно шурша юбками, сопро-

вождаемая своими статс-дамами. Гордон и Мэри тотчас же забыты. Позади в состоянии нервозного страха следует Вадский.

Роксана. Они опять принялись за свои старые шутки! Вадский спрятал от меня товары! Это что, с твоего разрешения?

Вадский. Но ей показывали. Она сказала, что ей не годится.

Босс. Если Вадский принялся за свои старые штуки, он ответит за это!

Роксана торжествующе поворачивается к Вадскому.

Босс. Не один только Вадский припрятывает вещи. Что ты скажешь о нашем Главном Механике, который не дает мне самолетов, чтобы окончить эту несчастную войну с Горным народом?

Роксана, подбоченившись, смотрит на Гордона, а затем неторопливо разглядывает Босса и Мэри. Гордон ей в общем понравился. Она понимает, что Босс рисовался перед Мэри, и ей хочется немножко осадить его.

С напускной сварливой издевкой она обращается к Боссу:

— Разве ты не можешь заставить его? Я думала, что ты можешь заставить всякого сделать все, что угодно!

Гордон. Иных вещей нельзя сделать, сударыня. Без бензина нельзя летать. Без инструментов и материалов нельзя починить машины. Мы слишком далеко ушли назад. Авиация — погибшее искусство в Эвритауне.

Роксана. И вы действительно настолько глупы?

Гордон. Я действительно настолько беспомощен.

Роксана *(Боссу)*. Ну, что ты предпримешь, Босс?

Босс *(становится «сильным человеком»)*. Он приведет в порядок эти машины, а я добуду ему... уголь — вещество, из которого можно сделать горючее!

Чуть слышно доносится с большого расстояния шум авиационного мотора. Лицо Гордона крупным планом.

Гордон. Это — утраченное искусство! Это мечта прошлого.

Лицо его меняется, когда шум аэроплана доходит до его сознания. Он озадачен. Потом он поднимает глаза к небу. Молча указывает пальцем.

Показана вся группа. Все смотрят вверх.

Вадский и покупатели на рынке, толпа на заднем плане — все замечают самолет. Видно, как он кружит по небу. Это первый новый аэроплан, показываемый в фильме. Небольшой, типа 1970 года. Крылья его отогнуты назад, как у ласточки. Он не должен быть большой и внушительный, как бомбардировщик, который появляется в конце этой части, но он совсем особенный.

Из домов выбегают люди. Все смотрят на небо. Беготня, крики — возбуждение растет.

Гордон *(в глубоком волнении. Он обращается к Мэри)*. Вот он — ты была права,— опять аэроплан! Он выключает мотор — он спускается.

Глаза толпы следят за самолетом. Можно понять, что он кружит, идя на посадку.

Босс *(первым спохватывается)*. Что это значит? Неужели они получили самолеты раньше нас? А вы мне говорите, что мы не можем больше летать! Пока вы тут... копались, они действовали! Ну, вы там, узнайте, кто это и что это значит! Ты *(к одному из своих телохранителей)* ступай, и ты тоже *(к другому)*. Там всего один человек! Задержите его!

Босс становится центром деятельности.

Босс. Пошлите за Саймоном Бэртоном. Саймона сюда!

Со стороны Ратуши появляется лукавого вида субъект, правая рука Босса, он спешит к своем хозяину.

Аппарат показывает Гордона и Мэри, они стоят поодаль. Недоумение и странную надежду породило в них это удивительное нарушение монотонного быта Эвритауна. Потом аппарат поворачивается к Роксане. Она наблюдает за Боссом и развиваемой им деятельностью со скептицизмом женщины, слишком хорошо знающей мужчину. Потом она вспоминает о Мэри, ищет ее взглядом и обнаруживает также Гордона. Она направляется к ним.

Роксана *(Гордону)*. Что вам известно об этом? Вы что-нибудь знаете? Кто этот человек в воздухе?

Гордон *(говорит наполовину про себя, наполовину Мэри и Роксане)*. Это что-то новое. Это новая машина. Где-то еще умеют строить новые машины. Я даже не представлял себе, что это возможно.

Роксана. Но кто этот человек? Как он смеет являться сюда?

Ее лицо крупным планом в момент, когда она оглядывает Эвритаун и соображает, что в конце концов это еще не весь мир. Глаза ее обращаются на Босса, который все еще не решил, как ему отнестись к этому непредвиденному случаю.

Босс. Отведите его в Ратушу. Поставьте караул возле его машины и приведите его сюда, ко мне!

Аппарат возвращается к Гордону и Мэри.

Гордон. Пойдем, Мэри. Я должен посмотреть эту машину!

Луг близ города. Люди бегут. Самолет скользит над головами и приземляется вне поля зрения, за небольшим холмом.

Пробегает несколько оборванных мужчин, женщин и детей, они останавливаются на гребне, на фоне неба, и смотрят. Они колеблются и не решаются подойти поближе. Один ребенок кидается вперед, но мать останавливает его. Они таращат глаза и начинают беспокойно расступаться вправо и влево от центра пригорка, по мере того как приближается нечто невидимое. Появляются два телохранителя, посланные Боссом, и тоже в нерешительности останавливаются.

Мы смотрим на самолет через ложбину таким образом, что летчик — Джон Кэбэл, отец детей, показанных в первой части,— с драматической внезапностью появляется над гребнем холма и идет по направлению к нам.

Он теперь седой, лицо его изрезано морщинами. Он одет в блестящий черный костюм, голова и тело прикрыты чем-то круглым, благодаря чему он кажется выше семи футов ростом. Это нечто вроде круглого шлема, закрывающего как голову, так и туловище. Это противогаз 1970 года. Забрало откинуто вниз, так что спереди его голова и плечи напоминают Будду в ореоле. Черная маска позади его головы и плеч вся в бороздах, как раковина. Она вырисовывается на фоне неба, как некое знамение. Он проходит между зрителями, которые следуют за ним; один страж направляется через гребень

холма к машине, второй приближается к нему. Они вместе идут к городу. Этот второй страж — идиотического вида небритый субъект, всегда сильно озадаченный жизнью, а в данный момент — и вовсе. За ними следует кучка любопытных.

Кэбэл. Кто управляет этой частью страны?

Страж. Босс. Тот, кого мы называем Боссом.

Кэбэл. Хорошо. Я хочу видеть его.

Страж. Он послал меня арестовать вас.

Кэбэл. Ну... Это не в ваших силах. Но я приду повидаться с ним.

Страж. А все-таки вы арестованы, признаете вы это или нет. Эта страна находится в состоянии войны.

Толпа и в особенности дети придвигаются ближе к Кэбэлу.

Кэбэл. Я хорошо помню это место. Я жил... где-то здесь. *(Показывает.)* Много лет. Слышали ли вы когда-нибудь о человеке по фамилии Пасуорти? Хоть кто-нибудь? Нет! О Хардинге?

Двое детей говорят разом: «Доктор Хардинг?»

Кэбэл. Да. Он еще здесь?

Старуха. Он хороший человек. Он у нас тут единственный врач. О, он добрый человек.

Дети. Смотрите, сэр, вот он.

Приближаются Хардинг, Гордон и Мэри. На заднем плане толпа.

Кэбэл и Хардинг рассматривают друг друга.

Кэбэл. О боже! И это Хардинг?

Хардинг *(растерянно)*. Мне кажется, я что-то вспоминаю... что-то о вас.

Кэбэл. Но ведь вы были молодой человек!

Хардинг *(вскрикивает)*. Вы Джон Кэбэл! Я бывал у вас! Здесь! Безумно давно! До того, как начались войны! И вы летаете? Вы поседели, но вид у вас все еще молодой!

Кэбэл. Как здесь обстоят дела? Кто у власти?

Хардинг *(опасливо поглядывает на толпу)*. У нас здесь военный диктатор. Обычная история.

Кэбэл *(берет Хардинга под руку)*. Гм... Я прибыл поглядеть на вашего диктатора. Куда нам пойти, чтобы переговорить?

Хардинг жестами показывает, где он живет. Кэбэл собирается пойти вместе с ним.

Страж. Стойте! Вы арестованы, не забывайте этого. Вам придется пойти к Боссу.

Кэбэл. Все в свое время. Сперва к этому джентльмену.

Страж. Этого нельзя. Вам придется пойти со мной. Приказ есть приказ. Сперва к Боссу!

Кэбэл поднимает брови и уходит с Хардингом. Страж следует за ним, изображая жестами изумление и протест.

— Ну-ну!— говорит он.

За ними следуют Гордон, Мэри и толпа. Толпа изумлена смелым обращением Кэбэла со стражем.

Лаборатория. Остатки обеда. Обед был скудный. Жестянки, один-два ножа и сломанная вилка. Скатерти нет, треснувшие чашки. Мэри, Гордон, Кэбэл и Хардинг ведут беседу. Кэбэл снял свой огромный противогаз и бросил его возле себя.

Страж отворяет дверь и заглядывает.

Кэбэл. Вы оставайтесь за дверью. Мне здесь вполне хорошо.

Страж как будто собирается заговорить, но, поймав взгляд Кэбэла, затворяет дверь.

Кэбэл. Итак, вы вернулись сюда после войны?

Хардинг. И стал чем-то вроде средневекового лекаря. Доктором без лекарств и инструментов. Делаю, что могу, в этом разрушенном мире. Боже милостивый! Помните, как я бахвалился своими планами?

Кэбэл (*садится*). Как не помнить! У вас были кой-какие хорошие идеи. Но вот что, давайте еще поговорим. Расскажите, как здесь обстоит дело. Остались ли еще механики? Способные технические работники?

Хардинг. Вот как раз такой человек.

Гордон подходит.

Кэбэл (*испытующе смотрит на него*). Чем вы занимаетесь?

Гордон. Был бортмехаником, сэр. А теперь на все руки мастер. Последний механик в Эвритауне.

Кэбэл. Пилот?

Гордон. Да, сэр. *(Отдает честь.)* Не так чтоб уж очень искусный. Жаль, что я не такой хороший механик, как хотелось бы.

Страж снова отворяет дверь и заглядывает.

— Мне приказано...— начинает он.

Кэбэл. Плюньте на приказы. Закройте дверь!

Страж подчиняется.

Кэбэл. Расскажите мне об этом вашем Боссе. Что за человек забрал в свои руки эту часть света?

Штаб Босса в Ратуше. Он подготовил обстановку для приема чужеземного летчика. Сидит за огромным письменным столом. Его окружают несколько телохранителей, секретарей и лизоблюдов. Саймон Бэртон сидит за другим столом, сбоку. Роксана наблюдает за приготовлениями, подходит и становится рядом с Боссом по правую его руку. Что-то шепчет ему. Волнуется, как женщина перед боем быков. Предстоит оживленный спор, и ей думается, что непрошеный гость может оказаться любопытной новинкой. В Эвритауне что-то скучно стало в последнее время.

Атмосфера напряженная. Сцена подготовлена, а главный актер не появляется. Боссу не терпится увидеть Кэбэла, а Кэбэл не идет. Посланные гонцы возвращаются.

Босс. Где этот человек? Почему его не привели сюда?

Все неловко переминаются. Босс обращается к Бэртону.

Бэртон. Он ушел с доктором Хардингом.

Босс *(встает)*. Его нужно привести сюда! Он будет иметь дело со мной.

Роксана *(кладет руку ему на плечо)*. Но ты не можешь идти к нему. Это немыслимо! Он должен прийти к тебе!

Босс *(колеблется и ерзает на месте, но не встает, подчиняясь ей)*. Пошлите за ним другого. Пошлите троих. С дубинками. Его надо немедленно привести сюда.

Бэртон торопливо выходит, чтобы распорядиться.

Лаборатория. Группа беседует.

Кэбэл. Так вот какой человек ваш Босс! Ну, он не исключение. Мы повсюду находим таких полувоенных

выскочек, занимающихся драками и грабежом. Вот во что выродились бесконечные войны — в бандитизм! А чего другого можно было ожидать? И мы — всё, что осталось от былых инженеров и механиков,— заняты теперь тем, что спасаем мир. В наших руках все, какие остались, воздушные пути, в наших руках море. У нас общие идеи; франкмасонство действенности — братство науки. Мы, естественно, душеприказчики цивилизации, когда все иное потерпело крах!

Гордон. О, я этого ждал. Я ваш, располагайте мной!

Кэбэл. Не мой, не мой! Никаких «хозяев» больше нет. Располагать вами будет цивилизация. Посвятите себя Мировым Сообщениям!

Стук в дверь. Они оборачиваются. В комнату входит идиотический страж. Позади него трое других посланных Боссом.

Один из них (*говорит*). Скажи ему, что он должен идти. Если он сам не пойдет, мы понесем его.

Первый страж. Одному богу известно, что со мной будет, если вы не пойдете, сэр!

Кэбэл пожимает плечами, встает, задумывается, передает свой огромный противогаз Гордону и выходит; стражи почтительно следуют за ним.

В следующей сцене противогаз не фигурирует.

Ратуша. Босс за своим огромным письменным столом. Роксана возле него, настороже. Саймон Бэртон за своим столом. Когда приближаются Кэбэл и стража, Босс подтягивается и принимает властную позу. Кэбэл держит себя непринужденно и фамильярно. Босс — человек плотный и напыщенный. Кэбэл высок, смугл и сухощав.

Кэбэл. Ну-с, о чем вы хотите со мной говорить?

Босс. Кто вы такой? Разве вы не знаете, что эта страна находится в состоянии войны?

Кэбэл. Скажите на милость! Все еще воюет. Тут нужно навести порядок.

Босс. Что вы хотите этим сказать? Какой порядок?! Война есть война. Кто вы такой, спрашиваю я?

Кэбэл делает паузу перед тем, как ответить.

— Закон! — говорит он.

Он поправляется: — Закон и здравый смысл!

Роксана наблюдает его. Потом смотрит на Босса.

Босс (*с некоторым запозданием*). Здесь я закон!

Кэбэл. Я сказал: «Закон и здравый смысл».

Босс. Откуда вы прибыли? Кто вы такой?

Кэбэл. Pax Mundi[1]. Крылья над Миром.

Босс. Ну, знаете, так не являются в воюющую страну.

Кэбэл. А я явился. Разрешите, я сяду.

Садится и, облокотившись на стол, бесцеремонным и умным взглядом рассматривает лицо Босса.

— Итак? — говорит он.

Босс. А теперь спрашиваю вас в четвертый раз: кто вы такой?

Кэбэл. Говорю вам: Крылья, Крылья над Миром.

Босс. Это вздор! Какому правительству вы подчиняетесь?

Кэбэл. Здравому смыслу. Зовите нас летчиками, если вам угодно. Мы сами собой управляем.

Босс. Вы навлечете на себя неприятности, если будете приземляться здесь в военное время. Чем вы занимаетесь?

Кэбэл. Порядок и торговля...

Босс. А, торговля? Можете вы обеспечить нас боеприпасами?

Кэбэл. Это не наша специальность.

Босс. Бензин — запасные части? У нас есть самолеты, у нас есть ребята, немножко натренированные на земле. Но у нас нет горючего. Это мешает нам. Мы могли бы делать дела.

Кэбэл (*задумывается и смотрит себе под ноги*). Могли бы.

Босс. Я знаю, где я мог бы достать горючее. Позднее. У меня свои планы. Но если бы вы наладили временное снабжение, мы бы сделали дело.

Кэбэл. Летчики никому не помогают вести войну.

Босс (*нетерпеливо*). Окончить войну, сказал я. Окончить войну! Нам нужно заключить победоносный мир.

Кэбэл. Мне кажется, я уже слышал эту фразу. Когда был молодым человеком. Но это не положило конца войне.

---

[1] Мир во всем мире (*лат.*).

Б о с с. Ну, слушайте же, господин Авиатор. Будем говорить начистоту. Обратимся к действительности. Вы так важничаете, что, по-видимому, не отдаете себе отчета, что вы арестованы. Вы и ваша машина.

Взаимный немой вопрос.

К э б э л. За мной прилетят другие машины, если я задержусь.

Б о с с. С ними мы будем иметь дело потом. Вы можете открыть здесь торговое агентство, если хотите. Я не возражаю. И первое, что нам понадобится,— это снова увидеть наши самолеты в воздухе.

Он ищет взглядом подтверждения у Бэртона, который одобрительно кивает головой, а затем у Роксаны. Но Роксана не сводит глаз с Кэбэла, ловя каждое его слово.

К э б э л. Да. Замысел превосходный. Но наш новый строй не признает частных самолетов.

Р о к с а н а *(тихо, чтобы расслышал только Босс)*. Какая наглость!

Б о с с *(кидает на нее беспокойный взгляд. У нее есть привычка иногда самовольно брать слово в дискуссиях)*. Я говорю не о частных самолетах. Наши самолеты — это общественные самолеты нашего воюющего государства! Мы — свободное и суверенное государство. В состоянии войны. Я ничего не знаю ни о каком новом строе. Здесь я глава, и я не собираюсь подчиняться вашим законам — ни старым, ни новым!

К э б э л *(откидывается на спинку стула и погружается в размышления. С чуть заметным юмором он произносит)*. Кажется, я попал в беду!

Б о с с. Можете считать, что так и есть.

Саймон Бэртон собирался что-то сказать, но раздумал.

Р о к с а н а *(откровенней)*. Откуда вы явились?

К э б э л *(улыбается и подчеркнуто обращается к ней)*. Вчера я вылетел из нашего штаба в Басре. Ночь я провел на старом аэродроме в Марселе. Мы мало-помалу восстанавливаем порядок и торговлю по всему Средиземноморью. У нас несколько сот аэропланов, и мы строим еще машины, и быстро. У нас опять работают заводы. Я просто хотел разведать, как обстоят дела здесь.

Босс. Разведали! У нас здесь порядок, старый порядок, так что восстанавливать у нас нечего и в помощниках мы не нуждаемся, премного благодарны! Мы — независимое воюющее государство.

Кэбэл. О, это еще надо обсудить.

Босс. Мы не обсуждаем этого вопроса.

Кэбэл. Мы не одобряем таких независимых воюющих государств.

Босс. Вы не одобряете!

Кэбэл. Мы намерены с ними покончить.

Босс. То есть война?

Кэбэл. Как вам будет угодно! Наши знают, что я полетел на разведку. Когда они увидят, что я не возвращаюсь, они пошлют отряд искать меня.

Босс (*мрачно*). Вряд ли они найдут вас.

Кэбэл (*пожимает плечами*). Они найдут вас!

Босс. Они найдут меня приготовившимся. Ну, я думаю, теперь нам ясно, как обстоит дело. Вы, стражи, возьмите этого человека; а если он будет шуметь — дубинками его! Дубинками! Слышите, мистер Крылья над Мозгами? Позаботьтесь об этом, Бэртон! Посадите его в арестантскую внизу.

Он встает, как бы распуская собрание.

Аппарат снимает небольшую комнату позади главного зала предыдущей сцены. Это комната отдыха Босса. Роксана входит первая и поворачивается к Боссу, который следует за нею.

Роксана (*едко*). Как это было умно!

Босс (*мгновенно раздражаясь*). Умно!

Роксана. Да, умно; очень умно было сразу же поссориться с ним!

Босс. Поссориться с ним! Черт побери, он первый начал ссору! Навести порядок собрался! С войной покончить!

Роксана. Но... но за ним кое-кто стоит.

Босс. За ним-то? Да это какой-то воздушный шофер. А говорит со мною, как равный!

Роксана. И поэтому ты вышел из себя и нагрубил ему.

Босс. Я не грубил ему. Я только поставил его на место.

Роксана. Нет, Рудольф! Ты груб! И ты слишком рано разошелся.

Босс. Сегодня тебе что-то не угодишь.

Роксана. Разумеется, когда ты делаешь одну бестактность за другой. Роняешь свой авторитет. Жертвуешь своим достоинством.

Босс. Вот-те на! Да что с тобой?

Роксана. О, я-то видела! Тут твой главный механик — человек необходимый для твоего дела,— а ты не можешь глаз оторвать от его жены! Разве я не знаю тебя! Но бросим это. Я научилась смотреть на это сквозь пальцы. Я опять спрашиваю—все равно, будешь ты мне грубить или нет,—умно ли было так обойтись с этим человеком?

Босс. Как же иначе можно было с ним обойтись? Как?

Роксана. Да ты сообрази! Это первый настоящий авиатор, которого мы увидели за много лет. Подумай, дорогой, что это значит! Тебе нужны самолеты, не правда ли? Тебе нужно привести свои самолеты в порядок? Я, знаешь ли, всегда сомневалась, годится ли для этого дела Гордон. Он довольно красив,— по-своему, конечно, в нем силы не чувствуется,— но есть ли у него сноровка, знания? Он все делает кое-как. Ему нужна только эта его девчонка, которую ты считаешь такой красавицей. Действительно способный человек давно бы уже починил часть этих машин! Я уверена!

Босс. А тут является этот иностранец и собирается навести у меня порядок. И ты предлагаешь мне передать ему мои самолеты со всеми потрохами!

Роксана. Зачем ты говоришь вздор? Ты мог бы убедить его работать — под надзором.

Босс. Под надзором? С этими моими идиотами? Им с ним не справиться.

Роксана. Если и тебе с ним не справиться, повесь его, а его машину спрячь, пока за тебя не взялись другие. Но если он тебе будет по силам...

Босс. Он будет мне по силам!

Роксана. Отлично. Железной рукой в бархатной перчатке. Что пользы оскорблять его и держать взаперти?

Босс. Я с тобой не согласен. Да, не согласен. Теперь слушай. Выслушай меня. Ты не понимаешь. Настало наше время. По-твоему, я дурак. Но я расскажу тебе кое-что, что у меня на уме! Если бы ты больше ценила мой ум. и меньше обращала внимание на мои поступки — это было бы лучше для тебя.

Саймон Бэртон осторожно приближается к ним и почтительно слушает.

Босс. Этот... этот незнакомец... не захватил меня врасплох. Я знал, что так будет!

Крупным планом показаны недоверчивые физиономии Роксаны и Саймона Бэртона.

Босс. Да, я знал, что он явится. Я чувствовал, что они там обогнали нас с воздушными силами. Я чувствовал, что где-то в мире назревает заговор шоферов воздушных автобусов. Отлично! Момент настал. Этого субъекта мы продержим под замком с недельку или около того. Может быть, его еще не скоро хватятся. Я все подготовил к наступлению прямо вверх по долине Флосса на старые угольные и сланцевые шахты, где остались запасы нефти! И тогда мы взмываем ввысь! Крылья над Горным государством! Все смеялись над моим воздушным флотом, который даже по земле не ползает. Посмотрим, засмеются ли теперь.

Роксана. Милый мой, все это очень хорошо. Но это не объясняет, почему ты обращаешься с новоприбывшим, как с врагом. Я не думаю, чтобы Гордон был хорошим механиком. А вот этот, очевидно, да!

Босс. Перестань долбить об этом! Ты всегда воображаешь, что все решительно знаешь лучше меня!

Роксана *(медленно)*. Я сама поговорю с этим человеком.

Босс. Так вот ты к чему стремилась!..

Роксана. Ничего ты не понимаешь!

Босс. Не понимаю! Ты не пропускаешь ни молодых, ни старых. Предоставь этого человека мне! Оставь его в покое!

Небольшая полупустая комната вроде камеры при полицейском участке. Она слабо освещена окном с решеткой. Кэбэл сидит на деревянном стуле, поставив локти на ничем не покрытый стол, и обдумывает положение.

Кэбэл. Я угодил в ловушку. Старая сказка о самоуверенном умнике и свирепом негодяе... Пока меня хватятся, могут пройти недели. Они подумают, что у меня испортилось радио. А тем временем мистер Босс будет делать что ему угодно...

«Бежать?»

Он осматривает камеру. Встает и разглядывает решетку на окне.

«Они, наверное, стерегут мою машину...»

Опять садится, горько смеется над собой и барабанит пальцами по столу совершенно так же, как делал это в третьей части фильма.

Потом нетерпеливо вскакивает. Подходит к окну. Его лицо в тусклом свете крупным планом.

«Вероятно, каждому положено рано или поздно сделать какую-нибудь безнадежную глупость. Так вот и я. Я, планировщик нового мира...

«Как раз теперь, когда все готово...

«Если эта бешеная собака укусит меня, и я умру... любопытно знать, кто же выполнит...

«Незаменимых людей не бывает...»

Он пробует, крепки ли прутья решетки. Его руки, вцепившиеся в прутья. На них наплывает — Сцена перед Ратушей. Небольшой отряд конницы со знаменем отправляется на войну. Приводят двух лошадей, появляются Босс и Роксана и садятся на них.

Весь отряд отъезжает.

Небольшая и не особенно восторженная толпа наблюдает их отъезд. Слабое «ура».

Бой на холме, господствующем над угольными шахтами. Босс руководит операциями. С ним командиры его иррегулярных войск. Они отъезжают галопом.

Угольные шахты. Конница Босса атакует примитивные окопы. Засевшие в них не в силах защищаться и обращаются в бегство. Один или два мгновенных кадра стычки. Солдаты Босса явно побеждают, неприятель разгромлен.

Центральная площадь. Въезжает отряд конницы. Следом появляются торжествующие Босс и Роксана. Боковые улицы украшены флагами. Толпа проявляет

энтузиазм. Народ приветствует Босса и Роксану, которые останавливают коней перед Ратушей.

Группа зрителей крупным планом. Один мужчина объясняет другому.

М у ж ч и н а. Мы захватили угольные шахты и старые нефтяные цистерны, и у нас будет наконец нефть!

Крупным планом показан худощавый возбужденный юнец со значком-розеткой: «Теперь мы к черту разнесем холмы бомбами».

В Ратуше. Днем позже. Босс все еще разгорячен своим триумфом. С ним почти все его окружение, но Роксана первое время отсутствует. Восемь-девять офицеров маленькой армии. Возле письменного стола Босса арестованный Гордон. Босс ходит взад и вперед и ораторствует.

Б о с с. Победа близка. Ваши жертвы были не напрасны. Наша длительная борьба с Горными жителями достигла высшего напряжения. Наша победа у старых угольных шахт дала нам в руки новый запас нефти. Мы снова можем подняться в воздух и посмотреть в лицо налетчикам. У нас около сорока самолетов — огромный флот, осмелюсь сказать, не меньше, чем у кого бы то ни было в мире в настоящее время! Нефть, захваченную нами, мы можем приспособить для наших машин. Это совсем не трудно. Остается только одно: бомбардировать горы и окончательно усмирить жителей. Тогда на некоторое время мы добьемся выгодного мира, мира сильного вооруженного мужа, стерегущего дом свой! И теперь, в момент высшего напряжения, вы, Гордон, наш главный инженер, вздумали отказать нам в помощи. Где мои самолеты?

Г о р д о н. Дело гораздо труднее, чем вы думаете. Половина ваших машин в безнадежном состоянии. У вас нет и двадцати здоровых машин. Точнее, девятнадцать. Остальных вы никогда не поднимете с земли. Это не так просто, как вы воображаете. Мне нужен помощник.

Б о с с. Какой помощник?

Г о р д о н. Ваш пленник.

Б о с с *(поворачивается к нему)*. Вам нужен этот малый в черном — Крылья над Миром? Вы хотите, чтобы его освободили?

Гордон. Он знает свое дело. Я знаю недостаточно. Сделайте его моим... ну, техническим консультантом.

Босс. Не доверяю я вам, техникам!

Гордон. Тогда у вас не будет ни одного летающего самолета.

Босс. Мне нужны эти самолеты!

Гордон пожимает плечами.

Босс. А если вы его получите?

Гордон. Тогда мне нужно, чтобы и доктора Хардинга выпустили.

Босс. Ведь они давнишние приятели.

Гордон. Что ж делать! Если кто в Эвритауне и сумеет приспособить эту грубую нефть для наших самолетов, так только Хардинг. Если не удастся, ничего не выйдет.

Босс. Мы немножко повздорили с Хардингом.

Гордон. Он единственный, кто может сделать это для вас.

Босс. Приведите Хардинга!

Входит Роксана, не без спокойного достоинства, между тем как собрание дожидается Хардинга. Босс бросает на нее такой взгляд, словно хочет сказать, что ей лучше было не приходить. Она стоит, критически оглядывая сцену.

Вводят Хардинга. Он растрепан, руки его связаны. Вид у него такой, словно его избивали.

Босс. Развяжите ему руки.

Страж развязывает Хардинга.

Босс *(останавливается и смотрит на Хардинга)*. Ну?

Хардинг. Что «ну»?

Босс. Приветствие.

Хардинг. Обойдетесь и так.

Страж делает движение, чтобы ударить Хардинга, но тут вмешивается Роксана.

Роксана. Нет!

Босс. Сейчас не в приветствии дело. Об этом поговорим потом. А сейчас подумаем, как нам быть. Вы, Гордон, будете руководить реконструкцией наших воздушных сил. Арестованный Кэбэл будет отдан вам под начало. Куда бы он ни пошел, он будет находиться под стражей и надзором. В этом отношении никаких побла-

жек. И ни вы, ни он не должны подходить ближе чем на пятьдесят ярдов к его самолету. Помните об этом! Вы, Хардинг, будете помогать Гордону в вопросе о горючем и предоставите в наше распоряжение ваши знания по части ядовитых газов.

Хардинг. Говорят вам, я не желаю иметь ничего общего с ядовитыми газами.

Босс. У вас есть знания, и я. если нужно, вырву их у вас. Воюющее государство вам отец и мать, оно единственный ваш покровитель, оно средоточие всех ваших интересов. Нет достаточно сурового наказания для человека, отрицающего это словом или делом.

Хардинг. Вздор! У нас есть долг перед цивилизацией. Вы и вам подобные идете назад, к вечному варварству!

Присутствующие ошеломлены.

Бэртон *(порывается вперед)*. Но ведь это сущая измена!

Хардинг. Во имя цивилизации я протестую против того, что меня оторвали от моей работы! Будь они прокляты, ваши дурацкие войны! Ваши военные материалы и все прочее! Всю мою жизнь нарушила, погубила, искалечила война! Я больше не хочу этого терпеть.

Бэртон. Это измена, государственная измена!

Стражи бросаются к Хардингу, хватают его и крутят ему руки.

Хардинг рычит от боли. Роксана выступает вперед.

Роксана. Нет! Прекратите это.

Стражи останавливаются. Хардинг угрюмо молчит. Босс подходит к нему вплотную.

Босс. Нам нужны ваши услуги.

Хардинг. Ну, чего вы хотите?

Босс. Вы призваны на военную службу. Вы должны теперь подчиняться только моим приказам, и больше ничьим на свете. Здесь я владыка! Я — государство. Мне нужно горючее... и газы.

Хардинг. Ни горючего, ни газов!

Босс. Вы отказываетесь?

Хардинг. Категорически.

Босс. Я не хотел бы идти на крайние меры.

Роксана, не сводя глаз с Гордона, шепчет что-то Бос-

су. Гордон на несколько шагов приближается к аппарату. У него свои планы. Он пристально смотрит на Роксану, словно молча пытается повлиять на нее, рассчитывая на ее помощь. Уверенность и слабый намек на дерзость во всем его облике усиливаются.

Гордон. Сэр, можно мне сказать слово? Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы все эти ваши старые корыта, которые вы величаете своими воздушными силами, опять летали — и летали хорошо?

Босс. Они должны полететь.

Гордон. С помощью этого человека — Кэбэла, которого вы держите в темнице, и с помощью доктора Хардинга вы можете поднять в воздух по крайней мере дюжину ваших самолетов!

Хардинг. Вы предаете цивилизацию! Я не притронусь к ним!

Гордон (*игнорируя его*). Если вы отдадите мне Кэбэла и... если позволите мне переговорить с доктором, я обещаю вам, что вы снова увидите в небе ваш воздушный флот — по крайней мере треть его.

Босс. Вы говорите так, словно заключаете со мной сделку.

Гордон. Прошу извинения, Босс! Не я выдумал эти условия. Они лежат в природе вещей. Вы не получите технических услуг и научной помощи, если не будете прилично обращаться с людьми, которые оказывают ее вам!

Роксана (*Боссу, но так, чтобы все слышали*). Это то, что я говорю все время! Ты слишком грубишь и запугиваешь, мой милый. Есть предел и запугиванию. Помилуй! Битьем даже собаку не заставишь охотиться!

Босс. Мне нужны аэропланы!

Гордон. Хорошо.

Босс. И я намерен командовать здесь!

Роксана. В таком случае ты должен быть благоразумен, мой милый, вот и все.

Крупным планом фигура Босса, недоумевающего, где кончается Власть и начинается Благоразумие.

Гордон и Кэбэл возятся с авиационным мотором, который так смущал Гордона в начале этой части. Они

отлично спелись. Кэбэл работает, а Гордон учится у него. Четыре стража следят, во все суют свой нос и добросовестно слушают, но ничего не понимают. Они переглядываются. Они слишком тупы, чтобы уследить за беседой.

Кэбэл *(сквозь зубы)*. Если бы только они дали нам подойти к моей машине. Там есть радиоустановка.

Гордон. Безнадежное дело... Они не доверяют даже мне.

Кэбэл. Придется нам придумать какую-нибудь штуку.

Гордон. Я мог бы послать людей за вашим запасным бензином. Мне его дадут. Для этой машины.

Кэбэл. Хорошо. *(Потом он говорит громко, словно о машине.)* Всего трудней в этом деле так называемая у-течка, вроде как у-драть. Но у меня есть мысль!

Гордон. Я думаю, мы это устроим. Теперь, когда доктору Хардингу ясна его часть задачи...

Они ободряюще кивают друг другу и затем смотрят на глупые физиономии стражей. Можно говорить без опаски.

Вечер.

Кэбэл сидит в своей камере при свете двух свечей. Вид у него скучающий и унылый. Он оборачивается, услышав стук в дверь.

— Войдите. Что за церемонии!

Страж почтительно распахивает дверь. Появляется Роксана в тщательно обдуманном наряде. Кэбэл не ожидал ничего подобного. В отношении с женщинами у него имеется опыт, но ему совершенно не свойственна жадная предприимчивость Босса. Он встает. Она входит, и повадка ее показывает, что она достаточно сознает производимый ею эффект. Он молча кланяется.

Роксана. Мне хотелось повидать вас.

Кэбэл *(сухо.)* К вашим услугам, сударыня.

Роксана. Вы самое интересное из всего, что случилось в Эвритауне за много лет!

Кэбэл. Вы оказываете мне честь.

Роксана. Вы явились извне. Я начала было забывать, что существует что-нибудь во «вне». Я хочу узнать что-нибудь об этом.

Кэбэл. Разрешите предложить вам мой единственный стул?

Роксана садится и прихорашивается. Потом смотрит на Кэбэла, чтобы проверить, какое она произвела впечатление. Во время последующей беседы Кэбэл стоит возле стола и иногда прислоняется к нему. Он лишь изредка случайно взглядывает на нее, но взгляд у него испытующий.

Роксана. Вы знаете, я неглупая женщина!

Кэбэл. Не сомневаюсь.

Роксана. Наша здешняя жизнь ограниченна. Война — доходный грабеж. Блестящие призы. В некотором роде. Война все тянется и никак не кончается. Флаги. Маршировка. Я обожаю Босса. Я обожаю его с тех пор, как он взял власть в дни Бродячей болезни, когда все другие пали духом. Он правит. Он тверд. Все-все женщины находят его сильным и пленительным. Я не могу пожаловаться. У меня есть все, что можно иметь здесь. Но...

Кэбэл *(с минуту смотрит на нее. «Куда она гнет?» Он издает тихий поощрительный звук)*. М-мм...

Роксана. Мы здесь живем в маленьком, ограниченном мирке. Вы принесли с собой дыхание чего-то большого. Когда я увидела, как вы спускались с небес, когда я увидела, как вы шли к Ратуше, я почувствовала: этот человек живет в большом мире! А вы заговорили о Средиземном море и Востоке, о ваших лагерях и заводах. Я читала о Средиземном море, о Греции, Египте и Индии. Я умею читать — у меня куча старых книг. Я не похожа на большинство нашей молодежи. Я многое узнала до того, как преподавание прекратилось и школы были закрыты. Я хочу увидеть этот далекий мир! Солнце, пальмы, горы, синее море!

Кэбэл. Если б моя воля, вы бы полетели во все эти места через несколько дней.

Роксана *(впадает в задумчивость и потупляет глаза)*. Если бы вы были свободны... И если бы я была свободна.

По лицу Кэбэла видно, что его разбирает любопытство. «Что она затевает?»

Роксана. Я не думаю, чтобы хоть один мужчина понимал хоть одну женщину с самого сотворения мира!

Вам не понять наших фантазий. Какими дикими могут быть наши фантазии!

Кэбэл решает не прерывать ее.

Роксана. Мне жаль, что я не мужчина. *(Она порывисто встает.)* О, если б я была мужчиной!.. Разве мужчина понимает, что такое жизнь женщины? Какими пошлыми нам приходится быть! Мы должны нравиться. Мы обязаны нравиться. И разве нас поощряют, когда мы пытаемся принять серьезное участие в жизни? И так всегда... Мужчины так самодовольны, так слепы, так ограниченны... Чего я только не насмотрелась здесь!.. Несправедливость. Жестокость. Мне бы хотелось сделать что-нибудь для бедных — облегчить их положение. Мне не позволяют. Мне приходится притворяться, будто я увлечена своими нарядами, своими драгоценностями, своим тщеславием. Нередко я занимаюсь собой с болью в сердце... Но я говорю о себе. Расскажите вы о себе — о том большом мире, в котором вы живете. Вы тоже Босс? У вас манеры человека, который повелевает. Вы уверены в себе. Вы заставляете меня бояться вас. Людей, от которых вы явились. Того, что вы собой представляете. До вашего появления я чувствовала себя здесь в безопасности. Я чувствовала: все идет как заведено... как всегда... Без надежды на перемену... Теперь стало иначе. Что вы пытаетесь сделать с нами? Что вы намерены сделать с этим моим Боссом?

Кэбэл. Ну, сейчас, кажется, на очереди другой вопрос: что он намерен сделать со мною?

Роксана. Что-нибудь глупое и насильственное, если я этому не помешаю.

Кэбэл. Мне тоже так кажется.

Роксана. Что, если он убьет вас?..

Кэбэл. Мы придем сюда и все-таки наведем порядок.

Роксана. Но если вас убьют... как вы можете говорить «мы»?

Кэбэл. О, мы не умрем. В том-то и дело, мы берем все в свои руки. В конце концов ни в науке, ни в управлении нет незаменимых людей. Человечество не умирает. Мы существуем всегда.

Роксана. Понимаю. А что же наше Воюющее государство?

Кэбэл. Ему придется уйти в историю. Заодно с тирачозавром и саблезубым тигром.

Роксана *(встает и смотрит на него. Он прислонился к столу и улыбается ей)*. Вы для меня человек совсем новой породы!

Кэбэл. Нет. Нового воспитания. В основе своей — ветхий Адам.

Она *(опять срывается)*. Вероятно, в глубине души каждая женщина презирает мужчину, которым она может командовать. И все женщины презирают мужчин, которые бегают за женщинами...

Кэбэл. Вы случайно не о Боссе ли говорите? Где он сейчас?

Роксана. Пьет и бахвалится. И, кроме того, надеется обмануть меня исподтишка. Боюсь, что это тщетная надежда. О нем нам незачем думать. Если я сказала, что люблю его, то лишь так, как любят грязного, беспокойного ребенка. Я люблю его, но не в нем дело. Думаю я о вас. И об этом вашем новом мире — о, этот ваш мир! — который наступает на нас, я это чувствую.

Пауза.

Кэбэл. Ну?

Роксана. Неужели мужчинам вашего склада не нужны женщины?

Кэбэл. Сударыня, я вдовец и дедушка. Я смотрю на эти вещи с философской отчужденностью. Я не совсем хорошо понимаю, что вы разумеете под словом «нужны».

Роксана. Мужчина остается мужчиной до самой смерти. Неужели вам не нужна помощь женщины? Неужели вам не нужна та безграничная преданность, которой вам никогда не найти в мужчине? Разве вы не видите, что я уже работаю для вас? Смотрите, что я сделала для вас! Я спасла Хардинга от побоев. Я наполовину освободила вас, так что вы можете работать с Гордоном. Я, может статься, сумею в конце концов освободить вас совсем. За что вы меня презираете?

Кэбэл. Я вас нисколько не презираю. Я думаю, что вы самое цивилизованное существо, какое я пока что встретил в Эвритауне.

Роксана. Больше, чем ваши друзья?

Кэбэл. О, гораздо больше.

Роксана польщена. Она спешит сделать следующий шаг:

— Почему бы вам не довериться мне? Вот Гордон, его жена Мэри и ее отец Хардинг — все вы, вы вроде бы вместе. Что-то увлекает вас всех. Вы думаете, я не знаю, что вы строите какие-то планы и что-то делаете? Разве я не могла бы помогать вам? Я знаю эти места, этих людей. Я здесь вроде королевы. Разве я для вас совсем ничего не значу?

Теперь Кэбэл внимательно разглядывает ее. Может быть, она пытается разведать его план побега и выдать его Боссу? Или она решила выдать Босса ему? Или же она ведет сложную игру, готова на то и на другое и заинтересована главным образом в том, чтобы затеять любовную интригу?

Он говорит: — И вы действительно могли бы вернуть мне мой самолет? Разве он не выведен из строя?

Роксана. Нет. Он сам хочет пользоваться им, но не умеет. Никто не трогал самолета. Он стоит на месте. И шесть стражей охраняют его днем и ночью. Даже я сейчас не могла бы пробраться к нему.

Кэбэл, опиравшийся о стол, выпрямляется и стоит перед ней. Она смело встречает его взгляд.

Кэбэл. Что вы, собственно, предлагаете мне?

Роксана. Ничего. Я пришла навестить вас. Вы меня интересуете.

Кэбэл. Ну?

Роксана. И теперь я нахожу вас более интересным, чем когда-либо. Женщина любит помогать. Она любит давать. Я могла бы дать так много — теперь. И если бы я дала?..

Кэбэл говорит тоном уполномоченного: — Воздушная Лига не забудет этого.

Роксана. Воздушная Лига не забудет! Воздушная Лига! Кому дело до Воздушной Лиги? А вы забудете?

Кэбэл. Зачем же мне, в частности...

Роксана. Вы что, глупы? Или хотите оскорбить меня? Я говорю вам, что нахожу вас интереснейшим мужчиной в мире, великим орлом с поднебесья. А вы уставились на меня и прикидываетесь, будто не понима-

ете! Разве вы никогда раньше не встречали женщины? Вы некрасивый и седой. Это неважно.

Манера ее меняется. Она подходит к нему, протягивая руки, словно хочет стиснуть его плечи.

— Ах, зачем мне пререкаться с вами? Разве вы не видите, разве вы не понимаете? Я за вас, если вы хотите меня! Я ваша! Вы большой, сильный, сплошная сталь и достоинство. Теперь, теперь вы позволите мне помочь вам?

Оба слышат какое-то движение за дверью. Она быстро отшатывается. Дверь без церемонии распахивается, и в рамке ее показывается Босс. На нем военная, по его представлениям, форма. Она не лишена известной грубой пышности. На миг он застывает в неподвижности.

Босс. Так вот ты где!

Роксана. Я сказала, что поговорю с ним,— и поговорила!

Босс. Я сказал, чтоб ты оставила его в покое!

Роксана. Да, и чтоб ты остался там пьянствовать и пыжиться изо всей мочи. Рудольф Победоносный! Я знаю, ты дважды посылал приглашения Гордону и его жене! Чтобы она видела тебя во всей твоей славе! А я тут стараюсь разузнать для тебя, что замышляет этот черный захватчик. Ты думаешь, мне очень хотелось разговаривать с ним *(она поворачивается к Кэбэлу)*, с этим холодным седым стариком? Пока ты здесь пыжишься, в Басре готовят все новые самолеты!

Босс. В Басре?

Роксана. Там его главная квартира. Разве ты никогда не слыхал о Басре?

Босс. О таких материях могут разговаривать только мужчины.

Кэбэл. Ваша дама подвергла меня суровому допросу. Но суть дела в том, что там, в Басре, самолеты вылетают днем и ночью, как шершни из гнезда. Что будет со мной, неважно. Они доберутся до вас. Новый мир объединившихся летчиков доберется до вас. Да вот, прислушайтесь! Их почти можно слышать — они приближаются.

Это поразило на минуту воображение Босса, но он приходит в себя:— Ничего подобного!

Роксана. То, что он говорит,— правда.

Босс. То, что он говорит,— блеф!

Роксана. Помирись с летчиками и отпусти его.

Босс. Это равносильно отказу от нашего суверенитета.

Роксана. Но ведь прилетят другие! Еще машины и еще.

Босс. А он здесь — залог их хорошего поведения. Полно, сударыня! Надо положить конец этой вашей маленькой... дипломатической экскурсии.

Он распахивает перед ней дверь.

Роксана кипит. Хочет что-то сказать, но выходит.

У дверей она оборачивается и пускает в Босса прощальную стрелу:

— У тебя проницательности, как у...— Она ищет подходящего слова и вдруг находит: — ...как у жабы!

После ее ухода Босс поворачивается и идет к Кэбэлу.

Босс. Я не знаю, что она тут вам говорила. Может быть, и не хочу знать. Не настолько, во всяком случае, как ей кажется. На ее капризы надоело обращать внимание. С меня хватит. Но я не дурак. Между мной и вами не может быть мира. Решительно никакого. Мир — или ваш, или мой. Он будет моим, или я умру в бою. После всех этих угроз — рои шершней и так далее — вы все-таки заложник. Поймите это. К вам никто не придет. Вашему другу Гордону придется обойтись без вас. И не будьте так уверены в своей победе! Стало быть, сидите здесь и думайте, мистер Крылья над Миром!

На другой день. Лаборатория д-ра Хардинга, залитая ярким дневным светом. Мэри стоит, прислонившись к рабочему столу, Роксана разговаривает с ней.

Роксана. Дело не только в том, что я хочу оградить вас от оскорблений Босса. О! Я знаю его. Но я хочу поговорить с вами об этом Кэбэле и Мире Летчиков, о котором столько говорят. Что это за новый мир приближается? Действительно ли это новый мир? Или только старый, одетый по-новому? Понятен ли вам Кэбэл? Создан ли он из плоти и крови?

Мэри. Он великий человек. Мой отец знал его много лет назад. Мой муж преклоняется перед ним.

Роксана. Он такой холодный, такой озабоченный. И такой... интересный. Могут такие мужчины любить?

Мэри. Может быть, особенной любовью.

Роксана. Любовь на льду! Если этот новый мир со своими воздушными кораблями, наукой и порядком осуществится, что будет с нами, женщинами?

Мэри. Мы будем работать, как мужчины.

Роксана. Вы это серьезно? А вы из плоти и крови?

Мэри. В такой же мере, как мой муж и отец.

Роксана (*с бесконечным презрением*). Мужчины! Порою, когда я думаю об этом тощем, угрюмом Кэбэле, я верю, что ваш мир должен прийти. А потом я думаю: не может этого быть. Не может! Это сон. Будет казаться, что началась новая жизнь, но она не начнется. Просто новая группа людей захватит власть. И опять будут войны. И борьба.

Мэри. Нет, придет цивилизация. Настанут мирные времена. Кошмарный мир, в котором мы живем,— вот что сон, вот чему придет конец!

Роксана. Нет, нет. Вот это действительность!

Мэри (*смотрит вперед, в пространство*). Неужели вы в самом деле думаете, что война, борьба, случайные проблески счастья, общая нищета — весь этот жалкий нестройный мир, окружающий нас, неужели вы думаете, что все это вечно?

Роксана. Вы хотите невозможного. Ваш мир прекрасен в своем роде, но немыслим. Вы требуете от людей слишком многого. Им будет лень создавать его. Вы требуете, чтобы они желали неестественного. Что нам нужно? Нам, женщинам? Знания, цивилизация, благо человечества? Вздор! О какой вздор! Мы хотим удовлетворения. Мы хотим блеска. Я хочу быть любимой, сознавать, что я нужна, желанна, горячо желанна, чувствовать себя блестящей и казаться блестящей. Вы думаете, вы хотите чего-нибудь иного? Нет. Но вы еще не научились смотреть фактам в лицо! Я знаю мужчин. Каждый мужчина желает одного и того же — славы, блеска! Славы в какой бы то ни было форме. Славы быть любимым — мне ли не знать? Славу они любят больше всего. Славу управления всем здесь — славу войны и победы. Этот ваш прекрасный новый мир никогда не наступит. Чудесный мир разума! Он был бы не нужен, если б даже и наступил. Он был бы тихий и без-

опасный и — бррр! — скучный. Ни любовников, ни воинов, ни опасностей, ни приключений.

Мэри. Ни приключений? В том, чтобы помогать перестраивать мир, — нет славы? Да вы бредите!

Роксана. Помогать мужчинам! Зачем нам работать и трудиться на мужчин? Пусть лучше они трудятся на нас.

Мэри. Но мы можем трудиться вместе с ними!

Роксана. А чем же они тогда будут заниматься?

Мэри. Великими делами.

Роксана. В этих великих делах нет вкуса. Никакого! Ни капли! Эти летчики, они завоюют мир. А потом мы завоюем их, какими бы сухопарыми, серьезными и трезвыми они ни были.

Мэри. Если бы я думала, что это все, на что мы годимся...

Роксана. Это и есть все, на что мы годимся. Неужели брак с Гордоном ничему вас не научил?

Мэри с отвращением смотрит на нее. Но не знает, что возразить.

Слышится быстро нарастающий гул самолета. Они поворачиваются к окну и смотрят. Обе взволнованы.

Они вытягивают шеи, чтобы разглядеть аэроплан, кружащий у них над головой. Он производит сильный знакомый шум.

Роксана. Смотрите! Это ваш Гордон. Он полетел наконец!

Летит самолет. В самолете за рычагами управления Гордон. Он доволен. За ним сидит страж с розеткой. Гордон поворачивает машину. Виден Эвритаун далеко внизу. Машина летит дальше. Страж ерзает на своем месте. Он протестует, но его не слышно из-за рева мотора. Гордон не обращает на него внимания. Страж похлопывает Гордона по плечу, показывает ему знаками, что надо вернуться, и наконец, получив в ответ лишь веселую улыбку, наставляет на него револьвер. Они испытующе смотрят друг на друга. Страж неуверенно угрожает. Гордон указывает на край кабины. Он вдруг усмехается, раскусив своего противника, и показывает ему нос. Самолет резко взмывает вверх, и страж, забыв

про револьвер, судорожно хватается за что попало в явном испуге.

Самолет делает мертвую петлю, затем «падение листом».

Страж все это время терпит невыносимые муки. Он роняет револьвер и хватается за борта кабины.

Револьвер падает. Ударяется оземь и взрывается.

Аэроплан улетает вдаль, за холмы.

«Вот я и удрал!» — доносится голос Гордона.

Пока он говорит, наплывает следующая сцена.

Конференц-зал в Басре, похожий на ультрасовременный кабинет для заседания правления. Меблировка темная, рациональная. Опять работают телефоны. В большое раскрытое окно виден огромный и все расширяющийся аэродром Басры, самолеты прилетают и улетают. Вдали дымят фабричные трубы. Картина являет неожиданный контраст с общей разрухой, господствовавшей на протяжении фильма, начиная с войны. С десяток молодых и пожилых людей сидят за столом; они привыкли к тому, что происходит за окном, и совершенно не обращают на это внимания. Гордон говорит стоя — он слишком возбужден, чтобы сидеть.

Гордон. Вот я и удрал. Там вы найдете Кэбэла. Босс Эвритауна — буйный хулиган, от него можно ожидать чего угодно. Нельзя терять ни минуты!

Пожилой мужчина. Разумеется, нельзя терять ни минуты. Полуэскадрилья «А» уже на вылете. Вы готовы полететь с нами, мистер...?

Гордон. Гордон, сэр.

Пожилой мужчина начинает набирать номер телефона.

Молодой человек. Это дает нам случай испытать новый анестетический препарат. Умиротворяющий газ... Жаль, что я не могу полететь...

Наплыв, следующая сцена.

Спальня Босса. Это большая неопрятная комната, обставленная лучшей мебелью, какую можно было награбить в округе. Босс в дезабилье, он только что встал с постели. Он еще заспанный. С ним Бэртон, а у дверей стоит курьер.

Бэртон. Наконец-то у нас есть определенные сведения.

Босс. Какие?

Слуга приносит поднос с завтраком и ставит его на стол.

Бэртон. Гордон не упал в море. Он удрал. С рыболовного судна видели, как он направлялся к французскому берегу. Вероятно, он добрался до своих приятелей.

Босс *(кисло)*. Ну?

Бэртон. Он вернется. Он привезет с собой других.

Слуга уходит.

Босс еще не совсем проснулся и брюзжит: — Будь она проклята, эта Воздушная Лига! Черт бы побрал всех летчиков, и газометателей, и механиков! Зачем мы не оставили в покое их машины и химикалии! Надо было догадаться. Зачем я полез в это летное дело?

Бэртон. Что ж, нам нужны были самолеты — против Горного государства. Не мы, так кто-нибудь другой опять завел бы самолеты, газы и бомбы. Эти люди так или иначе вмешались бы.

Босс. Зачем только разрешили все эти науки? Зачем дали этому воскреснуть? — Он без увлечения принимается за завтрак. Опять начинает: — Наука! Это враг всего, что есть естественного в жизни! Мне эти летчики ночью снились. Рослые, страшные, все в черном, словно не люди. Наполовину машины. Бомбят и бомбят!

Бэртон. Да, бомбить они будут, это как пить дать.

Босс. Тогда мы будем с ними драться. После того, как Гордон сбежал, я вызывал к себе двух-трех летчиков. Это ребята смелые. Они еще покажут себя! *(Он ходит взад и вперед, уплетая хлеб.)* Мы будем драться с ними. Будем драться! У нас есть заложники... Теперь я рад, что мы их не расстреляли. Интересно, смог бы этот Хардинг... Ну, разумеется! Он может рассказать нам, как бороться с этим газом. Хотя бы даже нам пришлось для этого вывернуть ему руки или заставить его проглотить половину собственных зубов. Подать его сюда!

Бэртон у двери кличет людей и отдает приказания.

Босс ободрился и ест теперь с большим аппетитом: — Рано или поздно им придется спуститься на землю. Что такое эти Мировые Сообщения? Горстка людей, таких же, как мы. Они не волшебники.

Перед кое-как сколоченным ангаром выстроился ряд старых, потрепанных самолетов. Перед ними стоит несколько очень молодых и на вид неопытных летчиков. Босс делает им смотр. Возле него Роксана.

Босс (*начинает свою речь*). Вам вверяю я эти хорошие, эти испытанные и проверенные машины! Вы не механики — вы воины. Вас учили не мыслить, а действовать и — если понадобится — умирать. Я приветствую вас, я, ваш Босс!

Летчики довольно неохотно отправляются к своим машинам и запускают моторы. Это почти что показ наших современных (1935) машин, в последней стадии разрушения и после бесконечных ремонтов.

Общим планом, очень далеко — новый тип бомбардировщика, летящего с какой-то беспощадной решимостью по сравнению с прыжками и неуверенным летом машин Босса. Это возвращается Гордон. За ним, где-то над самым горизонтом, следуют еще два больших бомбардировщика.

У этой машины свой особенный, характерный шум, которому должна вторить угроза в музыке фильма.

Более крупным планом — части этого огромного бомбардировщика. Летчики (трое мужчин и две женщины), стоя, смотрят вниз, на землю, один из них Гордон. Гордон в тревоге.

Просторная пещера, перекрытая балками обрушенного строения. Из нее открывается вид на пригородные развалины и отдаленный холм. Босс с Бэртоном, Роксаной и своим штабом. Босс рассматривает в бинокль знакомую линию горизонта. Стражи вводят Мэри и Хардинга. Босс оборачивается к ним.

Босс. Что вы знаете об этих людях — о Воздушной Лиге? Есть у них газ? Какой газ?

Хардинг. О газе ничего не знаю.

Босс. Эй, где противогазы? Подайте сюда.

Два парня приносят противогазы — карикатура на существующие.

Босс. Расскажите нам хотя бы об этих масках.

Хардинг осматривает противогаз, разрывает его и бросает на пол: — Дрянь! Абсолютно бесполезны.

Босс. Какой у них газ?

Хардинг. Газовая война не моя специальность.

Босс. Ну они, во всяком случае, не могут отравить нас газом, раз вы здесь.

Бэртон *(в ужасе)*. Вот они. Слушайте. Они уже летят!

Необычный рокот самолетов Гордона и сопровождающая его музыка постепенно становятся громче.

Босс бросается вперед и смотрит в бинокль:— Неуклюжие махины! Наши ребята собьют их в пять минут. Они слишком неуклюжи. Как! Наших поднялось только пять? Где же остальные?

Что-то невидимое приводит группу во внезапное замешательство. В отдалении наземь падает машина, объятая пламенем.

Босс. Вперед, атакуйте его!

Громкий взрыв. Вдали падает еще один горящий аэроплан.

Роксана. Бедняга, в него попали!

Босс. Они оба снижаются. Трусы!

Роксана. Но они не могут выпустить газ, как могут они прибегнуть к газам? Ведь у нас есть заложники!

Босс оборачивается и смотрит на заложников: — А! Заложники! Я еще не сдался. Выведите их, вот сюда! Свяжите их! Выведите их на открытое место, где их будет видно!

Стражи выводят Мэри и Хардинга наружу и привязывают к двум столбам. Крупным планом показано, как Мэри и Хардинга привязывают к столбам. Они, не дрогнув, смотрят друг на друга. Потом поднимают глаза к небу.

Босс направляется к ним, размахивая револьвером. Он кричит в небо:— Снижайтесь, или я застрелю их! Вы хотите бомбить ваших собственных заложников? Снижайтесь, или я стреляю!

Он вспоминает о Кэбэле.— Где тот, другой? Он главный заложник. Это лучше всего! Его они узнают! Ступайте, четверо, и приведите его...

Мягкий глухой удар, и на некотором расстоянии взрывается бомба. Звук не похож на разрыв обычной бомбы; скорей на звук, с которым вырывается облако пара.

С о л д а т *(кричит)*. Это газ?

Босс машет револьвером в сторону Мэри и Хардинга:— Вы-то, во всяком случае, умрете раньше меня! — Роксана стоит возле него. Взрывается еще одна бомба, поближе. Босс с выражением отчаянной решимости наводит револьвер на Хардинга, но Роксана ударяет по револьверу в момент, когда он разряжается.

Б о с с. Ты против меня?

Р о к с а н а. Разве ты не видишь? Он победил тебя. Смотри!

Видно, как вдали шатаются и падают солдаты.

На этот раз газ прозрачен, он напоминает колеблющееся знойное марево. Передний план еще совершенно чист, но чуть подальше мерцание.

Роксана бросается к Мэри и прижимается к ней: — Мэри, я никогда не делала вам зла! Я спасла вашего отца! Я спасла вас! Не можете ли вы крикнуть вашему мужу — остановить это?

Совсем близко — крещендо ухающих взрывов! Ух! Ух! Ух! Количество газа увеличивается, он подползает все ближе. Аппарат сосредоточивается на лице Босса.

Босс с изумлением видит, как его люди постепенно поддаются действию газа. Он вздрагивает и подбирается.

Б о с с. Расстреляйте их всех, что вы все делаете, почему вы не шевелитесь? Я не потерплю этого. Что случилось? Все плывет перед глазами! Все поплыло...

Он проводит рукой по глазам, словно не в состоянии больше видеть или думать отчетливо. Отирает рот и трет глаза. Лицо его вдруг искажается в последнем отчаянном усилии противостоять действию газа.

Теперь газ мерцает по всему экрану. Мерцание становится настолько сильным, что лицо Босса виднеется как сквозь волнующуюся воду.

Б о с с. Стреляйте, говорю я вам! Стреляйте! Стреляйте! Мы еще мало расстреливали! Мы щадили их. О, эти интеллигенты! Эти изобретатели! Эти эксперты! Теперь они добрались до нас! Мир будет принадлежать либо нам, либо им. Что они значили, когда их было несколько сотен? Мы проявили слабость, слабость. Истреб-

ляйте их, как паразитов! Перебейте их всех!.. Почему я должен терпеть поражение? Слабость! Слабость! Слабость — роковая ошибка... Стреляйте!

Мерцание превращается в вихрь концентрических кругов.

В этом вихре появляется темная фигура Кэбэла. Он опять в своем огромном противогазе и не обнаруживает никаких признаков обморока.

Кэбэл. Ваши часовые, кажется, заснули. Я и вышел... Весь город засыпает... Вы вынудили нас прибегнуть к этому.

Картина внезапно проясняется. Босс в этот момент летит наземь. Он теряет сознание, и дальнейшее зритель видит уже не его глазами. Он падает как раз в то мгновение, когда прекращается газовый вихрь. Теперь высокая черная фигура Кэбэла стоит на переднем плане.

Все остальные без чувств лежат перед ним...

Кэбэл. А теперь — к Миру Летчиков и новой жизни человечества!

Аппарат поворачивается так, что видна только одна сторона головы и одна рука Кэбэла. Полностью его фигура на экран не попадает. Виден только профиль его противогаза, черная рука и плечо.

Мэри в сидячем положении у столба, к которому ее привязали; Роксана грациозно прикорнула у ее ног. Босс лежит ничком на переднем плане, вытянув вперед руку, сжатую в кулак. Хардинг свисает со своего столба. Несколько поодаль, на куче мусора, лежит Бэртон, а дальше — солдаты и слуги.

Кэбэл приближается к этой группе.

— Вам неудобно, Хардинг,— говорит он и распускает веревки, приводя бесчувственное тело Хардинга в сидячее положение.— Вот так!

Потом он поворачивается к обеим женщинам: — Ну, мои милые, вам придется поспать немного! Ничего не поделаешь!

Он стоит и смотрит на них. Спокойные лица обеих женщин крупным планом. На лице Мэри выражение полного мира. Роксана даже в бесчувственном состоя-

нии пытается быть пленительной. Слышится голос Кэбэла.

Кэбэл. Мэри и мадам Роксана! Любопытный контраст. Мадам Роксана. Прелестное, весьма прелестное существо, но как быть с этим весьма прелестным существом? Вечная авантюристка. Обыкновенная хорошенькая, ничем не занятая женщина. Дама! Смела. Пленительна. Ума достаточно для бесконечных интриг. И своеобразная энергия. До конца дней своих она будет делать глазки мужчинам. Теперь, когда боссы разделили участь богачей, настал, вероятно, наш черед. Она пойдет за теми, у кого в руках сила. И, позвольте признаться вам, моя милая, теперь, когда вы меня не слышите и не можете меня перехитрить, что, принимая во внимание мое высокое назначение и почтенный возраст, я нахожу вас гораздо более интересной и волнующей, чем следовало бы. Мужчины, как вы сказали, остаются мужчинами до конца дней своих. Вы добираетесь до нас! Жаль, что мы не можем постоянно держать вас под действием газа. В пользу гаремных порядков можно было бы многое сказать. Неужели вы должны продолжать ваши штуки и в нашем новом мире?

Аппарат отдаляется, так что теперь он охватывает все усыпленные тела.

Кэбэл. Новый мир со старым мусором! Наша работа только начинается.

Над Эвритауном занимается заря. Предрассветное небо. Перспектива переулка. Повсюду лежат фигуры спящих. Гордон и группа его спутников, несколько летчиков и две молодые женщины, все в черных кожанках, ходят среди развалин. Они уже без противогазов. Один из них мимоходом срывает флаг-розетку.

Первый молодой летчик. Они проспят еще сутки.

Второй летчик. Что ж, мы им дали наконец понюхать цивилизации!

Первый летчик. Когда дети капризничают, нет ничего лучше, как уложить их спать!

На окраине города по склону горы, на знакомом уже нам горизонте, спускаются удивленные крестьяне в грубом холщовом платье и деревянных башмаках.

Люди приходят на Площадь, усеянную спящими. Некоторые из спящих начинают шевелиться. Через сцену движется группа новых летчиков в черных костюмах, но без масок и шлемов.

Народ таращится на летчиков, силуэты лохматых, нечесаных затылков даны очень крупно на переднем плане.

Упадочное варварство наблюдает возвращение цивилизации!

Опять конференц-зал у аэродрома в Басре. Теперь за окном оживленная деятельность. Носятся огромные грузовики. Люди бегают взад и вперед. Аэропланы нового типа по семи сразу, эскадрилья за эскадрильей, поднимаются в воздух.

Стол теперь завален картами, и секретари стоят наготове, чтобы дать требуемое разъяснение. Костюмы строгие, слегка «футуристские», все больше костюмы летчиков или бортмехаников.

Совет заседает в том же составе, но рядом с председателем высится теперь фигура Кэбэла.

Кэбэл, склонившись над картой: — Вот как я представляю себе план операций. Осесть, организоваться, наступать. Эта зона, потом та. Наконец, крылья над всем миром, и новый мир начинает свое существование. Мы будем вытеснять бандитов все больше и больше.

Война Летчиков. Множество аэропланов странных и невиданных форм поднимается в воздух. Они закрывают небо. Короткий воздушный бой между тремя нормальными боевыми самолетами старого типа и одним из новых самолетов.

По разоренной местности убегают бандиты со знаменами и в старой военной форме, а носящиеся над ними новые самолеты бомбят их. Бомбы разрываются, газ обволакивает бандитов.

Новые самолеты пишут на небе: «Сдавайтесь!»

Бандиты выползают из своих прикрытий и сдаются, поднимая руки вверх. В другом городе бандиты выбегают из домов, когда самолеты приближаются. Они сдаются.

Небо усеяно новыми самолетами. Сотни людей спускаются на землю с парашютами. Бандиты стоят и ждут.

Шагает шеренга пленных. Они несут с собой полковые знамена. Это последние оборванные остатки регулярных армий старого строя. Это конец организованной войны. Группа новых летчиков наблюдает их парад. В небе реют новые самолеты.

ЧАСТЬ X

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Назначение этой части — показать как можно короче и энергичнее переход от 1970 к 2054 году. Век колоссальной механической и индустриальной энергии должен быть отображен немногими моментами на экране и в музыке. Музыка должна начинаться чудовищным шумом и звоном и мало-помалу, по мере того как спокойная эффективность побеждает лихорадочное напряжение, переходить на все более плавные ритмы. Кадры быстро сменяются один другим, и перерывы между ними заполнены загадочными и диковинными механическими движениями. Маленькие фигурки людей движутся между чудовищными механизмами и становятся все более карликовыми по мере усиления механической энергии.

Взрыв заполняет экран. Когда дым рассеивается, мы видим работу инженера этого нового века. Сначала идет грандиозная уборка старого материала и подготовка к новому строительству. Работают исполинские краны. Старые, разбитые стальные конструкции сносятся прочь. Даются кадры уборки старых зданий и развалин.

Затем следуют кадры, показывающие эксперименты, проектирование и создание новых материалов. Показана огромная силовая станция и детали машин. Видны экскаваторы, роющие колоссальный котлован. Транспортеры уносят прочь мусор. Выемке грунта придается особенное значение, ибо Эвритаун 2054 года будет высечен в горе. Он не будет городом небоскребов.

Химический завод. Темная жидкость пузырится в исполинских ретортах, работа идет быстро и гладко. Рабочие в масках движутся по всем направлениям. Жид-

кость выливается в формовочную машину, выделывающую стены для новых зданий.

Строятся металлические каркасы нового города, и огромные плиты из формовочной машины укладываются на свои места, образуя стены. Начинают проступать линии нового подземного города — Эвритауна, смелые, колоссальные.

Кипящие речные пороги сменяются укрощенным глубоким потоком — символ материальной цивилизации, подчиняющей себе природу.

Эта часть заключается фантастической симфонией могучих вращающихся и качающихся контуров в широком потоке музыки.

На экране дата: 2054 год.

Громкий ворчливый голос прорывается сквозь заключительную фазу этой музыки «Перехода»: «Не нравятся мне эти машинные триумфы!»

Это голос Теотокопулоса, мятежного художника новой эры. На экране очень крупным планом появляется его лицо. Он говорит энергично и с горечью: — Не нравятся мне эти машины! Не нравятся мне они, все эти вертящиеся колеса! Все идет так быстро и гладко. Нет!

Аппарат отступает от него, и теперь видна вся его фигура, он сидит у подножия огромной глыбы мрамора. На нем белый комбинезон скульптора, он держит резец и деревянный молоток.

В кадр входит другой скульптор, бородатый мужчина: — Ну, что мы можем тут сделать?

Теотокопулос, словно раскрывая мрачную тайну, произносит: — Говорить!

Бородач пожимает плечами и делает смешную гримасу, словно обращаясь к третьему собеседнику, присутствующему в зале.

Теотокопулоса взорвало: — Говорить! Радио имеется повсюду. Этот современный мир полон голосов. Я заговорю всю эту механизацию!

Б о р о д а ч. Да позволят ли еще вам?

Теотокопулос *(властно)*. Позволят. Я назову свои беседы «Искусство и жизнь». Это звучит довольно безобидно. И я ополчусь на этот их Прекрасный Новый Мир, и тогда держитесь!

Снова на экране дата: 2054.

ЧАСТЬ XI

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА УЗНАЕТ О НОВОМ МИРЕ

Большое помещение, нельзя сказать, что комната,— нечто среднее между оранжереей и большой гостиной. Ни колонн, ни прямых углов. Над головой мягкие линии круглого свода. Прекрасные растения и фонтан в бассейне. Сквозь растения виднеются Городские Дороги. Старик лет ста десяти от роду, но красивый и хорошо сохранившийся, сидит в кресле. Хорошенькая девочка (лет восьми или девяти) лежит на кушетке и смотрит на какой-то аппарат, на котором появляются картины. Он управляется простой ручкой. Какое-то причудливое животное — может быть, обезьяна капуцин — играет мячом на ковре. На стуле валяется кукла в утрированном костюме той эпохи.

Девочка. Я люблю эти уроки истории.

Аппарат показывает Нижний Нью-Йорк сверху — лекция с видами, снятыми с самолета.

Девочка. Какой смешной был Нью-Йорк — весь торчком и весь в окнах!

Старик. В старину так и строили дома.

Девочка. Почему?

Старик. У них не было внутреннего освещения городов, как у нас. Вот им и приходилось поднимать свои дома к дневному свету — если такой бывал. У них не было хорошо смешанного и кондиционированного воздуха!

Он поворачивает ручку и показывает аналогичный вид Парижа или Берлина.

— Все жили наполовину на открытом воздухе. И везде были окна из гладкого, хрупкого стекла. Эпоха окон тянулась четыре столетия!

Аппарат показывает ряды окон — разбитых, треснувших, заплатанных и т. п. Коротенькая фантазия на тему об окнах.

Старик. Им как будто и в голову не приходило, что внутренность домов можно освещать нашим собственным солнечным светом, не имея надобности поднимать дома в воздух так высоко.

Девочка. Как же люди не уставали ходить вверх и вниз по этим лестницам?

Старик. Они уставали и болели так называемыми простудами. Все простужались, кашляли и чихали, и глаза у них слезились.

Девочка. Что это значит — чихать?

Старик. Ну, ты знаешь. Апчхи!

Маленькая девочка приподнимается в восторге.

Девочка. Апчхи! Все говорили апчхи! Вот было забавно!

Старик. Не так забавно, как ты думаешь.

Девочка. И ты все это помнишь, прадедушка?

Старик. Кое-что помню. Мы болели насморками и несварением желудка тоже — от глупой и плохой еды. Жизнь была убогая. Никто никогда не был по-настоящему здоров.

Девочка. Что ж, люди смеялись над этим?

Старик. По-своему смеялись. Они это называли юмором. Нам требовалось очень много юмора. Я пережил страшные времена, дорогая моя. О, какие страшные!

Девочка. Ужас! Я не хочу ни видеть, ни слышать этого. Войны. Бродячая болезнь и все эти страшные годы. Это никогда больше не вернется, прадедушка? Никогда?

Старик. Не вернется, если прогресс не замрет.

Девочка. Теперь выдумывают все новые вещи, да? И делают жизнь все лучше и лучше?

Старик. Да... Более приятной и смелой... Я, пожалуй, старик, дорогая моя, но кое-что мне представляется уж чересчур смелым. Это Межпланетное орудие, из которого они все стреляют да стреляют.

Девочка. А что это такое — Межпланетное орудие, прадедушка?

Старик. Это пушка, которую разряжают при помощи электричества, множество пушек одна в другой,

и каждая выстреливает следующую. Я не совсем хорошо разбираюсь в этом. Но цилиндр, который выстреливается напоследок, летит так быстро, что — фюить! — отрывается прочь от земли.

Девочка (*упоенно*). Как! Прямо в небо? К звездам?

Старик. Может быть, они со временем доберутся и до звезд, но теперь они стреляют в луну.

Девочка. Значит, они стреляют цилиндрами в луну? Бедная луна!

Старик. Не совсем в нее. Они выстреливают цилиндр так, что он облетает вокруг луны и возвращается обратно; а в Тихом океане есть безопасное местечко, где он падает. Они стреляют все точней и точней. Они говорят, что могут указать место его падения с ошибкой не больше чем в двадцать миль и на том участке моря все приготовлено для него. Понимаешь?

Девочка. Но ведь это замечательно! А люди могут полететь в цилиндре? Смогу я полететь, когда вырасту? И увидеть другую сторону луны! И упасть обратно в море — плюх?!

Старик. О, людей они еще не посылали. Из-за этого и шумит Теотокопулос.

Девочка. Тео-котто...

Старик. Теотокопулос.

Девочка. Какое смешное имя!

Старик. Это греческое имя. Он потомок великого художника, которого звали Эль Греко. Теотокопулос — вот так.

Девочка. И ты говоришь, он недоволен?

Старик. О, это ничего!

Девочка. А не больно будет летать на луну?

Старик. Мы не знаем. Одни говорят: да, другие — нет. Они уже посылали мышей в круговой полет.

Девочка. Мышей в полет вокруг луны?

Старик. Они разбиваются, эти бедные зверьки! Они не знают, как держаться, когда начинаются толчки. Вероятно, этим и вызваны разговоры о том, чтобы послать человека. Он-то сумеет держаться...

Девочка. Он должен быть очень храбрый, правда?.. Вот бы мне полететь вокруг луны!

Старик. Всему свое время, дитя мое. Не заняться ли тебе опять историей?

Девочка. Я рада, что не жила в старом мире. Я знаю, что Джон Кэбэл и его летчики почистили его хорошенько. А ты видел Джона Кэбэла, прадедушка?

Старик. Ты можешь увидеть его на своих картинках, дорогая.

Девочка. Но ведь ты видел его, когда он был жив, ты взаправду видел его?

Старик. Да. Я видел великого Джона Кэбэла своими глазами, когда был маленьким мальчиком. Худощавый смуглый старик с такими же белыми волосами, как у меня.

На экране на мгновение появляется Джон Кэбэл, каким мы его видели на совете в Басре.

Старик *(добавляет)*. Он был дедушкой нашего Освальда Кэбэла, президента нашего Совета.

Девочка. Так же, как ты мой прадедушка?

Старик гладит девочку по голове.

На эту сцену наплывает следующий кадр, показывающий руку на столе. На руке легкая рукавица, а на рукавице нечто вроде диска — круглого жетона, на котором читаем: «Освальд Кэбэл, Председатель Совета Руководства».

Такие диски на запястьях или повыше локтя являются обычной принадлежностью костюмов этой эпохи.

ЧАСТЬ XII

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Эта рука задерживается с минуту на экране. Пальцы ее барабанят по столу, напоминая манеру Джона Кэбэла в первой части фильма. Это наследственная привычка. Затем аппарат отступает, и мы видим Освальда Кэбэла в его кабинете в Управлении города Эвритауна.

Комната такого же стиля и архитектуры, как в предыдущей сцене. Нет ни окон, ни углов, но по какому-то одушевленному фризу, по полосе стены над головой Кэбэла, проносятся призрачные облака и волны, колеблющиеся

деревья, гроздья цветов и т. п. Непрерывная беззвучная смена декоративных эффектов. На письменном столе перед Кэбэлом большой диск телевизора, телефон и другие аппараты.

Освальд Кэбэл — более спокойное и более моложавое издание своего предка. Он темноволос, и волосы его, как у всех в новом мире, изящно причесаны. Костюм его сделан из белого шелкового материала с чуть заметной и простой вышивкой. Изящество и белизна его, и в особенности ширина в плечах, резко контрастируют с плотно облегавшим Джона Кэбэла костюмом летчика.

Кэбэл *(говорит, обращаясь к невидимому собеседнику)*. Стало быть, Межпланетное орудие прошло все предварительные испытания, и теперь остается лишь отобрать желающих лететь!

Аппарат отступает, и мы видим, что Кэбэл не один. Он совещается с двумя инженерами. На них темные и простые костюмы, широкие в плечах, по моде того времени,— не кожаные рабочие костюмы и не что-нибудь другое в этом роде. В век технического совершенства нет надобности в комбинезонах и в платье, не пропускающем жира. Один сидит на стуле новейшей формы. (Вся мебель металлическая.) Другой непринужденно опирается на стол.

Первый инженер. Тут-то и начнутся неприятности!

Второй инженер. Обращаются тысячи молодых людей — юношей и девушек. Я и не представлял себе, что луна так заманчива!

Первый инженер. В сущности, орудие уже готово. Есть риск, но в пределах допустимого. И положение луны в ближайшие три-четыре месяца гарантирует наилучшие условия для полета. Теперь надо только выбрать двоих.

Кэбэл. Ну?

Второй инженер. Будут затруднения. Этот Теотокопулос трезвонит об этом по радио.

Кэбэл. Он фантастический субъект.

Второй инженер. Да, но он будоражит публику. Нелегко будет отобрать этих молодых людей.

Первый инженер. Мы просмотрели тысячи предложений. Мы отвергли всех, кто не абсолютно здоров. И

всех, у кого есть друзья, противящиеся полету. И теперь, сэр... Мы хотели бы, чтобы вы переговорили с двумя. Один — Раймонд Пасуорти с Генеральных заводов. Вы его знаете?

Кэбэл. Очень хорошо знаю. Его прадедушка знал моего.

Первый инженер. И его сын...

Второй инженер. Мы хотим, чтобы вы повидали его сына, сэр, — Мориса Пасуорти.

Кэбэл. Зачем?

Первый инженер. Он желает лететь.

Кэбэл. С кем?

Второй инженер. Мы думаем, что лучше всего было бы вам повидать его. Он здесь дожидается.

Кэбэл задумывается, затем приподнимает свою рукавицу и прикасается к одной точке ее. Раздается слабый музыкальный звук. Он говорит:

— Морис Пасуорти здесь?.. Да... Пришлите его ко мне.

Почти тотчас же в стене открывается филенка, и входит стройный, довольно легко одетый красивый молодой человек.

Кэбэл *(встает и смотрит на него)*. Вы хотите поговорить со мной?

Оба инженера откланиваются и уходят.

Морис Пасуорти. Простите, сэр. Я пошел прямо к вам.

Кэбэл. Вы просите об одолжении?

Морис Пасуорти. Об очень большом одолжении. Я хочу быть одним из двух первых людей, которые увидят другую сторону луны.

Кэбэл. Это сопряжено с опасностью. Во всяком случае, с большими трудностями. Говорят, пятьдесят шансов из ста, что можно совсем не вернуться. И еще больше шансов вернуться калекой.

Морис Пасуорти. Поверьте, что я не боюсь этого, сэр.

Кэбэл. Очень многие молодые люди не боятся этого. Но почему вам нужно дать эту привилегию?

Морис Пасуорти. Понимаете, сэр, я сын вашего друга. Как будто считают... что вам не следует посылать двух незнакомых людей... — Он не доканчивает фразы.

Кэбэл. Продолжайте.

Морис Пасуорти. Мы много раз говорили об этом.

Кэбэл. Мы?

Морис Пасуорти. Вы пользуетесь таким влиянием в Новом Мире, в Великом Мире наших дней!

Кэбэл опирается на стол и задумывается. Он бросает на молодого человека проницательный взгляд.— Мы?— повторяет он.

Морис Пасуорти. Мы, двое. Это даже в большей степени ее идея, чем моя.

Кэбэл уже понял, что он сейчас услышит.

— Ее идея? Кто это она?

Морис Пасуорти. Человек, гораздо более близкий вам, чем я, сэр.

Кэбэл *(спокойно)*. Говорите.

Морис Пасуорти. Мы уже три года вместе учимся, сэр.

Кэбэл *(нетерпеливо)*. Да, но говорите.

Морис Пасуорти. Это ваша дочь, сэр, Кэтрин. Она говорит, что вы можете послать только свое собственное дитя.

Кэбэл *(после паузы)*. Мне бы надо было это знать.

Морис Пасуорти. Видите ли, сэр...

Кэбэл. Вижу. Моя дочь... Забавно, что я всегда представлял ее себе только маленькой девочкой. И считал, что она в стороне от всего этого... Моя Кэтрин!

Морис Пасуорти. Ей восемнадцать лет.

Кэбэл. Зрелый возраст... Я немножко... захвачен врасплох. И вы вдвоем все это обдумали?

Морис Пасуорти. Это так просто, сэр!

Кэбэл. Да, это просто. Это правильно. Так и должно быть. Именно так! Всем этим прочим тысячам придется подождать своей очереди... Присядьте. Расскажите мне: как вы познакомились с моей Кэтрин?

Морис Пасуорти. Как только начали работать вместе. Это казалось таким естественным, сэр. Она такая прямая и бесхитростная...

Кэбэл и Морис Пасуорти вступают в беседу, и картина бледнеет. Кэбэл еще не освоился с тем, что услышал.

Кэбэл крупным планом. Прошло полчаса. Он уже не в своем кабинете. Он стоит в темной нише у изящно раз-

рисованной узорами стены. Слышится негромкий чистый звук, и он смотрит на телефонный диск, у себя на рукавице.— Да... Кто это?.. Раймонд Пасуорти... Конечно...

Он ждет полсекунды.— Это Раймонд Пасуорти? Да. Я в течение получаса беседовал с вашим сыном. Да. Прекрасный юноша... Вы хотите переговорить со мной?.. К вашим услугам... Я повидаю свою дочь в Спортивном клубе. Он должен с ней там встретиться. Он сейчас только пошел к ней. Не пройдетесь ли вы со мной по Городским Дорогам и в погоду?.. Мы встретимся...

Сцена меняется — показана одна из воздушных Городских Дорог в ярко освещенном пещерном Эвритауне 2055 года.

Здесь мы впервые видим вблизи рядовых людей 2055 года, их костюмы, их манеры. Оборванных нет, и только один человек в чем-то вроде рабочего костюма. Это садовник, он поливает какие-то цветы. Общим характером костюмы напоминают эпоху Тюдоров, широко варьируя между простотой и нарядностью (см. Меморандум в начале книги). Некоторые молодые женщины одеты очень легко и просто, но другие более сознательно «костюмированы». Видна также очень смелая и пышная архитектура этого полуподземного города, способы использования текучей воды, новые декоративные растения и кусты в цветах. В постоянном ярком свете и кондиционированном воздухе нового Эвритауна и в руках искусных садоводов растительность обрела новую мощь и прелесть. Проходят люди. Они собираются кучками и созерцают огромные просторы внизу.

По переднему плану этой сцены проходят Кэбэл и Пасуорти. Пасуорти — более изящное, складное, худощавое, нарядное и опрятное издание своего предка — Пасуорти первых сцен. Разговаривая с Кэбэлом, он делает несколько шагов на фоне движущейся панорамы города, затем оба останавливаются, опираются на парапет, за которым раскинулся город, и вступают в серьезный разговор.

Пасуорти. Я признаю реальность прогресса, достигнутого миром после того, как им стали управлять Летчики. Это был век чудес. Но не слишком ли у нас много прогресса? Я согласен, что мир, в котором мы живем, прекрасный мир. Немножко искусственный, но — на-

конец-то! — превосходный. Торжество человеческой изобретательности и человеческой воли! Комфорт, красота, обеспеченность! Наш свет ярче солнечного, и никогда еще человечество не дышало таким дивным воздухом. Мы перехитрили природу. Зачем же нам так настойчиво стремиться дальше?

Кэбэл. Потому что стремление вперед — в природе человека. Самое неестественное в жизни — это удовлетворенность.

Пасуорти. Удовлетворенность! Удовлетворенность — это рай!

Кэбэл. А мы не в раю.

Пасуорти. Да. В самом деле. Раз сыновья восстают на своих отцов...

Кэбэл. А отцы слушаются своих дочерей. Мы оба отцы мятежных детей, а? Старая проблема, Пасуорти! Дитя, которое не бунтует, — пустое повторение. Что нам делать с нашими сыновьями и дочерьми? Отцы, вроде нас с вами, задавали себе этот вопрос еще в каменном веке.

Пасуорти. Но швырять их на луну!..

Кэбэл. Они сами туда хотят прыгнуть.

Пасуорти. Отчаянная молодежь! Зачем им это?

Кэбэл. Человечество — тугой материал. Если бы не молодые с их дерзостью, оно не далеко бы ушло.

Пасуорти. Каждый, пускающийся в такую экспедицию, должен погибнуть. Вы это знаете. Исчезнуть навсегда в этом замерзшем мире.

Кэбэл. Они летят не на луну; они летят вокруг луны.

Пасуорти. Это софистика.

Кэбэл. Они возвратятся.

Пасуорти. Если бы я мог в это поверить!

Кэбэл. Для нас обоих самое лучшее — верить в это.

Пасуорти. Почему нужно было выбрать для этого именно наших детей?

Кэбэл. Наука требует лучших.

Пасуорти. Но мой мальчик! Всегда он был своевольным чертенком. Вас я еще понимаю, Кэбэл. Вы правнук Джона Кэбэла, воздушного героя, который изменил лик мира. Эксперименты у вас в крови. Вы — и ваша дочь!.. Я... я нормальнее. Я не верю, чтобы мой мальчик

когда-нибудь сам додумался до этого. Но они сговорились. Они хотят лететь вместе.

Кэбэл. Они вернутся вместе. В этот раз не будет сделано попытки высадиться на луне.

Пасуорти. И когда же этот... этот великий эксперимент начнется? Сколько они еще пробудут с нами?

Кэбэл (*не совсем искренно*). Не знаю.

Пасуорти. Когда же?

Кэбэл. Когда Межпланетное орудие будет опять готово.

Пасуорти. Вы хотите сказать, что в этом году?

Кэбэл. Скоро.

Пасуорти. В старину бывало иначе. В ту пору отцы имели власть. Я бы сказал «нет», и это решило бы дело!

Кэбэл. Отцы говорили «нет» начиная с каменного века.

Пасуорти. И ничем нельзя спасти наших детей от этого безумия?

Кэбэл. А значило ли бы это спасти наших детей?

Пасуорти. Да, значило бы.

Кэбэл. Для чего?

Пасуорти (*его прорвало*). Дети рождаются для счастья! Молодые люди должны легко принимать жизнь! Есть что-то отвратительное в этом заклании — именно заклании! Вы вспомните, сколько им лет!

Кэбэл. Неужели вы думаете, что у меня не такие же чувства, как у вас? Что я не люблю свою дочь?.. Сегодня урываю час только для того, чтобы повидать ее, посмотреть на нее, пока можно. И тем не менее я позволю ей лететь... когда настанет время.

Пасуорти. Где они сейчас?

Кэбэл. Она в Спортивном клубе в горах: тренируется. Ваш сын тоже там. Пойдемте со мной, и вы увидите их. Лицом к лицу с ними мы, может быть, почувствуем себя иначе, чем здесь. Во всяком случае, хорошо бы побыть с ними немного... На воздухе отлично. Хотите... вы не возражаете против того, чтобы вместе со мною выйти в погоду?

Пасуорти. Возражать? Я создан для открытого воздуха! Может быть, этот кондиционированный воздух с добавочным кислородом и прочим полезнее для нас,

и свет здесь более постоянный и яркий — но мне дайте старинное небо, и ветер в степи, и снег, и дождь, быстрые перемены погоды, и сумерки! Я не люблю по-настоящему этот человечий муравейник, в котором мы живем!

Кэбэл. Мы пойдем, поговорим с молодыми людьми.

Следующая сцена введена главным образом для того, чтобы дать внешний вид нового Эвритауна. На заднем плане старые, знакомые контуры холмов, и их легко узнать, но старый город под открытым небом исчез, уступив место нескольким террасам и наземным строениям. Перед нами непривычные архитектурные формы, травянистые скаты и чрезмерно правильные деревья. Все очень спокойно и красиво, это апофеоз Эвритауна. По небу летит несколько самолетов новой конструкции. Кэбэл и Пасуорти переоделись в более подходящие для открытого воздуха костюмы из ткани типа сукна; они в плащах-крылатках. Небо покрыто тучами, то и дело начинается дождь, и в отличие от ровной атмосферы города солнечный свет пятнами пробегает по экрану. По широкому шоссе льется почти бесшумный поток обтекаемых автомобилей, появляющихся и скрывающихся в огромном входе, освещенном неизмеримо ярче, чем внешний мир.

Пасуорти (*симулируя беззаботность*). Вот мы и в погоде. Вернулись к природе. Ну, не лучше ли вам здесь?

Кэбэл. Если бы мне было здесь лучше, я поднял бы шум в нашем департаменте вентиляции! Но готов признаться, что время от времени я люблю переменчивость ветра и игру облаков.

Пасуорти. Каких только перемен не насмотрелись эти холмы за последние два столетия! Процветание. Война. Нужда. Эпидемия. Этот Новый Изумительный Мир. Вы только взгляните на него!

Кэбэл. И перемены, которые они видели, — пустяк по сравнению с теми, которые им еще предстоит увидеть.

Пасуорти. Эти древние холмы. Единственное, что узнали бы наши прадеды. Наверно, и они, в свой черед, будут сметены прочь.

Кэбэл. Все сметается прочь в свое время! За это браните природу, а не человека.

Пасуорти. Вон люди, живущие под открытым не-

бом, играют в старинную игру — в гольф. Хорошая игра. Я сам немножко увлекаюсь. А вы не играете?

Кэбэл. Нет. Зачем это мне?

Пасуорти. Когда играешь, можно не думать.

Кэбэл поднимает брови.

Пасуорти. Впрочем, сегодня и гольф не отвлек бы меня от моих дум. О! Я не могу забыть об этом! Наши дети! У меня сердце болит. Я это чувствую вот *здесь*... Мне неуютно в этом современном мире со всем его прогрессом! Я полагаю, что наш город чудесен и нужен, а деревня нарядней и милее, если хотите, чем в дни конкуренции и раздоров. На всем земном шаре не осталось, вероятно, ни одного куста терновника, ни одного болота, ни одной чащи. Так почему бы нам не остановиться на этом? Зачем нам идти вперед — и притом энергичнее, чем когда бы то ни было?

Кэбэл. Вы хотели бы навсегда прекратить всякое мышление и труд?

Пасуорти. Ну, не совсем так.

Кэбэл. Чего же вы хотите в таком случае? Немножко мышления, но не более того? Немножко работы, но не серьезной?

Пасуорти. Ну, умеренности. Идите вперед, если хотите, но полегоньку.

Кэбэл. Вы думаете, что я погоняю? Что люди моего склада погоняют?

Пасуорти. Если вам непременно надо знать правду, так да: вы погоняете, *чертовски* погоняете.

Кэбэл. Нет. Погоняет Природа. Она подгоняет и убивает. Она мать человеку и вместе с тем его неукротимый враг. Всех своих детей она рождает в борьбе и злобе. Прикрываясь пеленой изобилия и обеспеченности, она все еще строит козни. Сто лет тому назад она всячески старалась при помощи того, что находила в нас, направлять наши руки и сердца против ближнего и заставляла нас истреблять друг друга в войнах. Это она дополнила войну своим собственным посильным вкладом — эпидемией. Ну, мы выиграли это сражение. Люди уже забывают, с каким трудом далась победа. Теперь она хочет обратить против нас самые наши успехи, склонить нас к беспечности, сделать нас фантазерами, бездельниками и сибаритами — предать нас на другой манер. Сто лет то-

му назад люди вроде вас говорили, что война — это «не существенно», людям моего склада пришлось положить ей конец. А теперь вы говорите, что прогресс — это «не существенно». Жизнь не может быть лучше, чем она есть. Пусть новое поколение играет — расходует жизнь, данную ему... Целая планета гуляк, мчащаяся к гибели. Просто заключительный фестиваль перед мрачной бездной!

Зал Спортивного клуба. Это застекленная галерея, наполовину под открытым небом, и огромные окна ее сделаны из эластичного стекла. Снаружи видны крутые водяные горы, по которым спортсмены и спортсменки устремляются вниз с огромной скоростью. Не совсем ясно, что они делают. Кажется, будто они скользят на лыжах вниз по водопаду. Получается лишь смутное впечатление мелькающих людей, пенистой воды и каменного порога с водопадом. В галерее стоят несколько зрителей, молодые спортсмены и посетители приходят и уходят. Входят Кэбэл и Пасуорти. Они приближаются к одному из огромных окон. Там уже стоит какой-то зритель. Он взволнованно следит за тем, что делается снаружи. Он прильнул к стеклу. Гибкое стекло поддается нажиму и дает искаженное изображение скалистого ландшафта. Когда зритель отдергивает руку, стекло выпрямляется.

Пасуорти. Здесь тоже каждый день кто-нибудь бывает убит или ранен. Зачем гибнуть кому бы то ни было?

Кэбэл. Все делается для того, чтобы вовремя устранить неловких.

Пасуорти. Господи боже! Посмотрите вон на этого юношу...

Несколько зрителей подбегают к окнам.

Кэбэл. Ничего с ним не случилось.

Пасуорти. А вот и они!

Он обращает внимание Кэбэла на входную дверь. В двери показываются Кэтрин Кэбэл и Морис Пасуорти, они приближаются к Кэбэлу и Пасуорти.

Оба теперь в спортивных костюмах, очень легких, обрисовывающих их стройные молодые тела. Кэтрин Кэбэл немного ниже и тоньше Мориса, у нее хорошенькое, но решительное личико. Они не без робости подходят поздороваться с родителями. Морис останавливает-

ся. Кэтрин подходит к своему отцу, на мгновение заглядывает ему в глаза и, видимо, удовлетворенная тем, что она прочла в них, целует его. Он прижимает ее к себе и затем отпускает. Никто не проронил ни слова.

Пасуорти (*стараясь легко смотреть на вещи*). Ну, молодые люди, что вы делали?

Морис. Поупражнялись на стремнинах. Для другого времени не осталось.

Пасуорти. Сколько нынче убитых?

Морис. Ни одного. Один парень поскользнулся и сломал себе бедро, но о нем позаботились. Через недельку он будет здоров. Я чуть не налетел на него, когда он падал. А то и я бы растянулся!

Пасуорти. Неужели в жизни и без того недостаточно опасностей?

Морис. Дорогой мой отец, это нисколько не опасно для любого нормального существа. С той поры, как начался мир, жизнь всегда висит на волоске. Так уж оно устроено, и к этому все привыкли, и так оно обстоит и с нами.

Пасуорти. Это ваша философия, Кэбэл! Мой мальчик твердо заучил урок.

Кэбэл. Отнюдь не моя философия. Это философия нового мира.

Пауза.

Кэтрин не может дольше выносить состояние неизвестности: — Папа, мы полетим?

Кэбэл. Да, вы полетите.

Кэтрин. Это объявлено?

Кэбэл. Да.

Пасуорти (*в ужасе*). Это объявлено?

Кэбэл. Отчего бы нет?

Пасуорти. Но... мой сын!..

Кэбэл. Он совершеннолетний. Он пошел добровольно.

Пасуорти. Но я хочу сперва поговорить об этом! Я хочу поговорить. Зачем вы объявили так поспешно? Во всяком случае, времени поговорить достаточно!

Пауза. Вопрошающие взгляды скользят по лицам. Кэтрин и Морис смотрят друг на друга, затем на родителей.

Морис. Времени не так уж много, отец.

Кэтрин как будто хочет что-то сказать, но воздерживается.

П а с у о р т и. Я думаю, до этого остается еще несколько месяцев.

К э т р и н. Остался ровно один месяц и три дня. И сейчас уже все готово.

М о р и с. Мы могли бы полететь хоть сегодня. Луна уже почти дошла до самого удобного для нас положения. Но решили выждать еще месяц. Для большей верности.

П а с у о р т и. Вы летите через четыре недели! Четыре недели! Я запрещаю это!

К э б э л. Я думал...

М о р и с. Нет, уже все условлено.

П а с у о р т и. Теотокопулос прав. Этому не бывать. Это — сущее жертвоприношение. Морис, сын мой!

Кэбэл берет его под руку.

К э б э л. У нас впереди еще месяц, даже больше того! Поговорим спокойно, Пасуорти. Остался еще месяц. Это удар для вас. Это был удар и для меня. Но, может быть, это менее страшно и более грандиозно, чем вам кажется. Подумайте день-другой. Давайте пообедаем все вместе — через три дня встретимся и расскажем друг другу откровенно, что у каждого на уме!

К э б э л *(крупным планом с Пасуорти)*. Я не вернусь в город вместе с вами. Есть еще человек, с которым я должен поговорить. Это необходимо.

П а с у о р т и. Никто в этом так жизненно не заинтересован, как мы с вами.

К э б э л. Не знаю. У нее свои права. Многие скажут, что ее право так же несомненно, как наше.

П а с у о р т и. Кто же это?

К э б э л. Мать Кэтрин. Женщина, которая была моей женою... Разве вы не знали, что у меня была жена? Или вы думаете, что Кэтрин вышла вдруг из моей головы? Как Афина Паллада? У меня была жена, и она была в высшей степени женщина, и мы разошлись много лет назад.

Начинает темнеть; на небе рдеет послезакатное зарево. Терраса, обсаженная тиссами (новый вид тисса) и с видом на широкий ландшафт, вдали море. На фоне моря выступает огромное сооружение, похожее на тяже-

лую мортиру. Это Межпланетное орудие. Это первый показ его. Оно чудовищем присело на земле, и все другие детали ландшафта кажутся перед ним крохотными. Легкая дымка тумана еще увеличивает его зловещие размеры.

Снижающийся самолет бросает тень на террасу.

Мельком показан Кэбэл, сходящий с самолета, на котором он прилетел сюда. Потом аппарат возвращается к террасе и ждет его.

Кэбэл входит и медленно направляется к перилам террасы. Он задумчиво смотрит на Межпланетное орудие, заложив руки за спину. Так он стоит несколько мгновений.

Он оборачивается, услышав шаги; входит Роуэна. Роуэна — потомок Роксаны, фаворитки Босса Эвритауна в 1970 году, так же, как Освальд Кэбэл — потомок Джона Кэбэла. Она физически похожа на свой прототип — эту роль играет та же актриса; но в ней нет ни капли задорного нахрапа ее прабабки. Она лучше воспитана. Она одета гораздо изящнее, в ней нет дешевой пышности Роксаны, жестикуляция ее скромна.

Роуэна. Итак, мне наконец позволено увидеть вас снова!

Кэбэл. Вы быстро узнали новость, Роуэна!

Роуэна. Она разнеслась по всему миру.

Кэбэл. Уже?

Роуэна. Она носится в воздухе. Весь мир ни о чем другом и не говорит. Зачем вы нанесли мне такой удар? Наша дочь!..

Кэбэл. Я не виноват. Она сама решила лететь. Чего вы от меня хотите?

Роуэна. Вы чудовище! Вы и вам подобные — чудовища! Ваша наука и ваши новые порядки отняли у вас душу и на ее место поставили машины и теории. Хорошо, что я ушла от вас в свое время.

Кэбэл. И вы явились сюда — вы настаивали на свидании со мною только затем, чтобы сказать мне это теперь?

Роуэна. Не только это. Я запрещаю вам посылать нашу дочь в эту безумную экспедицию!

Кэбэл. Нашу дочь? Мою дочь! Вы оставили ее мне, когда ушли от меня. И она летит по своей воле.

Роуэна. Потому что вы отравили ее ум. Она, очевидно, из разряда новых женщин, как вы — из разряда новых мужчин. Вы думаете, я не люблю ее только потому, что вы никогда не позволяете мне ее видеть?

Кэбэл. Обычно вы живете на другой стороне земного шара. Охота за любовью...

Роуэна. Вы меня упрекаете! И все же я люблю ее. Кто заставил меня охотиться за любовью?.. Кэбэл, неужели в вас нет жалости? Неужели у вас нет воображения? Если я не могу запретить, что ж, тогда я умоляю. Представьте только себе ее тело — тело почти что ребенка — изломанным, раздавленным, замерзшим!

Кэбэл. И не подумаю! Не всегда хорошо слишком много думать о теле, Роуэна.

Роуэна. Вы жестокий, страшный человек. Что вы делаете с жизнью, Кэбэл?

Кэбэл. Вы мягкий, чувственный человек. Что вы делаете с жизнью?

Роуэна. Вы превращаете ее в сталь!

Кэбэл. Вы растранжириваете ее.

Роуэна. Кто заставил меня ее растранжиривать? Я уже много лет хочу встретиться с вами лицом к лицу и высказать вам это. Я не хотела уходить от вас. Но вы сделали жизнь слишком возвышенной и жесткой для меня!

Кэбэл. Я не хотел, чтобы вы ушли. Но вы сделали жизнь слишком рассеянной и неудобной для меня. Я любил вас, но любить вас — значило отдавать этому все время. У меня был труд.

Роуэна. Какой труд?

Кэбэл. Вечный труд борьбы с опасностями, смертью и вырождением человечества!

Роуэна. Фанатик! Где теперь опасность и смерть?

Кэбэл. В засаде повсюду.

Роуэна. Вы сами идете им навстречу!

Кэбэл. Я предпочитаю роль охотника роли дичи.

Роуэна. Но, если вы все время будете охотиться за опасностью и смертью, что останется для жизни?

Кэбэл. Мужество, приключения, труд — и все больше силы и величия.

Роуэна. По-моему, нужнее любовь.

Кэбэл. За этим вы и ушли от меня. Бедная охотница за любовью! Моя любовь была недостаточно хороша, недостаточно лестна, недостаточно прилежна. Нашли ли вы хоть раз эту любовь ваших грез? Был ли у вас хоть один любовник, заставивший вас чувствовать себя так дивно, как вам хотелось? И мог ли это сделать хоть один любовник? Где бы вам ни попадалась любовь, вы хватали ее, как ребенок срывает цветок, и убивали ее!

Роуэна. Разве не все себя так ведут?

Кэбэл. Нет.

Роуэна. Я любила, как свойственно моей натуре. Пусть даже мне предстоит в конце концов состариться и умереть.

Кэбэл. Так дайте же и мне жить согласно моей натуре! Вам, может быть, нужна любовь, а мне нужны звезды.

Роуэна. Но и любовь! Когда-то вам нужна была человеческая любовь, Кэбэл.

Кэбэл. Но мне больше нужна была моя работа.

Роуэна. Но разве наша девочка — не человек? Как я? Не имеет она разве права на свежесть жизни — на новизну жизни? Неужели ей надо начать там, где вы кончите? Предположим, в конце концов придет конец и любви — она будет разоблачена... Почему бы ей не испытать нескольких лет иллюзий и волнения?

Кэбэл. И кончить ничем? Отстать по милости вашей «любви»? Краситься? Имитировать молодость? Цепляться за страсть?

Роуэна. О, вы умеете жалить! Неизвестно еще, в чем пустота. Подчиняться импульсам или отрицать их? Эта девушка, говорю я вам, человек и должна прожить по-человечески. Она женщина!

Кэбэл. Но не прежней породы, Роуэна! Не вашей породы. Не думаете ли вы, что все в человеческой жизни меняется — масштабы, сила и скорость, а люди остаются такими, какими они были всегда? Мы живем теперь в новом мире. Он увлекает нас к новым великим задачам. А с этой невеселой старой любовной сказкой, которую так часто рассказывали и разыгрывали, словно это самое главное в жизни, почти совсем покончено.

Роуэна. И вы думаете, что и она с ней покончила?

Кэбэл. Что вы знаете о нашей дочери? Что знаете вы, охотница за любовью, о творческом порыве, который может захватить женщину в такой же мере, как и мужчину? Она любила и любит, она нашла себе товарища, и они стремятся вперед вдвоем. Плечом к плечу. Почти забывая друг о друге в своем счастливом единстве. Она живет для бесконечного дерзания, как и он. И это умножение человеческих знаний и силы — вовеки...

Роуэна. Кэбэл, все мужчины — дураки, когда дело идет о женщинах. Все решительно. Вот ваша девочка. И ваше бесконечное дерзание! Вы думаете, что она новая женщина. Новых женщин не существует. Она улетает со своим возлюбленным. Ну, какая бы женщина не полетела — будь она старой породы или новой? Что может быть чудеснее!

Кэбэл. Так или иначе, она полетит!

Роуэна. Новый вид мужчины весьма напоминает мне старый вид осла. Но, скажите же, скажите мне, если мужчины посвятят себя этому вашему вечному дерзанию, что станется с женщинами?

Кэбэл. В такого рода дерзании пол ни при чем. Оно доступно вам так же, как и нам. Бросьте эту старинную половую романтику! Идите работать с нами.

Роуэна. Работать с вами?

Кэбэл. Почему же нет? У вас есть голова и руки.

Роуэна. Вы хотите сказать, милый мой, работать на вас! Вот в вас и заговорил старой породы мужчина, предлагающий женщине быть его рабой. Когда дело касается женщин, чем этот новый вид мужчин отличается от старого?

Кэбэл. Почему *на нас*, а не вместе с нами?

Роуэна. Потому что у вас, мужчин, манера брать на себя руководство и все держать в своих руках.

Кэбэл. Отлично! Пусть будет *на нас*. И почему бы нет? Выбирать себе мужчину за то дело, которое он делает, и за его способности? Следовать за ним и быть его женщиной?

Роуэна. Нам, женщинам, помогать, утешать и лелеять, играть роль подручных до бесконечности?

Кэбэл. Раз вы так созданы, а как будто именно так вы и созданы, почему бы и нет?

Роуэна. Мы вовсе не так созданы!

Кэбэл. Если вы не созданы для знаний и власти, как мужчины, если вы не созданы и для того, чтобы служить знанию и власти, так для чего же вы наконец созданы? Если вы больше, чем охотница за любовью, за чем же вы, по вашему мнению, охотитесь?

Роуэна. О, об этом мы спорили пятнадцать лет назад.

Кэбэл. Пятнадцать лет! Этот спор начался еще до каменного века.

Роуэна. А окончится он... Когда он окончится?

Кэбэл. Для нас, Роуэна, никогда. Никогда еще для многих поколений. Вы идите своим путем, а я пойду своим.

Роуэна. И это ваше последнее слово мне, перед которой вы когда-то преклоняли колени?

Кэбэл охвачен воспоминаниями прошлого, забытые чувства нахлынули на него. Он поворачивается к ней. Кажется, что он не в силах выразить того, что переживает; и он ничего не говорит.

Постепенно бледнеет кадр. Мужчина и женщина стоят друг против друга в сумеречной мгле; они утратили все иллюзии, которые когда-либо питали в отношении друг друга, и все же смущены.

Снова Кэбэл в своем ярко освещенном кабинете. На нем все еще плащ, который он надевал из-за плохой погоды; он садится у своего стола, вид у него усталый. Он поворачивается к аппарату, стоящему на столе.

— А теперь послушаем, что хочет сказать господин Теотокопулос по поводу всего этого. Время для него как раз подходящее!

Он нажимает кнопку.

— Я хочу видеть и слышать Теотокопулоса! Он теперь, наверное, говорит повсюду в зеркалах.

Сцена меняется: огромное открытое пространство, на котором большая толпа собралась перед исполинским экраном на верху лестницы.

Теотокопулос в группе друзей. Он уже не в комбинезоне скульптора. Он одет в нарядный, расшитый, яркий атласный костюм, поверх него наброшен плащ, которым он драматически размахивает. Он поднимается сбоку огромного экрана, перед которым фигуры его и его друзей кажутся совсем крохотными. Они посматри-

вают на толпу, и их голоса тонут в общем говоре. Они проходят за исполинское зеркало, и в зеркале вдруг появляется Теотокопулос, сильно увеличенный, и голос его покрывает все другие звуки.

В толпе мелких фигурок возбужденное движение: он готовится заговорить.

Затем мы снова видим Кэбэла — он сидит в своем кабинете и приготовился слушать речь Теотокопулоса. В комнате царит тишина. Но вот слышится смутный шум, похожий на шум толпы, и диск телевизора затуманивается. Кэбэл регулирует аппарат, звук и картина становятся отчетливыми.

Диск телевизора подвигается вперед, так, что занимает почти весь экран. Снизу он обрамлен головой и плечами Кэбэла.

«Что это за Прогресс? Что толку в этом Прогрессе? Вперед и вперед. Мы требуем остановки, мы требуем отдыха! Цель жизни — спокойное житье...»

Кэбэл. Можно подумать, что цель жизни — бесконечно повторяться.

«Мы не хотим, чтобы жизнь приносилась в жертву эксперименту. Прогресс не жизнь: он должен быть только подготовкой к жизни».

Кэбэл встает, отходит на несколько шагов от диска и возвращается на место.

«Будем справедливы к людям, управляющим нами. Не будем неблагодарны. Они почистили мир. Они чудесно навели в нем чистоту. Достигнуты порядок и великолепие, знания растут. О боже, как растут!» *(Смех.)*

Кэбэл *(мрачно)*. Они, значит, смеются над этим.

«Но спешка и нажим продолжаются. Они для всех находят дело. Мы думали, что это будет Век Досуга. А что оказалось? Мы должны измерять и вычислять, мы должны собирать, сортировать и пересчитывать. Мы должны жертвовать собой. Мы должны жить для — как это называется? — для человеческого рода. Мы должны каждый день и весь день приносить себя в жертву этому неустанному распространению знаний и порядка. Мы завоевываем весь мир — и какой ценой! Бо̀льших и все больших жертв. И в конце концов они ведут нас назад, к последней жертве — к принесению в жертву человече-

ской жизни. Они вновь инсценируют древнегреческую трагедию, и отец приносит свою дочь в жертву богам мрака».

Кэбэл нетерпеливым движением гасит телевизор.

— И этот голос раздается по всему миру. Любопытно, как мир поймет это!

Он озирается по сторонам.

— Можно бы прекратить это. Нет. Пусть они выслушают его и поймут, как сумеют. Но хотел бы я сейчас находиться в каждой точке земли, слушать вместе с каждым слушателем. Как они его поймут?

ЧАСТЬ XIII

МИРОВАЯ АУДИТОРИЯ

Дальше следует ряд сцен и мимолетных кадров, обрисовывающих огромный размах и одновременность мысли и споров в Новом Мире. Речь Теотокопулоса звучит почти без перерыва, если не считать случайных криков и возгласов, пока он наконец не умолкает. Он появляется в различных зеркалах и в различных обрамлениях, временами его слышно, но не видно. Но ясно показано, что один человек имеет возможность говорить всему миру, если только мир интересуется им и хочет слушать, и что на его слова могут быстро и одновременно реагировать во всех частях земного шара, где найдутся слушатели.

Прежде всего мы видим спины множества людей, обедающих вместе. Это дает нам мимолетное представление о модах 2055 года и характере столовой посуды. Они поглядывают на огромную раму, в которой говорит Теотокопулос,— его видно и слышно. Слушают внимательно, но мало реагируют на его речь. Потом аппарат снимает край бассейна для плавания или край лужайки, на которой несколько молодых людей в спортивных костюмах аплодируют борцу, только что положившему противника на обе лопатки. Встает какой-то мужчина, включает телевизор, и все слушают. Некоторые вполголоса обмениваются мнениями, которые явно разделились. Затем мы видим нескольких научных работников в какой-то лаборатории. В телевизоре Теотокопулос,

он все говорит. Один из слушающих произносит раздраженно: «Ах, прекратите эту дребедень!» Теотокопулоса выключают. Затем восточная молодая женщина, с веером, лениво растянувшись на тахте под окном, за которым видны пальмы, степенно слушает овальный телевизор, на котором Теотокопулос продолжает свою речь. Затем показан домик в горах, через застекленное окно видна сильная снежная метель. В домике двое рабочих в полярных костюмах; один лежит на койке, другой сидит у стола и слушает голос. Они выключают его: «Городским эта чушь, наверно, по вкусу. Что они знают о настоящем труде?»

Группа скульпторов в студии. Студия велика, но мало чем отличается от современной. В пластических искусствах больших перемен не произошло. На заднем плане телевизор. Один из скульпторов настраивает его, и опять виден и слышен Теотокопулос...

Первый скульптор. Слушайте! Слушайте!

Второй. Нет! Нет! *(Он выключает телевизор.)* Человек имеет право поступать с собой, как ему угодно!

Первый. Никогда! Это Межпланетное орудие надо уничтожить. И немедленно.

Третий. Эту музыку надо прекратить! Смотрите! Он поднимает модель.

Все. Лестно для Теотокопулоса.

Четвертый. А это?

Поднимает уродливую карикатуру на Кэбэла. *(Смех)*.

Вот речь Теотокопулоса, которую по кускам слушают в предыдущих сценах:

«Эти люди, столь любезно управляющие за нас миром, заявляют, что они дают нам волю поступать, как нам угодно; они утверждают, когда нужно и когда ненужно, что никогда еще не было такой свободы, как у нас сейчас. И в уплату за безграничную свободу, которой мы пользуемся, они просят нас игнорировать жесткую и страшную настойчивость их бесчеловечных изысканий. Но в самом ли деле мы обладаем такой свободой? Разве свободен человек, который не вправе возмущаться тем, что он видит и слышит? Мы хотим права остановить все это. Мы хотим права предотвратить все это. Кто позволил им использовать ресурсы нашего ми-

ра для того, чтобы терзать нас зрелищем своих жестоких и безумных авантюр? Кто позволил им нарушать даже покой наших звездных высей человеческими жертвоприношениями? В старину, как всем нам известно, счастье людей омрачено было густой черной тенью, и тень эта называлась религией. Вы слышали об этом. Пуританство и умерщвление плоти, бритые головы и искалеченный дух. Заповеди «делай то-то, не делай того-то» угнетали свободные сердца людей. Вы читали в истории об этой тирании духа. Эти старые религии с их жертвоприношениями и обетами — с их ужасным безбрачием, мрачными песнопениями, преследованиями и инквизициями — были достаточно плохи. Мы думали, что навсегда освободились от религий. Но действительно ли они исчезли или только приняли новые названия и надели новые маски? Я говорю вам, что эти их изыскания и наука не больше, не меньше, как дух самозаклания, вернувшийся на землю в новом образе. Не больше и не меньше. Это старый черный дух человеческой подчиненности, Юпитер, безжалостное чудовище, вернувшееся теперь, когда у нас свобода и изобилие,— древняя мрачная серьезность — суровое, ненужное служение. Что вернуло его? Зачем внушать молодежи чувство долга и требовать от нее жертв, дисциплины, самообуздания и труда? К чему все это теперь? Что это значит? Что это предвещает? Не заблуждайтесь! Рабство, которое они сегодня налагают на самих себя, они завтра наложат на весь мир. Неужели человек никогда не отдохнет, никогда не будет свободен? Наступит время, когда им опять понадобится пушечное мясо для их Межпланетных орудий, когда вас, в свой черед, заставят лететь на чуждые планеты и в страшные, гнусные места далеко за приветными звездами! Говорю вам: мы должны остановить эту бессмысленную тягу к немыслимым, бесчеловечным экспериментам, и остановить сейчас. Я говорю: конец этому Прогрессу! Положите конец такому Прогрессу! Мы довольны простой, чувственной, ограниченной, милой человеческой жизнью и другой не хотим. Между мрачным прошлым истории и неисповедимым будущим урвем нынешний день для жизни. Что для нас будущее? Дайте земле мир и не мешайте нам спокойно существовать!»

Фосфоресцирующая друза-пустота глубоко в земле. Друзовидная пустота — это пещера в камне, в которой с незапамятных времен свободно кристаллизуются минералы. Беспорядочное нагромождение крупных темных и светлых кристаллов. Сбоку в эту массу врезывается конец огромного сверла и останавливается. Сверло отходит назад, и в пещеру влезают двое юношей и девушка в блестящих белых одеждах в обтяжку, с лампочками на лбу.

Первый молодой человек. Мы здесь в десяти милях от поверхности земли. И никаких расплавленных пород, вместо них эта Алладинова пещера!

Девушка. И драгоценные камни! Чего бы не отдала за них моя прабабушка!

Второй молодой человек. Любопытно бы знать, что делается наверху!

На груди у него, на месте кармана, маленький телевизор, и он поворачивает его, чтобы посмотреть. Остальные заглядывают через его плечо. Телевизор показывает Теотокопулоса, который кланяется и отворачивается. Звуковой эффект: гром аплодисментов.

Девушка. Это Теотокопулос. Он кончил. Но мы знаем, что он хотел сказать. Мы это уже слышали. Нет ли чего-нибудь еще?

Первый молодой человек. Этот Теотокопулос—старый дурак.

Второй молодой человек. Милым деткам не надо больше никогда рисковать! Только играть картиночками и петь песенки!

Первый молодой человек. И придумывать новые, особенные способы целоваться-миловаться.

Второй молодой человек. Но заметьте себе, что эта чушь взбудоражит немало лентяев в городах. Они ненавидят эти бесконечные искания и экспериментирование. Какое им до этого дело? У них это просто зависть. Это задевает их самолюбие. Сами они не хотят этим заниматься, но не выносят, когда кто-нибудь другой принимается за это...

На сцене толпа, собравшаяся перед огромным центральным экраном, за которым говорил Теотокопулос. Толпа расходится, и мы видим теперь лица людей.

Один мужчина другому. Он прав. Межпла-

нетное орудие — оскорбление всех человеческих инстинктов!

Женщина. Будь я этим Пасуорти, я бы убила Кэбэла!

Другой мужчина. Прямо тоска берет по доброму старому времени, когда была честная война и простая преданность чести и знамени. Подумаешь, Межпланетное орудие! Куда идет мир?

Женщина. Жаль, что я не жила в старое доброе время, до того, как нами завладела эта ужасная наука!

Три глубоких старца сидят в уютной, увитой виноградом беседке, пьют и беседуют. Они свежи и крепки. Их можно принять за худощавых благообразных джентльменов лет под шестьдесят. Как и у всех людей нового века, их густые волосы аккуратно причесаны, но искусственно посеребрены.

Первый старик. Нынче день моего рождения.

Второй старик. И сколько же вам?

Первый старик. Сто два.

Второй старик. А мне только девяносто восемь!

Третий старик. А мне сто девять!

Первый старик. Где бы мы находились сто лет тому назад?

Второй старик. В земле.

Первый старик. Или хуже того.

Третий старик *(запевает)*. «Поднимем стаканов веселое бремя за старое доброе время!»

Хор. «За рот без зубов, ревматизм и подагру».

Соло. «Навеки избыли мы, слава Творцу, потемки, и спешку, и быта грязцу. Гнилую горячку, нефрит, диабет; слепых и глухих у нас больше нет!»

Хор. «За рот без зубов, ревматизм и подагру».

Третий старик. «То старцев обычный удел в старину!» *(Чокаются и пьют.)*

Первый старик *(после многозначительной паузы)*. А это за Теотокопулоса!

Детский сад 2055 года. Дети лепят из пластилина, рисуют на листах бумаги, строят из кубиков или гоняются друг за дружкой. В игре принимают участие сиамский или белый персидский котенок, или ручные рыжие белки.

Две женщины на переднем плане беседуют.

Первая женщина. В 1900 году из каждых шести детей один умирал на первом году жизни. Теперь смерть ребенка — редчайшее событие.

Вторая женщина. Неужели один из шести?

Первая женщина. Это была самая низкая смертность в мире. В Англии. А из каждой сотни рожавших женщин три были обречены на смерть. Подумайте только: каждый год умирали тысячи рожениц! А теперь смерть от родов — неслыханное дело. Но тогда это было естественно.

Огромная научно-исследовательская лаборатория 2055 года. Ярус над ярусом, видны сотни работников, мужчин и женщин, большей частью в белых комбинезонах. Научная работа стала достоянием несчетного количества людей. Работают у микроскопов и за столами. То тут, то там вспыхивают снопы света. На переднем плане двое мужчин наблюдают какие-то ярко освещенные шары и водоемы, в которых движутся неясные фигуры мелких рыбообразных созданий.

Внимание их отвлекает что-то, находящееся вне кадра, входит женщина, несущая маленькую собачку с очень умной мордочкой.

Первый Научный Работник. Хэлло! Что это у вас?

Женщина. Это последнее слово генетики собаки. Эту работу начал в России Павлов лет сто двадцать назад. Посмотрите на эту милую крошку. Она только что не говорит. Она никогда не будет хворать! Она проживет до тридцати лет, здоровая и крепкая! И бегает она, как вихрь. Повиляй хвостиком, милая, и поблагодари Тетю Науку за ее благодеяния!

Кто-то кричит другим работникам: «Собака наших дней! Идите, посмотрите!»

Работники с разных ярусов встают из-за столов и спускаются смотреть собаку. Другие заняты своим делом и не обращают внимания. Около нового образчика собирается небольшая толпа.

Второй Научный Работник. Надо научить ее кусать Теотокопулоса!

Третий Научный Работник (*с негодованием*). О! Теотокопулос!

Женщина. Милый старый мир! Мы с вами работали бы, вероятно, в какой-нибудь трущобе за четыре пенса в час. Вместо того, чтобы дружить с лучшей в мире собачкой! *(Ласкает ее.)* Верно? Верно?

Группа вокруг собачки.

Первый Научный Работник. Многие из нас только-только умели бы читать, и мы были бы какими-нибудь счетоводами или землекопами.

Второй Научный Работник. Или безработными.

Женщина. А теперь всегда есть что-нибудь новое и интересное. О! Избавьте меня от этой естественной жизни человека!

Первый Научный Работник. А что это такое — естественная жизнь человека?

Второй Научный Работник. Вши и блохи. Бесконечные инфекции. В начале жизни круп, в конце — рак. Гнилые зубы к сорока годам. Злость и раздражительность... А эти дураки слушают Теотокопулоса. Им нужна Романтика! Им нужны прежние знамена. Война и все милые человеческие гадости. Они воображают, что мы роботы, а муштрованные солдаты старого времени не были ими. Им нужен Милый Старый Мир и чтобы кончилась эта гадкая Наука!..

ЧАСТЬ XIV

БОРЬБА ЗА МЕЖПЛАНЕТНОЕ ОРУДИЕ

Сцена представляет собой холл перед столовой-альковом, в которой должны обедать Кэбэл, Пасуорти, Кэтрин и Морис. Они обедают в половине пятого или в пять, ибо обед перенесен на те часы, когда обедали в семнадцатом веке, а второй завтрак исчез. Люди завтракают, обедают и ужинают, и притом в самые разнообразные часы, потому что теперь нет больше смены света и темноты, определяющей сутки.

Альков представляет собой нечто вроде застекленного балкона, выходящего на одну из больших Городских Дорог. Когда стеклянные окна закрываются, становится совершенно тихо. Когда их открывают, снизу

доносятся звуки. На диване сидят рядышком Морис и Кэтрин, очень довольные друг другом. Они поглядывают вверх, точно видят что-то сквозь прозрачный потолок; затем встают, когда в небольшой двери показывается Пасуорти.

Пасуорти. Итак, три дня, которые мы дали себе на размышление, прошли. Вы не передумали?

Морис. Мы не могли передумать, отец. Не создавай нам трудностей!

Пасуорти (*обращаясь к Кэтрин*). Где ваш отец?

Кэтрин. Он шел сюда со мной, но его вызвали от Мордена Митани, которому нужно было сообщить ему что-то срочное.

Пасуорти. Морден Митани?

Кэтрин. Контролер Движения и Порядка. Отец остался подождать его, чтобы поговорить.

У Кэбэла. Кэбэл приветствует Мордена Митани — энергичного красивого мужчину в темном костюме.

Кэбэл. Я как раз шел обедать в Купол. Я уже опаздываю!

Морден Митани. В таком случае я не стану вас задерживать разговором. Я пройдусь с вами по Городским Дорогам к Куполу. Так будет лучше. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели и узнали.

Одна из Городских Дорог. Морден Митани и Кэбэл входят в кадр и останавливаются на удобном месте, на высоком мосту, с которого далеко внизу видна огромная арена.

Митани. Вот что я хотел показать вам!

Далеко внизу небольшая кучка людей собирается, образуя какую-то процессию. Аппарат снимает их сверху. Они поют какую-то мятежную песню.

Кэбэл. Что они делают? Это процессия? Довольно нестройная.

Митани. Это, как они это называют? Демонстрация. Беспорядки.

Кэбэл. Но в чем же дело?

Митани тянет его назад, за пилястру. На мост входят люди, чтобы посмотреть толпу внизу. Они не замечают Кэбэла и Митани.

Кэбэл и Митани крупным планом в конфиденциальной беседе.

Митани (*вполголоса*). Это результат речей Теотокопулоса. Ему нельзя было позволить говорить в зеркалах!

Кэбэл. Мир должен пользоваться свободой слова. От этого мы не сможем отступить. Люди должны мыслить самостоятельно.

Митани. Тогда миру придется опять завести полицию. Только для того, чтобы удерживать людей от слишком опрометчивых действий по случайному внушению.

Кэбэл. А что он может сделать?

Митани. Его принимают очень всерьез. Очень всерьез! Они хотят силой не допустить выстрела из Межпланетного орудия. Они толкуют — как это они выражаются? — о спасении жертв.

Кэбэл. Как же это так? Ведь жертвы летят добровольно.

Митани. Они все-таки возражают!

Кэбэл. Так что, если возражают?

Митани. Они вмешиваются. Они организуют — как это называлось? — восстание. То, что происходит внизу,— это восстание!

Кэбэл. Против кого?

Митани. Против Совета.

Кэбэл. Восстание! Этого я не могу себе представить. В прошлом бывали восстания угнетенных классов, а теперь у нас нет угнетенных классов. Каждый выполняет свою долю работы, и каждый получает свою долю изобилия. Может ли человечество восстать против самого себя? Нет. То, что происходит внизу,— просто маленькое волнение. Чего может достигнуть этим Теотокопулос?

Митани. Он собирает большие толпы. По всему городу творится то же самое. У нас теперь нет ни полиции, ни войск, ни оружия, чтобы предотвращать общественные беспорядки. Мы думали, что с этим покончено навсегда. «Спасти жертвы от Кэбэла»,— говорит он. Он выступает против вас: «Спасите жертвы от Кэбэла!»

Кэбэл. Разве одна из них не моя собственная дочь? Моя единственная дочь!

Митани. Он говорит, что это только свидетельствует о вашем бессердечии — показывает, в какое чудо-

вище наука может превратить человека. Он сравнивает вас с древними греками, отправлявшими своих детей к Минотавру.

Кэбэл. А если бы я отправил чужих детей, а свое дитя спас?

Митани. Ему бы вы все равно не угодили.

Кэбэл. В конце концов что он может сделать?

Митани. Межпланетное орудие стоит на берегу моря. Охраны при нем почти никакой. Уже пятьдесят лет как на нашей планете ничего не охраняют.

Кэбэл. Тогда вам придется организовать какую-нибудь охрану. В конце концов у вас есть путевые рабочие и самолеты инспекции. Этого должно хватить. А если возникнут крупные волнения, разве у нас нет Умиротворяющего Газа?

Митани. Газа нет.

Кэбэл. Действительно нет?

Митани. По крайней мере, официально. В нем не было надобности. Мир был спокоен, потому что был доволен, а доволен он был потому, что у каждого было какое-нибудь занятие. Не было оснований хранить этот газ. Он уже семьдесят лет как не применялся. Но теперь я хочу собрать Совет и получить санкцию на немедленное изготовление его и использование в случае надобности.

Кэбэл. Созовите Совет, но не задержит ли это вас?

Митани. Ну, я кое-что предвидел. Я заказал некоторое его количество.

Кэбэл. Правильно. Мы это утвердим.

Митани. Через несколько часов его будет произведено по меньшей мере десять тонн, и наши самолеты будут готовы действовать. Но все-таки на это нужно некоторое время. Быть может, несколько часов.

Кэбэл. О, этот старый Умиротворяющий Газ! Как не хочется вновь пускать его в ход! Но раз люди не хотят дать нам свободу распоряжаться космосом, нам придется применить его.

Митани. Стало быть, вы поддержите меня в моих действиях?

Кэбэл. Целиком! Но все это кажется мне невероятным. Восстание! Против исследований! Человечество

ополчается на науку и предприимчивость! Хочет требовать остановки! Это каприз, Митани.

Митани. Это опасный каприз.

Кэбэл. Это нервный припадок — при мысли о том, чтобы сойти с нашей планеты и прыгнуть в космос. Но прежде всего нужно спасти орудие.

Митани. Это прежде всего!

Митани уходит, а Кэбэл приближается к аппарату.

Кэбэл *(говорит сам с собой)*. Неужели наши темпы оказались слишком трудными для Человечества? Человечество! А что такое Человечество? Теотокопулос? Или милейший старик Пасуорти? Или Роуэна? Или я?

Альков-столовая. Далеко внизу видны улицы. Обед подходит к концу. Кэбэл, Пасуорти, Кэтрин и Морис. Морис нажимает кнопку, и на стеклянном конвейере появляется блюдо с фруктами. Морис ставит блюдо на стол. Он и Кэтрин начинают есть. Пасуорти не ест. Он смотрит на молодых людей. Наконец он говорит.

Пасуорти. Разве жизнь недостаточно хороша для вас здесь? Здесь вы находитесь в надежном и прекрасном мире. Молодые влюбленные. Только что начавшие жить. И вы хотите уйти в этот ужас! Пусть это делает кто-нибудь, кому жизнь надоела.

Кэтрин. Нам нужны молодые люди, здоровые, быстрые и находчивые. И мы подходящие молодые люди. Мы умеем наблюдать, мы можем вернуться и рассказать обо всем.

Пасуорти. Кэбэл! Я хочу задать вам один простой вопрос. Зачем вы позволяете вашей дочери мечтать об этом безумном полете на Луну?

Кэбэл *(Он сидел молча, в задумчивости. Теперь смотрит на дочь и отвечает неторопливо)*. Потому что я люблю ее. Потому что я хочу, чтобы она жила как можно лучше. Тянуть жизнь до последней секунды — не значит жить как можно лучше. Чем ближе к кости, тем мясо вкуснее.

Кэтрин протягивает ему руку. Кэбэл берет руку Кэтрин.

Пасуорти. Я сломленный человек. Я не знаю, где честь, где бесчестье.

Кэбэл *(к дочери)*. Дорогая моя, я люблю тебя — и у меня нет сомнений.

Морис. Сто лет назад все достойные называться людьми, не колеблясь, отдавали свою жизнь на войне. Когда я читаю об этих окопах...

Кэбэл. Нет! Лишь очень немногие отдавали свою жизнь на войне. Этих немногих побуждала какая-нибудь трагическая благородная необходимость. Что же касается прочих, то они рисковали своей жизнью,— и это все, что предстоит вам обоим. Вам нужно сделать все возможное, чтобы вернуться целыми и невредимыми. И не вы одни подвергаетесь риску. Разве у нас нет людей, исследующих морские глубины, воспитывающих опасных зверей и дружащих с ними и со всевозможными другими опасностями, играющих гигантскими силами природы, балансирующих на краю озер из расплавленного металла?..

Пасуорти. Но все это для того, чтобы сделать мир безопасным для человека, надежным для счастья.

Кэбэл. Нет. Мир никогда не будет безопасен для человека — и не в безопасности счастье. У вас неправильный взгляд на вещи, Пасуорти. Наши отцы и деды упразднили старый порядок, потому что он убивал детей, потому что он губил людей, потому что он зря мучил людей, потому что он оскорблял человеческую гордость и достоинство, потому что он являл собой уродливую картину пустой растраты сил. Но это было только начало. В страдании нет ничего дурного, если человек страдает ради какой-то цели. Наша революция не упразднила смерти или опасности. Она просто показала, ради чего стоит умирать и подвергаться опасности.

Неожиданно входит Морден Митани. Он в состоянии величайшего возбуждения. Кэбэл порывисто встает и с тревогой смотрит на него.

Митани. Кэбэл! Орудию грозит непосредственная опасность! Если мы хотим спасти его, нельзя терять ни минуты. События развиваются слишком стремительно. Теотокопулос уже двинулся с толпой народа. Он направляется к Межпланетному орудию. Они хотят уничтожить его. Они говорят, что оно символ вашей тирании.

Кэбэл. У них есть оружие?

Митани. Металлические брусья. Они могут по-

рвать электрические провода. Они могут наделать непоправимых бед!

Кэбэл. Разве у нас нет никакого оружия? Нельзя ли из вашего Контроля Движения выделить отряд полиции?

Митани. Людей очень мало... У нас нет ничего, кроме Умиротворяющего Газа. А он не готов. Понадобится еще несколько часов. Мы можем созвать кой-каких молодых людей. В течение некоторого времени мы должны сдерживать эту толпу — чего бы это ни стоило, — пока не будет готов Умиротворяющий Газ.

Пасуорти. *(У окна).* Смотрите!

Кэбэл и остальные подходят к окну. Пасуорти указывает вниз, на улицы. Внезапный звуковой эффект. Аппарат снимает от Пасуорти вниз. Толпа идет, распевая мятежную песню. Кэбэл и все, кто с ним, смотрят вниз.

Вбегает технический помощник и подходит к Митани. Он что-то говорит, но его не слышно. Кэбэл жестом указывает на окно, которое Митани закрывает. Шум мгновенно прекращается.

Помощник. Это бунт! Это — возвращение варварства!

Кэбэл. Кто вы?

Помощник показывает опознавательный диск на своей рукавице. На диске надпись: «Уильям Джинз. Астрономическая служба — Межпланетное орудие».

Митани. Им придется идти пешком. Мы закрыли все воздушные пути. У них это отнимет час или больше. Даже у тех, кто уже выступил. И тогда еще они не сразу решатся.

Помощник. Нельзя дать разрушить орудие. Это огромное сооружение. Какая жалость, если они разобьют его! Когда проделаны все испытания! Когда все готово!

Морис. Когда все готово!

Его осеняет какая-то мысль; он смотрит на Кэтрин. Кэтрин поняла его.

Пасуорти. А если они разнесут это проклятое орудие, честь спасена, и вам не надо лететь.

Морис. Отец! Отец!

Кэбэл. Они не разнесут это орудие.

Морис *(Волнуясь, помощнику)*. А что, если выстрелить сейчас? Цилиндр попадет на Луну?

Помощник *(поглядев на свои часы)*. Сейчас он не попадет и улетит в мировое пространство. Но... сейчас пять часов. Если выстрелить около семи...

Кэтрин. И... это возможно?

Помощник. Да.

Морис и Кэтрин смотрят друг на друга. Они понимают друг друга.

Кэтрин. В таком случае...

Морис. Мы летим сегодня.

Кэбэл. Почему бы и нет?

Помощник. Это вполне возможно.

Пасуорти *(кричит)*. Я протестую!.. О, я не знаю, что сказать. Не улетайте! Не улетайте!

Морис. Если мы не полетим сейчас, мы, может быть, никогда не полетим. И всю жизнь будем чувствовать, что уклонились от долга, что жили напрасно... Ведь для этого главным образом мы существуем! Отец, мы должны лететь!

Туннель, выводящий из города. Картина: толпа идет к орудию.

Картина: толпа выходит из туннеля.

Группы людей выходят из города разными путями, собираются в одну толпу и движутся к орудию. (Эта толпа так же хорошо одета, как все в фильме. У нее нарядный и опрятный вид, присущий всем в новом мире. Мы становимся свидетелями отнюдь не социального конфликта. Это не Неимущие нападают на Имущих; это Люди Действия подвергаются нападению Бездельников.)

ЧАСТЬ XV

МЕЖПЛАНЕТНОЕ ОРУДИЕ СТРЕЛЯЕТ

В самолете. Кэбэл, Пасуорти, Кэтрин и Морис. Они летят к орудию. Смотрят в окна. Вдали виднеется орудие, притаившееся между холмами, как огромный металлический зверь.

Затем мы видим через окна, что самолет приземляется вертикально у самого Межпланетного орудия.

Сперва облака, затем скала, а затем огромные балки, кабели и машины. Самолет касается земли около гигантских амортизаторов орудия.

Митани встречает Кэбэла, Пасуорти, Кэтрин и Мориса при выходе их из самолета, они смотрят вверх, на орудие. Аппарат показывает огромные пропорции этого сооружения.

Межпланетное орудие подавляет, оно огромно, монументально, чудовищно. На постаменте его находятся молодые спортсмены; завидев Кэтрин и Мориса, они восторженно приветствуют их. Кэтрин и Морис направляются к своим друзьям. Братский прием. Кэбэл, Пасуорти и Митани медленно следуют за ними.

Они приближаются к лифту. Кэбэл и Пасуорти стоят у входа. Митани около двери.

Митани *(Кэбэлу)*. Поднимитесь на площадку. Мы будем сторожить внизу.

Кэбэл и Пасуорти входят в лифт.

Лифт останавливается у высокой площадки ярдах в двадцати ниже уровня цилиндра, которым выстрелят в Луну. Он висит теперь над жерлом орудия, поддерживаемый почти невидимыми тонкими металлическими тросами.

Кэбэл выходит из лифта на эту площадку, за ним Пасуорти. Кэбэл подходит к перилам и смотрит вниз. Аппарат следует за взглядом Кэбэла и показывает Межпланетное орудие сверху. Вдали, сквозь тросы, видны Теотокопулос и его толпа, направляющиеся к Межпланетному орудию. Кэбэл, Пасуорти, Кэтрин и Морис стоят на площадке. Они поднимают глаза. Прямо над их головами виден цилиндр, медленно опускаемый к жерлу орудия.

По мере приближения толпы мятежная песнь звучит все громче.

Показывается Теотокопулос и его толпа. Они появляются на гребне скалы, на фоне неба, и, несмотря ни на какие трудности постановки, нельзя допустить, чтобы драматический эффект их появления был ослаблен.

Они разом останавливаются (пение также умолкает сразу) и смотрят. Кадры: Теотокопулос и толпа смотрят вверх.

Цилиндр опускается и наконец повисает у жерла пушки.

Теотокопулос *(замечает Кэбэла и указывает на него)*. Вот этот человек...

Негодующие крики.

Аппарат медленно переводится к Кэбэлу через сеть сооружений около орудия, создавая впечатление огромной пропасти, зияющей между этими двумя людьми. Последующий разговор выкрикивается при помощи усилителей через большое пространство. Эти усилители должны быть показаны, но не слишком подчеркнуто.

Позади Кэбэла стоят Пасуорти, Кэтрин и Морис. К ним приближается молодой механик.

Механик. Все готово.

Напряженный момент.

Кэтрин, не произнося ни слова, прощается с отцом. Морис хватает руку Пасуорти обеими руками, пытаясь успокоить его и придать ему мужества и достоинства.

Кэтрин и Морис уходят, за ними следует механик.

Крупным планом показано скорбно-спокойное лицо Кэбэла.

Теотокопулос *(издали)*. Вот человек, который хотел принести свою дочь в жертву Дьяволу Науки!

Кэбэл *(услышал эти слова, и они возмущают его; он подходит к перилам и обращается к Теотокопулосу)*. Что вам здесь нужно?

Аппарат теперь направлен на Теотокопулоса и остается в таком положении во время всей последующей беседы. Кэбэла слышно, но не видно.

Теотокопулос. Мы хотим спасти этих молодых людей от ваших экспериментов. Мы хотим положить конец этим бесчеловечным дурачествам. Мы хотим сделать мир безопасным для людей. Мы намерены уничтожить это орудие.

Кэбэл. А как вы это сделаете?

Теотокопулос. О! У нас тоже есть электротехники!

Кэбэл. Мы, люди нашего типа, вправе поступать со своей жизнью как нам угодно.

Теотокопулос. Как можем мы это делать, когда ваша наука и изобретения постоянно изменяют нашу жизнь, когда вы вечно все перестраиваете и у нас на

глазах все время придумываете что-то новое? Когда то, что мы считаем великим, вы сводите до мелочей? Когда то, что нам кажется сильным, вы сводите до слабости? Мы не хотим жить в одном мире с вами! Мы не хотим этой экспедиции. Мы не хотим, чтобы люди летали на Луну и другие планеты. Мы больше возненавидим вас, если вы добьетесь успеха, чем если вы потерпите неудачу. Неужели в этом мире никогда не будет покоя?

Аппарат возвращается на площадку к Пасуорти и Кэбэлу.

Пасуорти с безмолвной мукой слушал разговор. Теперь он обращается против Кэбэла. Но он кричит так громко, что слышат все.

П а с у о р т и. Да, я тоже спрашиваю вас, будет ли когда-нибудь покой? Никогда? Это мой сын! И он восстал на меня. То, что он делает, он делает наперекор инстинктам моего сердца! . Кэбэл, я умоляю вас! Неужели человечество никогда не будет знать покоя и счастья?

Громкий рев толпы приветствует его слова. Аппарат снимает толпу. Толпа в общем порыве начинает подвигаться к Межпланетному орудию. Сперва мы видим массу лиц, а затем толпу издали. Теперь она напоминает муравьев, лентой пересекающих пол большой комнаты.

Верхушка орудия с цилиндром в дуле. Кэтрин и Морис стоят у отвинчивающейся дверцы в дне цилиндра, похожей на пароходный иллюминатор. На них теперь специальная одежда, очень простая и плотно облегающая тело. Механики помогают им занять места внутри цилиндра.

На секунду показана толпа, карабкающаяся по решеткам с края скалы к орудию.

Внутренность цилиндра, освещенного снизу. Кэтрин и Морис, повисшие на ремнях, распростерлись, как орел на монетах. Внизу видны лица механиков. Морис смотрит на Кэтрин.

М о р и с. Хочешь вернуться?

К э т р и н *(улыбается)*. Держись крепче, мой милый!

Дверца цилиндра медленно завинчивается — сцена постепенно темнеет, пока не наступает полный мрак, и в этом мраке теряются лица и фигуры Кэтрин и Мориса.

Толпа, добравшаяся до орудия, волнуется.

Митани с площадки смотрит вниз на толпу, потом на часы у себя на руке. Он взглядывает на цилиндр.

Вид цилиндра снизу. Он спускается очень медленно и совершенно исчезает в дуле орудия. Тросы отцепляются и отходят.

Толпа карабкается по основанию орудия.

Кэбэл *(стоит в одиночестве. Его мысли и чувства побуждают его говорить. Он подходит к перилам)*. Слушайте. Теотокопулос! Если бы даже я хотел уступить вам, я не мог бы этого сделать. Не мы воюем против порядка вещей, а вы! Жизнь либо идет вперед, либо пятится назад. Таков закон жизни.

Теотокопулос *(жестом отстраняет этот довод)*. Мы уничтожим орудие.

Его приспешники поднимают одобрительный крик и возобновляют свое нестройное и беспорядочное наступление.

На площадке видны Кэбэл и Пасуорти, а на заднем плане стоит механик перед небольшой тяжелой открытой дверцей амортизационной камеры. Кэбэл перегнулся через перила, наблюдая толпу внизу.

Кэбэл *(кричит вниз)*. Прежде чем вы даже успеете добраться до основания орудия, оно выстрелит! Берегитесь толчка!

Он оглядывается. Пасуорти неподвижен. Кэбэл тянет Пасуорти к тяжелой дверце.

Внизу видна толпа, кишащая вокруг подпорок орудия. Люди, из которых многие пришли с тяжелыми металлическими брусьями, пытаются повредить огромные массы металла.

Стол в наблюдательной камере. У кнопки — рука, застывшая в ожидании. Часовой циферблат с длинной, тонкой секундной стрелкой.

Голос Кэбэла: Берегитесь! Берегитесь сотрясения!

Толпа колеблется. Стук захлопнувшейся тяжелой дверцы. Безмолвное ожидание. Толпа поняла, что действовать поздно. Она колеблется, затем поворачивается и начинает спускаться вниз по решеткам, по которым только что взбиралась, и разбегаться.

Стол и рука в наблюдательной камере. Секундная стрелка на циферблате подвигается к отмеченной точке.

Когда она достигает ее, палец протягивается и нажимает кнопку.

Удар.

Эффекты толчка в крупном масштабе. Пушка откатывается назад. Толпу разметало, как вихрем.

Теотокопулос, стоявший на фоне неба на большой металлической балке, попадает в вихрь, плащ взлетает ему на голову. Он смешно борется с собственным плащом, и больше мы его не видим.

Тучи пыли затемняют экран и рассеиваются, показывая толпу после толчка. Одни зажимают руками уши, словно ушам больно, другие смотрят из-под руки на небо.

Затем толпа начинает двигаться к городу. Кадры жителей, в беспорядке вступающих в город, то и дело останавливающихся, чтобы посмотреть на небо.

ЧАСТЬ XVI

ФИНАЛ

Обсерватория высоко над Эвритауном. В зеркале телескопа ночное небо и цилиндр в виде крохотного пятнышка на звездном фоне.

Кэбэл. Вон! Вон они летят! Вот это слабое светлое пятнышко.

Пауза.

Пасуорти. Я чувствую... что то, что мы сделали, чудовищно.

Кэбэл. То, что они сделали, великолепно!

Пасуорти. Они вернутся?

Кэбэл. И опять полетят. И опять — пока не станет возможным высадиться на луне и луна не будет завоевана. Это только начало.

Пасуорти. А если они не вернутся — мой сын и ваша дочь? Что тогда, Кэбэл?

Кэбэл *(дрогнувшим голосом, но решительно)*. Тогда полетят другие.

Пасуорти. Боже мой! Неужели никогда не наступит век покоя? Неужели никогда не будет отдыха?

Кэбэл. Каждый человек находит покой. Его

слишком много, и наступает он слишком рано, и мы называем его смертью. Но для ЧЕЛОВЕКА нет отдыха и нет конца. Он должен идти вперед — от победы к победе. Познать нашу маленькую планету, и ее пути, и ветры, и все законы духа и материи, которые стесняют его. Потом полет на планеты, окружающие его, и наконец в бесконечное мировое пространство, к звездам. И когда наконец он покорит все пучины пространства и все тайны времени, он все еще будет у начала.

Пасуорти. Но мы такие маленькие создания. Бедное человечество. Такое хрупкое, такое слабое.

Кэбэл. Маленькие животные, а?

Пасуорти. Маленькие животные.

Кэбэл. Если мы не больше как животные, мы должны урвать у жизни крупицу счастья, и жить, и страдать, и умирать, имея не больше значения, чем его имеют — или имели — все другие животные. *(Он указывает на звезды.)* Что ж, так или вот так? Вся Вселенная — или ничто... Выбирайте, Пасуорти!

Оба растворяются на звездном фоне так, что остаются только звезды.

Все покрывает музыкальный финал.

Слышится голос Кэбэла, повторяющего сквозь музыку: «Выбирайте, Пасуорти. Что лучше?»

В зале отдается эхом более громкий и сильный голос: ЧТО ЛУЧШЕ?

1935

СОДЕРЖАНИЕ

Индекс 70665

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том XIII.

Редактор тома
Ю. Кагарлицкий.

Иллюстрации художника
П. Караченцова.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 17/XI 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 2097. Зак. 2427. Форм. бум. 84×108 1/32.
Физ. печ. л. 16,125 + 4 вкл. иллюстраций.
Условных печ. л. 26,85. Уч.-изд. л. 28,34.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.